

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)

Г. Андреев, Л. Ржевский

1976 – 1981 редактор Роман Гуль

1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Е. Магеровский

1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Ю. Кашкарров, Е. Магеровский

1986 – 1990 Редакционная коллегия

1990 – 1994 редактор Юрий Кашкарров

1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят седьмой год издания

Главный редактор Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Сергей Голлербах, Марина Гарбер, Елена Дубровина, Мария Рубинс, Владимир фон Цуриков

Ответственный секретарь – Владимир Гржонко

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рудольф Фурман

The New Review, Inc.:

T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; S.Hollerbach; G.Glinka; M.Jordan;
P.Khlebnikov; V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Nebolsine; A.Neratoff;
I.Sikorsky; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 294, март 2019

© 2019 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012.
Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.

POSTMASTER: send address changes to The New Review,
611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Юз Алешковский</i> – Осенние стансы после ливня. Стихи	5
<i>Сергей Захаров</i> – Волосы Вероники. Рассказ	8
<i>Михаил Этельзон</i> – Стихи	24
<i>Владимир Салимон</i> – На дороге в рай. Стихи	30
<i>Евгений Брейдо</i> – Любовь государыни. Повесть	38
<i>Нина Косман</i> – Стихи	73
<i>Алла Лескова</i> – Рассказы	77
<i>Владимир Козлов</i> – Стихи	83
<i>Клементина Ширишова</i> – Стихи	87
<i>Ара Мусаян</i> – Литература. Миниатюры	92

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Иван де Шаекк</i> – Зрелище пути. Великий князь Борис в США (Публ. – <i>Каральби Мальбахов</i>)	102
«Золотая книга» Русского Зарубежья (Публ. – <i>Ю. Сандулов</i>)	125
<i>Лариса Вульфина</i> – Ф. С. Рожанковский и В. Б. Сосинский. Переписка 1957–1967 гг.	149

ИСТОРИЯ. ЛИТЕРАТУРА

<i>Александр Горянин</i> – Роковые двенадцать месяцев	179
<i>Елена Кулен</i> – Толстовский Фонд в Германии	218
<i>Ирина Анастасьева</i> – «Горьким словом моим посмеюсь...» Переписка М. Алданова и Л. Штильмана. Часть 2	265
<i>Марк Уральский</i> – Марк Алданов. Исторический романист эмиграции	290

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>Блок Марины Адамович</i> – Свободные люди. Диссидентское движение в рассказах участников; Александр Гинзбург: Русский роман; <i>Юрий Щекочихин</i> . Рабы ГБ. XX век; <i>Мария Рубинс</i> . Русский Монпарнас. Парижская проза 1920–1930 годов в контексте транснационального модернизма; <i>Андрей Иванов</i> . Обитатели потешного кладбища	340
<i>Блок Игоря Михалевича-Каплана</i> – <i>Ирина Панченко</i> . Эссе о Юрии Олеше и его современниках; <i>Лев Бердников</i> . Дерзкая империя	

(Нравы, одежда и быт Петровской эпохи); <i>Елена Литинская</i> . Семь дней в Харбине и другие истории	362
Михаил Сергеев. Игорь Михалевич-Каплан – Русское Зарубежье: Антология современной философской мысли; Вера Калмыкова – Молодяков В. Э. Тринадцать поэтов: Портреты и публикации; Станислав Айдинян – Евгений Чигрин. Невидимый проводник. Стихотворения; Ростислав Полчанинов – Гимназия в лицах. Первая русско-сербская гимназия в Белграде (1920–1944); <i>М. И. Близнюк</i> . Войной навек проведена черта: Вторая мировая война и русские артисты	369

СООБЩЕНИЯ. ЗАМЕТКИ

<i>Александр А. Локишин</i> – Анатолий Якобсон и мой бедный отец ...	382
--	-----

ОБ АВТОРАХ	388
------------------	-----

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Юз Алешковский

Осенние стансы после ливня

Я помню чудное мгновенье...

А. С. Пушкин

Ире

...Вселенная и в луже и в болотце
заглядывалась на саму себя,
по-моему, выискивая сходство
планетки нашей с капелькой дождя.

Природа дивной жизни круг свершала.
Изящно кружевца латал паук,
над ним пичуга хищно трепетала –
позавтракать стремилось всё вокруг.

Те дни осенние спасли меня
от насморочной скукотищи хлада.
Был полон клён октябрьского огня,
а большего тепла душе не надо.

Огонь... Зело стихия лучезарна –
в нём пламенного цвета торжество,
команде шибко мнительных пожарных
его не загасить напором аш-два-о.

Калиной кисло-сладкой скулы сводит,
багряных красок веселит накал,
их – померещилось – слегка на взводе,
цедя винцо, Целков намалевал.

Не смертный страх, не горечь увяданья
на сад и лес наваял листопад –
но знак надежд на прежние свиданья,
как миллионы осеней назад.

Когда солируя в ветвях дубовых,
полощет горлышко залетный птах –
обалдевает дуб в тоске любовной,
а слово замирает на устах.

О бабье лето!.. У меня нет слов.
Ясней – они в священном безъязычье.
В душе восторг, свобода и любовь.
Был глух и нем – с чего бы петь по-птичьи?

Слепец, ты пьян в пивнушке «Кайф Незнания»,
пой и не думай (то есть не греси) –
что́ есть душа – лишь краешек сознания?..
или оно – окраина души?..

Люблю торчать раззявой из раззяв
у клумбы Иры, варежку разинув, –
очам достаточно поникших трав,
прощального сиянья георгинов.

Бомбят со свистом желуди пространства
пруда, полянки, вызревшей лозы...
Восславим же порядков постоянство –
Верхи довольны, и скромны Низы.

И перелет легко выносит птица,
как из подвала раб – мешок муки.
Презри душа понятие граница:
жизнь – беспредельна, дальние – близки.

Видать, и мне порыв настырный нужен,
чтоб мысли вровень с чувством увязать,
а буквы, как дюжину жемчужин,
на шелковую строчку нанизать.

Жену люблю – и хлеб насущный уминаю,
пью воду кладезну и воздухом дышу,
как червь существование обожаю,
то легкомысленно о нем я забываю,
то с вечным бытием соотношу.

Безмолвен звон колоколов небесных,
невидимая застит очи тень,
ворон перелетных ночь не бесит.
Осенний день, прощай, осенний день.

Прощай, благодарю... Пусть глотку перехватит
бессилье описать красу твоих щедрот –
хватило б их на пару жизней. Кстати,
мгновенье длительней, чем темный ум сечет.

Златист осенний блеск оркестров меди,
березок-физкультурниц мил парад,
а облака, как белые медведи,
по синим льдам за окоём спешат.

Пускай зимой в пруду кемарят рыбки
и в жабьих зобиках пусть контрабас замрет –
благословим мерцание улыбки,
с которой наземь клена лист плывет.

Ликуют краски, равен эху звук,
и то, что именуют вдохновеньем,
жар-птицей рвется ввысь из слабых рук –
до остановки чудного мгновенья.

Октябрь 2015

Коннектикут, хуторок Пять Дубков

Сергей Захаров

Волосы Вероники

Все оттого, что мне не понравилось, как он сделал это: перелез через живую изгородь. В противном случае я вовсе не обратил бы на него внимания: я и вообще не любопытен, а перед долгим рутинным днем, вечер которого кажется таким же далеким, как, например, созвездие Волосы Вероники, – в особенности.

Я сидел на утренней террасе кафе; Вероника спала в моей квартире пятью этажами выше – потому, должно быть, и подумалось о предельных звездах.

Воздух покалывал и бодрил; пахло близкой весной, круассанами и мокрым асфальтом. Между мной и молодым бородачом, которого я только что до рези в желудке невзлюбил, скучала пара совершенно безлюдных столиков, и при желании я легко мог бы разглядеть этого парня в деталях, но, повторяюсь, не поднял бы и головы от своего горького кофе, когда бы не тот отвратительный шум, с каким он торгует в отделяющие террасу от парковки кусты...

Шум и был отвратителен: хрусткий звук ломающегося живого, сопровождаемый траурным шелестом содранной насильно листвы... Надо же – когда-то я и помыслить не мог, что стану так чувствителен!

Не исключаю, что в бочку моего негатива влила свою бадейку и борода этого типа. Грешен, мне не нравятся бороды. Эти неряшливые и малогигиеничные заросли представляются мне до крайности нелепыми, а когда такой неухоженный куст растет из нежного личика европейского юнца слегка за двадцать – он и вовсе способен навести на нехорошие подозрения. Воля ваша, но как по мне – сразу веет сладковатым дымком джихада, тайно пускающего свои смертоносные корни повсюду, в особенности – среди несмышленных и доверчивых малолеток... Потому и хочется, от греха, пересесть за самый дальний столик, а еще лучше, чтобы столик тот оказался на соседней улице, – хотя и там, боюсь, не будет спасения... Ну да ладно – сейчас не о бородах, а о бородачах. Точнее, о бородаче, взбаламутившем гладкую воду моего утра.

Итак, хозяин бороды проломился на другую сторону, хлопнул дверью микроавтобуса – над кустами восставала его близкая, ядовито-красная крыша – завел чересчур громкую и слишком немецкую

музыку, после хлопнул дверью еще раз и вломился сквозь страдающую зелень обратно.

Признаюсь, я был близок к тому, чтобы возненавидеть его. Странно, как ему удавалось это: не делая, вроде бы, ничего плохого конкретно мне, он бил и бил в непонятно откуда возникшее во мне большое место.

Подняв голову, я принялся разглядывать его в упор: парень был щекаст, крепок и действительно молод, почти до неприличия, – даже пресловутая борода его пыталась и не могла скрыть этого. Ему еще не стукнуло двадцати пяти, я голову готов был дать на отсечение: такой гладко-розовой кожи и такой искренней и веселой жестокости в глазах у человека постарше, пожалуй, уже и не встретишь.

Взгляд его был весел и был жесток, как свойственно только азартной и бескомпромиссной молодости. Почувствовав, что его изучают, он огляделся и с ходу меня определил, а заодно и прочитал что-то слишком явное в моих глазах – потому что всякое веселье мигом его оставило, он просто отбросил его как ненужную ветошь и посмотрел на меня, как бы поточнее выразиться... «сквозь зубы». Знаю, сделать это довольно сложно, но ему замечательно удалось, и более точного выражения здесь, как ни старайся, не подберешь. Именно «сквозь зубы» он на меня и посмотрел: как на существо неприятное, враждебное даже, но при этом слишком ничтожное, чтобы придавать ему хоть какое-то значение.

Что до меня – я тоже продолжал дырявить его агрессивным взглядом, что мне, в общем, давно несвойственно, – настолько он чем-то задел меня, и я понимал уже, что это не сломанные кусты и не маниакально-тевтонский «Рамштайн» из его кроваво-красного автобуса, но что-то куда более глубокое и гораздо более личное – только вот что именно – определить, как ни пытался, не мог.

Впрочем, никакого конфликта из этой «дуэли взглядов» не успело случиться: к столику бородача подошли те, с кем у него, похоже, была назначена встреча: худенький и совсем лысый парнишка с удлинненным желтоватым черепом и еще один – такой же юный, но высокий и полный, с мучнистым непропеченным лицом и засаленной гривой волос.

Понурые плечи его обнимала плохонькая байкерская куртка, а в руке, пальцы которой унизаны были перстнями с жутким оловом черепов, красовался почти антикварный мотоциклетный шлем. Он и в самом деле пытался походить на байкера – но безуспешно, и можно было не сомневаться, что двухколесному одру, на котором он приехал сюда и привез своего маленького лысого друга, едва ли не больше лет, чем отцу его хозяина. Байкерство – занятие достойное,

не без приятности даже – но слабо совместимое с тотальной нищетой.

Эх... Когда-то я тоже любил блеск хрома и низкий мощный звук своего «Короля дорог» – пока не подустал от чрезмерной романтики. Мне перестали отчего-то нравиться шум и ветер, да и в нерушимом байкерском братстве я разуверился. К слову, все эти частности относительно новоприбывших я подметил в одно касание глаз: если меня рассердить, я делаюсь очень наблюдателен.

Что до моего бородатого оппонента – при виде гостей он в секунду забыл обо мне и преобразился. Снова он был весел, бесшабашен и открыт. Жестом хозяина он предложил им садиться, свистнул китайского официанта и заказал для пришельцев кофе, а когда лысый худышка спросил у него закурить, бросил с готовностью на стол курительную бумагу и пакет табака – дескать, налетай, ребята, без всякого стеснения, пользуйся моей щедростью, кури до упора!

По жадности и сноровке, с какой оба принялись вертеть сигареты, по особенной виноватой улыбочности, которая, при всей непохожести, делала их почти близнецами, можно было сходу определить: оба давно и прочно сидят без работы и, похоже, успели уже напрочь забыть, когда в последний раз держали в руках купюру хотя бы в десять евро.

Да, уже который год страна, куда я когда-то бежал и где привык жить, болела безработицей и нищетой, да еще и стояла при том на затычном пороге революции. Так получалось, революции – эти предбанники ада – всегда следовали за мной. Когда-то я бежал от революции из своей страны, угодил в бунт в промежуточном государстве, а затем осел здесь – в благополучнейшем, казалось, из миров, – но, похоже, так только казалось.

Бородач, между тем, извлек из спортивной сумки упитанную алую папку, отыскал в ней нужный документ и подвинул его ребятам. Оба склонились над ним одновременно и даже стукнулись несильно лбами – после чего все трое громко рассмеялись. Им, на троих, и было-то лет шестьдесят – не больше. Первым отыскал нужную графу и поставил в ней подпись маленький и лысый, с глазами нежной девушки. На самой середке его воскового черепа имелась забавная крупная родинка в форме сердечка, отметил я. Вслед за лысым то же самое проделал и белый увалень. Бородач мигом упрятал документ в папку, папку – в сумку, а оттуда потащил наружу пару нераспечатанных пакетов табака – и разбросал их ловко на столе.

– И, как договаривались, по пятнадцать евро на брата после акции. Вы расписались за двадцать, но пятерка пойдет в специальный фонд, который всегда должен быть – на непредвиденный случай. Это называется «касса взаимопомощи», – пояснил он.

Собеседники зачарованно смотрели в рот ему и серьезно кивали. Бородач и сам разом сделался деловит – прелюдия завершилась. Чуть наклонившись к собеседникам, нависая над столом, слегка понизив голос, но не особенно и скрываясь, он обстоятельно и четко принял-ся вводить их в курс дела.

Щелк, клац, щелк! Зубцы в голове моей сцепились, аппарат заработал и выбросил из своего нутра свеженькую четкую картинку. Я сообразил, наконец, что происходит: бородач был политвербовщиком, а с этим классом людей я был знаком далеко не понаслышке. Сидя в паре метров, я слышал всё, что он говорит, – до последнего слова.

Оппозиция запланировала на два часа пополудни очередную акцию протеста перед зданием правительства, и этот бойкий бородач-тый юнец с веселым взглядом маньяка – функционер грядущего переворота – набирал для акции «пушечное мясо», объясняя рекрутам, куда и во сколько прибыть для сбора, как, что и в какие моменты кричать, а заодно – когда и с какой степенью интенсивности провоцировать специальные силы полиции на конфликт. Говорил он четко, кратко и по существу, как опытный армейский сержант. Видно было, что он давно успел набить руку на этой работе.

Напоследок он вытащил из своей спортивной сумки пару картонных коробок (при этом покосившись на меня с особенной неприязнью) – и вручил их рекрутам, наказав обращаться с ними осторожнее. В коробках, не сомневался я, находились, среди прочего, красящие бомбы и взрывпакеты. Рекруты приняли «дары» беспрекословно и стали с некоторой опаской прятать их в дешевые китайские рюкзачки, совершенно одинаковые.

Маленький и лысый внезапно вспотел, и руки его, видел я, бьет крупной дрожью. Похоже, ему приходилось участвовать в подобной акции впервые. Заметив страх его, вербовщик ободряюще похлопал лысого по узкой, неожиданно гулкой спине.

– Спокойно, – сказал он, – спокойно, брат! Помни: всё, что мы делаем, – во имя людей. Для простых людей. Для таких, как он, как я и как ты. Ты же и сам хочешь хорошо жить, верно? Всякий хочет – а как еще? И ты хочешь, чтобы у тебя была хорошая работа, большая зарплата, собственный дом, красивая жена, красивая любовница, красивая подруга любовницы ... Такому, как ты, одной женщины ведь мало, правильно?

Лысый смущенно засмеялся. Желтоватая кожа его, висевшая свободной резиной на длинноватом черепе, пошла морщинами. Он и вообще напоминал, скорее, нежную и больную девушку, зачем-то помещенную в неудавшееся тело мужчины. Белый увалень с

неявным лицом вторил товарищу хрипловатым эхом, закрывая ладонью редкозубый рот.

«А бородач-то – молодец! – отметил с невольным одобрением я. – Ведь с ходу засек, как маленький и лысый вертит то и дело желтой головой, оборачиваясь на каждый стук девичьих каблучков по утренней мостовой. Сейчас и ‘байкера’, можно не сомневаться, обрабатывает.» Так и случилось.

– Вот-вот, – продолжал напористо бородач, обращаясь теперь ко второму: он знал свое дело туго. – И ты, брат, тоже ведь не прочь бы сесть на свой верный «Харлей» и прокатиться с парнями до Пиренеев и обратно? Представляешь – сотня таких же, как ты, для которых не существует ничего, кроме дороги, верного байка и настоящего мужского братства? И назови мне хотя бы одну причину, по которой ты этого не заслуживаешь?! Все хотят жить достойно – и все этого заслуживают. Но почему у нас ее нет – достойной жизни? Да потому, что эти суки, засевшие в правительстве, кладут все наши деньги себе в карман. А потом зажавшиеся сынки этих сук катают наших лучших девчонок на «Харлеях» и укладывают их в свои постели – и все это на деньги, украденные у нас. Они трахают наших лучших девчонок – на деньги, украденные у нас. Не у кого-то там – а конкретно у нас! У тебя лично – вот что ты должен понять! У тебя, у меня, у него – так устроен этот гребанный мир. Только так не должно быть, верно? Наша партия как раз и выступает за то, чтобы всё было по-другому. Чтобы я, ты, он и еще миллионы таких, как мы, жили достойно, как мы того заслуживаем. И так, поверьте мне, и будет – когда мы возьмем власть! А с такими, как вы, – мы возьмем ее обязательно! И это будет не их, а наша власть, и распоряжаться ей будем мы сами – по справедливости и вместе! Вместе – вот что важно. Потому что вместе мы можем всё! Ладно... Что и как делать, думаю, понятно. Инструктор – Марти, со шрамом, вы его уже видели, – на месте еще раз объяснит. И помните: после акции каждый получит свои честно заработанные пятнадцать евро – и всего-то за полчаса работы. Да, денег у нас немного – но мы всегда работаем честно! Даю вам слово – после акции получите всё, как и договаривались.

Он поднялся, давая понять, что разговор окончен. Рекруты вскочили и бросились почтительно и наперебой жать ему руку. В их глазах, думаю, он был большим боссом революции, Почти-Чегеваррой, не иначе, – и, судя по победному выражению лица бородастого вербовщика, по его покровительственной повадке, он и сам считал себя кем-то вроде того. Рекруты ушли, однако столик бородача пустовал не больше минуты, на смену им тут же явилась новая пара.

Конвейер революции работал. Нужно было работать и мне – я расплатился и поднялся к себе.

Уже пятое утро подряд мне было неприятно это – подниматься к себе. Я обмолвился, что наверху, пятью этажами выше, спала Вероника, – так вот: я соврал.

Нет-нет, всё было бы правдой, скажи я это еще четыре дня назад: потянув тяжелую створку кованой двери на себя, я оказался бы в высоком и светлом парадном, где справа и слева радовали глаз бронзовые светильники удивительно тонкой работы, а стены украшены были замысловатым сграфитто; я миновал бы резную будку консьержа, поздоровавшись с ним и перебросившись парой стандартных фраз, я вызвал бы крохотный лифт с шаткими деревянными створками двери, а потом долго ехал бы, покачиваясь, на свой пятый этаж – и войдя, знал бы, что в далекой темноватой спальне спит, раскрывшись и разбросав себя по постели, Вероника.

Родители увезли ее оттуда, откуда сбежал и я, совсем ребенком – поэтому многих слов на языке оставленной родины она не помнила или не знала, а половину из тех, что всё-таки были ей известны, коверкала с очаровательным апломбом. Он таким и казался мне, этот апломб, – очаровательным, да и вообще – с ней мне было хорошо не только говорить, но и молчать, и молчать, пожалуй, даже приятнее.

Я всегда просыпался много раньше нее – потому, может быть, что прожил в два с лишним раза больше. Когда я выбирался из постели, она продолжала спать, но во сне каким-то образом знала, что меня уже нет, – и тут же оккупировала всё пространство кровати. В университете ей нужно было к половине десятого, и всё время сна она выбирала до последней минуты – в девятнадцать лет и вообще спит-ся чудесно!

Вернувшись, я любил постоять какое-то время на пороге спальни и посмотреть на нее, спящую. Иногда мне казалось, что я мог бы простоять весь остаток жизни, глядя, как Вероника спит, – и не заметил бы сбежавших десятилетий. Но Вероника не собиралась спать весь остаток моей жизни – пять дней в неделю ей нужно было в университете. Я варил кофе, будил ее, и мы еще успевали вместе выкурить по сигарете, прежде чем она убегала на занятия.

Еще четыре дня назад всё было бы именно так, от начала и до конца, но не сегодня – потому что вчера Вероника ушла. Часть своих вещей она забрала сразу же – за остальными обещала заехать на днях, и заодно оставить ключи. Мы даже не объяснились, как следует, но я подозревал, что это навсегда, и еще не понимал, как переживу ее уход. Я не знал даже, почему получилось так, что она

решила уйти – и ушла; я просто еще не дал себе труд как следует задуматься об этом.

Я очень привык к ней за два года, а может быть, и не просто привык, – но чтобы понять это, требовалось время. Так или иначе, в темноватой, с толстыми стенами и высокими потолками квартире старого дома я остался один, и боялся этого внезапного одиночества, и раздражался, должно быть, по пустякам – навроде вербовщика-бородача – именно по этой причине.

Единственным средством отвлечься от не самых радостных размышлений была работа. Когда-то на исторической родине я закончил переводческое отделение иняза – и, перебравшись в другую страну, обнаружил, что это вовсе не плохо. Я подтвердил диплом, а после получения местного гражданства смог сделаться присяжным переводчиком – одним из немногих. Родина продолжала выживать из себя людей, и многие «выжитые», или выжатые, или исторгнутые из ее неласкового чрева оказывались там, где в свое время оказался я, – и стремились прибиться к этому берегу навсегда.

Новая родина, к счастью для меня, была истинным бюрократическим болотом. Всё – всяческие справки, всевозможные свидетельства, любые доверенности, дипломы, сертификаты, требующие присяжного перевода, – эти чудесные капканы, повсеместно расставленные недремлющими бюрократами, – не давали мне прозябать в бездействии. Плюс к тому, я оказывал услуги живого переводчика на конференциях, симпозиумах, конгрессах и деловых переговорах – работы, одним словом, хватало и делалось всё больше, по мере того, как я обрстал деловыми связями и клиентурой.

И пусть работа эта была самой что ни на есть механической, зато благодаря ей я имел возможность исправно выплачивать кредит за чудесную квартиру в модернистском доме, выбираться в кое-какие путешествия, включая экзотик-туры, покупать не по необходимости, а по желанию, достойные вещи, да и вообще – я мог позволить себе роскошь не знать, сколько стоит килограмм мяса, картофеля или клубники, до которой я с детства был охоч... Да-да: не знать, сколько стоит килограмм хорошей говядины, и при этом питаться ею регулярно, – это тоже, черт побери, показатель! Я, если на то пошло, мог позволить себе не смотреть с тихим ужасом и сожалением на ценник качественной тряпки, которая вдруг приглянулась, а просто взять и купить ее, потому что так захотелось, – а это тоже изрядно повышает градус персональной свободы. А еще, и с определенной поры это было главным, – я имел возможность баловать кое-какими подарками юную Веро... Черт! Черт!

Я прилежно переводил до обеда, после спустился, съел биф-

штекс с кровью в ресторане «У Лолы» – и продолжил трудовой день. Да, у работы всегда есть это несомненное и проверенное тысячу раз преимущество: если заниматься ей на совесть, времени на сторонние раздумья попросту не остается.

А вечером того же дня... Вечером, который всё-таки наступил, и я сидел за барной стойкой всё того же кафе, сидел и топил свою новую свободу в частых порциях бренди, хотя и знал, что ни к чему это не приведет, и никогда не приводило, – разве что будет потом только хуже, хотя куда уж хуже... Вечером того же дня я увидел его во второй раз – худосочного парнишку с желтоватым черепом, рекрута грядущей революции.

По телевизору давали экстренные новости; бармен сделал звук громче, и я не мог не увидеть его. Во время акции протеста у здания парламента, организованной оппозицией, возникла потасовка между манифестантами и полицией, переросшая в настоящее побоище. Один из взрывпакетов, брошенный из толпы в полицейский кордон, оказался совсем не безобидным – два стража порядка получили серьезные ранения: один умер на месте, а второй – по пути в больницу. В ответ полицейские открыли шквальную стрельбу резиновыми пулями, а с близкого расстояния и при несчастливом стечении обстоятельств это чревато самыми нехорошими последствиями.

Началась давка, толпа устремилась в узкие улицы, выходившие на площадь перед парламентом, но три человека остались лежать – и одного из них я узнал с ходу. Он лежал, подтянув ноги к животу, со свернутой набок нежной шеей и кроваво-студенистым месивом в чаше левой глазницы. Желтоватый длинный череп его казался мертвым яйцом, давно позабытым на черных камнях мостовой. Резиновая пуля угодила ему в глаз. Я узнал его сразу, потому как видел не далее, как сегодня утром, на расстоянии двух метров от себя, и съемка, сделанная крупным, хоть и дерганным, планом, не оставила мне сейчас даже малой возможности ошибиться: на восковой голове покойника красовалась крупная, в форме сердечка, родинка.

Публика в баре затихла, после возмущенно загудела.

– Проклятые сволочи! – Жозеп, бармен, выругался.

– Сегодня утром этот маленький, лысый, с выбитым глазом, был в твоём кафе, – громко, стараясь перекрыть общий гул, сказал ему я.

– Вот как? Ну, я не помню, – ответил он. – Может, и был – я не видел. Разве что на террасе... Проклятые сволочи!

Впрочем, был или не был – это вряд ли имело какое-то значение. Я расслатился и вышел, чтобы подняться к себе. Дома у меня было бренди, а еще – бутылка «Джек Дениэлс», и я вполне мог продолжить пьянство в одиночестве. Сейчас мне как раз внезапно захоте-

лось его — одиночества. В тишине, приправленной мягким дымком теннессийского виски, седьмой номер, — можно было, пожалуй, и доразмышляться до чего-нибудь.

Да, однажды я был на революции, более того — я участвовал в ней и замечательно помню, как это. Плохо одетые люди с прекрасными и сумасшедшими глазами ненавидели таких же плохо одетых людей с обратной стороны баррикады и пытались причинить своим заклятым врагам «телесные повреждения различной степени тяжести» — вплоть до несовместимых с жизнью. В одной из толп этих нелепых идеалистов был и я — в продранном в недавней стычке пальтишке, с нежно-розовым шрамом от недавней ножевой раны и подгоревшей овсяной кашей в голове. Тогда я не понимал еще, что всякая революция — это бесплатная и, к тому же, смертельно опасная работа, которую плохо одетые люди делают для хорошо одетых людей. В те годы я был слишком юн, чтобы задумываться о таких вещах.

Там и тогда, в толпе яростных и слепых в своей вере оборванцев, я был занят, как и всякий другой, самым важным делом — я искал Родину. Родину искали и наши враги — оборванцы с другой стороны баррикады. Но найти ее ни нам, ни нашим врагам так и не удалось — оказывается, хорошо одетые люди давно продали ее третьим лицам. Оно и понятно: за элитную одежду, еду, квартиру, машину, дачу, любовницу, яхту — одним словом, за повышенный комфорт жизни надо платить. Вот они и платили. И мы могли разбивать друг дружке свои глупые идейные головы сколько угодно — проданной Родины от того не становилось больше.

Родины не было — вместо нее ступни обжигала чужая земля, всегда готовая плюнуть ненавистью и свинцом. Потому, возможно, я так легко и бежал оттуда? Да и что может быть проще: из одной чужой страны перебраться в другую, а потом и в третью? Вот я и перебрался — ведь так? Так всё и было? — спросил я себя.

Нет, черт побери, — всё было не так! Рассказанное выше — та чудесная версия, которую ты привык излагать самому себе, находясь в приятном подпитии, или каким-то другим людям, когда наступает миг так называемой «откровенности». Рассказанное выше — всего лишь часть правды, а значит — самая мерзкая ложь. Ты снова врешь, привычно и безболезненно ты снова врешь самому себе — потому что так удобнее. Потому что так проще.

Собственное вранье так разозлило меня, что я вскочил с дивана, куда прилег было поразмышлять, и принялся кружить раздраженным волчком по комнате. Всё было не так! Потому что до того, как я начал бежать из одной чужой страны в другие, я успел поумнеть. Поумнеть

и поработать вербовщиком – точно таким же, как сегодняшний, испортивший мне утро, бородач.

«Я никогда не думал, что стану так чувствителен» – вновь подумалось. Так и есть: было время, когда и сам я вот так – жестоко и напролом, с тем же несущим смерть хрустом – продирался через живое – и не зелень даже, а сквозь самых настоящих людей. Тот парень просто напомнил мне об этом – мой бородастый молодой брат. Да, брат – хотя я даже не знаю его имени. Дело, пожалуй, и не в зелени даже: еще до того, стоило мне только увидеть его веселые и жестокие глаза – я угадал его, родственную душу. Оттого и вся моя к нему неприязнь.

Да, так и есть: в нем я увидел себя, свою точную копию двадцатилетней давности – молодого активиста революции с исполненным веселья и жестокости взглядом. Я и был тогда весел, и был жесток – иначе с поумневшими не бывает. Работал я тогда ударно, иначе не скажешь. Никто из наших даже вполонину не мог угнаться за мной. Главное для вербовщика – умение максимально быстро и точно определить слабую точку вербуемого, ту ахиллесову пятку, ухватив за которую, ты его уже не отпустишь и будешь крутить и выворачивать, пока не возьмешь на болевой или не уложишь на обе лопатки. Как в борьбе, которой я любил тогда заниматься, – побеждаешь не силой, а умением. У меня это умение было врожденным. Секс, убеждения, ущемленная гордость, детские иллюзии, смешная зарплата, алко-гольно горящие трубы, растоптанные амбиции, задремавшая в ожидании мести – я с ходу находил их, пятки моих вербуемых, и вцеплялся в них мертвой хваткой.

«Войти в положение» – так я это называл. Нащупать главную проблему сидящего напротив тебя – за три взгляда и минуту разговора; выслушать, посочувствовать, подбодрить – и он твой с потрохами, пусть сам еще и не понял этого. Понимание, впрочем, от «мяса» и не требуется – а покупкой «мяса» я как раз тогда и занимался.

«Костя-психолог» – таким партийным прозвищем мог тогда похвастаться я. На каждого вербуемого я получал тогда эквивалент двух бутылок водки в денежном выражении – но часто обходился и половиной этой суммы. Разве не славно? Одна бутылка – один кусок человеческого мяса. Оставшаяся часть денег снова делилась на две половины, одна из которых шла моему куратору, а другую я оставлял себе – мой приварок, бонус за хорошую работу.

Об этом знали все, и это считалось нормальным, да что там нормальным – даже поощрялось. Умеешь – значит, имеешь. Наверняка так работал и сегодняшний бородач, и пятерку их тех двадцати, что полагались ему за одного завербованного, он клал себе в карман, уж

точно. А что там будет дальше с «пушечным мясом» революции, интересоваться его нисколько не должно, как не интересовало в свое время меня – с момента, когда я поумнел.

Конечно же, я знал, что может быть, предполагал, что будет, и видел, что бывало, – тем более, что у нас играли тогда по другим, не в пример более жестким правилам. Но никогда, никогда меня не интересовало, кто из завербованных мною остался лежать на черных камнях мостовой. Ни кто, ни сколько их было – оставшихся на черных камнях. Покажите мне бойню без крови, рубку леса без щепок – и я признаю, что бывают революции без жертв.

Но вспоминать об этом я все равно почему-то не любил. Эту часть своей правды я пытался вырезать напрочь из памяти – ампутация, как видно, не удалась. Всё это, казавшееся таким же далеким, как созвездие Волосы Вероники, всегда, оказывается, было рядом.

А дальше – дальше всё верно. Дальше шла разрешенная часть воспоминаний: когда те, другие, нас переиграли, проданной родины окончательно не стало – вместо нее ступни холодила чужая земля, всегда отныне готовая плюнуть ненавистью и свинцом или громыхнуть тюремным засовом, за которым – приговор и тот же свинец.

Однажды человек, которого я называл своим другом... Да, забыл сказать: после того, как мы проиграли, я уехал не сразу. Было время, я вернулся в родной город и прятался в квартире умершей за полгода до того матери. Свет не зажигал, раз в неделю после полуночи выскальзывал в ночной магазин за продуктами – и хоронился обратно. Рюкзак со всем, что может понадобиться в бегах, стоял у изголовья кровати. Вернувшись из магазина, я потягивал тепловатую водку и слушал сомнительную тишину. Страх – чувство сугубо ночное, тем более, что к утру я уже настолько был пьян, что засыпал и спал беспробудно и бесстрашно до вечера.

Как-то ночью, когда я рассчитывался через окошко с таджиком-продавцом, меня окликнули. Я дернулся было бежать – но всё же остался на месте. Я узнал голос – голос человека с моей стороны баррикады. Более того – голос человека, которого я называл своим другом. Пережив первый испуг, я, помнится, обрадовался даже – человеку-другу. Мы почти не говорили и, поочередно прикладываясь к горлышку, быстро выпили бутылку водки в ближайшем дворе уже не нашего города. Говорить не хотелось: все было понятно без слов. Прощаясь, он крепко сжал мою руку и посмотрел подбадрывающе в глаза... Вот так – сдержанно, молча, по-мужски, – и мне, я помню, даже дышалось легче, когда я возвращался к себе.

А утром, ранним утром следующего дня я внезапно проснулся,

чего никогда со мною там не случалось, подошел к окну и, глядя сквозь редкий тюль занавески, сразу увидел их: тех троих и собаку. Собственно, людей было четверо, но трое из них шли хозяевами, а один семенял чуть спереди и сбоку, то и дело оборачиваясь и виляя, как мне показалось, хвостом. «Собакой» был тот, кого я называл своим другом. Я взял рюкзак, вышел тихонько на лестничную клетку и поднялся по лестнице на чердак. Все пути отхода были изучены мною заранее. Помню, я задыхался и почти плакал тогда: я невыносимо жалел, что не убил его накануне ночью, — человека, которого называл своим другом. Все рушилось и погибало, обломками жалкими опускаясь на дно и грозя утянуть за собой. Чудом выжив, выплыв, переведя дух, я окончательно прибил к спасительной мысли: нужно бежать.

Так я оказался здесь — и с годами прижился-прикипел к этой стране намертво.

Мне нравится жить в этой стране, при всех ее минусах, — потому что плюсы значительно их перевешивают. Эта страна была спокойна (до недавнего времени) и не научилась улыбаться — даже сейчас. Эта страна давала — и продолжает давать — мне приличный кусок хлеба, и даже не прочь намазать его маслом. Я тоже стараюсь ее не обижать — принявшую меня страну. Не нарушаю закон, работаю, плачу налоги, уважаю местные законы и традиции — и не хочу ничего менять в установленном порядке вещей.

Я привык к стабильности — оказывается, подспудно я всегда к ней тяготел. Утренний кофе у Жозепа; бифштекс у Лолы днем; Париж осенью, Исландия летом и Венеция зимой; одежда от Адельфо Домингеса и обувь от Мефисто; смена не самой «народной» машины каждые три года и еще много, много чудесных обыденностей — я привык к этой славной рутине и ни за что на свете не собирался с ней расставаться. Я привык к ней настолько, что даже забыл (или запретил себе вспоминать), почему я вообще оказался здесь — пока сегодняшний день не напомнил мне об этом.

Но ведь ничего, если разобраться, не случилось — такого, что касалось бы лично меня и полюбившейся мне рутины. Ничего такого, что могло бы иметь последствия. Да, эта гребаная оппозиция, положившая на красный алтарь лысого мальчика, получила в руки дополнительный козырь — но революция, затихая и разгораясь, тянется здесь уже четвертый год, и не могу сказать, что при ней я стал жить хуже. Потому что там, откуда я бежал, всё несравненно горше, и люди, нахлебавшиеся этой горечи, продолжают оттуда бежать сюда, где местные заварушки по сравнению с тамошними кажутся играми

на детской площадке в многоцветье воздушных шаров. А пока люди бегут сюда, мне, присяжному переводчику, всегда будет хорошо.

Ничего не случилось – просто революция, от которой я в свое время скрылся, случайно и на миг приблизилась ко мне вплотную и напомнила о том, о чем я успел забыть. Ну и ладно – забуду вновь. Мне не впервой – забывать. И вообще – верно: что-то уж слишком я сделался чувствителен! Наверное потому, что Верони... Черт! Черт!! Надо выпить еще. Надо напиться в самый что ни на есть дрызг и уснуть, чтобы завтра проснуться с больной головой, но здоровой памятью, – ничего из предыдущего дня не сохранившей. Потому что он категорически не нравился мне – этот день!

Так я и поступил.

Я увидел его снова на седьмой день – своего безымянного брата, бородатого охотника за «пушечным мясом» революции. Да, минула ровно неделя, прежде чем это случилось, – и каждый день из этих семи я спускался пить кофе очень рано – совсем как в тот раз. Не знаю, делал ли я это намеренно, – скорее всего, нет. Просто после того, как Вероника ушла, забрав свои чудесные волосы с собой, я приобрел привычку вставать еще раньше, чем прежде.

По утрам было еще прохладно, как и всегда в мае, и каждый раз, выходя из подъезда, я ловил себя на мысли о том, что очень люблю эти недолгие два или три часа, когда городской воздух трезв и нешумен. Я вставал в шесть – солнце гуляло еще где-то на востоке, над морем, но было уже совсем близко, – и вот-вот, знал я, розоватый отсвет его падет на увенчанный короной фронтон дома напротив.

Иногда соседние столики были заняты, но чаще всего – нет. Я выпивал свой двойной эспрессо, курил, еще курил и, расплатившись, поднимался к себе. Консьерж улыбался из своей резной, в модернистских завитках, будки; лифт, до смешного маленький и обманчиво ненадежный, долго, покачиваясь, вез меня на пятый этаж – в квартиру, где уже не нужно было стоять на пороге спальни, чтобы посмотреть, как спит, разбросав себя на постели, Вероника.

Да, по привычке я еще двигался в квартирном нутре прежним маршрутом, но, спохватившись, отворачивал, чертыхнувшись, в сторону. Свои вещи, которые еще оставались здесь, она так и не забрала и ни разу еще не звонила. А я – я и не стал бы. И тем более не стал бы пытаться, позвонив, вернуть всё обратно. Не стал бы – хотя в начале нашей недолгой совместной жизни каждый раз, когда она убежала на занятия, я ощущал, что незримая эластичная нить, которая держала нас вместе, натягивалась всё более, начинала вибрировать,

звенеть и дрожать, и я начинал тревожиться, что вот-вот она оборвется – и что я тогда?

Однажды, всего однажды, этот страх заставил меня бросить всё и уйти вслед за ней. Поступок был против всех моих правил и железного распорядка – но я не мог усидеть дома. Торопясь к зданию Исторического, где она училась, идя улицами давно обжитого и ставшего моим города, я чувствовал себя так, как будто оказался в нем впервые. Такое случается – если нарушить привычный порядок.

А после я сидел в углу за колонной в том самом кафе, где Вероника любила бывать с подружками, – и снова тревожился, и чувствовал себя непонятным вором, – вот только не знал почему, и так был занят размышлениями на эту тему, что прозевал ее приход. Она была уже здесь, я услышал, как она смеется, и, выглянув тихонько из тайного своего угла, даже увидел ее – в окружении трех гламурных девиц и взлохмаченного по моде однокурсника-метросексуала. И снова я понимал, что совершаю запретное, а еще осознал с непонятной ревностью, что при мне и со мною она никогда не смеется так, и вообще – при мне и со мною она ведет себя совсем по-другому... И я обижался на нее непонятно за что, и радовался, что вижу ее и слышу, пусть и тайком, и боялся только, что она меня обнаружит: почему-то я очень не хотел этого. Но всё обошлось, и, возвращаясь домой, я снова пытался понять, почему, пусть временами и очень отдаленно, я ощущаю себя с ней обманщиком и вором – почему? Уж точно не потому, что я в два с лишним раза старше – это я знал наверное. И я всегда старался быть честен с ней, я не припомню, чтобы хоть раз сказал ей неправду, – так почему же я вор и обманщик? После я перестал задаваться этими вопросами, но сейчас подумал: возможно, всё дело не в том, что я говорил ей, – а в том, чего не сказал? Соврать, оказывается, можно и так – молча.

Если бы нас угораздило вдруг оказаться в революции, мы стояли бы по разные стороны баррикад – вот что я замечательно понимал сейчас. И всё это как раз потому, что я молчал там, где нужно было говорить. Я врал молча. Врал ей – и себе. Да, Вероника была совершенно права, что ушла от меня. От такого только и нужно – уходить. Дело в том, что я так и не смог ничего забыть. Я и раньше – там, в безжалостной и честной глубине, куда заглядываешь редко, – не очень-то нравился себе, а за последнюю неделю возненавидел окончательно. Нельзя жить, если ненавидишь себя, – а я, получалось, так жил.

...Я увидел его на седьмой день – собственно, прежде даже услышал. С обратной стороны живой зеленой стены припарковался микроавтобус с красной крышей, из салона которого агрессивно-угрюмо

лязгал тевтонский металлический марш. После хлопнула дверь, затрещали жертвенно кусты, шелестя погибающей листвой, — и я мог бы даже не смотреть, кто проломился сквозь живую изгородь: я знал это наверняка.

Когда он уселся за столик, с шумом подтянув его к себе, — глаза наши встретились. Вид у него был еще более самодовольный, чем в прошлый раз, да оно и понятно: после недавних событий оппозиция уверенно набирала популярность, и он, так вышло, приложил к этому не самую последнюю руку. Кстати, на руке его, заметил я, теперь красовалась одна вещица, которой не было в прошлый раз и которая изрядно диссонировала с его общим обликом: излишне и даже намеренно, как показалось мне, демократичным, — хорошие «дайверы» от Лонжин. Когда-то у меня были такие, и по свеженькому блеску браслета (у Лонжин, при всех неоспоримых достоинствах этой марки, он царапается буквально от взгляда) я с уверенностью мог сказать, что часы куплены только что. О, тщеславие, о, неистребимая тяга людская к «понтам»! Но тут же я вспомнил, что и Че, сам Че любил носить серьезные часы — причем, рангом повыше.

Вербовщик тоже сходу узнал меня — и глядел теперь куда доброжелательней, и даже кивнул, здороваясь, головой, — а больше ничего не успел сделать. Потому что в секунду, подброшенный сжатой до отказа пружиной, я был рядом с ним — и вздернул его на ноги, и, чуть отступив, врезал ему что есть силы левой, а после — еще раз. Через те же многострадальные кусты он вывалился обратно на парковку, а я метнулся за ним и снова поднял его и, прижав к красному боку автобуса, бил еще и еще, теперь уже поддых, и боялся, что удары мои медленны, слабы и недействительны, как бывает это часто во сне... На миг я перестал даже дышать — так страшно сделалось мне, что, не убив его сейчас, я после буду мучительно, до слез, сожалеть об этом.

...Опомнившись, я всё же отпустил его, и он съехал картофельным мешком на асфальт, скрутившись в калач и закрывая ладонями окровавленное лицо. Я поглядел на ударную руку — кожа на костяшках была содрана и саднила. Когда-то я не только боролся — я еще и замечательно умел драться. Я много тренировался, и на суставах образовались твердые, абсолютно нечувствительные наросты. Я мог тогда ударить в стену, в металл или в чужую голову — и одинаково не ощутил бы боли. Я и бил тогда — чаще всего в чужие головы, — не ощущая ни малейшей боли.

Но это было давно, очень давно, — сейчас я сделался слишком чувствителен.

Вербовщик лежал молча. Сквозь пальцы ладоней, которыми он закрывал лицо, на меня глядели два изумленных зеленых глаза, боро-

да увлажнилась веселой кровью. Пару или тройку раз он отнимал свои перемазанные цветом революции руки от физиономии, разглядывал их с бесконечным и каким-то детским удивлением – и прятался за жалкий их щит обратно.

Ярость моя внезапно ушла – а с нею и силы.

– Это тебе за растения, сволочь! За растения! – сказал я на языке оставленной родины, повернулся и пошел, пошатываясь, прочь. Я очень устал за эти несколько секунд, и ноги предательски дрожали. Я подумал, что сегодня обязательно позвоню Веронике.

Каталония

Михаил Этельзон

НОВЫЙ КРЫСОЛОВ

Когда продажен бургомистр,
а в казначеях – плут и вор,
бездарны канцлер и министры,
в указах глупость, ложь и вздор;
когда в политиках актрисы
и власть прогнила до основ,
когда захватят город крысы,
одна надежда – Крысолов.

Как он красив, речист, бесстрашен,
ему не ведома корысть:
«Морить, ловить, держать под стражей –
всех грызунов, не только крыс».
Уже кричат: «Пора, к ответу! –
купцы, ремесленники, голь, –
и Тех, и Этого, и Эту –
в тюрьму, на каторгу, на кол!»

Мессия, посланный Отчизне,
на ветер не бросает слов,
ведь у него крысиный бизнес
и предок был из грызунов.
У горожан не жизнь – рутина:
точить, ковать, гонcharить, печь...
поверишь черту и крестину,
когда тебе по нраву речь.

А он дудит: «Народ в оковах!»
Пророк! – и по его стопам
пойдут вперед – в средневековье,
трубя, ликуя: трамп-пам-пам!
Очнулись поздно – на рассвете,
от горожан простыл и след...

А в городе остались дети,
седой учитель и поэт.

ЭДВАРД МУНК

Видит иначе норвежский взгляд
северное сияние,
в небе природы мазки горят,
а на земле – отчаянье...

Как подобрать для «Разлуки» фон?
«Ревность» – какого цвета?
Что для «Любви» – колорит и тон?
Есть ли фактура «Ветра»?

Нет у картины нот и фонем,
звук – это Пушкин, Моцарт,
если художник – он глух и нем,
краски – его эмоции.

Тучи кровавы, под ними – ад,
волнами, эхом – мука,
небо, земля, человек –
Кричат!
не обронив
ни звука...

МЕТЁТ

...всё метёт и метёт заполняя пленяя пространства и плоскости
эта снежность безнежность не знает пощады не ведает легкости

мы увязли погрязли ослепли облипли – подснежные пятимся
не доедем домой никуда никогда не дойдем не докатимся

это северный ветер колдует и вертит – вертепом задуло нам
и метёт в рождество словно так о земле над землею задумано

исчезают мосты небоскребы дороги пороги и улицы
светофоры безумно на белые площади бельмами шурятся

и окно не окно а экран и кино перед ним как во сне сную
эта манна небесная манит как бес меня в манну словесную...

НИЦШЕ, ТУРИН, 1889*

Турин, январь, старик угрюмый –
размерен шаг, отточен слог:
Сверхчеловек уже придуман,
убит Христос, повержен Бог;
пощады нет больным и нищим,
толкни упавшего, добей,
мораль вредна, запреты лишни,
есть воля к власти, дух зверей.

Идей и планов столько было...
На площадь вдруг выходит он.
Там кучер избивал кобылу:
по шее, по глазам – кнутом.
Вот философии экзамен:
сверхкучер, лошадь, воля, власть.
И Ницше, потрясенный, замер,
готовый с лошадью упасть.

Еще ефрейтор спит в утробе
и бога чтит семинарист,
еще в изнеженной Европе
от хлорных газов воздух чист,
и миллионы не пропали
за веру, кайзера, царя,
еще народы не в опале
в гулагах и концлагерях...

А здесь, на площади Турина,
философ лошадь обнимал,
над божьей тварью, над скотиной
сходил от жалости с ума.
Сверхчеловеческая драма –
всей философии конец...
Он плакал, повторяя: мама,
твой сын глупец,
твой сын глупец...

*Инцидент с избиванием лошади произошел 3 января 1889 года в Турине. Фридрих Ницше не смог оправиться от потрясения, был помещен в психиатрическую больницу, оставался немым и неподвижным до конца жизни. Никогда больше не писал и не выступал. Умер 25 августа 1900.

ЗАПОВЕДИ

Если смолкают речи – грохочут пушки,
так затихают птицы перед грозой.
Хитрый политик, ставя другим ловушки,
в них попадая, тянет всех за собой.
Сколько познавших Библии и Кораны,
Бог у людей один – результат один:
выбор народа – деспоты и тираны,
ибо – рабы, и нужен им господин.
Сам я рабочий – раб, одевая робу,
с кучей навоза скопленной – скарабей,
в поисках зрелищ, чем бы набить утробу, –
не существует заповедь: «Не рабей!»

Прямосидящи, твёрдоупёрты в ящик,
гомо – не гомо, сапиенс – без затей –
не человек, а вечно голодный ящер,
жрущий своих соседей, жену, детей.
Дайте ему войну где-нибудь, любую,
дайте уйти от скуки и тишины –
прямо с дивана взрывами он любясь,
будет солдатом верным своей страны.
Как не сойти с ума, не сбежать, не спиться –
слиться с послушным стадом и стать глупей...
В каждом рабе бушует инстинкт убийцы,
не потому ли заповедь: «Не убей!»

МОБИ ДИК

Рыба не рыба – огромный кит...
плаваю в океане,
над головою фонтан кипит –
соль заливает раны.
Тысячи миль за моей спиной,
смерть за спиной всё чаще,
сколько сидит во мне гарпунов –
ржавых, кровоточащих.

Что тебе надобно, китобой? –
я для тебя нажива...

Не поделили киты с тобой
жизни и тонны жира.
Новый гарпун глубоко застрял,
ладно, держитесь в шлюпке,
ваш капитан, проорав – Аврал!
пьет за удачу в рубке.

Я прокачу вас в последний раз –
выверну наизнанку,
рыба не рыба – отдам, смеясь,
жизнь за детей и самку.
С кровью фонтан мой и сердца нет...
Кто там в живых? – берите.
В лампах гореть мне, давая свет,
вы же – в аду сгорите.

КИТЕЖ

И когда ты меня покинешь,
выбрав место теплей и суше,
я останусь тонуть, как Китеж,
купола над водой несущий.

Принимая и эту шалость,
опускаясь на дно всё ниже,
я умолкну, скупой на жалость,
подбирая слова, как нищий.

Без истерик, пытаюсь честно
избежать объяснений лишних,
я из жизни твоей исчезну,
только звон иногда услышишь...

Поговори со мною, календарь,
какие сроки выпали и даты,
простым числом под ложечку ударь:
не просто годом – пятьдесят девятым.
С него пошел мой жизненный отсчет,
к нему пришел я, поседев, сегодня,

не календарь, а ловкий счетовод:
ты лет моих и дня рожденья — сводня.

Ты хитрый маг, но я не чародей,
а Дон-Кихот — глупец, готовый к бою,
я, словно Лир, лишен своих детей —
так заплатил за право быть собою.
Блуждал в тиши — и слово находил,
сходить с ума и пить — немного проку,
мой календарь, дай мудрости и сил
в толпе немых искать свою дорогу.

Бегут часы, недели семят,
идут года — хромающие клячи,
куда они еще везут меня,
а может, я их сам тащу и плачу?
Благословив хомут и старый кнут,
теряя слух и зрение за пенни,
приму чужих молву и близких суд...
А дети всё когда-нибудь поймут...
Нет, не поймут...
вернее, не успеют.

Нью-Йорк, 1959+59

Владимир Салимон

На дороге в рай

* * *

Разные у всех дороги в рай.
Вспыхнув на мгновенье, как ракета,
может заблудившийся трамвай
в зазеркалье унести поэта.

Легкую фигуру у окна
еле разглядим мы в ярком свете,
так как им пронизана она,
будет, словно старики и дети,

чья материальность всякий раз
у меня сомненье вызывает,
тонкая, воздушная подчас,
плоть их созерцанью не мешает

истиной природы – воздухам,
в нежные покровы облачным,
что Господь соткал, ни чтобы срам
скрыть, но душу в коконе суконном

до тех пор, пока она вполне
не готова к дальним перелетам,
к местности рельефу, мнится мне,
и к крутым, опасным поворотам.

* * *

Красиво. Снежно. Сосны. Елки,
Но знать бы надо наперед,
не рыщут ли по лесу волки,
сюда затеявшим поход.

Чтобы случайно не нарваться,
мы стали, с поезда сойдя,
у местных интересоваться,
как бы играючи, шутя.

Народу выдать не желая
интеллигентский свой мандраж,
выспрашивали мы, вилляя,
вконец народ запутав наш.

*Конечно, зверь имеет место, —
вдруг напрямки сказнул один,
ответил прямо без подтекста —
Волк есть! Жирует сукин сын!*

*За горло взял народ жестоко.
Вы коли встретите его,
скажите:
высоко до Бога,
а до Москвы недалеко!*

* * *

Как раз, когда во тьме кромешной
звезда явилась,
в тот же миг
посередине пустыни снежной
младенческий раздался крик.

Спустя тысячелетья, эхо
его мы слышим всякий раз,
когда на паперти калека
за ради Бога молит нас,

когда за ради Бога дети
нас молят не пороть ремнем,
когда на помощь нас соседи
зовут в огнем объятый дом,

когда зажглась во мраке елка,
все стали петь и танцевать,
и мальчик в маске злого волка
лису на танец приглашать,

но прежде, чем кружиться звери
в веселом танце принялись,
как метеоры в атмосфере,
в ночи петарды взорвались.

* * *

Ветер распахнул окно
и по книжным полкам шарил,
это милое давно
я занятие оставил.

Мне хватает пары книг,
что стоят у изголовья,
и товарищей двоих
для веселого застолья.

Кто-то скажет:
Не беда,
даром ты себя не мучай,
испаряется вода!

Кто-то скажет:
Спирт летучий
утекает в облака,
а в осадок выпадает
скука смертная, тоска!

Но никто, никто не знает,
хватит, нет ли, трех аршин,
чтоб периной пуховою
среди заснеженных равнин
нам укрыться с головою.

* * *

Бог весть, откуда эти слезы?
Зимою в ветреные дни,
в сухие хрусткие морозы
из глаз ручьем текут они.

Они и в радости, и в горе,
а то — без видимых причин
вдруг хлынут,
но просохнут вскоре.

Хандра пройдет, унынье, сплин,
как будто ветром их надуло,

как в детстве свинку или корь,
против которых есть микстура,
пустяшную ребячью хворь.

* * *

На столе остались крошки хлеба,
их мы не убрали за собой.
И тогда спустился Ангел с неба,
пусть не Ангел – кто-нибудь другой.

Крылышки, головка, шейка, грудка.
Разве кто-то вправе утверждать,
что с небес нам послана голубка
лишь затем, чтоб крохи подбирать.

Вряд ли как работник общепита
нам полезна может быть она,
и не потому, что сфера быта
для существ надмирных так трудна,

а затем, что есть у сил небесных
масса дел покруче, поважней –
как-то выручать из клеток тесных,
из узилищ каменных людей.

* * *

Там теперь над проталиной вешнею
Громко кричат грачи...

З. Гунциус

1

Едем, едем, едем не спеша,
в городок, где родилась когда-то
русская заблудшая душа,
первой жертвой ставшая разврата.

Не скажу, что я ее стихи
знаю все от корки и до корки,
многие к стихам ее глухи,
видя в них заблудших душ задворки.

Я же вижу блеск и нищету
барыньки уездной,
иль мещанки,
ощувшей горечь и тщету,
очувтившись жизни на изнанке.

Дует по салону ветерок,
разметая по полу соринки.
Скоро мы приедем в городок,
где поныне варят по старинке
пастилу, которой нет вкусней!

Где наводит на дурные мысли
барышень российских хитрый змей,
что давно прогоркли и прокисли.

Он уже удавкой оплелся
вокруг шеи древа мирового,
блещет его кожа-чешуя,
будто у чудовища морского.

2

Два центра –
площадь Ильича
и храма Божьего развалины,
гора до неба кирпича,
имеющего цвет окалины.

Сравнив их с чашами весов,
жизнь на которые положена,
судьба отечества сынов,
что позабыто, позаброшено,

невольню мы потупим взор,
потупимся, как дети малые,
поскольку силы нет в упор
глядеть на кровли обветшалые.

И свежеккрашенный фасад,
предмет чинуш уездных гордости,
не скроет внутренний разлад,
масштабы пошлости и подлости.

Меж тем, от мира удаляясь,
сюда бы я бежал, наверное.
Хотя, конечно, место скверное:
в жару – пылица,
в дождик – грязь.

Вдали услышав бубенцов
раскаты, лучший из отцов,
я вождедел,
я думал –

*Зиночка,
моя тростиночка, былиночка,
в Белев приедет погостить!
Прочтет стихи, сыграет Шумана.*
О, сколько мыслей передумано –
как, для чего и нужно ль жить?

* * *

Не осталось в нем воды ни капли –
пересохло озеро вконец.
Небольшой на голове у цапли
был, как у Спасителя, венец.

Аки по суху, Господь по морю.
Цапля по песку, как по воде,
ходит-бродит.
Чем поможешь горю,
чем ей пособишь в ее нужде?

Ходит-бродит с носом, как морковь,
цапля, что давно не пьет, не ест.
Это не сухая голодовка
и не политический протест.

* * *

Жить бы да жить у края поля!
Так нет – забился на чердак,
залез в подвал по доброй воле,
в теснину горную,
в овраг.

И никакого кругозора.
О том и речи не идет,
что скоро осень – время сбора
грибов и ягод – настает.

Единственная связь с природой
и та – прерывиста, тонка:
всемерной окружив заботой,
кормлю с ладони голубка.

А он воротит нос от хлеба,
но гадит по сто раз на дно,
что крайне выглядит нелепо,
в саду загадив всю скамью.

Теперь поэту пожилому,
под вечер отправляясь в сад,
газету нужно брать из дому,
чтоб подложить ее под зад.

* * *

Мои товарищи, друзья
навряд ли место завоюют
у стен Кремлевских для себя.
Пусть не мечтают.
Не взыскают.

Честолюбивые мои,
тщеславные,
добиться славы
оставьте помыслы свои,
идя в фарватере державы!

Пойдемте в лоб,
на abordаж,

как благородные корсары,
и мир однажды будет наш,
евреи, русские, татары.

Хребет отечеству сломав,
не дав ему сожрать нас с кашей,
глядишь,
вокзал и телеграф,
а там и почта станет нашей.

* * *

В Сокольники мы ездили купаться.
Теперь, когда московской жизни дно
вдруг стало год от года обнажаться,
никто там не купается давно.

Крапивой заросли стежки-дорожки,
ведущие к старинному пруду,
и потому, увидев босоножки,
тут сброшенные кем-то на ходу,

я удивился,
услыхав ребячий
смех из кустов прибрежных рыбаков,
удящих поутру в воде стоячей
безрогих головастиков-бычков.

Я изумился, сколь упорны люди,
что заселили здешние места
еще во времена кромешной жути,
на стыке бытия и жития.

Я поразился, сколь живуча рыба,
что в мутных водах роет носом ил,
опасная, как будто вирус гриппа,
который душ немало погубил.

Когда бы время здесь остановилось,
но нет – оно идет, оно бежит.
Сквозь камень мостовых трава пробилась.
Пух тополиный над землей кружит.

2018, Москва

Евгений Брейдо

Любовь государыни

Документальная повесть

Любила его по-бабски, всей собой, засыпать с ним хотела, просыпаться каждое утро, гладить, целовать миленького Гришефишечку. Красавец мраморный, на которого ни единый король не похож, – гяур, казак, москов. Страсть как хочется приласкаться, зарыться в русые кудри, защититься от всех твоей любовью. Буду огненная, коли велишь, какая хочешь буду – только мне ласки твоей нужно, самой лучшей. Что тебе стоит! Сам знаешь – сердце ни часу не хочет быть без любви.

Писала ему, глупела, млела, растекалась вся и на себя же злилась – ведь стыдно, грех Екатерине Второй поддаваться безумной страсти. И ему самому опротивишь таким безрассудством.

Сперва хотелось, конечно, немножко пофинтарничать со своими, чтобы судачили и гадали, что у нее на уме, но только на неделю ее и хватило. Камер-юнгфера Марья Саввишина сразу заметила и шепнула на ушко Брюссе: «Это не Васильчиков, этого она иначе ведает». Да и сама не скрывала – сердце не хотело таиться. Чуть не каждый день сновали туда-сюда длинные письма и короткие записочки. «Гришенок бесценный, беспримерный и милейший в свете, я тебя чрезвычайно и без памяти люблю...»

«Правду сказать, всё Гришенька на уме. Я его не люблю, а есть такое нечто, для чего слов еще не сыскано. Алфавит короток и литер мало. Казак, москов – не люблю тебя.»

Но не только о любви писала – сразу вперемешку идут дела, заботы по обустройству неохватного самодержавного хозяйства.

Каждый день столько срочного, важного, и все нужно успеть, во всем разобраться. От Зимнего дворца до самой Камчатки не сыскать чиновницы усердней. За ней нет священного наследственного права, тронем она обязана собственному уму, удаче и расположению подданных – так что не до праздности, приходится служить. Однако для всех жизнь царицы состоит из балов, рукоделия и придворных шашней. Остальное если и выходит, то как-то само собой. Между тем ее обычный рабочий день начинается в шесть утра и продолжается до ночи. Слуги еще спят, когда она топит камин. Прилежна, упорна и

неутомима – вот что надо бы написать на гербе. Потемкин легко и жадно, с великой охотой подхватил эту ношу и никогда уже не отпустил. За ночь перечитывал бумаги, что посылала днем или приходили из коллегий, – к утру лежали у нее на столе с пометами и, где нужно, решениями. Притом что иной раз полночи играл в карты с гостями. Во всё вникал, всё на лету схватывал и норовил сам сделать. Такой другой головы на свете нету – умна и забавна, как дьявол, всякий час ждешь каких-нибудь кундштюков. И теперь самое ее время. Пора заключать мир с варварами, шесть лет уже воюем. Дошло до того, что бунт в стране, какого никогда не бывало.

Да похуже еще беда – наследник вырос. Уже отчетливо слышно грозное: не справляешься – передавай власть. Так хочет вельможество – Панины, Репнины, Воронцовы, подруга Дашкова и помельче люди. Грезится им торжественный юноша Павел с конституцией в одной руке и державой в другой, а наставляет его мудрый воспитатель Никита Иванович Панин. Интриганы, лукавые царедворцы, – они бы с самовластием Ивана поборолись, гражданских прав потребовали у Петра!

Царевна София, верно, чувствовала то же, когда повзрослел Петр, – власть, завоеванная умом и отвагой, стоившая столько трудов, сама тихо и легко ускользает из рук. История ее, правда, бесславна: жалкие попытки реформ, бессмысленные крымские походы да кровавые стрелецкие бунты.

Но она – Екатерина, самодержавная императрица, а не какая-то убогая царевна, она написала «Наказ» и выиграла войну!

Два года назад Никита Иванович с тонким придворным изяществом подставил князя – определил переговорщиком с турками. Братья Орловы схватились с Паниным, как всегда ни в чем не согласные, а тот внезапно уступил – пожалуйста, Григорий Григорьевич, сами и договаривайтесь с визирем. Только из князя дипломат, как из дерьма пуля, – негибок, нетерпелив, недальновиден. Дров он наломал, а толку – ноль. Она тогда сгоряча запретила пускать Орлова в столицу, развернула от заставы – езжай, куда хочешь, только чтоб глаза мои тебя не видели. Никита Иванович, конечно, заранее знал, что получится.

Можно было в Фокшанах договориться, хотя и французы как могли мешали, и султан не хотел ничего уступить. Но что теперь кулаками махать... Паниным не мир нужен был, а кризис. Так вот он, куда уж хуже, – и что, побеждают они? Как сказать – ведь и она у них многому научилась.

А Пугачев пока взял Казань, ему теперь прямой путь на Москву. «Маркиз Пугачев», как она его величает в письмах Вольтеру и Гримму. Сейчас не до кокетства – даже думать страшно, что может случиться. Воюют одни инвалидные команды – нету войск в центре

страны, от кого там защищаться-то?! И ведь из армии роты не пошлешь им в помощь, пока мир не заключен. Замкнутый круг. Бибилов уж так некстати умер, некого вместо него назначить, генералы все на войне. Только и остается победитель Бендер Петр Панин, Никиты Иваныча братец. Но он в Москве на каждом углу ее поносит такими словами, за которые людей простого звания сразу в кутузку, а то и к Шешковскому волокут. Ох как не хочется его ставить, тем более на их условиях. Как же это – любого человека казнить и миловать без всякого суда, по одному Петра Иваныча желанию. Он тогда диктатором становится над Москвой и лучшими губерниями. Дальше только переворот. Она, как зверь, чувствовала опасность. Вот сейчас ты и нужен позарез – генерал и кавалер, Гришатка, сударка моя! Вдвоем мы справимся, переиграем Паниных. А велишь по-царски поступать – в одни сутки всем хвост отшибу!

Панин был сибарит, державший лучшую в городе поварню; добряк, неисчерпаемый источник всякого рода знаний, великий охотник до женского полу, придворных сплетен и карточной игры, – словом, настоящий русский вельможа восемнадцатого столетия.

Елизавета Петровна назначила его воспитателем наследника престола, Петр III дал чин сановника второго класса, а Екатерина сделала графом и вице-канцлером. Однако дальше «вице» ходу не было – канцлером она была сама.

Панину не требовалось щеголять храбростью и доказывать преданность Отечеству под пулями, но твердости отстаивать свое мнение в Государственном Совете ему было не занимать. При надобности он умел точно и прямо говорить Екатерине, что считал должным, независимо от того, хотела ли она это слышать. После одной такой речи на стене отпечатался след парика, и коллеги в трудные минуты стали прислоняться к отметине, набираясь отваги.

Юный Никита, круглолицый, с румянцем во всю щеку гвардейский корнет, приглянувшись Елизавете Петровне, зорко подбиравшей нового фаворита. Он бы вполне мог занять место Ивана Шувалова, но нечаянно проспал час свидания, и в результате, стараниями последнего, был отчислен из гвардии и навсегда определен по дипломатической части. Служил послом в Дании и Швеции, читал классических и современных философов, стал масоном и проникся духом Просвещения, трудно отделимым в XVIII веке от просвещенного абсолютизма. Смолоду не отличавшийся проворством, с годами Никита Иванович стал ленив, толст и медлителен, как раскормленный домашний кот. Екатерина говорила, что быстро он только устает – и умрет, если вдруг поторопится.

Вставал обыкновенно в полдень, выпивал чашку шоколаду и до трех занимался туалетом. В половине четвертого подавали обед – до пяти обедал. В шесть ложился отдохнуть и спал до восьми. После второго туалета в Малом Эрмитаже у императрицы или где-нибудь еще начиналась игра и заканчивалась к одиннадцати. За игрой следовал ужин, а потом опять игра. Около трех часов министр уходил к себе и работал, один или с Бакуниным, главным чиновником его департамента. Спать ложился часов в шесть-семь утра.

Екатерина в это время уже была на ногах, так что встретиться им было нелегко – тут каждому приходилось идти на уступки. Никита Иваныч приходил с докладом обыкновенно раз в неделю, часов в 7-8 вечера, – это время никому не было удобно, но, во всяком случае, оба бодрствовали, хотя Панин, привыкший к послеобеденному сну, частенько зевал. Только не сейчас – речь шла о чрезвычайных мерах по противодействию пугачевскому бунту.

– Кондиции ваши с Петром Иванычем я рассмотрела, – голос Екатерины звучал как всегда мягко и приятно, улыбка была ласковой, так что почти невозможно было догадаться, до чего ненавистны ей диктаторские амбиции Петра Панина и с какой радостью она бы разорвала все эти кондиции в клочья, не хуже Анны Иоанновны, – если б только могла. – Ответ дам скоро.

Накануне, посоветовавшись с Потемкиным, они решили власти над Москвой генералу все же не давать, а для расследования пугачевских дел создать комиссию под началом Павла Потемкина, Гришиного двоюродного брата.

Никита Иваныч был в башмаках с крупными бриллиантовыми пряжками и красном, расшитом золотой тесьмой камзоле; андреевская лента горделиво перекинута через плечо. Над комзолом и лентой чуть растерянно улыбалось его мягкое лунообразное лицо с большим ртом, веселыми румяными щеками и высоким лбом, увенчанным седым пудренным париком с косичкой.

– Петр Иваныч всей душой хочет послужить Отечеству, Государыня.

– Не сомневаюсь и как никто ценю искреннее стремление Петра Ивановича в нынешних тяжелых обстоятельствах. Мне нужно, Никита Иваныч, для окончательного решения всё взвесить и ничего не упустить.

– Но в нынешних обстоятельствах мы никак не должны забывать о безопасности Вашего Величества. – Панин привстал и сделал попытку поклониться всем своим грузным телом. Екатерина отменила обычай стоять во время доклада – секретари и министры демократично сидели за столом напротив ее кресла. – Ввиду того, что нельзя

исключить наступления самозванца на Москву и возможных волнений в обеих столицах, я счел своим долгом отправить запрос к Прусскому двору и теперь получил ответ. Ваше Величество может воспользоваться гостеприимством Фридриха, когда пожелает, и на неограниченный срок – пока Петр не наведет порядок.

В голове Екатерины шла быстрая напряженная работа. Особенно насторожило это «на неограниченный срок». Государыня уже готова была вспылить, но выдержка и здесь ей не изменила. Приходилось быть хладнокровной. Первое, Панин неподкупен, послы доносят своим правительствам с великой досадой, что взятки не берет. Значит, это не иностранный заговор, а свой, домашний. Верноподданническую глупость точно нужно отбросить – Никита Иванович отнюдь не дурак, хотя иной раз может искусно прикинуться. То есть все на поверхности: они хотят отправить ее в Пруссию, а здесь пока устроить переворот в пользу Павла. Усмехнулась про себя, не подавая виду: «Ну, это, пожалуй, не страшно, таким способом меня переиграть нелегко. Но надо потом еще раз продумать, нет ли другой ловушки. С Гришефишечкой мы все распутаем.»

– Вздор, Никита Иванович! Какая Пруссия – дело государя в трудную минуту, как и во все прочие, возглавлять свой народ. Хороша бы я была, оставив на вас государство в такое время.

Весело подумала, что если им что оставить, потом этого уж днем с огнем не сыщешь. За каждым нужен глаз да глаз; однако пока полезны – отчего бы не употреблять.

– Но многие члены Совета согласны со мной по поводу Вашей безопасности, – снова поклонился Панин. Он еще не терял надежды ее уговорить. Никита Иваныч совсем не думал, что плетет заговор или интригу, он никогда не вязался бы ни во что подобное. Для него это было просто восстановлением законности. Петр III не был способен править и был справедливо свергнут, потому что народ заслуживает хорошего государя. Он участвовал в перевороте с условием, что Екатерина будет регентшей до совершеннолетия Павла. Теперь Павлу уже 20 лет, он женат, легитимен и должен царствовать. Но и он должен подчиняться законам. Закон в Империи будет один для всех – от государя до крестьянина. Кажется, он сумел вложить цесаревичу в голову главное из всего Просвещения – уважение к закону. Он был хорошим воспитателем.

Если бы только бедный Никита Иванович увидел, что вышло, когда его воспитанник стал царствовать. Императрица понимала это куда лучше своего министра, хотя предотвратить тоже не смогла.

«Надо точно узнать, кто еще думает, что мне надо уехать в Пруссию, – Екатерина несколькими штрихами нарисовала на листе

бумаги небольшую корону, повисшую в воздухе. — Завтра позову Чернышова и Вяземского — эти пока верны.»

— И речи быть не может! — сказала уже властно, с внезапно усилившимся почему-то немецким акцентом. — Передай от меня благодарность членам Совета за заботу. Но судьба мне здесь не только царствовать, но и править. Свой пост оставить не могу. А о жизни моей Господь позаботится, если нужна Ему на что-нибудь. Ступай, Никита Иванович. У меня еще сегодня кое-какие дела остались. После потолкуем.

Петр в таких случаях поднимал на дыбу, головы рубил, а она и виду не подает, что все понимает. В прусском этом аккорде возможна еще, конечно, просьба об этакой дружеской услуге: задержать ее, например, подольше в гостях, не говоря о славном примере из трагедии сочинителя Шекспира про Принца Датского. Нет, невозможно, не Фридриха и не Панина стиль — Никита Иванович благороден, а прусский король дальновиден. Но так ли благородны и умны остальные вокруг них? Задержать помимо воли — на это Фридрих еще может пойти, но вряд ли на убийство. Проверить, по счастью, не удастся. Комбинация забавная, конечно, — вот только ее этак не обыграешь. Дыба, однако, тут не годится — ей, наоборот, нужно обуздывать дикие нравы, воспитывать достоинство, уважение к закону. Да и переворот июньский без Никиты Ивановича был бы невозможен, а она умеет быть благодарной. Прямой ли это заговор или только мысли о нем — можно оставить пока без внимания, доверки же к Панину и раньше не было. Он, конечно, воображает, что всё делает во благо страны, но понимает его уж очень скучно, по-книжному. Как будто люди — механизмы, и можно из одной страны в другую перенести какое-нибудь учреждение, завести, как часы, и оно точно так же — тик-так, тик-так — будет работать.

Подумала, что ее высокоумный министр и его помощники — Фонвизин и прочие — привыкли проекты писать на бумаге, ей же приходится цапать прямо на шкурах подданных. А это материал куда более чувствительный.

У Панина в голове конституции и прочие вольности уж так прекрасны, что дух захватывает, только если наружу оттуда выйдут, много крови прольется. Не нужны они в России. Ничего кроме смуты не вызовут, никому не пригодятся. Вон как хорошо в любезной Никите Ивановичу Швеции — кому в парламенте больше заплатим, такой закон и примут. Сам же покупал народных трибунов оптом и в розницу. Еще лучше в Польше — от страны уже добрую треть откуси-ли, того и гляди остаток конституционной этой монархии проглотим. Неужели он для России того же хочет? Театральная декорация иной

раз завораживает — так красива, и всё на ней как настоящее, но ведь понятно, что это бутафория и после представления ее снесут в чулан, а для нового другую нарисуют. Только Панин в свои декорации верит свято, как ребенок в волшебную сказку. Посмотреть, что иной раз за ними прячется, и в голову не придет. Интриг его она не боится — слишком простодушны, хотя всё равно нужно быть настороже, чтобы нечаянно не зевнуть в придворной партии фигуру.

Да, вот что еще плохо. Цензоры доносят, что Куракин, панинский близкий друг, ругает в письмах русские порядки в хвост и в гриву. Не может быть, чтобы не говорили того же у Никиты Иваныча. Она не так давно написала двухтомную отповедь на книжонку аббата Шаппа, в которой он Россию поносит. Не пожалела ни сил, ни времени — так задело. Но это — французский аббат, а почему свои? Уму непостижимо.

С другой стороны, вице-канцлер умеет правильно выстроить отношения с иностранными послами, вовремя заметить чужую комбинацию и свою придумать, толково составить нужную бумагу. Другого такого не сразу сыщешь. Сколько понадобится, столько он ей и послужит. Пусть пишет свои конституции. Только теперь соперником Панина во внешнеполитических делах будет уже не Гриша Орлов, а Потемкин.

Огромный, громоздкий, как Статуя командора, с шапкой нечесаных русых волос, с выпирающей наружу силой, он был удал и ловок на просторе, в степи или военном лагере, а в небольших дворцовых покоях среди изящных маленьких безделушек — неуклюж и на первых порах застенчив. Мог неловким движением сломать дверную ручку или тонкой работы вещицу, нечаянно попавшую в руки. На собраниях в малом Эрмитаже среди почтенных сановников грыз ногти, приходил частенько с репкой или яблоком. Правда, кто знает, была ли то робость или просто царственная рассеянность?

Бог не дал Григорию Александровичу нежного изящества Аполлона, зато не пожалел мощи и богатырской красоты Геркулеса.

Породистое, властное, крупной лепки лицо не портил даже безжизненный правый глаз — хватало и левого, в минуты гнева или радости сверкавшего настоящим синим пламенем. Всюду обращал на себя внимание, от всех отличался и везде казался бы нелеп, если бы не был главным. Нельзя было даже вообразить себе Потемкина тянущим лямку в малом чине в провинции или затерянным в толпе придворных — он мог быть только баловнем судьбы, иначе его бы вовсе не было. Частые перемены настроения точнее всего выражала подетски капризная линия сочного рта с ямочками по бокам. После

взрывов неукротимой энергии, когда за несколько месяцев на пустом месте, как по щучьему велению, возникали город, крепость и порт с эскадрой, Григорий Александрович погружался в знаменитую свою хандру, неделями не показывался на людях и ничего не предпринимал. Тогда он сам себе казался ничтожен и ни на что не годен; неприкаянный, слонялся по комнатам, не в силах принудить себя ни к какому занятию. Только молился и всерьез собирался постричься в монахи. Всесильного министра и наместника будто и не бывало, зато вдруг поднимал голову маленький, жалкий, зашуганный человек; всё, чем князь Потемкин гордился, этого человечка пугало, что он делал обычно за несколько дней – тот бы и за всю жизнь не успел, что преодолевал, не задумываясь, – для него было вовсе непреодолимым и приводило в отчаяние. Но лицо его оставалось отрешенным, равнодушным и непроницаемым; оттого именно в таком состоянии Григорий Александрович внушал окружающим особенную робость.

Вахмистр Потемкин в первый раз увидел Екатерину во время переворота, когда вывел свой Конный полк для присяги новой государыне. Сделать это было не так и трудно – за полгода царствования Петр III всех достал прусскими порядками и планами присоединения Российской империи к Голштинии, – а перевороты солдатам были привычны. Императоров тогда выбирала гвардия. Правда, у самого Потемкина место было неплохое – ординарец при новом командире полка, царском дяде, специально выписанном из голштинского отечества и тут же пожалованном фельдмаршалом. Взяли за высокий рост и знание немецкого, поскольку фельдмаршал, кроме родного, ни на каком языке не говорил. Но разве о такой службе он мечтал! Из вахмистров без войны и в младшие-то офицеры едва выслужишься лет за десять. А на войну не приведи бог попасть с таким командиром. Поэтому, едва услышав о заговоре, Потемкин потянулся к Орловым. У братьев в Конном полку своих людей не было, так что пришелся он очень кстати, и два Григория быстро сошлись.

Вышло удачно: получил сразу и офицерский чин, и придворный камер-юнкерский, и четырехста крестьянских душ, а главное, Катерине он приглянулся. И она ему. Да так сильно, что больше ни о ком думать уже не мог. Чего тут было больше – пылкого мужского желания или молодого честолюбия, он и сам, пожалуй, не знал. Хотя тогда чуть не все гвардейские офицеры были влюблены в императрицу – или притворялись, что влюблены.

Государыня была в лучшей своей поре: походка ее казалась одновременно легкой и царственной, кожа восхитительно белой, ярко-синие навывкате глаза сверкали огнем и лукавством. Обожала

смеяться до упаду и с легкостью переходила от резвого детского веселья к шифровкам и заговорам, причем в предчувствии опасности становилась отважна, как венгерский гусар, опьяненный атакой. В обращении Екатерина всю жизнь оставалась проста и сердечна, хотя смолоду умела не только очаровать, но и нащупать слабое место собеседника. В мягком тембре ее голоса с легким акцентом, в манере держаться и разговоре, всегда ровном и естественном, было столько же шарма, сколько в ней самой сладкой женской прелести. И всё же невозможно сказать, что притягивало к ней сильнее, — чарующая женственность или непобедимая магия власти.

Тон при ее дворе — пышном, веселом и блестящем — задавали красавицы-фрейлины и молодые генералы. У всех были в памяти славные дни восшествия на престол, когда решительность и быстрота сами по себе были разумом. Зеленый преображенский мундир шел Катерине даже больше, чем Елизавете Петровне, а в седле она держалась не хуже кавалерийского офицера. Когда обворожительная наездница с выбивающимися из-под офицерской треуголки шелковыми темно-русыми волосами возникла перед гвардейцами как дерзкая тайная мечта во плоти — то ли царевна Фелица, то ли сама богиня Афина-Паллада — у кого дух не захватило от восторга, кто не захотел немедленно отдать за нее жизнь?!

Теперь Григорий бывал при дворе и каждый раз, завидя императрицу, валился на колени, искал поцеловать руку и объяснялся в любви. Она, смеясь, проходила мимо. В чинах продвигала легко, как своего, так что на турецкую войну отправился уже генералом. Воевал дерзко и отчаянно: его кавалерия не выходила из боя. За пять кампаний этой медленной ожесточенной войны Потемкин сделался первоклассным начальником конницы — бросался в самые рискованные схватки, решения принимал мгновенно, но и удача всегда была с ним. Запорожцы, а за ними остальные, быстро смекнули, что, как ни странно, безопасней всего там, где их одноглазый генерал.

Зимой 73-го года после бомбардирады Силистрии и Руцукá армия ушла за Дунай на зимние квартиры. К тому времени минуло двенадцать лет его безответной влюбленности. И вот, когда перестал уже надеяться, поманила из армии лукавым письмецом:

«Господин Генерал-Поручик и Кавалер, Вы, чаю, столь упражнены глазеньем на Силистрию, что Вам некогда письма читать. Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то Вас прошу по-пустому не даваться в опасности.

Вы, читав сие письмо, может статья, сделаете вопрос, к чему оно писано? На сие Вам имею ответить: к тому, чтоб Вы имели

подтверждение моего образа мысли об Вас, ибо я всегда к Вам весьма доброжелательна.»

И росчерк – Екатерина. Казалось, сердце от восторга выпрыгнет наружу! Как маленький мальчик, сияя и смущаясь от неожиданной радости, робко целовал письмо и подпись, а потом мчался на привычном ко всему донце, оглашая дикими криками степь!

И долго-долго смотрел на аккуратный плотный лист бумаги с ровными изящными буквами. За эти годы Потемкин неплохо узнал характер государыни и теперь не сомневался: он ей нужен.

Роман у них разгорелся не сразу. Григорий остановился у сестры, бывал во дворце, отправлял свою камергерскую уже должность, однако ничего не происходило. С Екатериной виделся часто, была она ласкова, но и только. Так прошел месяц.

Как вдруг Григорий Александрович объявил, что мирские дела ему более не интересны, поскольку готовится к пострижению, а пока живет послушником в Александро-Невской лавре. Наступило время потемкинской хандры; сколько там было притворства, а сколько настоящей душевной немочи, – бог весть. Но едва он заперся в монастыре как в крепости, началась осада по всем правилам придворной военной науки. Золоченые кареты нескончаемой чередой по несколько раз в день шли на приступ, графиня Прасковья Брюс, в обиходе Парас, а за глаза Брюсша, наперсница государыни по сердечным делам, возила туда-сюда условия почетного выхода гарнизона со знаменами и полным боекомплектom. Наконец, приехал важный статс-секретарь Елагин сообщить, что капитулировала императрица. Потемкин поехал во дворец договариваться об условиях сдачи.

– Катенька, сколько ж их у тебя было? Люди сказывают, пятнадцать. Верно ли? Всё одно, последним хочу быть.

Она вспыхнула, потом засмеялась.

– Нет, неверно, пустое, Гришенька, люди говорят.

В уголках губ спряталась игривая усмешка.

– Ладно, делать нечего, всё расскажу, только дай времени немного. А беспокоиться тебе не о чем, равного тебе нету.

Ушел, и вдруг поняла – вот человек, которого всю жизнь ждала, такой и должен быть рядом. Могучий, умный, смелый, если что – не смутится и царским титулом, и не просить будет, а требовать отчета. Требовать не как любовник – как муж и господин. Эта неожиданная мысль изумила ее – странная блажь взбредет иногда в голову. Они так еще мало знакомы. Да и не в том дело. Вон что вышло с Орловым. Только заикнулась – и тут же получила безукоризненно-точный, будто удар рапиры, ответ Никиты Панина: «Императрица может

делать, что ей заблагорассудится, но госпожа Орлова никогда не будет русской императрицей». И члены Совета согласно кивали. Но мысль сама по себе отнюдь не была неприятна.

Задумчиво прошлась по комнате, повертела фарфоровую немецкую Минерву, которая только что была у него в руках, и села писать чистосердечную исповедь. Так назвала письмо – собственно, это она, исповедь, и была.

«Марья Чоглокова, видя, что через девять лет обстоятельства остались те же, каковы были до свадьбы, и быв от покойной Государыни часто бранена, что не старается их переменить, не нашла иного к тому способа, как обеим сторонам сделать предложение, чтобы выбрали по своей воле из тех, кои она на мысли имела. С одной стороны выбрали вдову Грот, которая ныне за артиллерии генерал-поручиком Миллером, а с другой – Сергея Салтыкова. По прошествии двух лет Сергея Салтыкова отправили посланником, ибо нескромно себя вел.»

Екатерина отложила перо. Попыталась вспомнить Салтыкова – 20 лет прошло, красивые черты расплывались в памяти. Его послали тогда в Швецию с известием о рождении Павла Петровича, потом посланником в Гамбург, потом еще куда-то. После Переворота объявился в Петербурге, она тотчас велела выдать ему 10 тысяч рублей и назначить полномочным министром в Париж. Видеть его было незачем, да и Григорий Григорьевич ревнив. Сколько ж она слез пролила 20 лет назад! А теперь даже вспомнить не может – пустое место.

«По прошествии года и великой скорби приехал нынешний король Польский – глаза были отменной красоты, и он их обращал (хотя так близорук, что дальше носа не видит) чаще на одну сторону, нежели на другую. Сей был любезен и любим с 1755-го до 1761-го. Но трехлетняя отлучка – с 1758-го – и старательства князя Григория Григорьевича переменили образ мыслей.»

Воспоминания о польском короле были приятные. Она расцвела и очень похорошела после родов, так все говорили, и сама чувствовала. Испытать новые женские чары на двадцатитрехлетнем европейском петиметре оказалось куда как весело. Тогда же, с английского посольства, где ненаглядный пан Станислав служил секретарем, началась дружба с Бестужевым и первые политические планы. Она научилась завоевывать людей и добиваться своего умелым расчетом, любезностью и деньгами, а вовсе не силой. Бестужев был нелегким, но хорошим учителем. Станислав, кажется, влюбился в нее сильнее, чем она в него. Или у него был свой расчет? Тоже хотел вернуться в Петербург после Переворота – зачем? Что ж поделать, если совсем

другим людям она обязана троном и любила уже другого. Слишком много времени прошло. Зато она сделала его королем! Ну, почти настоящим. А сколько русского золота осело в шляхетских карманах, кто ж считает. Да и корпус, вовремя придвинутый к польским границам, очень повлиял на настроение Сейма. Переходить границу было не велено, регулярные части и не переходили, а казаков разве удержишь, если можно пограбить и порубить ненавистную шляхту?! Иногда и сила бывает полезна. Так и царствует под присмотром посла Репнина и по ее указке. Станиславу, конечно, не удержать Польшу – Россия, Пруссия и Австрия уже начали отрезать от нее куски и окончательно разорвут на части; это несправедливо и неправильно, но в ее интересах. Да и дядюшке Фрицу больше нечем заплатить за услуги в турецкой войне, а ей нужен выход к Черному морю.

Екатерина снова обмакнула перо в чернильницу:

«Сей бы век остался, если б сам не скучал. Я сие узнала в самый день его отъезда на конгресс из Села Сарского и просто сделала заключение, что уже доверки иметь не могу.»

Слезы брызнули сами собой, помимо воли. Она их не сдерживала и через минуту рыдала в голос. Обычно ясное, спокойное ее лицо заволокло морщинами, слезы текли по щекам прямо в рот, судорожно их сглатывала и еще пуще рыдала. Ну и пусть, пока никто не видит и не слышит. Ах, Гришенька, князь Григорий, Орлуша, сумасброд, дурак, гордец, сорвиголова, гуляка, пьяница, павлин, нежный мой, преданный по гроб человек! Что бы ты ни сделал, не стала бы я императрицей без тебя с братьями.

Встала, прошла по комнате, успокаиваясь. Но и сделанного не воротить. Зачем-то стала переставлять разные вещицы на письменном столе, взялась за серебряную чернильницу, потом отодвинула ее от себя, несколько раз вздохнула. Попробовала улыбнуться, не вышло, так с гримасой легкого недовольства и села писать дальше:

«Мысль эта жестоко меня мучила и заставила сделать кое-какой выбор, но оказался он и успешным и опрометчивым, так что вплоть до нынешнего месяца я так грустила, что и не высказать, и кажется, с рождения столько не плакала, как эти полтора года. Сначала думала – привыкну, но что далее, то хуже, ибо с другой стороны месяца по три дуться стали, и признаться надобно, что больше всего довольна была, когда осердится и в покое оставит. А ласка его меня плакать принуждала.»

Екатерина вспомнила, как Васильчиков ставил к дверям караульных гвардейцев на случай, если Орлов вдруг вернется. Легкой озорной походкой пробежала через комнаты и выплянула наружу из своих покоев – караульные за дверями вытянулись в струнку и сделали «в

ружье». Сдерживая смех, она так же легко прибежала назад и уже у себя заливиисто расхохоталась. Вот только сейчас отпустило.

«Потом приехал некто богатырь. Сей богатырь по заслугам своим и по всегдашней ласке прелестен был так, что уже говорить стали, что ему тут поселиться, а того не знали, что мы письмецом сюда призвали неприметно его, однако же с таким внутренним намерением, чтоб не вовсе слепо по приезде его поступать, но разбирать, есть ли в нем склонность, о которой мне Брюшша сказывала, то есть та, которую я желаю, чтоб он имел.»

Императрица улыбнулась собственным мыслям – а сыщется ли еще на всем свете женщина, которая может выложить возлюбленному всю правду о себе вот так прямо и просто? Да еще в письме, а не в разговоре с глазу на глаз? Ни одна из ее фрейлин и придворных дам на такое точно неспособна. Что ж, теперь твой черед, милуша, быть этой женщины достойным:

«Ну, господин Богатырь, после сей исповеди могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих? Изволишь видеть, что не пятнадцать, но третья доля из сих. Бог видит, что не от распутства, к которому никакой склонности не имею, и если б я в участь получила смолоду мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась. Беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви. Сказывают, будто сие происходит от добросердечия, но статься может, что подобная диспозиция сердца более есть порок, нежели добродетель.»

На секунду остановилась и решительно дописала:

«Если хочешь на век меня к себе привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви, а наипаче люби и говори правду.»

Его комнаты во дворце были точно под покоем императрицы. Соединяла их ажурная винтовая лестница, покрытая зеленым ковром. Такая же была между кабинетом Людовика XV и будуаром маркизы Помпадур – зеленый в ту эпоху считался цветом любви. Обычно Потемкин появлялся под вечер – в халате, туфлях на босу ногу и розовом платке, повязанном сверху как флаг на грот-мачте шутовского пиратского корабля. Входил всегда внезапно и стремительно, заставлял ее как бы врасплох, обычно пишущей что-то спиной к нему за своим любимым секретером. Не сдерживаясь, как дикий зверь обхватывал сзади нетерпеливыми чуткими лапами, упоенно целовал шею, уши, волосы, разворачивал всю к себе, осторожно, с опаской и нежностью, сжимал в объятиях, и сливался с ней, наконец, в нескончаемом и неистовом поцелуе. Она таяла в его могучих звериных лапах, подчинялась их мягкой власти, утопала в

них и проваливалась в ласку, как в сладостную убаюкивающую дрему.

Первые прикосновения вызывали в нем тревожное яростное желание; Катерина уступала с готовностью и тайным восторгом, а дальше уже невозможно было оторваться друг от друга. Он ласкал ее одновременно нетерпеливо и умело, как будто это было их первое и последнее свидание. Они долго самозабвенно сливались в одного неуклюжего двухголового зверя, ненадолго разъединялись, переводя дух, и снова упивались самым бесстыдным плотским блаженством. Гриша чувствовал все ее оргазмы, помнил каждое выражение ее лица в этот момент, вскрики, возгласы, собственное неистовство, а сладкое послевкусие жило в нем потом еще несколько дней. Он ждал двенадцать лет и теперь не мог ничего упустить. В это время она была вся, без остатка, — его, в сладостной любовной битве не было титулов, неравенства и побежденных.

Потом пили чай. Государыня любовалась своим милушей, батинькой, Гришефишечкой. В замыслах дерзок без удержу, душой и умом смел, и главное, он ей равен. Видела себя точно в зеркале в мужском богатырском обличье, хотя с девичьим нежным румянцем. А глаза у него голубые и волосы русые — как у нее. Потемкин лицедействовал. Изображал придворных, министров, генералов, в точности копируя голос и манеру — Екатерина корчилась от смеха. Вдруг оказывался в два раза меньше, показывая ее любимого острослова Левушку Нарышкина, разваливался в креслах медленным валяжным Никитой Ивановичем Паниным, а то становился лицом серьезен и строг, запахивал халат как мундир, сверкал единственным глазом, перевоплощаясь в своего начальника по турецкой войне Румянцева.

Роста они были примерно одного; Потемкин на полвершка длиннее и поразмашистей в плечах, но Румянцев голову нес высоко, смотрел орлиным взором, спина прямая, плечи развернуты, и оттого казался выше, осанистей. Гриша выпрямлялся, вытягивался и начинал громовым румянцевским голосом: «Ваше Императорское Величество», продолжал своим — «матушка-госудырыня», дальше опять румянцевским, но с ужимками и протесткой прямокой старого солдата (прямо фельдмаршал бывал, но никак не прост — верный ученик Фридриха Великого, он никого не любил, дисциплину поддерживал палками и был одним из лучших собеседников просвещенного века): «Войну прямо сейчас можно закончить — новый султан хочет мира и воевать ему нечем: после дела при Козлудже у визиря едва тысяча человек наберется. Не принимай посредничества ни австрийцев, ни пруссаков, а дай мне свою инструкцию и полную мочь заключить с турками мир. Если из Петербурга всем руководить

и дипломатов засылать к визирю, еще два года провозимся, не меньше.»

Екатерина благодарно смеялась – за годы совместной службы Потемкин изучил манеры Петра Александровича в совершенстве и теперь выглядел и говорил точно, как Румянцев-Задунайский. Потом стала серьезна. Сказала, подумав: «Что ж, ты прав. Так лучше будет и вернее. Давай составлять инструкцию».

– Она простая, Матушка. Крым оторвать от султана, пусть побудет пока независимым, кораблям плавать беспопылинно через проливы, а что завоевали в черноморской степи – то наше. Ну, Дунайские княжества – ладно, можно и вернуть туркам, если император будет настаивать.

– Давай писать, Гришенька, пункт за пунктом. Только какие же корабли – нету у нас там пока кораблей.

– Сей час и напишем. Нет – так будут. Жизнью клянусь – если будет твоя воля, построю флот на Черном море. Да, еще чтоб не забыть. В делах веры мы для всех православных христиан в Османской империи будем теперь главным арбитром.

– Клятву сдержишь, знаю. Как Петр Великий на Балтийском, выстроим флот на Черном море. Будут там ходить корабли под нашим флагом. Только бы нам обоим дожить. Но турки тогда захотят, чтобы татары подчинялись султану в мусульманских делах.

– Ну и пусть, Голубушка моя. Ненадолго это. Поменяем нынешнего хана на его же двоюродного брата, он из себя прогрессивный, в Европу смотрит, а потом этот Шахин-Гирей отречется в твою пользу. Денег много дадим, но если заупрямится, можем и силой заставить. Только это всё не сразу будет, не в один год. Крым нам непременно нужен, Матушка, переломим хребет дряхлому ханству, завершим победой старинную вражду. Набеги прекратятся, на невольничьих рынках русских не будут продавать в рабство. Люди заживут безопасно в первый раз лет за четыреста. Прибытков оттуда не жди, но тебе будет спокойней. А для прибытков мы на Черном море торговые города построим, корабли с зерном, лесом, мехами, кожей, да бог еще знает с чем, поплывут оттуда по всему свету.

– Добро, Гришенька. Быстрее надо заключать мир. Пугачев в Казани.

– Дадим полную мочь Петру Александровичу, оно и сладится. Еще, голубушка, напиши ему, чтобы как только мир заключат и начнут перебрасывать войска против Пугача, вперед войск посылать туда генералов, которых от службы можно оторвать, чтоб командовать тем, что есть.

Государыня отпускала его обычно в одиннадцатом часу. Шел к

себе счастливый, но и с досадой: всё в рамках, по расписанию, и его на полочку поставили, на место. Хотя и понимал, что место его – у нее на сердце.

Только пару месяцев прошло, как Дидерот отправился в обратный путь. Аудиенции перед отъездом она ему не дала – терпеть не может прощаться. Конечно, теперь в Европе начнут чесать языками – почему, что случилось? Хотя и жить без оглядки нельзя, а толку от этого всё равно никакого. Первое время после переворота – или, как говорят при некоторых дворах, Революции 62-го года – она их всех очень звала в Петербург. Дело не в одной политике, просто хотелось видеть здесь французских небожителей – кумиров ее затворнической юности. Начала с Вольтера – тот галантно отказался. Д'Аламберу прочила место воспитателя Великого князя – не захотел.

Дени бы тоже вряд ли добрался до Петербурга, если бы дела у него шли получше. Но выпуск Энциклопедии – занятие хлопотное и безденежное, а дочке нужны учителя, приданое, вот и пришлось продавать библиотеку. Только как жить философу без любимых книг? Она ее купила и оставила хозяину, да еще самого наняла библиотекарем с пожизненным жалованьем. Которое и уплатила за пятьдесят лет вперед. Дидерот приехал – конечно, наполовину из благодарности, наполовину из любопытства. Пусть так, только если бы на шесть-семь лет пораньше, когда она еще была полна иллюзий! И не было ни войны, ни пугачевского бунта. Писала тогда «Наказ», комбинируя Монтескье с Баккария, и кокетливо примеряла лавры Солона. Вот как должна выглядеть ее слава. Увы, отрезвление пришло быстро – желающих разделить реформаторский пыл среди депутатов специально для того созванной Уложенной комиссии почти не нашлось. А теперь – Пугачев. Этот тяжелый мужицкий урок еще долго учить. Оказывается, увлекшись теориями, она многое упустила в стране. Философские доктрины весьма уместны в салонах, а как руководство для государей – опасны, могут погубить не только правителя, но и всё царство. Причем не так важно, что за доктрина, – по какой станешь править, та и погубит.

Он выглядел совсем не так, как ожидала: порывист, не сдержан, будто и не великий Дидерот, а не по возрасту пылкий старый мальчик. Да еще почему-то одет в черное, словно нотариус. Правда, живое изменчивое лицо с огромным лбом и внимательными карими глазами пришлось ей по вкусу. Но она тотчас забыла о внешности и манерах своего гостя, едва он заговорил.

– Ложь не страшна Вашему величеству, пока рядом философ, – заверил ее Дени в первую встречу.

– Как вас понять, господин Дидерот? – спросила с интересом.

– Я говорю не столько о том, что не стану лгать и бездумно поддакивать Вашему величеству, – он поклонился с достоинством принца крови, – но главным образом о том, что если Вашему величеству будет угодно, Вы можете использовать философию как полезный инструмент на Вашей службе. В ней самой есть критерии, позволяющие распознать истину и отделить правду от лжи. Если Ваше величество захочет воспользоваться ими, Вы никогда не будете обмануты и всегда будете вооружены против лжи, – он говорил с такой страстной убежденностью, что не поверить было невозможно. В середине речи Дени попытался было сдернуть с себя парик, но внезапно вспомнил, где находится, и сделал вид, что поправляет развившийся локон. Бинет пока остался на голове.

Она ни минуты не сомневалась, что всё это вздор; лучшее средство против лжи – здравый смысл и дотошное внимание к деталям, а вовсе не философские теории. Но всё равно слушала с восторгом – его монолог завораживал, как в театре.

– Эта дверь будет открыта для вас, господин Дидерот, – движением руки указала на дверь, в которую он вошел час назад, – всякий день с трех до пяти пополудни.

В следующий раз на ней было простое платье из серого шелка. Из драгоценностей только серьги с изумрудами – подарок Орлова, и два любимых кольца, с которыми никогда не расставалась. Не хотелось, чтобы одежда как-то напоминала о сани. А в таком наряде почти и не чувствовала себя царицей. Философу заказала придворный костюм, хотя ему это всё равно, хорошо еще, если догадается надеть.

– Чтобы страна быстро и успешно развивалась без угрозы тирании или сползания в анархию, ее государственность должна покоиться на мудрых законах, – вещал Дени.

– Где же существуют такие законы?

– В Англии, сударыня, – с пафосом отвечал Дидерот. – Английские законы просты и доступны каждому. Сам народ как бы становится хранителем законов.

– Вы бывали в Англии? – ее развеселило это бесхитростное панибратское «сударыня». Хорошо еще, что нет никого из придворных – то-то было бы шуму. Но что значит для небожителя земной императорский титул, даже если он признает просвещенную монархию лучшим государственным строем?!

– Нет, но я выучил английский, чтобы читать в подлиннике Локка и Гибона. А про британское право мне рассказывал Гельвеций, он жила в Лондоне.

Смеялась незаметно, одними губами. Намеков не понимает и

двусмысленности не чувствует, зато точно знает, что философия все-сильна. Да, без энтузиастов было бы скучно, вот только пользы от них немного. Английских законов в Россию не выпишешь. Да и кто будет по законам-то жить? Люди живут как привыкли, по старинным правилам, по дедовским обычаям.

— Между монархом и народом существует договор, о котором писал Руссо, его нарушение — первый шаг к деспотизму, а уничтожение — последний шаг, за ним рано или поздно следует бунт чудовищной силы, который иначе зовут революцией, — и смена миропорядка. Только бы не видеть этой перемены и вообще в это время не жить.

Дидерот остановился. Продолжал уже совсем иначе, тоном человека, вдруг заглянувшего в бездну:

— Когда общество не эволюционирует постепенно, а взрывается, как боевая граната, и меняется в одночасье, потоки крови могут залить целую эпоху. Поэтому куда лучше, если монарх сам уступит ту часть власти, которую готов доверить просвещенным подданным. Причем границы уступаемого должны быть обозначены очень ясно и закреплены законом. Тогда люди будут чувствовать себя свободными, а страна уверенно процветать. Но лучше всего, когда еще нет законов, учреждения не созданы и всё можно начать с чистого листа. Исправлять гораздо сложнее, чем строить заново.

Слушала, как слушают лекцию, — ей всегда нравилось учиться, а живых учителей не было, только книги. Он снова был «на коне», в восторге закатывал глаза, мысли сменяли друг друга, как картинки в калейдоскопе; от минутной печали, когда пророческий дар вдруг приоткрыл далекое от книжной премудрости будущее, не осталось следа.

Отчасти он прав, не про власть, конечно, а про свободу, хотя нужна не столько она сама, сколько иллюзия, — человек должен просто чувствовать себя свободным. Однако такую иллюзию можно создать и не уступая никому власти. Собственно, этим она и занята. Правда, у свободы есть границы, но иначе не бывает.

Дидерот чувствовал себя в ее кабинете совершенно естественно и, по словам подруги Дашковой, был от своей собеседницы в восторге. Екатерина Романна показала письмо, полученное накануне: «Чары Клеопатры как-то уживаются в ней с душой Брута. Никогда не встречал человека, который бы умел так влюблять в себя людей».

Что-то подобное и хотела услышать.

Конечно, для Дидерота все упирается в освобождение крестьян. Освобождение рабов, как он говорит. Так думают все энциклопедисты. Они в первый раз заговорили об этом на третьей или четвертой встрече:

– Без отмены крепостного права прочие реформы лишены смысла. Отсюда все начинается – а дальше одно следует из другого.

– Только не в России. У нас одно совсем не обязательно следует из другого.

– Но прикрепление крестьян к земле – нерационально, потому что убыточно, – он изо всех сил стиснул ее запястье.

– Господин Дидерот! – она вскрикнула, безуспешно пытаясь освободить руку. Однако философ, увлеченный собственной мыслью, ничего не слышал – пришлось пока покориться.

Рациональность – основа их веры. Если что-то кажется нерациональным, это нужно заменить тотчас, ни минуты не мешкая и не обращая внимания ни на какие преграды. Очень красивая мысль – но в человеке столько намешано рационального и иррационального, разумного и пустого. Вот он и устраивает разные институты то так, то эдак.

– Благосостояние нации может основываться только на свободном труде, – продолжал Дени и, как бы завершая высказывание, ткнул ее кулаком в бок.

После этого велела поставить между ними стол, иначе руки и бедра были все в синяках. Но ее это ничуть не раздражало, скорее забавляло. Гений, что ж поделаешь, приходится терпеть.

Беда в том, что для Дени существуют только его теории. О России он ничего не знает, да ему и не нужно. Однако в реальной жизни все определяют не теории, а конкретные обстоятельства.

Она сама столько писала о рабстве в первых редакциях «Наказа». Хоть сейчас вспомнит на память. Вот, пожалуйста: «Если крепостного нельзя признать персоной, следовательно он не человек; тогда извольте признать его скотом, что к немалой славе и человеколюбию нам послужит».

Беда в том, что русские землевладельцы и слышать не хотят ни о каком освобождении крестьян. Даже драматург Сумароков в ужасе замахал руками: «Скудные люди ни кучера, ни лакея, ни повара иметь не будут. Такого и вообразить нельзя.» Для сановников, аристократов, дворянства – это вековой дедовский порядок, надежный и прочный. У нее есть два главных сословия, беззаветно преданных престолу, – дворянство и крестьянство. И сейчас, несмотря ни на какие бунты, государство прочно стоит. Как этот порядок вдруг взять и разрушить? Не может она идти против всех. Петр – тот мог, знал, что помазанник Божий, она же царствует по желанию подданных. Ее средство – только любовь, а то к воскресенью в Неве утопят. С ней один Гриша Орлов согласился, да и то потому, что едва ли расслышал: «Катюш, ты права, но спроси всё же того, кто лучше меня знает. А теперь доз-

воль на охоту ехать, там знатного медведя обложили». Вот и весь разговор. Нынче, в самый разгар пугачевщины, самое время, конечно, отпускать крепостных на волю. Дидероту, однако, этого не объяснишь.

Чтобы принимать разумные законы, нужны образованные искушенные люди. В Уложенной комиссии депутаты за полтора года так и не поняли, чего от них ждут, хотя вроде выбраны были лучшие от всех сословий империи. Титул «Великой» поднесут с охотой, а вот законы сочинять некому. Дидерот предлагает Комиссию назвать парламентом и созывать регулярно. Дудки – от этих депутатов толку никакого, и от следующих столько же будет. Уложенную комиссию распустила с радостью, как только началась война, – не то что бы все депутаты так уж нужны были в армии, но что с ними дальше делать – непонятно, а тут нашелся подходящий предлог.

Всё, что он говорил, было блистательно и превосходно, но она и так это знала, из тех же книг. А ответов на вопросы, которые ее занимали, у него не было. Поразительный человек: то мудрец, то ребенок. Столько страсти, пронизательности, глубины – и наивности. Они встречались почти каждый день в течение полугода; конечно, он не всегда ее восхищал, бывало, и сердил – то самоуверенным доктринерством, то желанием вмешаться в ее политическую игру, но с ним ни разу не стало скучно.

Ей было тогда очень одиноко и совсем не с кем разговаривать, не с Васильчиковым же – «холодным супом», как его прозвал Потемкин, точнее не скажешь. Двор у нее веселый и блестящий, только это не то место, где сыщешь умных людей. Хотя при каком дворе их найдешь? Теперь у нее есть Гришатка, милуша, Гришефишечка, – с ним всё интересно, и образован, и учиться горазд. Ум живой, предприимчивый, дерзкий – точно такой, как она любит.

Дидерот очень настаивал, чтобы постепенно вводить наследника в курс дела и привлекать к управлению. Она в ответ делилась тревогами, которые давно ее мучали:

– Боюсь, что мой сын начнет унижать достоинство подданных и это не кончится добром. В нем нет ни зверской жестокости, чтобы его по-настоящему боялись, ни обаяния и разума, чтобы любили.

Он разводил руками:

– Сын такой матери, как Ваше Величество, не может унижать ничье достоинство.

Только в одном, зато самом для нее важном, они сошлись. Параграф шестой Наказа гласил: «Россия – европейская держава». А в европейской державе должен жить просвещенный народ. Это и есть ее цель – воспитать нового человека, создать общество, какого в

России никогда не было. Приказала Бецкому организовать Смольный институт и брать туда девочек с шести лет, взяв с родителей подписку, что обратно своих дочерей требовать не могут до конца обучения. Программу для Института писала сама. А для мальчиков основаны Пажеский и Шляхетский сухопутный корпуса. Зачисляют с того же возраста. Не столько, чтобы воинов готовить, хотя не помешает, конечно, сколько настоящих европейцев, каких и в самой Европе немного. Для того и комедии стала писать – точным словом, да еще к месту сказанным, скорее воспитаешь, чем указом. Хотя нет – конечно, всё равно бы их писала. Если в день хоть час не писать, чувствует себя плохо и всё из рук валится.

Теперь она и сама говорила, не только слушала:

– Государство у нас уже есть, пора создавать общество. Смолянки и кадеты вырастут во многом непохожими на матерей и отцов, детей своих станут воспитывать иначе. И главное – впустят в себя столько свободы, сколько смогут.

Дидерот кивал, соглашаясь, хотя не забывал время от времени хватать и трясти ее руку:

– Ваше величество ставит цели, которых по-настоящему стоит достигать. Через двадцать лет Империи, наверное, узнать будет нельзя.

Она задумчиво продолжала, пытаясь вообразить себе эту незнакомую страну:

– Всего несколько поколений – и в России тон станут задавать образованные, свободно мыслящие люди, заведут другие порядки, будет кому отменять крепостное право. Народ разовьется, осознает свою историю, а через нее и себя, по-русски напишут великие книги.

– Просвещение народа важно еще и как средство против революций, – добавил Дени. – Просвещенные нации не возмущаются, а терпят.

– Терпят, скорее, развращенные, чем просвещенные.

– Вы настоящий философ на троне, – у Дидерота, кажется, даже вышел придворный поклон.

Ура, ее остроумие в первый раз взяло верх. Но права ли она? Кто знает. Утром пришло донесение о занятии Пугачевым Яицкого городка. Если бы подданные у нее были не то что просвещенные, а хоть не такие буйные...

– Вы – молодая страна. Надо всё устроить, не повторяя ошибок других, – сел Дидерот на любимого конька.

Дальше беседы всё больше шли на холостом ходу. Он приехал наставлять, проповедовать. Для него это дикая варварская страна, где ничего еще не устроено и всё можно начать сначала. Идеальное

место для эксперимента. Всё нужно перевернуть вверх дном: законы, администрацию, политику, финансы – и заменить то, что хоть как-то работает, неосуществимыми мечтами.

Великие принципы прекрасно выглядят на бумаге, но от них очень мало толку, когда нужно управлять страной. Другое дело – искусные и сведущие люди, на этих принципах воспитанные, – вот они как раз могут быть весьма полезны.

Дидеротов ум – кабинетный, а ее задачи – практические. Тут нужен совсем другой, потемкинский ум, и его же могучая хватка – заселять новые земли, строить города, законы писать для России, не для Англии, воевать, придумывать хитроумные комбинации, чтобы прусский король и австрийская императрица зубы об них сломали. До всего этого Гришефишечка страстный охотник. У нее молодая европейская империя, и, конечно, многое еще не сделано, но всё получится, дайте срок. Дикости же в любой стране хватает, не в ней дело. А для себя на отдельном листе пометила: принять Дидерота в Петербургскую Академию наук.

Душатка-Гришенька сказал ей как-то после любовных утех: «Хочу жить с тобой, Голубушка моя, в чистоте, по-христиански, не в блуде. Прошу руки твоей, будь мне венчаной женой. Не царства твоего мне нужно, как Орловым, а только тебя саму, но хочу, чтобы Его узы нас связали.» И добавил со вздохом, совсем простодушно: «Мне так спокойней будет».

Прямые слова про блуд хлестнули будто дождливой веткой по лицу, но сдержалась, не смогла сердиться, а от мысли про венчание помимо воли в ней всё ликовало и пело; ей самой этого хотелось с той самой минуты, как поняла, что должна написать ему исповедь, что признает его мужскую власть над собой. Ответила тихо, смиренно: «Вот тебе моя рука». И он больше не повторял, а она призадумалась.

В первый раз рядом человек, с которым можно говорить свободно, советоваться – всё поймет; можно разделить дела, заботы, только власть нельзя поделить. Как бы высоко она его ни вознесла, всё равно она – императрица, а он – подданный, между ними – пропасть, ласковая или грозная, но мост не перекинешь. Вот только как это объяснить человеку, если он к власти так близко? Сама-то она ничего понимать не захотела – просто отняла, но тот был не повзрослевший вовремя подросток, иногда злой, временами жестокий, всегда неумный и ребячливый, удержать власть всё равно не сумел бы, – у него нужно было отнять. Получилось, что вместе с жизнью, – так вышло, не хотела она его смерти, но и спасать не собиралась; жизнь свергнутого монарха вообще ломаного гроша не стоит. В ночных

кошмарах он ей не является – нет у нее кошмаров, а ночи и без того есть чем занять. Власть не отдаст никому – всё отдаст милостиво и с улыбкой, кроме власти. Поэтому остается одно только домашнее средство, которое так греет отчего-то душу. А знать об этом никому не нужно, кроме священника и самых доверенных людей. Ни Панину, ни другим членам Совета. Будет ей Гришенька милым мужем, некоронрованным императором. А как еще?

Родительским вниманием она уж точно не была избалована. Отец интересовался только службой, мать – развлечениями. В четырнадцать лет оказалась в Петербурге среди бурных интриг елизаветинского двора и как-то сразу пришлось повзрослеть – просто чтобы остаться в России и на свободе. В шестнадцать ее обвенчали с Великим князем.

Всему свету ведомо, что это был за брак. Она отвечала мужу искренней нелюбовью. Любовники семьи не заменяли, да и не попало среди них человека, с которым могла бы быть счастлива. Салтыков был красив, но глуп, Понятовский слаб, Гриша Орлов разумом так и не поднялся выше пехотного капитана, хотя предан был беззаветно, Васильчиков – никто, «холодный суп». Она оттого всю жизнь так нуждалась в любви и часу не могла прожить без ласки, что выросла вовсе без них. Но ведь какая-то должна быть и у нее семья. У государей обычной семьи не бывает – так пусть хоть что-то получится.

Венчались на Выборгской стороне в церкви Святого Сампсония Странноприимца. Деревянную церковь, наскоро поставленную Петром в честь славного полтавского сражения, при Анне основательно перестроили в камне – с луковичными, тесно посаженными куполами и стенами небесной голубизны. Выбрали ее теперь в память о великой баталии и чтобы подальше от глаз. Венчание нужно было сохранить в строжайшей тайне. До Сампсония добирались на шлюпке столичного командующего Голицына. Мужчины приехали раньше.

Камер-юнгфера Марья Саввишна распахнула дверь в привычном полупоклоне – и с освещенного фонарями крыльца она сразу вошла в медленный церковный полумрак. Вначале было совсем пусто, потом стали чуть-чуть проявляться таинственные очертания предметов. В следующее мгновение огромная фигура Григория Алексанчыча закрыла собой расплывчатую неверную полосу света, Гриша рванулся к ней из темноты, и она тут же перестала видеть, да и нечего больше было видеть – везде были только его нежные могучие лапы, она доверяла им безгранично, как всегда утопала в них, и вкус сладостных счастливых поцелуев кружил голову.

«Ох, голубушка моя», – шептал он восхищенно.

«Всё же по-твоему, Гришенька, как велишь, сударик мой.» Чуть освоившись в полумраке, осторожно поглядывала вокруг из-под длинных прикрытых ресниц.

Свидетелями были Александр Самойлов, племянник жениха, молодой человек большого усердия и расторопости, будущий следователь по пугачевским делам, и ее верный Чертков.

Евграф Александрович был собой очень нехорош, никакими особыми талантами не взыскан, но двенадцать лет назад не сдал ее на допросе в тайной канцелярии, и она никогда об этом не забывала.

Почти сразу начали венчание.

Самойлов рассеянно, без выражения читал Евангелие и вдруг запнулся на словах: «Жена да убоится мужа своего», взглянул на нее в притворном недоумении, будто вдруг обнаружил кем-то сейчас только вписанную непонятную строчку, – строго без улыбки кивнула в ответ, принимая игру. Вспомнила почему-то Дидерота с его откровенным безбожием. Как-то он остроумно заметил: «Бог христиан – это отец, который чрезвычайно дорожит своими яблоками и очень мало – своими детьми». А Гришефишечка верит истово, по-настоящему.

То, на что никогда не решилась с Орловым, тут вроде случилось само собой.

Всё так и вышло, как они тогда ночью задумали. Через месяц Румянцев в местечке Кучук-Койнарджи подписал с турками мир. По новому договору русские корабли могли свободно плавать по Черному и Средиземному морям, только что завоеванные черноморские степи – Новороссия, переходили в вечное владение Российской империи, а Крым становился независимым ханством. Победа была полная – получили всё, что хотели. Изрядно потрудившийся для этой победы генерал-поручик Суворов первым из посланных на выручку генералов прискакал в Яицкий городок и успел снять допрос с только что плененного Пугачева. Надеясь на особую монаршую признательность, генерал-поручик сторожил самозванца лично, днями и ночами, а заодно расспрашивал о тактике казацкой войны. Правда, царедворцем оказался никудышным – доставил злодея по команде Петру Панину, а не посланцу императрицы Павлу Потемкину. Екатерина узнала обо всем из донесения возмущенного Павла – тот на этого пленника очень рассчитывал, и решила, что Суворов к поимке самозванца имел отношения не больше, чем ее комнатная собачка. Поэтому никаких наград он за Пугачева не получил. С другой стороны, ему и без того хватало.

Так к осени 74-го года обе опасности, угрожавшие царствованию, благополучно миновали. Через несколько месяцев императрица объявила полное прощение бунту. Следственные комиссии осудили на казнь, кнут и ссылку человек четыреста. На том закончилась недолгая власть Петра Панина, оставив по себе тяжелую память только в сплававшихся по рекам плотам с изобретательно казненными пугачевцами.

Чуть раньше стало одной заботой меньше и у Никиты Панина – императрица решила, что цесаревич вырос и в воспитателе более не нуждается. А чтобы рассеять любые сомнения, сама безо всякого участия Никиты Иваныча нашла ему невесту из вполне приличного Гессен-Дармштадтского дома и сыграла свадьбу. За труды пожаловала вице-канцлера чином первого класса, большим имением, деньгами и прочим довольствием, чтобы не чувствовал себя обиженным. У противников не осталось ни одного козыря – Екатерина могла уверенно царствовать дальше.

Ее главный секрет был в том, что она всё и всегда умела оборачивать себе на пользу. Везение, конечно, тянуло на ее службе бессрочную солдатскую лямку, но самым важным было великое искусство влюблять в себя людей и чаще всего находить каждому верное применение. Ее статс-секретари, ее министры, ее полководцы – с ними она побеждала в войнах, выигрывала бескровные битвы дипломатов, заключала и разрушала союзы, присоединяла царства без войны и находила выход из любых положений, иной раз вполне безнадёжных. Ей служили, потому что любили ее саму и ее службу. И она не скупилась на награды – щедро платила за ум, заслуги и кровь. Екатерина царствовала тридцать четыре года без всякого права, но потому, что все этого хотели.

На зиму двор переехал в Москву, чтобы отпраздновать в Первопрестольной все победы разом, а заодно милостью и щедростью подкрепить ее лояльность. Катерина фрондерской Москвы не любила и всегда немного опасалась. Сатурналии организовал Потемкин, пожалованный по случаю победы графом. Развернулся он на славу: на Тверской, потеснив немного Тверскую-Ямскую слободу, поставлены были Триумфальные ворота для въезда Румянцева-Задунайского, на Ходынском поле разбит парк, изображающий завоеванные земли, с павильонами – черноморскими портами, извилистыми дорожками – Днепром и Доном, турецкими минаретами, римскими арками и классическими колоннами. В небе пылали вензеля императрицы; шестьдесят тысяч человек пили вино из фонтанов и закусывали жареными быками; шествия, фейерверки, войсковые смотры

две недели следовали друг за другом без передышки. Город хотел беззаботного размашистого праздника, нужно было как можно скорее забыть позорный страх мужицкого нашествия.

Зима 75-го года оказалась самой счастливой в жизни молодых супругов. Поселились в подмосковном Царицыне, специально для того купленном Екатериной у Кантемира, – она писала законы, указы, он редактировал, иной раз не соглашались, спорили. «Вижу везде пылающее усердие и обширный твой смысл», – восхищается жена мужем. Еще ловили по всей Италии княжну Тараканову на живца – Алехана Орлова. Занятие грязноватое, но для царствования необходимое – после Пугачева не хватало только еще одной самозванки. Это был их медовый месяц.

Удача взметнула Потемкина на самый верх так быстро, что он не успел толком разобраться, где очутился. Еще весь был в эйфории взлета, инерция несла его вперед, крылья хлопали, а лететь уже оказалось некуда. Но и семейная жизнь не то что бы налаживалась. С Катериной у них был роман – сумасшедший, хрупкий и отчаянный, как сражение, но именно роман, а не спокойное супружество. И венчание здесь мало что изменило. Вряд ли могло быть иначе, слишком были похожи, – не зря Екатерина видела себя в любимом Гришефишечке: каждому ежедневно требовалось столько любви, восхищения, власти и славы, сколько большинству признанных и увенчанных не выпадало за всю жизнь. Оба были ненасытны – потому и понимали друг друга как никто, и вместе им было всё труднее.

За полтора года они устали от безумной страсти, хотя всё равно были ей переполнены. «Если б друг друга меньше любили, умнее бы были», – прозорливо и с мудрой горечью сказала ему однажды Катерина. Она по-женски пыталась всё как-то устроить. Вначале казалось, что это мелочи, несурезицы, просто не обращать внимания – и само наладится, потом – что стоит только поговорить, объяснить, и вернется прежнее счастье.

Писала старательные разумные записочки: «Пора жить душа в душу. Не мучь меня несносным обхождением. Неужто сердце твое молчит? Мое, право, не молчит». Потемкин оставался остранинно-холоден – он хандрил. Ох, как она ненавидела его глупую хандру! Дорого ему стоит приласкаться, знатно молвить «душенька» или «голубушка»? Но и гнев был не лучше.

Вернувшийся из Европы Григорий Григорьевич Орлов зазывал в гости – посмотреть новый, только что отстроенный дом. Не виделись чуть не два года и условились встретиться с глазу на глаз – секретов давно никаких не было, просто хотелось поболтать вволю, а еще

Екатерина опасалась сводить двух Григориев вместе, слишком непредсказуемый у каждого нрав.

Князь всё так же был хорош собой, хотя и располнел немного, картинно гнул серебряные монеты, но как-то сдулся, остепенился, даже обычного веселого напора стало меньше, и ему это не шло. Еще задело, что совсем не интересуется делами, ни о чем не спрашивает, — зато, кажется, влюблен.

Когда поняла, что ничего в ней не дрогнуло, сама себе удивилась. Вспомнила, как плакала, когда два года назад писала Потемкину письмо, а теперь страсти отпыхали, и другой человек полностью вытеснил Орлова из сердца и мыслей.

В нем что-то пропало важное от того дерзкого мальчишки, которому всё было нипочем, — сначала он влез к ней в постель, потом вместе с братьями посадил ее на российский трон, а еще через полгода, чем-то недовольный, в пьяном угаре кричал, что за месяц любого на этот трон посадит.

Разумовский тогда славно его осадил: «Может, оно и так. Только мы тебя за неделю повесим». Гриша прикусил язык.

Теперь всё это куда-то ушло. Из Гриши словно вынули стержень, и все силы уходили только на то, чтобы показать, будто стержень на месте. А она так любила его дерзость, безрассудную отвагу и готовность в любую минуту отдать за нее жизнь! От ставшего притчей во языцех авантюрного романа осталась только нерушимая дружба, зато уже навсегда.

Дом ей понравился, хотя под конец стало скучновато — всё вроде сказали и больше говорить не о чем. Очень хотелось приспособить Григория Григорыча к делу, но он сам не хотел.

Сюрприз ждал ее на следующий день. После первой порции утренних бумаг Екатерина вышла из своих покоев чуть-чуть размяться и посмотреть, как отделали новую залу, — во дворце, наспех построенном при Елизавете Петровне, всё время приходилось что-то достраивать и переделывать. Не успев взглянуть на залу, столкнулась с Потемкиным. Тот шел в ее апартаменты с видом самым решительным и ничего вокруг не замечая. Удивилась, потому что час для него слишком ранний — но долго раздумывать, отчего Милуша в десять утра уже на ногах, не пришлось. Все его огромное тело было надутو бешенством так, что, казалось, сейчас лопнет:

— Ты меня, верно, за идиота держишь, только я обманывать себя не позволю. — Первую фразу проговорил еще почти спокойно, изо всех сил сдерживаясь.

— О чем ты, миленький? — ответила ласково, с трудом переключаясь с государственных дел на личные.

– Изволите шутить? Дурачить меня намерены? К Орлову отправились тайно, едва он только из Европы вернулся!

Дальше сдерживаться уже не мог. Гришефишечка орал так, что лепнина с потолков рушилась (свежая, еще не успела пристать). «Вот заодно и узнала, каково сделали залу», – сказала Екатерина сама себе. Ирония частенько спасала, когда больше спастись было нечем.

– По устройству бывших запорожцев, Донского казачества, основанию Астраханского казачьего войска всё готово, по Азовской флотилии тоже, дело бывшего кошевого атамана и войскового писаря рассмотрел, – буркнул недовольно, но все же другим, нормальным голосом, и она было решила, что сейчас переключится на работу, успокоится.

– Пришли, голубчик, все документы по флотилии и по казачеству. А много ли украл кошевой атаман?

– Больше, чем на двести тысяч всякого разорения людям, еще и претерпели немало от буйства запорожцев – да там не он один, конечно. Но престолу слуга верный, в кампаниях с турками и в Семилетнюю войну отличился. Поэтому думаю, что смертью казнить не надо, а в монастырь сослать на покаяние.

– Подготовь указ, Гришенька. Все, кроме нас с тобой, воруют. Кто сколько может, – за четырнадцать лет правления человеческие слабости она изучила неплохо, иллюзий не испытывала и к воровству относилась спокойно, лишь бы не свыше меры. В конце концов, других подданных у нее нет.

Но ревность не могла так быстро успокоиться. Нащупал в кармане горсть орехов, резко, до хруста, сдавил их ладонью и с негодованьем вышвырнул осколки вон. Скорлупки звонко разлетелись по наборному паркету. Мстительно раздавил одну – левый глаз снова полыхнул огнем.

– А что, и Орловы воруют?

Этого она стерпеть не могла, но самообладание у Екатерины было не потемкинское.

– Я тебя предупреждала, дружок, никогда не говорить ничего против братьев, они друзья мне, – ее синие глаза сверкнули в ответ таким же пламенем.

– Раз Вашему величеству не нужен, в монахи постригусь или, того лучше, – на Сечь поеду простым казаком, мне там уже и прозвище дали – Грицко-Нечеса!

Ярость душила Потемкина, остановиться он не мог, крик становился всё менее членораздельным. Случайно задел какую-то безделушку, она со звоном разбилась, китайскую вазу расколотил уже намеренно и растоптал ногами. Приступ продолжался минут сорок, пока не выдохся.

Дождавшись первой минуты тишины, Екатерина холодно объяснила, почему не взяла его с собой, в качестве аргумента указывая ногой на осколки вазы. Потемкин дышал, как раздутые кузнечные меха, левый глаз набух кровью и бессмысленно смотрел сквозь нее, не видя.

– Унимай свой гнев, божок, – сказала сухо и пошла назад к себе. Но только закрыла дверь – обессиленно опустилась в кресло и горько расплакалась.

Поначалу ей даже нравился буйный потемкинский нрав. Ведь и в самой ревности есть нежность. Но попробуй каждый раз выдержать такое, и ведь не угадаешь, отчего он вспыхнет как спичка. А еще всё норовит куда-то сбежать, и у нее бывает больше набегом. Гяур, казак, волк, птица. Стали одолевать тяжелые мысли. Разлюбил?

В день рождения Гриша принимал поздравления дворянства и всех сословий – никому, кроме государыни и наследника, такой чести в империи не полагалось. Стоял с завитыми, уложенными императорским куафером волосами, в парадном генерал-аншефском мундире при орденах и лентах, даже ногти аккуратно подстрижены. Подарила 100 тысяч рублей – камердинер нашел в кармане халата подписанный чек и, почтительно кланяясь, с округлившимися глазами, отдал его сиятельству – вообразить не мог, что бывают такие деньги.

Пройдет всего несколько лет, и Потемкин войдет во вкус: станет посылать своего начальника канцелярии за деньгами под честное слово, без всякой расписки. Небольшие суммы обычно давали.

Но однажды, когда нужно было 100 тысяч на строительство Херсона, Попов вернулся с пустыми руками: «В казначействе сказали, что просто так дать не могут».

– Ладно.

Григорий Александрович схватил первый попавшийся клочок бумаги и вывел одним росчерком, не отрывая пера: «Дать, ёб твою мать!» Дали.

Рассудил директор казначейства просто. Больше такой расписки никто не напишет, а значит, деньги нужны точно Потемкину. У него же доступ к казне неограниченный – как у самой государыни.

Вечером на приеме, уединившись с принцем Генрихом, братом прусского короля, долго и с увлечением рассматривал его орден Черного орла, расспрашивал, кого им награждают, за что – надо думать, поняли намек, орден скоро будет.

Екатерина еще и архиерея назначила по его просьбе – влюбленный супруг про политику не забывал.

И он вроде обрадовался, на минутку показался из хандры преж-

ний, настоящий. Тогда поняла – не разлюбил, они ссорятся о власти, а не о любви.

Вскоре пожалован был титулом светлейшего князя, но и эта ласка ничего не могла изменить, хотя звания и титулы любил жадно, как ребенок новые затейливые игрушки.

В румянцевской армии у него был свой корпус, никто не указывал, где искать неприятеля, как батальоны в каре расставлять, каким маневром губить врага, а здесь ты всегда ученик под присмотром учительницы, от замечаний, внушений и поучений деваться некуда: «Предпочитаю вас сим не отягощать, ибо от сего более будет ненависти и труда, и хлопот, нежели истинного добра», «Я дурачить вас не намерена, да и дурую прослыть не хочу» или вот еще выговор «От понедельника до пятницы, кажется, прочесть можно было». Тьфу!

Для двора, чиновников, дипломатов он – вельможа в случае: пока всемогущ, все заискивают, ищут дружбы, а кончится его случай – с великой радостью разорвут на куски.

Хотелось своего самостоятельного дела, старался как-то освободиться, рвался прочь, а она, наоборот, будто не понимая, всё больше пыталась привязать его к себе. Правда, на каждодневной работе их ссоры почти не сказывались. Все важные решения принимали вместе, будь то исподволь совершавшееся сближение с Австрией или городская реформа. Набросав проект указа, закона или просто важное письмо, отправляла ему на редакцию, боясь что-нибудь упустить или неточно выразить. Статс-секретари были просто исполнителями ее воли, у Панина не было потемкинской искрометной изобретательности, умения быстро вникнуть в суть дела и найти верное решение, про остальных министров и говорить бессмысленно. Милуша Гришенька, с которым не всегда легко сладить, в работе оставался незаменим; она так привыкла обо всем с ним советоваться, что теперь уже совершенно не представляла, как без него управлять Империей.

Чувство его, вроде бы, наперекор всему делалось всё сильнее, но оттого неравенство их положения и какие-нибудь ее мелкие поступки, в которых он чувствовал унижение, подлинное или мнимое, ранили особенно больно. Ох, как хотелось отмотать время назад, в самое начало романа. Сколько всего можно было бы исправить, скольких ошибок избежать.

И он послал ей чистый лист. Белоснежный, без единой буквы, но в конверте с печатью. Ответила, что на дворе не первое апреля, а лукавству худо выучилась и не хочет догадываться, что безмолвие значит. Еще добавила: «Не знаю, что там было написано, уж верно

брань, — только бы лишнею ласкою не избаловать». Не поняла. А всего-то и нужно сложить все ссоры в мешок, бросить туда потяжелее камень, веревкой завязать — и в прорубь. И начать с чистого листа. Хотя уж так умна и понятлива. Год назад сразу бы догадалась, а сейчас и пытаться не хочет. Хочет, чтобы всё на ее условиях, по ее царским правилам. Пишет про ласку, что суетлива и везде суется, где ее не толкают вон, а сама — как лёд холодна.

Закрылся, ушел в хандру, снаружи оцетинился невнимательностью и небрежностью. Жена чувствовала себя одинокой и покинутой, и хотя выговаривала как бы шутя, терпение было уже на исходе:

— Ваше превосходительство меня вчера оставили внизу и вовсе обо мне забыли, будто я городской межевой столб.

Это когда она приехала к Лёвушке Нарышкину, а Потемкин там вовсе играл и даже встретить ее не вышел.

— Неправда, Вас сюда нетерпеливо ожидали, но игра шла быстро и отлучиться было нельзя.

Вздохнула невесело, но вслух только и сказала, что в карты после вчерашнего он должен непременно проигрывать.

В отношениях иногда наступает момент, когда продолжаешь давно начатый разговор, а тебя больше никто не слышит, — слова, брошенные в пустоту, возвращаются назад, как письмо, не найдя адресата, и ты, давясь, глотаешь их сам пополам с горечью и обидой. Обратные связи, еще вчера естественные и нерушимые, исчезают, как будто их никогда не было, ты приносишь любимому человеку дары, в которых тот не нуждается, и в ответ получаешь совсем не то, чего хочешь сам. С первых дней романа они понимали друг друга настолько хорошо, не прикладывая к тому никаких усилий, что Потемкин совершенно не представлял, как быть, когда плохо. Он растерялся и чем дальше, тем меньше мог остановиться. Приступы гнева чередовались с днями и неделями беспредельной чувственной нежности, тогда казалось, что вернулись первые самые счастливые дни, но следующий скандал все перечеркивал. В любовном разладе всегда слишком много эгоизма и абсурда — и хорошо, если вообще остается что-нибудь еще.

Хотел ее всю безраздельно и ревновал к власти даже больше, чем к людям. Супружество здесь не помогало, скорее, наоборот. Какая бы ни была, всё равно она — баба. Но попробуй пойми, когда она просто баба, а когда — императрица. И не она от него, а он от нее кругом зависит, — значит ему вечно ходить в помощниках и никогда не будет иначе?! Как же тогда жить? А власти он хотел страстно, и не просто честолюбия и тщеславия ради, хотя могущество само по себе приятно, конечно, — нет, он знал теперь, что с ней делать. За эти два года

поверил в себя по-настоящему, почувствовал, на что способен, лишь бы крылья не подрезали.

Из крутившихся в голове мыслей постепенно складывался дерзкий небывалый замысел. Вначале решил, что просто блажь лезет спьяну в голову. Однако чем дальше думал, тем больше он казался выполнимым и, главное, приспел точно ко времени. Сейчас побили турок – хорошо, можно ставить в степи города, мостить дороги, строить флот на Черном море. Но это только начало. Османов мало победить, нужно совсем развалить их варварскую империю и воссоздать на развалинах Византию со столицей в Константинополе, как прежде. Турция совсем слаба, только чуть-чуть подтолкнуть. От этой мысли захватывало дух. Теперь уже Российская империя будет главной. И момент самый благоприятный: наша армия сейчас точно сильнее всех, союзники найдутся, а из великих держав никто всерьез помешать не сможет.

Он постепенно смирялся. Да, соперничать с ней невозможно, она – настоящая царица, и остается только склониться перед ее троном. На людях стал обращаться – «Матушка-государыня», постепенно подхватили и остальные. Однако это всё мишура для двора, дипломатов и прочей публики, Екатерина страсть как любит пофинтанничать. Тем более, что он, кажется, угадал, образ для всех – и дворян, и простого люда, – самый подходящий. На самом деле в работе они давно уже как бы одно существо, и честолубие, мысли, энергия этого могучего политического зверя направлены к вожаделенной цели: европейская екатерининская Россия должна стать первой в свете державой, а на месте дряхлой Османской империи пора появиться новой – Греческой. У них получится, вместе они всех одолеют.

После очередной бурной сцены слезы стояли в его единственном глазу, он их не смахивал и не стеснялся. И сердцем, и умом понимал, что их роману приходит конец. Екатерина утешала его самыми лучшими и верными словами, такими, что он им почти верил, потому что хотел верить, но ее деятельный ум, скорее всего, искал уже ему замену.

– Кто велит плакать? Верно, два года назад, когда у нас всё только начиналось, иначе было, но разве была я тогда привязана к тебе Святейшими узами? А теперь в душе столько накопилось тепла и нежности, что на всю жизнь хватит.

Он в ответ глупо улыбался, как счастливый ребенок.

– Душа моя бесценная, бесконечно любимая, ты знаешь, что я весь твой и у меня только ты одна.

– Конечно знаю. Чувствую.

– Я тебе по смерти верен, твоя служба мне важнее и приятнее всего, а дороже твоих интересов ничего для меня нет.

– Давно доказано.

– И по способностям своим сделать могу многое.

– Вот это точно.

В первый раз он говорил о себе так просто и так подкупающе искренне, и хотя нового ничего не было тут, Екатерине почему-то очень нужно было это слышать.

– Не дивись, что я беспокоюсь о нашей любви. Сверх бесчисленных твоих благодеяний ко мне, поместила ты меня у себя на сердце. Я хочу быть тут один против всех прежних потому, что тебя никто так не любил.

И здесь она чувствовала, как он прав, такая любовь только раз в жизни и бывает, всё дело в том, сумеешь ли ее сохранить.

– Да, поместила твердо и крепко. Будь спокоен. Есть и будешь.

– А как я дело твоих рук, то и хочу, чтоб мой покой был устроен тобою, чтоб ты веселилась, делая мне добро.

– Рука руку моет.

– Сделав что ни есть для меня, право не раскаешься, а увидишь пользу.

– Вижу и верю. Душой рада, да тупа, яснее скажи.

– Чтоб ты придумывала всё к общей нашей радости и в том бы находила себе отдохновение по трудах важных, которыми занимаешься по своему высокому званию.

Понимала, что не о себе говорит милый Гришенька, не за себя просит, а старается выстроить как-то их будущее. О том же и сама неотвязно думала. Как-то нужно исхитриться остаться вместе, несмотря ни на что. Катерина вдруг лукаво улыбнулась, неожиданно вся прильнула к нему, обняла и стала, еле дотягиваясь, губами слизывать с ресниц последние непросохшие слезинки.

– Само собою придет. Дай успокоиться мыслям, дабы чувства действовать свободно могли; оне нежны, сами сыщут дорогу лучшую.

Чем больше она отдалялась от Потемкина, тем сильнее боялась его потерять. Не выходит бок о бок жить душа в душу, и тесно ему в Петербурге. Решение пришло само – отправить князя с инспекцией в только что завоеванную Новороссию и оставить там наместником. Пусть прокладывает в степи дороги, покоряет Крым, Кубань, находит гавани, строит города и флот на Черном море к вящей ее славе. А власть она ему даст почти императорскую.

В январе красивый молодой человек Петр Завадовский, бывший секретарь фельдмаршала Румянцева, был представлен Потемкиным императрице и вскоре пожалован в генерал-адъютанты. Он был рас-

судителен, деловит и очень спокойного нрава. В положении самого Потемкина это ничего не изменило. Двор, с нетерпением ожидавший падения фаворита, был озадачен. Через год Завадовского сменил Зорич, еще через год Римский-Корсаков, потом Левашов, Высоцкий, Ланской, Ермолов...

Она придумала и построила семью на собственный лад: фавориты набирались почти исключительно из адъютантов Потемкина, они были детьми, а Екатерина со светлейшим князем – родителями. Им предписывалось обожать князя, писать ему письма, дарить подарки и блюсти его интересы в борьбе придворных партий. Императрица в конце каждого письма добавляла поклоны и нежные слова от очередного любимца. Кто не хотел соблюдать правила игры, тут же вылетал из фаворитов вон.

Она страстно влюблялась в каждого из них, восхищалась красотой и талантами, развивала, воспитывала, но мальчики хотели жить по-своему, раздражали ее дурными манерами, сумасбродными выходками, ленью, изменами, а главное, они не любили стареющую государыню. Понимала ли это Екатерина? Хотела ли обманываться? Мальчикам нужен был успех, деньги, почести, власть – всё, что угодно, только не она сама. Никого из них она не обидела, каждого щедро одаривала и отпускала, а сама шла дальше. Всякий раз искала любви, поскольку жить без нее не могла ни часу, каждый раз думала, что вот эта – последняя. Потемкин приезжал в тяжелые дни разрывов, утешал, успокаивал, просто был рядом. Вернее и ближе у нее никого не было.

После Завадовского светлейший решил, что назначение сразу в генерал-адъютанты высокогато для мальчишек без заслуг и роду-племени. Специально для них придумал звание флигель-адъютанта. Оно прижилось, молодые офицеры императорской свиты потом так и назывались.

Племянницы Потемкина были пожалованы фрейлинами и всячески обласканы. Они подолгу жилали в ставке князя, были подругами, любовницами и как могли скрашивали его бессемейную жизнь, протекавшую в пирах, походах, государственных заботах и карточной игре. Потом выдавал их замуж, всегда удачно.

Апартаменты, напрямую соединявшиеся с комнатами императрицы, навсегда остались за Потемкиным и в Зимнем, и в других императорских дворцах.

В них он и останавливался, когда приезжал со своего Юга, а в подаренных дворцах почти не жил, только давал балы и устраивал роскошные праздники. Сохранилось за ним и право входить к государыне без доклада в любое время.

А любовь никуда не делась. Когда коротким набегом он оказывался в Петербурге, весь в победах, свершениях и планах, один грандиозней другого, прежняя страсть частенько вспыхивала с новой силой, и они давали ей волю.

Не о чем было больше ссориться; Потемкин давно насытился властью, почестями, военной славой — полный титул его занимал половину страницы. Остались безграничная нежность и преданность. Точно, он дело ее рук, но и глина та самая, из которой лепятся великаны.

Гяур, москов, казак яицкий, Пугачев, индейский петух, павлин, фазан золотой, кот заморский, тигр, лев в тростнике, милый супруг, Гришатка, Гришефишечка, сударка моя, как же могу тебя не любить?!

Нью-Йорк

Нина Косман

* * *

Что такое смерть
знает только Бог;
что такое Бог
знает только дух;
что такое дух
знают только крылья;
что такое крылья
знают только птицы,
бабочки,
да взлетевший во сне
мальчик, не знавший книг.

* * *

Там, где последний шаг
Не тобою проложен;
Там, где последний взмах
Костью пролежан;
Там, где последний миг
Или последний вздох;
Там, где ты лег костями:
Бог.

* * *

Витают надо мною тень твоя,
И пусть тебе не снится ничего,
Но тень, причины грусти затая,
Летает, кружится, ей всё равно.

Густые краски смешивает жизнь.
Но тень твоя становится прозрачней.
В свободный от тебя, то бишь
Просторный, день влетает наудачу.

Назойливо кружась, наводит она лень.
Так мало сходства у тебя с той тенью.
Бросаю все дела, сижу, как пень.
Гордись вниманием моим к ее пустому бдению —

К моленью за тебя и обо мне
 (хотя и вовсе не о нас);
За наглость невнимания к земле
 тень призрачное крылышко отдаст.

* * *

Облаченный в вериги своих творений,
словно очки – в футляр,
мастер, художник, непризнанный гений,
древний Хирон-кентавр,

человечья твоя половина – сколько
весит? Не в тягость вам,
(конских копыт скоробежность ломка)
конские ноги – сан
полу-бога? Титана? Мудрость мира
конским отрепьям – груз.
Богово – богу, так талант – зефиру,
ветром развеять муз

дар... А может, дать винам бродить подольше
в бочках здоровых тел?
Мастер, твоя – человечья роща.
Гений: земной удел.

* * *

Он не придет, не будет – Судный день.
Лучом мечты не озарит. Не встанет
Им исцеленная мятущаяся тень,
Им не спасенная мятущаяся память.

Что будет вместо? Гласных звон? Имен
Земных ночная перекличка песен?
И кто закатывал зрачки за небосклон,
С тем, кто не знал о небосклоне, будет вместе.

Но есть догадки. Знаки есть. Они –
Про день, что виден диким конским глазом...
Его боятся сонных теней табуны...
Он исцеляет безболезненно и разом.

* * *

Тихо-туманная взвесь
руки закрыла, глаза.
Мир для меня весь –
Искрою в миг – слеза.
Прозрачных искать не надо.
Прозрачные рядом, тут.
Две слезы – это два водопада.
И каждая – о-мут.

* * *

Ты искусно забыл
Красно-зеленый венок,
разбросанные цветы,
темнеющий потолок.
Окна, как кровь, дыша,
Два темных плаща,
И потом, не спеша,
Вылетающая без сил –
Твоя душа.

Ты ее позабыл.

ПРОЩАНИЕ С ДВОЙНИКОМ

Последнюю просьбу свою
В книгу жалоб судьбы запишу
И расстаться с тобой поспешу
Груз бывшего счастья сложу
На тебя одного.

С деревьев во мраке почти
Касаясь луны у воды
Недожитые годы и дни
Качнут позабытые сны
Отражаясь в тебе.

Пусть речка подальше течет
Ее курс нам сегодня не в счет
А твой груз никому не почет
Пусть время головкой качнет
Выручая тебя.

* * *

Ах, не пой мне про жизнь,
я ведь знаю, что это такое,
Это – ясность, как встарь, над моей, над твоей головою,
Легенда без прописей,
старый сказ без конца, без начала,
Ах, как хочется ей, чтобы я о ней пела, играла!

Нам с ней негде приткнуться,
с нашей жизнью широкой,
Она вылетает из наших приземистых окон
И летит облаками над городом нашим весенним,
Ах, как хочется ей, чтобы мы вместе с нею летели!

Ах, как хочется ей, ах, как хочется мне
Вновь вернуться в старинные сказы,
Забываться в покое, лететь в тишине,
По пути собирая японские вазы,
И смотреть в тишину, и смотреть на луну
в ее вечном полете,
Собирая молитву твою в мою вазу японских мелодий.

Нью-Йорк

Алла Лескова

Рассказы

ЗАПАХ БЕДНОСТИ И ЛЮБВИ

Квартиры имеют запахи.

В этой квартире спального района Таллинна тоже был всегда один и тот же запах. Затхлости, папирос и алкоголя. Тушеной капусты еще. Бедности.

Квартира была на две разных семьи. В одной комнате жила эстонка Сирье, обычная полноватая эстонка, здоровалась, но молчала всегда. Только звала к телефону стуком в другую комнату.

Ити, тепя, говорила она. Иди, то есть. Тебя.

С ней жил, когда выходил на свободу, сожитель или муж, так и не знаю, темноволосый длинный Рейн. Он чисто говорил на русском, в советских зонах практика хорошая языковая была.

И бегал пацанчик у них, общий или нет, не знал никто. Рейн его любил, ласкал, таскал на руках. Томас, так звали сына Сирье и Рейна или не Рейна.

В другой комнате жила тетя Тоня, седовласая, с одной короткой ногой, короче другой намного, хромая, и лицо аристократки. Профиль породистый, глаза глубокие темные, белая голова. Красивая.

Она то одна жила, то сын из заключения возвращался, отсыпался месяц, а она ему готовила на общей прокуренной кухне и хромала в комнату с тарелками. Ешь, Валентин. Это она сыну говорила, который на зоне язву заработал и панкреатит. Я его много раз ждала, срока были недолгие.

К тете Тоне часто приходила огромная и тоже хромая, надо же, Галка. Молодая девица, огромная, толстая, сплетница, и тоже припадала на одну громадную ногу. Тетя Тоня ее терпеть не могла. Че пришла, каждый раз спрашивала. А тебе-то чего? – огрызалась Галка и устраивалась смотреть телевизор. Так они грызлись, но дружили. Когда я приходила, Галка тут же уходила, только спросит, как дела. Хорошо? Ответ не слушала.

Я приходила часто, и когда сын тети Тони был на зоне, он благодарил в письмах, что маму не оставляю, ты жива еще моя старушка

жив и я... Проведывала его старушку и все никак понять не могла – откуда такое лицо у нее, бестужевские курсы прямо. Так и не поняла. Была тетя Тоня добрая и неграмотная, но аристократкам знаменитым еще фору даст, лицом. Чудеса.

Когда сын ее возвращался, я каждый день неслась в этот затхлый родной дом, и тетя Тоня сразу ухрамывала к Галке. Комната одна, мы молодые. Надо оставить одних.

Странные подружки были, тетя Тоня, за семьдесят, с внимательным взглядом в мир, ноги очень болели, лицо красивое, и огромная сплетница Галка, громкоголосая, хитрая, переваливается, как утка, и платок на молодой совсем голове.

И Сирье эта в соседней комнате, все молчит. И Рейн с Томасом играет, если не в заключении. И тоже молчит. И запах тушеной капусты, эстонцы ее любят. И всё это не приснилось, всё было, а сегодня приснилось, и я заплакала, когда проснулась.

Мы так любили друг друга...

ХОРОШО-ТО КАК

Абдуллох и Ақобир закончили ремонт в нашем подъезде. Всё сделали хорошо, бедненько, но чисто, не придерешься, кайму – морскую волну цвета фекалий – исправили скотчем, выравнивали.

А поутру выхожу – а там... красный ковер через всю площадку, прямо от входной двери. С таджикскими узорами.

Красная дорожка! Иди не хочу.

И теперь каждый день я вхожу на эту дорожку, где по-хорошему надо бы идти на высоких каблуках, с голыми плечами и грудями и белыми зубами и под щелканье камер всем кивать, махать и улыбаться. Звезда идет.

И все хлопают и кричат: – Алла! Алла! Каблуки-то какие... Не звезданись...

Вместо этого я иду в тишине по этой красной дорожке, в черных слипонах на белой резиновой подошве, с арбузом в пакете, в ветровке цвета крабовой палочки, поясница болит, никто не щелкает никакими затворами..... ну вы поняли...

Улыбаться некому, никто не кричит: – Алла!

Никто.

Груди грустны и обвязаны шарфом, холодно.

И только где-то далеко брехают собаки и брешут политики.

А я иду по красной дорожке, и невидимые слезы льются по

щекам Кабирии, или видимые льются, но вот точно, как в проходе Кабирии, только она не по красной дорожке, а я по красной.

И никто не закричит: – Алла!

Разве что заглянут поправить свой ковер Ақобир и Абдуллох и тихо скажут – аллах ақбар... Или подумают. А услышу – Алла...

Красный таджикский ковер в пятиэтажке на Охте, в Петербурге, моя красная дорожка.

Господи, хорошо-то как и тихо как.

СВАНСКАЯ ШАПОЧКА

В двадцать лет я купила драповое длинное пальто зеленого бутылочного цвета. Тогда у меня были яркие зелено-серые глаза, всё было тогда ярким или казалось. Пальто притягивало к себе всякие ворсинки, но я его всё равно любила. Недавно нашла фото, где я в Таллине (еще с одним Н), на Вышгороде, с подругами, в этом пальто и черной маленькой беретке, и вспомнила....

Вспомнила себя в этом пальто, идущей по дороге к морю в Пицунде.

Я каждый день приезжала туда из абхазской деревни, где остановилась у мужа с женой и их рыжей дочки Мананы.

Муж и жена кормили меня мамалыгой и зеленью, а потом я ехала в Пицунду.

Там играла всегда музыка, приезжала я только зимой, жару не любила, и мертвый сезон был моим. Тихо, музыка, никаких потных тел и жратвы кругом, никаких визгов детей и торговцев, неспешный бармен Армен варит кофе в турке. Кофе по-турецки.

Медленно водит кругами дно турки по горячему песку, глаза остановились, время тоже, а куда спешить.

Море под цвет пальто, двадцать лет, Армену чуть больше, музыка, амадамморемиа аааааааааа.

Потом я высматривала катер Жорика Парцвания, он любил прогуливать туристов на своем катере; был небольшой, в сванской шапке, смешливый, научный работник, между прочим... Но любил катер.

Так мечтал стать всю жизнь дальнбойщиком один знакомый бизнесмен. Но не стал.

А Жорик науку разлюбил, море и катер свой полюбил и приезжих в поисках любви девушек тоже.

Однажды он катал три часа молодоженов из Москвы.

Муж был на вид «кушать подано», а жена – красивая яркая блондинка, которая уже сейчас знала, с кем будет мужу изменять, делилась

со мной. Она делала без конца мне комплименты, но я-то понимала, что женщина женщине, особенно такая, спокойно говорит «какая вы красивая» только в одном случае. Если чувствует себя намного лучше, красивее и даже ни в какое сравнение. Может себе позволить такую мелочь, не жалко. Я всё понимала, но улыбалась, благодарила, будто верила.

Жорик любил со мной болтать и всегда радовался, когда я приходила в своем зеленом длинном драпе.

А давай я тебе номер сниму, что ты мотаешься в эту деревню, как-то предложил он.

Жорик был совсем русский, чисто говорил, из грузинского только шапочка и фамилия. И нос.

Давай, легкомысленно согласилась я. Мне и правда надоело по полтора часа ездить к своим хозяевам и умыться из колодца.

Жорик был настолько открыт, что ничего коварного я не заподозрила, хотя втайне даже мечтала. И вот поздно вечером, пристроив катер, он постучал и вытянул руку с шампанским. В номере было два кресла. Полночи Жорик рассказывал, как нужно соблазнять приезжающих дурочек, как будто я была парнем, начинающим прыщавым соблазнителем, а не приезжей девушкой в зеленом драповом пальто.

Он говорил и говорил, что надо разжалобить женщину и всё. И она твоя. Мол, мне одиноко и страшно в этом жестоком мире, часто хочется покинуть его, а иногда такая тоска за горло схватит... И показывал рукой, слава богу, на своем горле, не на моем.

Всё рассказал, шампанское мы выпили, шоколадки съели и молчим.

А эта Оля, молодоженка... Из Москвы... Она сказала, что я красивая, представляешь?

Представляю, ответил Жорик. Она дочка секретаря какого-то партийного, члена Политбюро, кажется, ей всё можно говорить...

Я замолчала и обиделась.

Жорик не приставал, не считает, вот видишь, меня красивой, надо было в деревню ехать, там мамылыга и собаки скулят ночью, и дерутся иногда. И звезд много белых на черном небе. Я часто сидела на крылечке дома, смотрела на звезды. Курила...

И вдруг Жорик говорит – слушай.... Вот я пришел, если честно, тебя совратить... Но как я могу теперь это сделать, если перед этим посвятил тебя в рецепты соблазнения. Мне очень стыдно, но я теперь не смогу. После этого не смогу... С тобой – не смогу так. Давай просто поболтаем.

Мы болтали всю ночь, хохотали как безумные, и это была самая эротическая ночь в моей жизни, самая.

Утром Жорик заснул на единственной кровати, а я из кресла смотрела на него. Потом проснулся, вскочил, выругался, что проспал, сказал, что будет ждать на причале вечером, в пять, как всегда. Чтобы я ему кофе тоже взяла. Он не любит горячий. Ополоснул лицо, кинул на голову сванскую шапочку, поцеловал меня в макушку и произнес – да красивая, красивая... А то бы я пришел к некрасивой....

Потом в Таллин приходили посылки с мандаринами, зимой, и открытки. В них он писал, что ни с кем никогда у него не было такого секса шикарного. То был не секс, писал Жорик, а техника. С друзьями. А с тобой одно наслаждение.

А всего-то в макушку чмокнул.

А потом погиб на той войне. Ее еще конфликтом называют. Абсолютно неконфликтный Жорик погиб в абхазо-грузинском конфликте. Бред, бред, бред.

ОСТАЛЬНОЕ У МЕНЯ ЕСТЬ

Сын был в Тарту, позвонил и спросил – тебе привезти что-нибудь?

Привези мне юность.

Тогда я была пугливая домашняя лань, очень не нравилась себе, а сейчас смотрю на те фотографии – красotka кабаре. Но всё равно не верю.

Привези мне золото и терракот опавших на холм Тоомеяги листьев, ранней осенью, там наша научка была, научная библиотека, старинные развалины в памяти... И привези, как мы с бутылкой вина в одной руке танцуем на холме этом, радостные, после защиты диплома. И там с нами Андрюша Мадисон, трагическая судьба, замерз в лесу, сам пошел замерзать... А тогда еще мы танцуем и смеемся, нас много, вино, музыка магнитофона, лето.

Там же неподалеку дом Лотманов был, полный всегда нами.

Привези мне, сынок, Лотмана молодого, гусара, всегда с воспаленными печальными даже в смехе глазами. Как будто понимал ВСЁ... Как будто. Поэтому и глаза воспаленные, много думал, работал ночами, утром на лекцию.

Привези мне Юрмиха живого, который, как только рука не уставала, приподнимал головной убор перед каждой студенткой или престарелой дамой. Смех его привези, грусть его привези, четкие представления о добре и зле привези. Сейчас их нет вовсе.

Зару Григорьевну, Зару, Зарочку, вечно опаздывающую на лекции, совсем непрактичную, авоська всегда в руках, а там банка с

огурцами, продукты, трое пацанов дома... Трое лотманят. Уже тогда седовласая, без грамма краски, красавица... Когда умерла, Лотман повторял все – хочу к ней. Недолго она ждала.... Встретились.

Привези мне мальчиков, физиков-теоретиков, как с ними интересно и весело было, вот это привези. Тарту их приютил, большинство с Украины, там евреям не поступить было. Не принимали. И не только там.

Один из них, Левка Кофман, умер уже, в Канаде в обсерватории работал, кажется, возглавлял... Левку уже не привезешь, сынок.

Привези снежных мух вокруг утренних сумеречных предрастветных фонарей, зима, еще спим, но уже бежим на лекцию, тихо, город маленький, Тарту, Дерпт, Юрьев.... Только бой часов иногда. Будит.

Кафешки привези, бутерброды с килькой, вечера в общежитии, когда столько хохота за столом скудным, что насыщаешься им лучше, чем свиной запеченной.

И курилку в холле на этаже привези, где за ночь готовились к экзамену, вслух по очереди читали конспекты.

А главное – меня привези. Молодую, здоровую, пугливую, стеснительную, неуверенную, еще очень здоровую.

Вот это всё привези. А остальное у меня есть.

Владимир Козлов

НЕРАЗГАДАННЫЙ ПОЛЕТ ЦАПЛИ

Я в небе пролечу, как медленная птица...

Н. Заболоцкий

Лодка на глассере чешет по водной глади.
Но прикоснувшийся не отражается в ней.
Берег песчаный лохматую зелень заладил,
до белизны прогоревшую, до камней.
Тяжкая цапля вдруг вырывается с корнем
из камышей и минуту летит с нами вровень.
Мощное и величавое я не пытается улететь
от того, что его заставляет петь.

Высохший воздух набрасывается на реку.
Давит, пытается выхватить, зацепиться
за разборки у плеса боярышника и ореха.
На стреме повисла хищная цепкая птица.
Туго дорога описывает буераки.
Выбитых и погибших в норы уносят раки.
Стертые ноги, цвета, голоса и названья.
Сами собою беременны божьи созданья.

Берег пошел от воды, от песка отделилась пятка.
Трется сазан о камыш — получается куропатка.
Мы привнесли в эту реку стремление за пределы.
Жизнь для нас потому что — целое дело,
а полнота почему-то обязана разрешаться.
Даже в ушице есть привкус великого шанса.
Этой заразы не знает усталое лоно.
Никуда не ускачешь в стремени тихого Дона.

На горизонте грунтовки серебряный тополь,
лысый и чахлый живучий паслён.
Ты зачем, дорогой, в эти сохлые глины притопа?л?
Кем ты послан в стоячий полуденный сон?
Поздно задан вопрос. Жми на газ,
будь ты шмель, будь ты червь, будь ты ваз.

Мы ползем и летим в гомогенной среде.
Загорелыми, потными вылезем черт-те где.

Под обаяньем уверенного движенья
что-то под ложечкой жаждет преображенья.
Только куда нас влечет? Где искомое место?
Как можно выпрыгнуть из семейства
млекопитающих и первоцветных,
смешанных и ветхозаветных?
Так в пределы идей, чистых форм или веры?
Светодиодами созданной атмосферы?

Цапля не чаёт взлететь, ей некуда улетать.
Лодка на глассере чешет поток по шерсти.
Метаморфоза спокойно течет от идеи до жести.
Полная чаша, казалось, должна разрешать
двигаться дальше, но даже и самая смерть –
тут же в лесочке и мутной воде, во сне.
Наше движенье сквозь грунт, сквозь животное, сквозь
смерть – лишь надежда глазами стрекоз,

щупальцами акаций и спицами птиц
высмотреть что-то, чтобы склониться ниц.
Преображение как в наказание,
так и в награду за притязания.
Лодка летит над водой, чтоб не вылететь – не дай бог –
из мимолетности ветром испитых портретов,
скомканных в бесконечный пейзаж бесконечного лета,
если излучина резко уходит вбок.

Нас настрогать, по Овидию, не забота.
Кости праматери за спину – и готово.
Камни летят – и на них проступает зевота.
Кто-то выходит на трассу и добирается до Ростова.
Сути божественной ночью светится светлячок.
Зверь в темноте говорит: «Землячок» –
и превращается в человека, но тот
скоро уж тесен, как уточка или угод.

И вылезает на сушу еще неизвестная форма
хрен-разберешь-чего, но зато на своих двоих.
Будто грязи на солнце становится некомфортно,
и на поверхности зарождается вихрь.

Почва вдруг съеживается и выдавливает алмаз,
в нем есть молекулы нас,
столь неподвижно летящих, оставшихся выездных,
не умирающих в перегное, стремящихся без выходных.

МАСКА РЫБЫ

И, видит Бог, никто в мои глаза
Не заглянул так мудро и глубоко...
В. Ходасевич. «Обезьяна»

На меня надвигается маска рыбы.
Ее губы сделаны грубо.
Она прямо напротив
подвешена как отражение
и совершает самостоятельные движения.

Омертвелое, но выпученное око
моему паническому зрачку в пикну.
Рыба экономно
сокращает спину
и бездушно смещается мимо.

Океанариум Ираклиона.
Время медленно тут проводимо.
Кажется, будто бы его толща
держит уже и меня
исключительно мощью

воображения, пока никто не видит.
Кто маску рыбы носит?
То человека копни —
и провалишься в бездну,
а эта харя уже
никуда не исчезнет.

Брыли, законченные усами.
Масса, застывшая в царственном зависании.
Я и в ней в состоянии отразиться
и напугать себя,
и защититься,

и успокоиться – эта среда равнодушна
пока моя страсть, как в подушку,
не выплачется, не навоет в нее
горькой обиды
намеренное гнилье.

Столько концов припрятано в эту воду,
что в ней уж давно только новые виды.
Защити же, стеклянная оборона,
от химер,
наплывающих и урон мне

наносящих величием обретенным –
я ведь остался и слаб, и темен...
Но, может, природа,
вобрав мою желчь,
всё равно сотворит рыбу-меч.

Защити эти пять кубометров
среды от влияния нервов,
от величия, от исключительности раба –
рыба слишком слаба.

Я хочу в тебе видеть альтернативу
себе, самоценное диво,
не ущемленное меньшинство,
не униженное существо.

Ты не продолжишь мой мир собою.
Я разрываю своею любовью.
Остановит меня стекло,
отразит все болезни слов.

Люди меня обучили, но сделать лучше
получится уже вряд ли.
После признания мной поражения
рыба делает глотательное движение.

Клементина Ширшова

* * *

сумерки там, где оконно-малиновый свет
и по двору иногда переходят оттенки.
блик абажура заставит отцветший букет
из-под стекла говорить притяжением смертным,
выданным раз навсегда, будет больно в груди
выкричи, выбей, упейся спокойным сюжетом.
сам виноват и поэтому всё впереди,
если ты веришь и хочешь ответить за это.

самое свежее здесь — голосок вдалеке,
той отвечает другая в тональности той же.
значит, сбылось и не может грезить о большем,
жизнь хороша и мы рушим ее налегке.
злая девчонка зачем-то стоит во дворе,
много ли смелого дельного молвит в слезах мне.
так беспокойное тело боится стареть
и собирает семья обожженные камни.

всем хорошо было на берегу, вдоль реки
плыл пароход и вы знали, что он настоящий,
очень красивый, и смелый и вдаль уносящий,
точно как честность и водка, и наши грехи.
будем беспечны, пока не откроем окно,
в сумерках грянет включенным по радио соло:
«посвящается тем, кто бездумно растрочен, прощен
и едва ли способен сказать сокровенное слово».

* * *

зов странствий, как его преодолеть
мутировав лекарственно на треть
зажатой между страстью и харибдой
и перепев таинственный мотив
сосуды до сияния отмыв
становишься многоголовой гидрой

и вот уже тебя хотят убить
и ты летишь во всю стальную прыть

и отбиваешь точные удары
подумаешь – как получилось так
а новая башка летит в овраг
под чьи-то грандиозные литавры

и убедить – не монстр, ты – герой
здесь некому, покуда на покой
отправились защитники порога
предупреждая, будет век жесток
и сглатывая кровавой поток
претерпевая смутную тревогу

перепоешь себе до тошноты
однажды станет всё, как хочешь ты
назавтра будет всё, как хочешь ты
я выдумаю десять заклинаний
у нас есть я, да будет красота
и брезжит ледяная острота
и море безответных расстояний.

РЕАНИМАЦИЯ

– и совсем не вспомнишь, что случилось с тобой?
уточняет врач, дежуривший в день, когда

и забрезжило то, что было всегда со мной
не про маску и трубку
светильника вогнутые глаза
но похоже именно про то,
что вообще вспоминать нельзя

– значит не в курсе, что приключилось с тобой?
продолжал себе врач спокойно и простодушно
значит не надо, значит и хорошо.
и пошел завершать дежурство.

* * *

в детстве любила средневековые замки
первоочередно за высокие башни
представляла так: с одной из них кто-то машет
взгляд привычно дорисовывал на картинке
из учебника, на магните или открытке

привезенной подружкой с экскурсии по Германии –
чью-то машущую фигуру
на одной из башен, как бы спрашивая: «что с вами?
выходите ко мне и всё будет хорошо»
гравюра

заверяла подруга, это пиковая дама
поголовно захлеб тогда обсуждали ее
даже думать о даме было просто смешно
как скучна пиковая дама в кисейном платье
в черномастной вуали произнося проклятье
добирается по лестнице до тебя
и зачем ей это? как-то не занимательно
хоть обычно в замке лестница тоже была
мура

но фигурка по-прежнему продолжала махание
ежедневным замком усиливаясь в кривлянии
я сбегала тайком в поликлинику, мерять зрение
второпях перешла на домашнее обучение
и закончила школу, дабы пойти в институт
а фигурка как была, так и ныне тут
чтоб не видеть ее, запрятаны в стол подальше
содержащие замки рисуночки столь манящие
а она возникает, едва я смежаю веки
представляя замок мысленно и навеки
исступлённо машет – «люди, что с вами?
выходите ко мне»
и люди идут за нами
пребываю в блаженном неведении до утра
ура

* * *

сидели в беседке
он листал книгу по фотографии
бабочка, угодившая в плен,
билась крыльями о полиэтилен

сказано в книжке:
женщину звали Вивьен
и она считала необязательным
демонстрировать свои негативы всем

среди хлама
среди страшного хлама
я нашел ее снимки
она говорила ношу свою жизнь с собой

она работала няней
она была очень странной
что такое сила? Покой

чтоб войти в состояние небушка
тихой солнечной улочки
в состояние знания

незамеченной, значит и незасвеченной
и остаться — такой.

* * *

непредвиденно возвращаясь
не забыть заглянуть в зеркало, улыбнуться
это нужно духам, живущим в доме
чтобы уверить их в своей благонадежности
и не прогневать

случайно просыпав соль
бросить горсть через левое плечо
прямо в глаз подбирающемуся черту
выбравшему момент подходящий
готовому причинить вред

надев наизнанку предмет одежды
тут же его вывернуть, переодеть
или в тело войдет болезнь
и уже не поможет доктор
лучше такого не допускать

уронив нож или ложку
постучать трижды об пол
сплюнуть — за плечом тот же самый черт
а могут еще прийти незваные гости
нож-мужчина и ложка-женщина

раз в неделю делать карточный расклад
 как учила бабушку ее мать
 а мать бабушки – ее мать
 быть внимательным к планетарным фазам
 следовать вещим снам

соблюсти это и победить
 больше не умирать.

Москва

Ара Мусаян

Литература

Уединенность – подруга жизни Орфея (вспомним «Уединенное» Розанова), и французы выглядят особенно «везучими» в этом плане: наиболее отдаленными от всякого рода проявлений «коллективного духа», в отличие хотя бы от соседних англичан – нации коммерсантов, чей «индивидуализм» изрядно снижается насущной в делах «общительностью», – не говоря о немцах, испанцах, итальянцах, дольше французов дожидавшихся возможно наиболее эффективного «возбудителя» поэтического бунта – *централизованной государственной власти*.

Если вы не *один на один* – лицом к лицу с той скалой, о которую вы призваны рано или поздно разбиться (о, поэты России!), то с истинной у вас не получится. Нельзя надеяться принести что-либо в литературу, работая вскладчину «партийно»: *от* или *во имя* – класса, нации, братии (и вспоминается «недостойный» сын Альбиона – великий Байрон).

* * *

Завидная была доля у советских актеров кино (но и театра, оперы): могли изображать *свободных* людей – воспроизводить их непринужденные жесты, позы, выражения...

* * *

Есть что-то у Персела – как у Шекспира (сказать «неповторимое» – это уже что-то *сказать*) – чего нет ни *до*, ни *после*...

* * *

Гений – не от генов, а – *места*: не где-то в Германии, а именно – в Тюбингене три гимназиста (Гельдерлин, Шеллинг и Гегель) схватывают одновременно «дух времени» – как схватывается грипп или холера (и недаром Фрейд уподоблял свое открытие *чуме*).

(Но есть в нас *гены* более или менее «иммунные» к тому или иному микробу, вирусу, бацилле)...

* * *

Проактивный Альцгеймер – наперед «забывать» то, что не хотелось бы когда-либо «вспоминать».

* * *

«Везде» и – «весь день»: языком прочувствованное единство пространства и времени.

* * *

Красота – нечто количественное: степень, *порог*, перейдя который – цвет, вспышка, фейерверк...

* * *

Бинарность учебы (метод проб и ошибок) – «треножность» творчества.

* * *

Песня – место встречи каждого с обществом. Чего нельзя сказать о *книге* – месте встречи каждого с самим собой.

* * *

«Вот еще мне», «ишь ты», «ну и ну», «подумать только»... Языковые сгустки (молекулы из словесных атомов), где теряется смысл исходного «материала», в пользу нового «создания» – выражения, изречения...

Так и с денежными знаками: в *капитале* теряется исконный «смысл» – рубля, франка, доллара, коими являются булка, колбаса, бутылка, – в пользу исключительного утверждения *того*, материальному обеспечению чего должны были идти эти булка, колбаса и пр.: наше «ненасытное» – *Я*, в чем и вся роковая сила капитализма: не *разделение* хлебов, а пробуждение этой высшей степени самосознания в головах (но не сердцах) – каждого.

* * *

Странно, непонятно, как и *почему* Пикассо до конца жизни так усердно, самоотверженно, не спя ночами, продолжал и продолжал творить (ведущий назвал цифру 60 000) – как если бы всю жизнь боялся пропустить нечто *капитальное*, что смутно предугадывалось и ожидалось... Кто нам объяснит эту одержимость, это, не иначе, – безумие: добавить номер, пока есть чем дышать!..

* * *

Случай, когда автор и книга запоминаются по присутствующей в ней цитате, как в «Дребезгах моей жизни» Петера Альтенберга, второго мне встречающегося знатока Чжуана-цзы:

Краснодеревщик Цин вырезал из дерева раму для колоколов. Когда рама была закончена, все изумились: рама была так прекрасна, словно ее сработали сами боги. Увидел раму правитель Лу и спросил: – Каков секрет твоего искусства? – Какой секрет может быть у вашего слуги – мастерового человека? – отвечал краснодеревщик Цин. – А впрочем, кое-какой всё же есть. Когда ваш слуга задумывает вырезать раму для колоколов, он не смеет попусту тратить свои духовные силы и непременно постится, дабы упокоить сердце. После трех дней поста я избавляюсь от мыслей о почестях и наградах, чинах и жалованье. После пяти дней поста я избавляюсь от мыслей о хвале и хуле, мастерстве и неумении. А после семи дней поста я достигаю такой сосредоточенности духа, что забываю о самом себе. Тогда для меня перестает существовать царский двор. Мое искусство захватывает меня всего, а всё, что отвлекает меня, перестает существовать для меня. Только тогда я отправляюсь в лес и вглядываюсь в небесную природу деревьев, стараясь отыскать совершенный материал. Вот тут я вижу воочию в дереве готовую раму и берусь за работу. А если работа не получается, я откладываю ее. Когда же я тружусь, небесное соединяется с небесным – не оттого ли работа моя кажется как бы божественной?

Добавлю от себя продолжение, у Чжуана-цзы:

Плотник Чуй чертил от руки точнее, чем с помощью циркуля и угольника, его пальцы следовали превращениям вещей и не зависели от его мыслей и желаний. Поэтому его сознание всегда было целым и не знало никаких преград. Мы забываем о ноге, когда сандалии нам впору. Мы забываем о поясице, когда пояс халата не жмет. Мы забываем о «правильном» и «неправильном», когда наш ум нам не мешает. И мы не меняемся внутри и не влечемся за внешними вещами, когда нам не мешают наши дела. Не иметь дел с самого начала и никогда не иметь их потом – значит не создавать себе помех даже забвением помех.

* * *

Большинство писателей – куда ни глянь, даже из самых в какой-то момент «выдающихся», – пишут (как у вчерашнего Чжуана-цзы) с «циркулем и линейкой» в руках – мания договаривания, *уточнения*, как если бы дело было не в создании некоего прекрасного стихотворения и – *вдохновении* (недаром «Комедию» Данте прозвали «Божественной»), а в составлении некоего, именно, *договора* – нотариального акта со всеми мыслимыми условиями, обстоятельствами, последствиями и оговорками, как если б автору неведомо было элементарное понятие *кривой*, чаще всего быстрее прямой достигающей преследуемую цель.

«Кривая» – указание *траектории*, которую читатель сам доведет до нужной и доступной его пониманию *точки* (теряя, может

быть, кое-что в пути, но не всё) – чем и исчерпывается задача художника.

* * *

Как воды Ахерона теряются в разверстости грунта, где древние усматривали не иначе как вход в преисподнюю, так и (а это уже слышно, когда мы у «входа», и ждем) – музыка, даже не так давно нас волновавшая, скользит по нашей вдруг к ней нечувствительности и, удаляясь, манит за собой туда...

* * *

Спросонья: «Кровь, хлещущая из ран распятого на глазах у нас поэта» и сопутствующее: *поэт сам себя распинает для нас и вонзает лезвие под сердце.*

* * *

Время, или – *расстояние*, пробегаемое в сознании от одной точки (состояния души) до другой (воспоминание).

* * *

Прогуливаясь по улицам моего парижского пригорода, несмотря на гололед – но надо же дать мышцам размяться, легким – дать простор, и слыша со всех сторон одни иноземные, порой напрочь неузнаваемые говоры, в моем чуточку «замороженном» мозгу – картина:

вся страна (не только окраины) заселена отныне людьми самых разных и дальних происхождений, и –

видеть в этой картине что-то *райское* – осуществление библейского предсказания об отмене рабов и хозяев, мужчин и женщин, своих и – чужих;

вспоминать вавилонское «смещение языков», но уже не как помеху, а лишь как приятную городскую обстановку, – некая живительная *глоссолалия*.

* * *

«Вопия в пустыне», пророку оставалось самому создать себе слушателя, называя его – *Ты*, что, видимо, и звучало – *Θεός...*

Это – в те далекие времена...

А как быть «вопиющему» сегодня? Где еще можно невзначай оказаться, лишь перейдя черту города, – в пустыне?

* * *

Почему Гомер, авторы японских моногатари были *слепы*?

Предоставляло ли отсутствие зрения сравнительное преимущество – для *запоминания*, но и творческой переработки «летописных хроник» (о Троянской войне, японских междоусобицах), давшей эти уникальные произведения?

Загвоздка в моем вопросе – как раз в слове «летопись», с присутствующим в нем корне «пис» – коль скоро считается, что у греков письменности еще не было в эпоху создания гомеровского эпоса... *Вопрос в вопросе*: чем же цельное зрение могло быть помехой для запоминания, распространения, раскрытия поэтического ядра исторических событий, поскольку несуществующая еще письменность никак и не могла проявить своего тлетворного (о чем у Платона) влияния на память!.. Не указание ли это, скорее (ускользнувшее от бдительности специалистов), что письменность, наоборот, *уже* существовала, но от ее пагубного воздействия могло спасти лишь другое «несчастье» – *слепота?*..

Попутно вспоминаются кастраты времен – в Европе, Японии, – когда законом пресекалось всякое участие женщин в публичных представлениях. Но тогда как операции кастратов приостанавливали у них нормальное развитие голосовых связок, слепота у бардов оборачивалась, наоборот, удесятенной активностью творческой деятельности.

Что-то аналогичное произошло и в новейшее время, после изобретения фотографии и звукозаписи (как когда-то – типографии и самой письменности), лишив традиционной почвы (пищи) музыку, живопись, но и саму литературу, одновременно избавив ее от обязательной исторической подоплеки и связанной с ней *повествовательности*, что тут же удостоило нас такими новшествами, как «Покойный Маттиа Паскаль», «В поисках утраченного времени», «Орландо», «Улисс», «Процесс» – романами Кавабаты, французским «новым романом»... Не забывая средневековые европейские (Артур, Изольда...), которыми мы обязаны «неграмотным» кельтским сказочникам.

* * *

Постепенное отчуждение музыки от своей изначальной роли *сопровождения* танца, пения (начиная, скажем, с эпохи Дауленда – до уже совсем самостоятельных бетховенских сонат, квартетов, симфоний).

Так и в танцах: после народных хороводов, групповых аристократических менуэтов, курант, паван – постреволюционный бинарный вальс, а сегодня – одиночное топтание на месте в ночных клубах и дискотеках.

* * *

Как чайки научились рассекать воздух, плыть против ветра – так

и поэт пишет на «встречном», но поначалу отнюдь не «благоклонно» расположенном к нему – *языке*.

* * *

Поэзия – применение к сырым фактам жизни, самые кровавые из которых составят канву *истории*, – духовных «приправ», благодаря которым запах крови сменяется цветочным благоуханием.

* * *

Жюль Ренар, *Дневник*, 27 мая 1890:

«Чего не хватает Гонкурам – это умения выделить свои *слова*, языковые находки, уметь выставить их в витрине, чтоб задержать зевак. Лишь после второго или третьего чтения замечаем, наконец, их поразительную остроту... Но станет ли порядочный человек читать одно и то же дважды?»

* * *

Густав Тибон – «конкретный философ», следующий примеру Сократа (трактатов не писал), всеми, кроме вчерашнего католического телеканала, забытый, нигде мною самим – ни в студенческие годы, ни позже – не встречаемый, – кому перед отъездом в Штаты в 1942-м за год до смерти, весь свой рукописный фонд оставила Симона Вейль.

Статья Википедии (тяжеловато) намекает, что между ними была не одна только «дружба». Счастливцев, однако...

* * *

«Как долго длится долг... Пока вы или вам должны, отодвигается на срок погашения долга дружба и любовь.

Кончилась любовь – судья назначает размер алиментов и порядок визитов к продолжателям рода, плодам той любви.

Кто просит в долг, жертвует дружбой, кто дает – откупается за нелюбовь.

Умоляюще-уламывающий тон попрошайек.

.....

Деньги: недолго длиться – иногда всего *день*»

«Капли на стекле», 2016, с. 34.

Если отталкиваться от визуальной разбивки текста (почему-то вдруг мне вспомнившегося сегодня), первое, что бросается в глаза, это – чередование абзацев-моментов, смысловых градаций: *пять*, не считая «пунктирного».

Любой не то что профессор – студент – способен остановиться на созвучии двух морфем, здесь – *сущ.* «долг» и *нар.* «долго», и продол-

жить, продлить, продумать семантически это мимолетное прозрение с помощью испытанных методик, пособий, этимологических справочников и словарей, определить существенность или, наоборот, случайность этого видимого – *слышимого* родства двух отдельных, в смысловом плане доселе никогда нами не сближенных речевых единиц.

Первый момент моего «стихотворения» – назовем его так – это отныне не элементарная констатация созвучия, а уже *знание*, интуиция понятийной связи двух слов, которая для поэта не подлежит перепроверке: язык воочию ему на это указывает одной своей формулировкой: *долг* – это то, что *длится*, что переходит из *пространственного* (момент дара) во *временной* пласт – займа. На этой стадии еще рано говорить о «творчестве», тут всего лишь *прозрение*, способное осенить иных, а не других, как металл притягивается магнитом, а не камнем. Ошибка многих: мнить, что это и есть поэзия, что раз мы – «магнит», то мы и – поэт, примерно как неопытный любовник легко довольствуется одним признанием, которое для него уже великая победа.

Собственно же *творчество* начинается со второго «стиха»: тут автор – не только магнит, который притягивает на себя молнию «*Как долго длится долг*», а сам себе «бог» и – уже творец: «Пока вы или вам должны, отодвигается на срок погашения долга дружба и любовь», где задействуется жизненный опыт, которого не могло быть в начале и который не у всякого сможет обернуться творчеством.

Два следующих абзаца можно рассматривать как *развитие* – комментарий к предыдущему положению/предложению; «развитие», которое должно быть, по возможности, исчерпывающим, не оставляя места какому-то еще возможному – со стороны или в будущем – расширению.

Последние две строки – некоего рода «бонусы», нечто факультативное, что, однако, не должно идти в ущерб предыдущим, ключевым моментам эксперимента.

* * *

Рассказни и – козни.

* * *

Разница между поэтом и политиком, что между поэтом и лавочником – хозяином в своей лавке (как бы ни была она скромней министерских кабинетов и покоев)...

* * *

Смотрю документальный фильм о белой медведице и двух мед-

вежатах, их скитаниях по замерзшему океану, и вспоминаю библейское – «не хлебом единым»...

Не хлебом, не даже молоком, а такой же библейской *любовью*, то бишь самоотверженностью (что уже налицо у животных), и – «компанейством» (даже если последнее не раз кончается «чечевичной похлебкой»)...

* * *

Основная характеристика музыки – это, я бы сказал, ее бесконечная «слушаемость» (Бах, Моцарт – но уже у Брамса, увы, порой тяготит перенасыщение)...

Дебюсси – анти-музыка, антитезис музыки: статичность, стационарность, неподвижность, которую впервые осознаю, слушая на днях «Эстампы», «Картины»... Не *романтическая* устремленность вперед, не всадник и смерть, а – равнодушие, спокойное созерцание колышущейся листвы, ряби на водной поверхности... Влияние Востока? Все неевропейские музыки, или даже просто дохристианские, – созерцательны, потому что божество у древних народов – не человек и не герой, а некая идея неподвижности и неизменчивости.

* * *

Можно ли, просмотрев альбом репродукций великого художника, на следующий же день ожидать такого же озарения от повторного листания? Эффект от картины – ослепительный, как от солнца. Полотно художника – след солнца на сетчатке.

От музыки, наоборот, эффект поверхностный и преходящий: одни звуки сменяются другими – нет «сетчатки» в слуховом аппарате.

Какую картину, кроме разве невзрачной «Моны Лизы», можно смотреть и смотреть, так ничего до конца в ней и не «поняв»? Леонардо, видимо, писал не для глаз, а для ума, и вся притягательная сила образа – в ее неразгаданной по сей день *ухмылке*.

* * *

Крош, псевдоним Дебюсси как музыкального критика, – о *Мусоргском*:

«Сие наводит на мысль о мастерстве некоего ‘дикаря’, которому музыка открывалась бы на каждом шагу, очерченная моментом переживания; и речи быть не может о какой-либо *форме*; во всяком случае, форма настолько множественна, что ее невозможно сблизить с установленными – я бы сказал, *административными* формами; все построено на последовательных ключах, невидимой связью схвачен-

ных талантом светлого ясновидения; но моментами Мусоргский сообщает слушателю ощущения тревожного мрака, которые схватывают и сжимают сердце до ощущения ужаса».

* * *

Возможно ли такое выражение, формулировка – «ненавистная жизнь»? У Лермонтова есть что-то близкое: сознанием, предельно отточенным, объективируемое и мысленно отвергаемое наше животное-человеческое на земле существование.

«Конец света» – представление не из области логики, а скорее, *пожелания*: покончить, раз и навсегда, не только с собственным, не только с человеческим, а вообще – с *существованием*, гнусью вечно-го побирательства в этой «юдоли слез». Даром что самая «благая весть» – по сей день, увы, так и не осуществившаяся, – «Апокалипсис», возвещающий о скором конце!

* * *

Как мокрой тряпкой, а лучше – губкой, стираем меловую надпись на школьной доске, так и в минуту смерти сотрем *живую память* наших дней.

* * *

Когда читаешь таблички с известными именами – на кладбище Пер-Лашез – впечатление, что люди всю жизнь лишь добивались себе *таблички с именем на Пер-Лашез*.

* * *

Жизнь как времяпровождение (Паскаль), спектакль-ожидание (Дебор) – но ни один, ни другой не были обременены, что называется, – «потомством».

* * *

Красота – то, что отрицает историю; история – то, что сметает с лица земли следы цивилизации.

* * *

На могиле Моцарта, скошенного в возрасте едва старше Шуберта, кто бы стал говорить о захороненных здесь «несбывшихся надеждах»?

Известно, что прах Моцарта был предан общей могиле – как и подобало презренной телесной оболочке «бога музыки» и как до него разорвали на клочки бога поэтов – Орфея.

Можно ли представить себе Моцарта дряхлым старичком с чепцом – или без – на голове?

А Шуберт пал сраженным, словно внезапным порывом ветра сбитый с дерева – здоровый, «обещающий», но чуточку таки «незрелый» плод.

* * *

Сколько и что бы мы в жизни ни *имели* (Экклезиаст), ничто не утешит от потери *мира*, которому сами мы *принадлежали*.

* * *

Рус. *любовь* и фр. *lubie* – «прихоть», которая – удивительно ли? – в семантическом ряду вплотную приближается к «похоти».

* * *

В животной «фонетике» (птиц, зверей...) нет *согласных* – одни *гласные*: трели, рев, гам...

Человек как единственное «согласующее» звено вселенной: Бог взрывает (дьявол!), человек – воссоединяет (ангел...).

* * *

Экспрессионизм (Шенберг, Берг) – тот же вывернутый наизнанку, но уже полностью во всем отчаявшийся романтизм.

Париж, сентябрь 2017 – апрель 2018

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Иван де Шакк

Зрелище пути.

Великий князь Борис в США*

В череде далеких и близких исторических событий и имен мы порой неожиданно сталкиваемся с отдельным персонажем или эпизодом, которые помогают нам лучше понять прошлое, более точно представить себе время и смысл минувшего. К таковым персонажам относится и Иван де Шакк. Карл Людвиг Иван фон Шакк родился в 1865 г. в Женеве, умер в 1926 г. в Париже. Его отец Адольф Мартин был австро-венгерским консулом в Женеве. Подобно многим, Иван Шакк, в поисках успеха и карьеры, отправился в Россию, где ему суждено было несколько лет обучать детей Великого князя Владимира, а затем в течение двадцати одного года оставаться личным секретарем одного из них – Великого князя Бориса. Сопровождая Великого князя, он в разные годы совершил кругосветное путешествие, побывал в Сиаме, Маньчжурии, на Кавказе.

Иван Шакк оставил после себя немало трудов. В основном это дневники, но будучи историко-документальными свидетельствами, они, тем не менее, предстают пред нами как высокохудожественные произведения, отличающиеся изыском не только авторской мысли, но и слова. Они свидетельствуют об исключительной образованности и редком литературном таланте Ивана Шаекка. Вызывает сожаление то, что нам мало известно о жизни этого незаурядного человека, и еще более удручает то, что его работы незнакомы русскому читателю. Дабы как-то исправить положение дел, мы и предложили читателям НЖ этот перевод.

Первая публикация дневника де Шаекка времен Гражданской войны была в НЖ в № 271, 2013. Шаекку суждено было в лихие 1918–1919 годы оказаться на Кавказе, где он вел «Дневник одного свидетеля», в котором запечатлены события, что происходили в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Кабарде до августа 1919 года. (В 1920 г. этот дневник под названием «Большевистская буря» был опублико-

*Главы из книги Ивана де Шаекка «Зрелище пути. Кругосветная прогулка с Великим князем Борисом». – Париж, 1910. Перевод с французского Каральби Мальбахова.

кован в дюжине номеров парижского «Нового журнала»). А в двадцать первом веке уже другой, американский, «Новый Журнал» познакомил русскоязычного читателя с этим текстом.

В 1906 г. в Париже была издана книга И. де Шаякка «Зрелища войны. Шесть месяцев в Маньчжурии с Е. И. В. Великим князем Борисом». В 1910 г. в Париже опубликована книга И. де Шаякка «Зрелище пути. Кругосветная прогулка с Великим князем Борисом». Это путешествие в далекие страны стало, по многим причинам, весьма интересным и в какой-то степени уникальным. Статус Великого князя Бориса делал его поездки почти официальными и, несомненно, политически важными. Книга И. де Шаякка наполнена любопытными описаниями, столь ценными для всякого, кто интересуется историей, географией, этнографией и культурой разных народов. Эти описания обогащены сотней авторских фотографий.

Каральби Мальбахов

ГЛАВА XV

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ТИХИЙ ОКЕАН. ОДИН ДЕНЬ В ГОНОЛУЛЕ. САН-ФРАНСИСКО. ГОРОД И ЕГО ЖИТЕЛИ. ЭКСКУРСИЯ В КАЛИФОРНИЙСКИЙ ЛЕС. ОМАХА

15 июля. – Через несколько минут «Coptic», теплоход американской компании О.О. (Occidental Orientale. – К. М.) поднимет якорь. Многочисленные персоны, приглашенные на прощальный обед, что Великий князь дал в отеле, – князь Канэ, майор Аоки, церемониймейстер Фукуба, барон Маденокози, г. Извольский, а также весь персонал Русской миссии – решили сопроводить Его Императорское Величество до корабля.

Наступил момент прощания. Надо будет расстаться с нашими верными индусскими слугами, ибо мы им пообещали, покидая японскую землю, вернуть их на родину. Славные люди! В качестве последнего знака внимания они украсили наши каюты красивыми букетами цветов.

Наш путь лежал в Гонолулу, от коего нас отделяли 3,950 миль. Пассажиры состояли большей частью из американцев; кроме того – из англичан и немцев.

Капитан «Coptic», г. Райнде, был человеком красивым, любезным и обаятельным. Все наши обеды проходили за его столом. Великий князь занимал почетное место справа от капитана.

Передняя часть палубы была запружена несколькими сотнями японских кули, направлявшимися на Гавайские острова для работы

на сахарных и чайных плантациях. Некоторые везли с собой жен и детей. Они спали под открытым небом, завернувшись в шерстяные покрывала. Дабы не нарушить прически, женщины клали свои головы на маленькие деревянные подставки. По привычке весьма опрятные, каждое утро их можно было видеть моющими свой бюст, который их кимоно, впрочем, едва прикрывало, и старательно приводящими в порядок свою черную шевелюру перед маленьким зеркальцем.

На следующий день ветер стал прохладнее; килевая качка усилилась.

Мы завязали знакомство с большинством пассажиров; среди прочих – с немецким капитаном, возвращавшимся из африканских колоний, где он подорвал свое здоровье, воюя против туземных племен. Благодаря приветливости и веселому нраву, Великий князь Борис покорила на борту всех американцев, ежевечерне играя с ними в салоне партию в покер.

Впрочем, дни проходили быстро. Какая радость для секретаря оказаться свободным от получения ежедневной корреспонденции и внезапного появления всякого рода просителей!

Каждое утро перед завтраком капитан Райнде, большой любитель гимнастики, собирал молодежь, жаждавшую совершить моцион, и заставлял ее по-военному исполнять движение рук и ног. Мы регулярно в этом принимали участие сразу после того, как вставали с постели, в простой пижаме; такое неглиже было допустимо до первого завтрака. Американские дамы тоже не упускали возможности поприусловствовать издали при этом забавном представлении – и смеялись как сумасшедшие, когда движение корабля заставляло нас терять равновесие.

Вечером, за час до обеда, всё так же под эгидой неугомиго капитана, любителя спорта, мы предавались столь же целительной игре и в такой же степени не лишенной весьма комичного характера. Игроки, поставленные кругом, числом от пяти до семи, справа налево перебрасываются мячиками из грубой холстины, шитыми и наполненными песком, диаметром приблизительно в десять сантиметров. Игра состоит в быстром, тотчас, как поймали, отбрасывании этих мячиков своему соседу слева, не думая, поймает ли он их или руки его еще заняты. Какой бы простой игра ни казалась, она заставляет вас за считанные минуты вспотеть и требует большой ловкости, ибо если вы не освободитесь от быстро брошенных вам мячиков, то рискуете оказаться под градом этих мешочков с песком.

За шесть дней мы не заметили на горизонте ни мачты, ни трубы хотя бы одного судна. Ни следа даже морских птиц или рыб. Человек бесспорно чувствует себя ничтожным на этом огромном

водном пространстве, и он содрогается при мысли о бездне, что находится под его ногами. Следуя карте, глубина под нами составляет 6200 метров.

Солнце теперь жаркое, так что мы вновь приоделись в наши одежды из белого полотна. Каждый вечер разные эффекты от лунного света на бесконечной поверхности океана вызывали восхищение пассажиров.

Пользуясь хорошей погодой, капитан организовывал, дабы развлечь молодежь, череду немилосердных бегов: «potato-races», «shoe-races» (бегов с картофелем, в туфлях и т. д.). В программе фигурировали также бои подушками, или «pillow-fighting».

Помещенные лицом друг к другу, верхом на шесте, поставленном подобно гимнастической перекладине, в полутора метрах от палубы, двое борцов пытались выбить друг друга из «седла», нанося сильные удары подушками.

Для гонок с препятствиями импровизированная дорожка среди прочих преград включала натянутую, как гамак, сеть, на коею соревнующиеся должны были карабкаться; разные прыжки; проход сквозь один из длинных полотняных рукавов, что используют для проветривания нижней палубы; прогулка в угольный отсек и, наконец, ныряние в просмоленный полотняный бассейн, служивший нам в носовой части корабля местом плавания.

На корме японские кули с небывалым задором боролись, охватив друг друга в охапку. Короче, в тот день все много забавлялись. После распределения призов одна сторона полуята была украшена флагами и весь вечер там увлеченно танцевали.

На следующий день, девятый день нашего перехода, на демаркационной линии вод показался утес. Из-за большого числа чаек, живущих на нем, этот островок был назван «Birdsisland» («Островом птиц»). Это был первый остров архипелага, торчавшего посреди океана, называемого Сандвичевыми островами, самым большим из коих является остров Гавай.

Во второй половине дня один за другим нашему взору открылись другие, более крупные и гористые, острова – и засияли в лучах заходящего солнца удивительными розоватыми и фиолетовыми цветами.

Ночью мы прибыли на рейд Гонолулы, где «Cortis» сделал короткую остановку, дабы запастись углем. Все обрадовались при мысли о возможности провести полдня на суше. Мы причалили к пристани. Едва были переброшены сходни, как мы оказались атакованными двумя американскими журналистами. Они любой ценой хотели взять интервью у Великого князя.

Мы в mail-coaches* пересекли радующий взор маленький город. Некогда управляемые конституционной монархией – нам по пути показали старый дворец королей, – Гавайские штаты, испытав на себе в течение пяти лет республиканский режим, были присоединены в 1908 году к Соединенным Штатам Америки.

И по своему обличию, и по рекламам их магазинов, улицы Гонолулу, несмотря на их низкие дома, дают вам представление об американских городах. Взятое в целом, население Сандвичевых островов насчитывает чуть более 100 000 жителей, треть коих образована из аборигенов коренной расы, с кожей бронзового цвета. Остальная часть состоит из японских и китайских колонистов, португальцев и метисов. Местные жители любят обвязывать плечи и грудь гирляндами цветов и вместо юбок носят тростниковые пояса, ниспадающие до колен.

Проехав между чередой тенистых садов из пальм, мы вышли из экипажа и отправились в Moana Hotel, первоклассное здание с восхитительным видом на темно-синюю бухту. Красноватые горы, ее окаймлявшие, были лишены растительности, ибо весь остров является происхождения вулканического и сохраняет несколько древних кратеров.

Моана-Hotel является весьма популярным у американцев Сан-Франциско местом отдыха как из-за климата, так и из-за великолепно-го пляжа, где волны океана постоянно набегают полосами из серебристой пены. Купальщики занимаются там уникальным в мире спортом. Их на шлюпке доставляют на некое расстояние от берега, на линию открытого моря, где разбивается волна, и после они возвращаются на узких пирогах, кои волны прибоя несут с необычайной скоростью.

После превосходного обеда по-американски мы вернулись на наш пароход.

На пристани немецкий консул, месье Изенберг, представлявший в Гонолулу и интересы России, повесил нам на плечи, по красивому местному обычаю, гирлянду белых цветов. То же сделали и некоторые дамы. Несколько минут спустя «Cortis», все пассажиры коего также оказались украшены гирляндами цветов, медленно стал удаляться под звуки русского государственного гимна, исполненного одним из городских духовых оркестров. Туземная толпа, собравшаяся на понтонном мосту, махала платочками и желала нам доброго плавания, и скоро гористое побережье острова, ярко освещенное лучами заходящего солнца, скрылось с наших глаз.

До Сан-Франциско нам оставалось преодолеть еще 2089 миль. В

* Почтовая машина (англ.)

спокойном море это дело шести дней. Но со второго дня сильный ветер, дувший в нос кораблю, покрывал барашками поверхность океана и сообщал нашему судну столь ощутимую килевую качку; при каждой волне массы воды обрушивались на носовую часть. Мы ступили в новую зону регулярных ветров, готовых стать помехой нашему плаванию.

Лишь на шестой день море утихомирилось.

Мы с интересом наблюдали за движениями многочисленных групп китов. Присутствие этих водных исполинов свидетельствовало о близости берегов американского континента. Он действительно явился нам на следующий день, в пять часов вечера, в форме маленького пригорка. Через три часа «Coptic» миновал Golden-Gate, или «Золотые ворота», и бросил якорь в широкой бухте Сан-Франциско.

Несмотря на заманчивое соседство большого города, сияние бесчисленных огней коего мы созерцали, нам пришлось проспать еще одну ночь в наших каютах. В этот последний вечер мы слышали в офицерской столовой откупоривание шампанского и взрывы смеха. Офицеры, среди прочих, пригласили красивую даму полусвета из Шанхая и приставленную обслуживать каюты горничную. Последняя, красивая брюнетка, очень услужливая, совершала свое сотое плавание через океан!

31 июля. – В три часа утра «Coptic» вошел в порт и причалил к пристани. В первом ряду лиц, ожидавших пассажиров, мы различили маленького господина в рединготе и высокой формы шляпе. Это не был наш консул, как изначально мы предполагали, а представитель «Компании спальных вагонов», г. Клерфейт, бельгиец по происхождению, прибывший в распоряжение Великого князя. Консул же, как нам сказали, ожидал Его Императорское Высочество в «Palace-Hotel», самом знаменитом и самом большом из всех отелей Сан-Франциско. Я позволил Великому князю и его спутникам отъехать в экипажах, намереваясь заняться нашим многочисленным багажом, ибо отныне boys у нас не было, а русский слуга Великого князя и слова не знает по-английски.

Впервые за время нашего долгого путешествия багаж наш подвергся таможенному досмотру. Господа, служившие в американской таможне, попросили нас открыть багаж, не пощадив ни одной нашей вещи, – восемьдесят два чемодана, свертка и ящика, составлявших багаж Великого князя и его свиты, – подойдя к досмотру формально, ибо несомненно получили из Вашингтона по этому поводу инструкции.

Сан-Франциско справедливо заслуживает эпитета «Королевы Тихого океана». Это был, перед землетрясением 1907 года, чудесный город. Следы того бедствия сегодня большей частью исчезли.

Наш отель, величественное здание, насчитывавшее тысячу двести мест, выходит на главную улицу города, Market Street, или «Торговую улицу». Из окон наших комнат мы примечали Chronicle Building, самое высокое сооружение Сан-Франциско, окруженное рекламными воздушными шарами. Двадцать параллельных улиц перпендикулярно выходят на эту сторону улицы. Они носят номера и, в свою очередь, срезаны на правом углу чередой улиц, таким образом делящих квартал на четырехугольные блоки домов. В такой строительной системе иностранец ориентируется легко.

Вскоре после обнаружения первых золотых жил в Калифорнии в 1850 году, ее население насчитывало не более 20 000 жителей. Хватило и тридцати лет, дабы удвоить его, а сегодня, со своими 350 000 жителей, Сан-Франциско является седьмым городом Америки.

Путешественник, прибывший с Дальнего Востока, где он месяцы прожил под палящим солнцем тропических стран, среди народов со смуглой кожей, испытывает настоящее удовольствие прогуляться по просторным улицам, столкнуться с этой разнородной, активной и нарядной толпой, придающей столице Калифорнии абсолютно восточный характер. Достаток, радость жить свободно, каждый по-своему, освобожденным от предрассудков, что тиранят нашу старушку-Европу, – всё это читается на лицах прохожих. Но то, что делает эту столицу столь привлекательной прежде всего, – это ее климат, один из самых чудесных, что есть в мире.

Счастливые обитатели Фриско! – таково короткое название, что американцы дали городу, – вы не ведаете ни изнурения от зноя, ни окоченения от холода! Печи для вас столь же лишены смысла, что и пальто, ибо вы обладаете счастьем наслаждаться круглый год весенней температурой. Благодаря благотворному бризу океана, цвет лиц ваших женщин не уступает по свежести ни цветам садов, ни фруктам из сельской местности. Действительно, я не знаю города, могущего соперничать с Сан-Франциско с точки зрения красоты женщин. В венах многих из них течет испанская или мексиканская кровь, что добавляет к росту и здоровой полноте англосаксонок утонченность черт и темперамент южанок.

Ничего удивительного, что в столице Калифорнии царит радужная жизнь. С первого же вечера мы познакомились с рестораном «Poodle-Dog», одним из самых известных в городе, куда М. Б., наш спутник по путешествию через Тихий океан, из-за пари пригласил на обед всех сотрапезников капитана с «Сортис».

Каждый день мы носились по оживленным улицам города – то пешком, чтобы посетить магазины, то на трамвае – экипажи и автомобили составляют редкость в Сан-Франциско, – деликатно, но упор-

но сопровождаемые двумя агентами секретной полиции. Куда бы мы ни пошли, вечером в ресторан или театр, мы замечали их сидящими недалеко от нас, всегда весьма пристойными, в смокингах. Самый пожилой из двоих, М. Б., имел внешность и манеры безупречного джентльмена. Он множество раз сопровождал, в качестве детектива, Президента в его поездках.

Одной из достопримечательностей Сан-Франциско, в самом сердце города, является китайский квартал, с его узкими улочками, украшенными фонарями лавками, его буддистскими храмами, театрами и притонами. Двадцать тысяч выходцев Поднебесной живут там, набившись в низенькие домики, абсолютно следуя нравам и обычаям своей страны. Предпочтительнее с наступлением ночи туда не отваживаться идти одному.

Во всех клубах – в Union Pacific Club, в Bohemian Club – нас принимали с распростертыми руками, с чистосердечной добротой, характеризующей американцев. В Olimpia Athletic Club, где Великий князь присутствовал на состязании по боксу, он умело справился с самыми тяжелыми гириями, вызвав большое удивление присутствовавших членов клуба.

На следующий день он много смеялся, увидев на себя карикатуры в нескольких газетах, – в костюме атлета, подымающего огромный вес. 4 августа (22 июля по старому стилю) мы сообща отправились в русскую церковь, дабы принять участие в благодарственном молебне, Те Деум, совершаемом по случаю патронимического дня Вдовствующей Императрицы и Великой княгини Марии Павловны. После службы – обед у нашего консула г. Козакевича. Последний был приглашен Великим князем присоединиться к нам для экскурсии в калифорнийский лес.

В шесть часов вечера мы пересекли бухту на огромном ferry-boat, переполненном людьми, – то был час окончания рабочего дня – дабы сесть в поезд, что должен был доставить нас за ночь в Реймонд, на станцию, расположенную у подножья гор Сьерра-Невада. Оттуда нам оставалось потратить восемь часов езды в mail-coaches, дабы достичь Вавоны.

Холмистый и облесленный край, куда мы углубились, был прежде во всех смыслах разведан искателями золота. Здесь вы можете еще увидеть то тут, то там, следы заброшенных приисков. В это время года дороги покрыты толстым слоем пыли. Через несколько минут мы были уже неузнаваемы – белые, как мельники. Хорошо, что на каждой станции имелась маленькая комната со всем необходимым, дабы путешественник мог помыть лицо, – но, по правде говоря, было это напрасным. На повороте дороги мы разминулись, не без труда, с

тяжелой бочкой для орошения, заполненной нефтью*. Какое-то время мы оставались избавленными от бича пыльной дороги. Теперь дорога была покрыта черноватой и липкой грязью, под действием солнечных лучей быстро превращавшейся в нечто твердое, подобное битуму. В этом крае, богатом нефтяными запасами, такого рода орошение практикуется часто и дает весьма долговременные результаты.

Чем более мы поднимались, тем живописнее становился пейзаж. К полудню мы проникли в великолепные сосновые леса, чередующиеся с зелеными прогалинами. Вдруг на тенистой дороге бешеным галопом нас обогнала группа всадников. В этих местах женщины скачут, как мужчины, опираясь на широкие мексиканские стремена.

Мы приблизились к району больших деревьев, самой любопытной точке этого чудесного естественного парка. Наши взоры были уже поражены великолепными хвойными деревьями, но то были карлики в сравнении с феноменами, что позднее предстали пред нами и высота коих достигала двухсот семидесяти двух футов, около ста метров. Вот мы пред одним из этих *sequoias*. Тщетно, в восемь человек, пытались мы объять ствол. Нам пришлось бы, дабы заполнить цепь, по крайней мере, полдюжины рук! Не думайте, что то было самое крупное из этих *big trees*. Нашлось, уже на дороге, дерево выше ста метров, «Калифорния», — ибо самые поразительные из этих ветеранов имеют имя, — чей ствол был продырявлен (что не принесло ущерба живучести дерева) туннелем, достаточно высоким и широким, дабы предоставить проезд нашим почтовым каретам! Дабы эти хвойные деревья могли достичь подобных размеров, для их роста потребовалось несколько столетий, нужна была защита от ударов ветра — и все это в условиях особо благоприятной почвы и воздействия солнечных лучей. Посреди этой группы великанов домик, служащий почтовой станцией, показался нам жилищем лилипутов, до такой степени взгляд теряет способность воспринимать привычную величину вещей в этой грандиозной декорации леса.

Расположенный в небольшом домике близ маленького села, состоящего из элегантных шале, окруженного прудами, выгонами, над коими вырисовывалась на фоне заходящего солнца тень величественных пихт, отель «Вавона» является одним из самых восхитительных дачных мест, что можно было себе представить.

* Речь идет о природном асфальте; он образуется из нефти в результате испарения ее составляющих и окисления. Смешиваясь с песком, он превращается в кору на поверхности больших нефтяных озер. Такой асфальт был широко распространен в районах неглубокого залегания или выхода на поверхность земли нефтеносных пород. Очевидно, что в дневнике описан именно такой, местный американский способ асфальтирования дорог.

На следующий день утром мы впервые увидели других редких представителей древнего коренного населения этой страны – краснокожих, загорелых, расположившихся лагерем в соседнем лесу. Затем, тотчас после ланча, мы отправились – одни на лошадях, другие в coach – в Долину Йосемити, находившуюся в двадцати семи милях от «Вавоны». Мы, петляя, взбирались по живописной дороге, идущей через дикий лес. Чем выше мы поднимались, тем шире у наших ног простиралась долина, и вскоре с другой стороны показалась возвышенная горная цепь Сьерра-Невада, самые высокие вершины которой покрыты были снегом и достигали высоты в 4000 метров. Приблизительно на полпути находилась почтовая станция Eleven Mile Station, где меняют лошадей. Наши всадники были доведены до изнеможения, и мы забрали их в наш coach. Полчаса спустя, после Inspiration-Point, мы увидели величественные массивы гранитных скал, нависавшие над Долиной Йосемити и сжимавшие ее.

Наш кучер мчался с бешеной скоростью. При каждом повороте дороги нам казалось, что экипаж низвергнется с высоты вниз. Когда, наконец, мы достигли подножья горы, лучи солнца освещали лишь вершины близлежащих скал, а живописное ущелье, куда мы ступили, уже погрузилось в полумрак. Именно здесь, уединенный среди тенистого круга великолепных деревьев и усеянный редкими цветами, в диком обрамлении огромных скал, возвышающихся до отметки в три тысячи и даже пяти тысяч футов, и находится Sentinentale Hotel (Так в оригинале. – К. М.); скромный по виду, весь из дерева, но очень чистый; этот отель предоставляет туристу абсолютно комфортабельный приют.

Ранним утром следующего дня мы вновь заняли свои места в наших coaches. К несчастью, у нас не было времени лучше ознакомиться с грандиозными ландшафтами этой несравнимой долины, зрелище фантастических скал которой заставляет предположить, что она была театром глубокого географического потрясения. Однако мы мимоходом увидели один из самых чудесных в мире водопадов, именуемый Virgin's Tears, или «Слезы Девы», воды которого, в это время года не столь обильные, падают в обрыв с такой большой высоты (двух тысяч футов), что они рассыпаются в воздухе в пыль и достигают земли в форме настоящего пара.

По возвращении в Сан-Франциско пришлось подумать о принятии специальных мер для нашей поездки в Чикаго. Великий князь решил, что отправится в путь 12 августа, то есть через пять дней.

Агенты разных железнодорожных компаний уже поджидали наш отъезд и весьма любезно предлагали нам свои услуги. В Соединенных Штатах железная дорога, как и телеграфная и теле-

фонная сети, эксплуатируются частными компаниями, а не государством. Самые важные линии принадлежат Вандербилту и Рокфеллеру. При такой системе, сильно развивающей конкуренцию, цена билета из одного города в другой почти одинаковая, выбираете ли вы прямую линию или окольную. Вы можете, к примеру, отправиться из Сан-Франциско в Нью-Йорк по одной и той же цене через Чикаго или через Сент-Луис, или даже еще южнее, через Новый Орлеан. Для поездки в Чикаго у нас был выбор между Северной железной дорогой (Canadian Pacific), линией, проходившей на юге, через Колорадо и Денвер, или Union Pacific Railway, через Salt Lake City и Omaha. Мы воспользовались этой последней линией, как самой прямой.

Но перед тем как предпринять нашу поездку по Соединенным Штатам, необходимо было посетить Монтерей, жемчужину этого побережья.

Его восхитительный климат, теплый зимой, прохладный летом, великолепный пляж, чудесные окрестности делают этот благодатный в течение всего года уголок природы излюбленным местом встречи столичного эlegantного общества.

В Hotel del Monte бывают не только американцы. Все globe-trotters* приезжают на несколько дней отдохнуть в тени пальм и старых дубов этого сказочного парка, подышать морским бризом, ароматом роз его садов; они видят аллеи кипарисов, клумбы цветов и уникальную коллекцию кактусов, создающих настоящий орнамент. Кто не совершал знаменитую прогулку (Seventeen mile Drive) по сосновому лесу песчаного полуострова, своеобразной исторической достопримечательности, господствующей над маленьким городком Монтерей?!

12 августа в 10 часов утра, едва устроившись в комфортабельном вагоне Union Pacific Overland Train, мы, как ветер, помчались по пространству.

Прощай, Фриско!

Американская железная дорога не ведает препятствий. Не заметив, мы пересекли на огромном ferry-boat реку Сакраменто и несколько часов спустя уже взбирались по первым отрогам горного хребта Сьерра-Невада.

Из маленького салона вагона, находившегося в хвосте поезда, наши взоры устремлялись на дикие овраги, лесистые берега.

Вскоре показались снежные пики, венчавшие эту величественную цепь гор. Нашему взору предстала череда великолепных картин; к сожалению, деревянные столбы навеса, коим был в предвидении

* Профессиональные путешественники (англ.)

зимних снежных сходов накрыт промежуток пути в тридцать семь миль, мешали нам насладиться всей красотой пейзажа. Железнодорожная линия поднималась в полном безлюдье альпийских мест вплоть до Summit-Station, маленького горного вокзала, расположенного в 7000 футах над уровнем моря.

Утром мы пробудились на иссушенных равнинах штата Невада, облезлом, пустынном районе, заселенном лишь несколькими племенами индейцев, где то тут, то там видны их убогие глиняные хижины.

На следующий день, к 10 часам, мы двигались уже вдоль зеленого берега «Большого соленого озера». Вот крыши Salt Lake City, основанного мормонами и почти исключительно заселенного адептами этой религиозной секты.

В полдень мы преодолели «Каменистые Горы», гранитные и вулканические образования дикого вида, и, наконец, в 11 часов вечера, с опозданием в четыре часа, мы достигли Омахи, столицы Небраски. Мы отправились спать лишь после того, как пересекли огромный мост через Миссури.

ГЛАВА XVI

ЧИКАГО И АМЕРИКАНСКАЯ ЖИЗНЬ. ЧИКАГО. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ. КЛУБЫ. ПРАЗДНИКИ И ПРИЕМЫ. AUDITORIUM. БАРЫ. АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ. ОБЕДЫ В BUSINESSMAN. БОЛЬШИЕ МАГАЗИНЫ. ТЕАТРЫ. ОБЩЕСТВО. ПРЕССА

15 августа. — Мы прибыли в Чикаго с опозданием в девять часов. Ко времени прибытия нашего поезда на вокзал настала ночь.

Как только поезд сделал остановку, целая группа лиц, отделившись от толпы любопытствующих, собравшейся на перроне, проникла по первой платформе в наш вагон. Великий князь Борис, желавший сохранить, сколь возможно будет, инкогнито, вышел через другую платформу, позади поезда.

«Пусть войдут», — сказал он мне. Покуда члены его свиты, оставшиеся в вагоне, подвергались первой атаке визитеров и репортеров, он живо спустился, пересек легким шагом толпу и незамеченным направился в сторону выхода, где со всей поспешностью к нему присоединился наш консул, дабы сопроводить его в экипаже до отеля. Эта маленькая хитрость не помешала репортерам броситься за нами по пятам. Они перехватили нас по нашему прибытию в отель Auditorium, осадили нас в холле и коридорах вопросами, и если бы мы демонстративно не заперли наши двери, им удалось бы пробраться в наши комнаты, покуда мы распаковывали наши вещи.

Постоянно вынюхивающие последние новости, эти господа

никогда, между прочим, не смущаются сварганить статейку по поводу известного персонажа. Ничто от них не ускользнет и всё для них является сюжетом репортажа, от числа свертков путешественника до малейших деталей его одежды.

Со всей поспешностью мы сменили костюм, дабы отправиться обедать в «избранный» клуб Чикаго, Chicago-Club, членами коего были сплошь миллионеры. Расположенный на берегу озера, на Мичиган авеню, он оборудован на манер больших английских клубов, с роскошью, одновременно простой и комфортабельный. Великий князь тем вечером был гостем г. Ч. Крейна, человека бесконечного радушия, весьма известного в Чикаго своим огромным состоянием и вовлеченностью в многочисленные филантропические, благотворительные дела.

В зале, украшенном русскими и американскими флагами, находился огромный стол, посреди коего – маленький бассейн с фонтаном; стол был полностью покрыт великолепными цветами, сложенными рядами, имитирующими русские национальные цвета. Среди приглашенных присутствовали разные высокопоставленные лица Чикаго и несколько членов консульского корпуса, в том числе России, Франции и Бельгии. Все консулы иностранных держав в Чикаго являлись *lo ipso* почетными членами Chicago-Club.

Обед начался с oyster cocktails, помещенных в стакане и политых томатным соусом устриц, но остальное меню, очень богатое и очень изысканное, состояло из европейских блюд. Превосходные вина, врожденное у американцев добродушие незамедлительно породили нотку искреннего веселья, и после нескольких тостов, проникнутых самым сердечным гостеприимством, нам уже казалось, что мы находимся среди старых знакомых. Явный русофил, наш любезный, радужный хозяин знал Россию, неоднократно бывал там и почти свободно говорил на русском. На своих больших фабриках он дал работу многим русским рабочим, и именно он создал на свои деньги в Чикагском университете кафедру по изучению русской истории и литературы.

Утро следующего дня мы посвятили посещению новой русской церкви, расположенной в рабочем квартале в западной части города. Впервые член русской Императорской семьи переступил ее порог. Заслуга в ее строительстве принадлежит, большей частью, нашему консулу барону Шлиппенбаху. В течение нескольких лет он был занят сбором необходимых средств от пожертвований и иной благотворительности. Красивый колокол, украшающий колокольню церкви, является даром Его Императорского Величества.

В Чикаго колония зажиточных русских мала и, напротив, здесь

очень большое число рабочих. Этот огромный город, возможно самый американский из всех, дал приют многим малороссам, польским и чешским эмигрантам, большинство из которых трудилось на его многочисленных фабриках. Приходы католической церкви Святого Станислава с семнадцатью храмами*, заведениями и школами, от него зависящими, насчитывает не менее 250 000 поляков.

Пересекая город, мы увидели прямо на улице проповедников Армии спасения. Вопреки ее ярмарочным манерам, Salvation Army повсюду принимается и почитается; она совершает немало хорошего в рабочих кварталах. Так как в Соединенных Штатах граждане пользуются самой большой религиозной свободой, не приходится удивляться тому, что там, как грибы, растут разные секты.

Барон Шлиппенбах, к коему в следующий раз отправился обедать Великий князь, занимает должность русского консула уже достаточно давно. Широко любимый и популярный в американском обществе Чикаго, которое он научился понимать и ценить, барон обладает также репутацией человека весьма услужливого к своим соотечественникам.

Среди приглашенных был г. Харрисон, мэр Чикаго. Сын бывшего президента Соединенных Штатов, он был избран демократической партией и пользовался большим уважением среди сограждан.

Наш первый день в Чикаго завершился обедом у князя Енгальчева, русского вице-консула, в его красивой резиденции Dearborn-Avenue. Бывший офицер Императорской гвардии, он женился на дочери одного из влиятельных миллионеров этого города. Княгиня в тот вечер собрала нескольких подруг, достойных быть упомянутыми как представительницы самых элегантных и самых красивых чикагских женщин. Иные специально приехали из городских окрестностей, где пребывали на отдыхе, дабы поприисутствовать на этом маленьком празднике, который веселил превосходный цыганский оркестр; этот прием оказался одним из самых приятных, что были у нас в Чикаго. Как то весьма часто бывает в Америке, мужья этих дам блистали своим отсутствием.

Я отказываюсь описывать все пышные банкеты и блестящие приемы, которые миллионеры и влиятельные лица Чикаго спешили организовать в честь Великого князя, дабы сделать его пребывание насколько возможно приятным. Более недели колонки газет пестрели рассказами об этих празднествах.

Благодаря своему радушию и доброжелательному, веселому нраву

* Церковь Святого Станислава Костко, выстроенная в так называемом «польском» стиле, считается Матерью всех церквей польской диаспоры в Чикаго. (Ред.)

характера, Великий князь очень быстро завоевал сердца американцев. Они единодушно признали – и то был самый большой комплимент, – что каждый американец мог бы заявить любому иностранцу, каковым бы ни был его чин, что двоюродный брат Императора является jolly good fellow!

Президент Chicago-Club, г. Кейтон, бывший адвокат и отличный спортсмен, утром явился за нами с великолепным экипажем четверкой, *four-in-hand*, дабы отвезти нас в Saddle and Cycle Club, спортивный клуб, расположенный за городом на берегу озера Мичиган. Великий князь взял бразды в руки и направил экипаж с таким мастерством, что удивил американцев.

Считается, что вы не видели Чикаго, не побывав в его знаменитых скотобойнях, Stock-Yards. Дом «Armour and C.» отправил одного из своих директоров с автомобилем забрать Великого князя из отеля. В теплое утро мы ступили в это огромное заведение, чьи бесчисленные строения, загоны для скота и конюшни, ему принадлежавшие, образовывали, уже сами по себе, целый город. Окружающая атмосфера, пропитанная сильным запахом скотобойни, вызвала предчувствие того, что спрятано в этих обширных холлах, где ежедневно умертвлялись и кромсались на куски тысячи быков и свиней.

Нам пришлось прибегнуть к помощи нескольких коктейлей, дабы не лишиться аппетита ко времени обеда, организованного австрийской колонией по случаю юбилея рождения императора Франца-Иосифа.

Зал в Auditorium, где проходил банкет, был украшен портретами двух Императоров и австрийскими и русскими флагами. Войдя в зал, Великий князь Борис был сердечно встречен консулом док. Шведелем и влиятельными лицами австрийской колонии.

Явно, чтобы поощрить чувства своих чешских, польских, румынских и венгерских соотечественников, еще ревностнее относящихся к их национальным языкам, находясь на земле свободной Америки, консул, по случаю приодевшись в офицерский мундир резервиста тирольских стрелков, поднял тост за здоровье своего Императора не на немецком, а на английском языке.

Официальный характер праздника был на мгновение оживлен оплошностью руководителя цыганского оркестра, бодро запевшего «Марш Рудецкого» вместо национального гимна Австрии! На что один из ведущих чикагских адвокатов, г. Гарри Рубенс, предложил затем поднять тост за Его Величество Императора России. Бестактный оркестр издал при этом аккорды вальса «Голубой Дунай»!

После обеда, впрочем, весьма удавшегося и украшенного многочисленными speeches, на кои Великий князь ответил, как всегда,

соответственно, австрийскому императору была адресована телеграмма с поздравлениями.

Вечером состоялся блестящий обед в Calumet-Club, данный его президентом М. К. Барнсом. Там тоже зал был украшен со вкусом, в том числе – русскими и американскими флагами.

Недостатка клубов в Чикаго нет. Одним из наиболее оригинальных является Athletic-Club, огромное здание, включающее в себя разные гимнастические залы и большой плавательный бассейн. Широко посещаемый в час ланча, затем после полудня, от 4 до 6 часов, по окончании работы в офисах, после обеда вечером клубы пусты. Азартные игры там не допускаются и запрещено открыто играть в карты за деньги.

В Standart-Club, один из самых красивых чикагских клубов, но исключительно еврейский, Великий князь был приглашен на один большой раут. Он также почтил своим присутствием Washington-Club-House, расположенный на южной оконечности города, близ трека, где устраиваются бега на Гран-при Чикаго. Упомяну еще прогулку по Мичиганскому озеру на борту губернаторской яхты и очаровательную экскурсию на Lake Geneva, восхитительное маленькое озеро, на берегу коего чикагские миллионеры проводят летние месяцы. Нас также заставили посетить одну из самых знаменитых обсерваторий Соединенных штатов Yerkes Observatory. Сюда мы были привезены знаменитым президентом Университета Харпером, равным образом хорошо известным и как speaker, то есть оратор, и как большой друг Рокфеллера.

Немцы, весьма многочисленные в Чикаго, где они владеют, помимо промышленных предприятий, большинством пивных, насчитывают среди членов своей колонии многих толстосумов и имеют также прекрасный Germania-Club.

В Чикаго есть Polo-Club, недалеко от «Форта Шеридан», где располагается регулярная армия. Сыграв там партию в поло, Великий князь был сопровожден в форт, где был принят комендантом и офицерами. Последние затем эскортировали его верхом на конях до красивой резиденции Рубенса, предложившего Великому князю один из самых великолепных обедов, сопровождаемый фейерверками и балетным представлением под открытым небом.

Со своими двумя миллионами жителей Чикаго является вторым городом Соединенных штатов. Его прозвали Windy-City по причине почти постоянно царящих там ветров. Зимы там весьма суровы и обильно выпадает снег.

Город простирается в длину до берега Мичиганского озера и имеет большое количество обширных парков: Lincoln Park, Humboldt

Park, Washington Park и другие, засаженные на манер английских парков с большими лужайками, где по воскресеньям от работы отдыхают люди, — то устраивая там семейные пикники, то играя в бейсбол, исключительно американскую разновидность игры в мяч. Передвижение по городу — одно из самых легких благодаря электрическим трамваям, троллейбусам или трамваям на тросах, чьи линии проложены на всех улицах, и, наконец, благодаря тройной сети пригородных железных дорог, «elevators», где поезда ходят всю ночь. Экипажей и кэбов на улицах Чикаго маловато. Все, даже очень богатые люди, дабы добраться до своей работы, пользуются трамваем; то же самое по вечерам, отправляясь в театр. Вы, правда, рискуете сидеть рядом с рабочим, но это достаточно редкий случай в изысканных кварталах и, впрочем, это никого не смущает. Во всех трамваях существует один единственный класс и цена билета, каковым бы ни был пробег, равна неизменно 5 центам (25 сантимам).

Auditorium, где мы поселились, является огромным и роскошным зданием, расположенным на берегу озера, на Michigan Avenue. Со своими пристройками, своими прекрасными залами ресторанов, большими салонами для балов и банкетов, он, вероятно, является самым большим в мире отелем и содержит в себе около 2000 комнат. Здесь найдешь всё, вплоть до театра, где исполняются итальянские оперы. Лифты, настоящие салоны, в которых легко могут разместиться двадцать человек, поднимаются и спускаются с головокружительной скоростью. Как и во всех американских отелях, вы можете проживать там как на полном пансионе с пропитанием (American Plan), так и оплачивая лишь свой номер (European Plan), что оставляет вам свободу отобедать по карточке в ресторане или вне отеля.

Цена найма апартаментов без пансиона относительно высока, но трудно желать лучшего в отношении благоустройства. Каждый номер имеет свою ванну, свой телефон. Если у вас есть желание выпить чашку чая или виски с содовой, вам достаточно подойти к своего рода циферблату, приложенному к стене, на коем отмечен весь ряд заказанных напитков, и, помещая указатель на то, что вы желаете, вы просто жмете на кнопку электрического звонка. Несколько минут спустя гарсон на этаже принесет вам ваш заказ.

Во всех первоклассных отелях нравственность клиентов строго контролируется hotel-detectives, то есть служащими секретной полиции отеля, чьи функции заключаются в блуждании ночью и днем по коридорам. Если муж прибыл в отель накануне, а жена его присоединилась к нему вечером следующего дня, то она рискует тем, что ей не позволят после полуночи проникнуть в его комнату. Таков был случай с одним из наших американских друзей, который вынужден был

доказывать, что дама, с ним явившаяся в отель вечером, действительно его законная супруга. Более того, дама, зарегистрированная в отеле как одинокая, не может принимать в своей комнате посетителя мужчину, будь он даже ее отцом. Дело обстоит иначе, коль она сняла номер с гостиной. Там она свободно будет флиртовать целыми часами тет-а-тет, с кем ей заблагорассудится.

Так требуют американские правила, весьма щепетильные в отношении морали, однако весьма широкие в других вопросах. Бары больших отелей, к примеру, остаются открытыми всю ночь, и в 5 часов утра иные полуночные гуляки встречают там утренних служащих, желающих быстро глотнуть стакан молока пред тем, как отправиться в свои рабочие кабинеты.

Как и в Англии, воскресный отдых строго соблюдается. Многие американцы не допускают в воскресенье чьих-либо игр в карты или занятия музыкой. В этот день все бары закрыты; однако те, что в отелях, имеют *back door open*, то есть можно туда проникнуть через закрытую дверь. Если вам хочется выпить, вам следует для начала заказать бутерброд – вы таким образом показываете, что явились поесть, – лишь после того вы можете заказывать столько выпивки, сколько пожелаете.

Богатые люди обычно предпочитают французскую кухню, тем не менее не отказываясь видеть на своих столах некое число специфических американских блюд, среди которых поджаренные *steaks*, свинина с белой фасолью. Весьма падкий на все виды рыб, американец также любит всякого рода крупы, особенно *oat meal*, и обожает томаты в салатах или как отдельные овощи. Из всех фруктов банан, будучи самым недорогим, является и самым востребованным. Впрочем, в этой стране деловой человек слишком занят, дабы терять время за столом. Он встает спозаранку. Ему достаточно нескольких минут, чтобы проглотить свой завтрак, и, намазав масло на свой поджаренный хлеб, он пробегает глазами по утренним газетам, а затем прыгает в свой трамвай, дабы отправиться в свой офис. Он не задержится и на своем ланче, который обычно проходит в час дня, запив его стаканом холодной воды или молока, и не потратит на этот прием пищи более одного доллара.

Если он очень спешит, он пойдет отобедать в какой-нибудь *Quick lunch room*, специальный в ресторане зал, где обслуживают на всех парах.

Какого он может быть возраста, этот худосочный и нервный мужчина, с бритым лицом, бледным цветом кожи, чьи быстрые движения, еще молодые, часто контрастируют с его уже седыми волосами? – Это трудно сказать, ибо *businessman* преждевременно измотан

лихорадочной активностью, что ежедневно демонстрирует в охоте за долларами.

Одно из огромных зданий, что предстает пред вашим взором в квартале банков, — это «Масонский храм», полностью оккупированный кабинетами, где трудится около пяти тысяч служащих. Что касается больших магазинов, или Department Stores, в жанре Лувра или Bon Marche, самым значительным является Marshall Field, состоящий из двух зданий — оптовой торговли и розничной продажи. На этом необъятном базаре трудятся не менее 9000 человек.

Когда Великий князь Борис ступил в большой холл здания Биржи, президент, в знак почтения к августейшему посетителю, приказал на несколько минут приостановить финансовые операции. Мы с интересом также посетили First National Bank, самый большой в Чикаго и второй в Соединенных Штатах.

Весь день занятые своими делами, американские мужья вынуждены предоставлять большую свободу своим женам. Напротив, вечером женатый мужчина никогда не выйдет без своей супруги. Вид изысканного ресторана в обеденный час или после театра очень ярок, ибо американки любят богато, даже экстравагантно, наряжаться и охотно демонстрируют свои драгоценности. Мужья потому вынуждены много зарабатывать, дабы справиться с расходами своих жен.

Хотя женщин легкого поведения в Америке немало, ремесло куртизанки широкого распространения не имеет. В своей стране, коль американец содержит любовницу, будет скрывать ее и не будет показывать ее в обществе.

«Ноте» и семейная жизнь высоко ценятся. Сколь американцы легки в своих связях вне своего дома, в клубе или ресторане, столь сдержанны и даже строги, когда речь идет о допуске кого-либо в их семейный круг. Будучи общительными и гостеприимными к чужим людям, у них всё же есть одно правило: не иметь отношений со сплетниками. Им безразличен их сосед в американских салонах — и это не единственная их привлекательная черта.

За границей мы легко оказываемся в плену преувеличенного мнения об американской бесцеремонности. Если и так, и янки склонен к фамильярности и часто демонстрирует в своих манерах некую небрежную непринужденность, нас удивляющее и шокирующее его *don't care*, — следует признать, однако, что он далек от того, дабы быть лишенным чувств истинной учтивости. В ведомствах, в офисах я убедился, что служащие были исключительно услужливы. Американец всегда вежлив к женщинам, которые, будь они девушками или замужними женщинами, везде почитаемы и защищаемы.

Каковыми бы ни были семейные добродетели американцев, Соединенные Штаты, тем не менее, являются территорией классического развода. Нигде процедура развода не бывает столь легкой и быстрой. Один из моих друзей уверял меня, что присутствовал при юридически официальном разводе двух супругов, в ходе которого всё было улажено буквально за пять минут.

Интимные скандалы, разногласия между супругами являются излюбленными темами Yellow-Press или «желтой прессы», название, что употребляется ко всякой категории недобросовестных, всегда жадных до светских скандалов и сенсационных новостей, газет.

Этим делом занимаются в Сан-Франциско – *Examiner*, в Чикаго – *Chicago-American*. Как и ожидалось, они опубликовали по поводу Великого князя серию статей, столь же нелепых, сколь и фантастических, что тот смеха ради собрал и объединил их в одном альбоме.

Но, к счастью, американские газеты не все такого цвета. Есть и весьма серьезные, как *Chicago-Tribune*, одним из издателей которой является Мак-Кормик, сын бывшего посла Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге.

Несложная, что касается формы статей, ею публикуемых, американская пресса замечательна множеством новостей, которые она предлагает своим читателям, и особенно исключительной быстротой своих репортажей. Ежедневные газеты очень дешевы. Они продаются за один или два цента. Воскресный номер, толщиной в 50 страниц, образует вместе со своими приложениями и своими объявлениями настоящий том и стоит 5 центов (то есть 25 сантимов). Меня заверили, что большие магазины тратят до 1000 долларов за страницу рекламы в воскресном издании крупной газеты.

Именно объявления обеспечивают существование газетам и журналам в Америке. Очень часто, правда, американская пресса – особенно Yellow-Press – не избегает упрека в продажности и поддается уловкам шантажа, но, справедливости ради, за ней нужно признать и готовность, порой, защищать правое дело, причем абсолютно бескорыстно и преследуя свою цель самым энергичным образом.

26 августа. – Барон Шлиппенбах и Крейн вместе с нами поднялись в вагон; мы простились с нашими многочисленными чикагскими друзьями и скоро вновь катили сквозь пространство с фантастической скоростью.

На станции Ниагара-Сити, куда мы прибыли на рассвете следующего дня, наш вагон был отцеплен и помещен на запасном пути.

Уже несколько дней страдая острым ревматизмом, я, к несчастью, вынужден был распростертым оставаться в своем купе,

тогда как Великий князь Борис и его друзья отправились посмотреть знаменитый Ниагарский водопад и приятно провести вечер в Буффало.

Empire-Express – один из самых скорых поездов Соединенных Штатов – за двадцать четыре часа доставил нас до берега реки Гудзон, вдоль зеленеющих берегов коей, усеянных богатыми сельскими домиками и тенистыми парками, мы теперь шли.

Из-за нашего прибытия на нью-йоркский вокзал перрон, несмотря на ранний час, был запружен толпой любопытствующих. Репортеры навели свои фотоаппараты на Великого князя Бориса в момент, когда он выходил из вагона; его встречали генеральный консул России и протоиерей Православной церкви.

Мы направились прямо в отель Waldorf Astoria, самый славный в городе. Этот отель является целым миром.

Увы! Мое состояние здоровья всё еще не позволяло мне покинуть комнату. Я не смог принять участие ни в пышных обедах, что даны были в честь Великого князя в главных клубах, ни поприсутствовать на ярких представлениях оперетты, куда в то время устремился весь Нью-Йорк.

Здоровье не позволило мне отправиться и в Ньюпорт, этот архизелегантный пляж американских миллиардеров, где Великий князь Борис был гостем мадам Гоелет на ее восхитительной вилле Ochre-Court.

В течение недели газеты пестрели рассказами о пикниках, эпикурейских обедах и феерических вечерах, устроенных двоюродному брату царя обществом, столь же любезным, что и ревностным в выставлении напоказ своей роскоши и своих богатств. Тем временем Великий князь отправился, сопровождаемый нашим послом графом Кассини и Грейвсом в Ойстер-Бей, на яхте, которую один американский спортсмен, Миллс, любезно предоставил в распоряжение. Президент Рузвельт, чудом избежавший за два дня до этого серьезного происшествия, – его экипаж перевернулся и был разбит электрическим трамваем, – принял Великого князя в своей манере, в охотничьем костюме, в скромном коттедже.

«Я развлекаюсь по-царски», – написал мне Великий князь из Нью-Йорка за несколько дней до назначенной даты нашего отъезда. Следуя его наставлениям, я забронировал для переезда каюты на борту «Kaiser Wilhelm», в то время самом большом из немецких теплоходов, несших службу в Атлантике. Грейвс и Штрандтманн, утомленные светским водоворотом американского пляжа, присоединились ко мне в Нью-Йорке. Не встав еще на ноги, я смирился с

необходимостью покинуть столицу, видев ее не иначе как с высоты террасы «Астории», куда я ежедневно поднимался на лифте, дабы немного подышать в шезлонге. Дабы избежать давки во время погрузки, я заполучил у капитана немецкого теплохода позволение быть транспортированным на борт накануне вечера отплытия. Наш увесистый багаж также был погружен на борт до полуночи и для отъезда были сделаны все распоряжения.

Великий князь, Грейвс и Фридеричи должны были прибыть утром следующего дня прямо в порт, за два часа до отплытия «Kaiser Wilhelm» в море.

Но знатные дамы Нью-Йорка, оспаривающие меж собой присутствие Великого князя на их празднествах, похоже, решили иначе. Любой ценой нужно было, дабы Его Императорское Высочество почтил своим присутствием еще несколько обедов и балов, намеченных на следующую неделю.

В пять часов утра Штрандтманн ринулся в мою комнату.

– Ты знаешь, что происходит?

– Нет, – ответил я испугавшись.

– Великий князь не уезжает!

В первый миг я счел сказанное моим другом шуткой; но вот прибежал и Грейвс, дабы донести эту новость.

– Мы не уезжаем! – крикнул он, громко смеясь.

Действительно, им позвонили в «Асторию», сообщив, что из-за аварии, случившейся с машиной, шлюпка «Mirage» Вандербильта с Великим князем и всем развеселым обществом на борту не смогла прибыть к месту пересадки на последний ночной поезд и вынуждена была вернуться в Ньюпорте.

Мне не осталось ничего иного, как спешно переодеться и приказывать тотчас выгрузить наш багаж.

«Это дорого нам обойдется», – подумал я, снова водворяясь в мою комнату в «Астории». Я вынул наши проездные билеты из портфеля, дабы вновь отослать их в агентство.

Часто несчастье идет на пользу; дело в том, что в тот же вечер один из наших детективов явился сообщить мне в отель, что под пристанью были обнаружены взрывные устройства и что две личности, заподозренные в вынашивании покушения на жизнь Великого князя, были задержаны.

В Ньюпорте веселье продолжалось еще неделю, шальнее и ярче, чем когда-либо.

Наконец, 18 сентября утром «Lorraine», принадлежащий Трансатлантической компании, поднял якорь, чтобы вскоре после того остановиться в нью-йоркской бухте на некотором расстоянии от

элегантной яхты. То была «Cherokee» Корнелиуса Вандербильта, доставившая из Ньюпорта Великого князя Бориса и его спутников.

Мы видели, как сердечно они попрощались с пассажирами яхты. И с той, и с другой стороны замахали платочками, «Logtaine» возобновил свое плавание, и несколько минут спустя «Cherokee» растворился в тумане.

Прощай, Америка! Или, вернее: до встречи! Ибо всем нам хотелось туда однажды вернуться.

После шести дней плавания – ура! – наконец-то побережье Франции.

Сколь же нетороплив этот гаврский экспресс, хотя он один из самых быстрых во Франции! Это потому, что он медлит с новой нашей встречей с прекрасным городом Парижем, а может быть и потому, что мы были избалованы головокружительной скоростью американских поездов.

Тем временем мы доехали. Вот предместье, Северный вокзал. Через несколько минут мы были в отеле Continental, комнаты которого были оставлены нами каких-то шесть месяцев назад.

Париж нам показался переменившимся, уменьшившимся в размерах. Его дома производили впечатление, будто они стали ниже, а его улицы поразили нас своим обветшалым видом. И все эти люди, на бульваре, – им что, нечего делать, раз они так медленно идут? Да они наслаждаются хорошей погодой!

Едва ли им смогут позавидовать обремененные делами горожане американских Вавилонов.

*Публикация – К. Мальбахов
Перевод с французского – К. Мальбахов*

«Золотая книга» Русского Зарубежья

Материалы по истории подготовки издания

Революция и Гражданская война раскололи Россию на два непримиримых лагеря, два континента — РСФСР и Русское Зарубежье. Вопрос о том, кто является настоящим представителем России, был всегда открыт. Харбинская газета в статье «Бог в помощь!» в 1930 году писала: «Недавно генерал Хорват¹ в беседе с сотрудником шанхайского ‘Времени’ сказал значительное слово: — Большевиков в России 400 000, а эмиграции вне России — 2 000 000. Кто же имеет больше прав говорить от имени России?»

Первая эмиграционная волна носила ярко выраженную политическую окраску. Это были люди, не просто ищущие лучшей доли или комфортных для проживания мест, — это были люди по идеологическим причинам не принявшие советскую власть. Военные, ученые, деятели искусства, писатели и философы — цвет нации. Несмотря на сложные перипетии жизни, с первых лет эмиграции многие из них смогли занять достойное место в научных кругах стран, их приютивших. Главным фактором их творческого роста стало отсутствие какой-либо цензуры, что давало им полную творческую свободу.

Уже через десять лет после исхода из России появились первые попытки создать общий труд, показывающий роль и вклад русской эмиграции в мировую культуру. Появлялись различные общества, комитеты и центры, объявлявшие о начале сбора материалов для создания такой единой книги. Само название книги часто менялось, первым было — «Всемирная энциклопедия русской эмиграции», затем — «История Русского Зарубежья», «Вклад русской эмиграции в мировую культуру», «Золотая Книга о Русской Эмиграции», «Российская эмиграция и ее вклад в мировую культуру», «Зарубежная Россия», «Зарубежная Россия. Памятная книга о ее значении для русской и мировой культуры» и т. п.

Мы считаем, что одна из первых таких попыток по созданию всеэмигрантской энциклопедии была предпринята контр-адмиралом М. Федоровичем². Письмо от М. Федоровича, отправленное из Харбина 24 ноября 1929 года, исходящий номер 1325, в котором он, обращаясь к Кутепову Александру Павловичу, в расширенном виде не только обосновывает цели, но и предлагает план конкретных дей-

ствий для создания такого труда и даже определяет сроки выхода «Всемирной энциклопедии русской эмиграции». После улаживания вопросов с РОБС, структура которого планировалась быть использованной для сбора информации (в частности, опасения членов организации, что выход такого труда может дать большевикам материал о составе РОБС), соответствующее сообщение было опубликовано в эмигрантских газетах.

Однако по целому ряду причин этот проект так и не был осуществлен. Издание такого труда постоянно обсуждалось в печати и на заседаниях различных эмигрантских организаций. Неоднократно писались и утверждались планы энциклопедии, собирались материалы, но работа в планируемых масштабах не была выполнена.

Еще одна серьезная попытка подготовить энциклопедию была предпринята Инициативной группой русских ученых в Нью-Йорке в 1966–1970 годах под руководством гр. А. Л. Толстой. Но и она не увенчалась успехом. Тяжелое финансовое положение русских эмигрантских организаций при этом не являлось главной причиной неудачи. Как правило, материал для энциклопедии собирался к сроку. Работая с архивами русской эмиграции в США, мы пришли к выводу, что причиной неудач являлся т. н. «человеческий фактор», а точнее – амбициозность некоторых членов подготовительных комитетов, межличностные и политические разногласия. Когда вставали вопросы, чьи имена вносить в энциклопедию или как освещать события с политической точки зрения, участники проекта часто занимали непримиримые позиции. Навешивались ярлыки – «красный», «розовый», «коммунист», «подкоммунивает», «агент НКВД», «просоветчик» и многие другие. Всё это приводило к остановке работы коллектива, а зачастую и к полному развалу комитета.

Нам удалось собрать материалы, связанные с историей подготовки «Золотой Книги Эмиграции». Надеемся, что они послужат хорошим подспорьем в работе как историков, так и литераторов. Некоторые члены комитетов, имея на руках собранный материал, сумели издать собственные книги, скажем, П. Е. Ковалевский³ «Зарубежная Россия: История и культурно-просветительная работа русского зарубежья за полвека (1920–1970)». Ну, а что касается энциклопедии... она впервые вышла в России в 1997 году в Москве в издательстве РОССПЕН «Русское зарубежье: Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века: Энциклопедический биографический словарь» под редакцией В. В. Шелохаева⁴. Затем волна изданий словарей и энциклопедий на эту тему в России пошла по нарастающей; в целом, не оценивая качества каждого отдельного издания, отметим, что она не иссякла и сегодня благодаря труду российских исследова-

телей. В США подробная энциклопедия, которую используют и сегодня, вышла в 2005 году – Е. А. Александров⁵ «Русские в Северной Америке: Биографический словарь», под редакцией К. М. Александрова и А. В. Терещука. Следующая работа была выполнена в 2011 году под редакцией М. Адамович при участии Ю. Сандулова «Волны русской эмиграции в США. Immigration to the U.S.A. Russian Waves» (составитель М. Адамович). Последняя по времени работа в США была выполнена в 2016 году под общей редакцией А. Я. Дегтярева, Ю. В. Мухачева, М. Ю. Сорокиной, составитель Ю. А. Сандулов – «Русские места захоронений в США. Russian Necropolis in America». На сегодняшний день нам известно, где и в каких архивах хранится большая часть материалов, собранных в разное время и различными организациями для «Золотой Книги Эмиграции», – и это вселяет надежду, что со временем найдутся силы, которые смогут объединить все эти материалы в единое целое и издать общий памятник Русскому Зарубежью.

Публикуемые в этом номере документы содержатся в моем личном архиве. Печатаются по современной орфографии с сохранением прописных букв оригинала, согласно нормам обращения, принятым в РОБС. С прописных букв даются также слова, указывающие на будущее издание (Книга, Издание, Энциклопедия и т. п., а также Русская Эмиграция). Соответственно оригиналу выделены и отдельные слова.

Юрий Сандулов

1. Хорват Дмитрий Леонидович (1858–1937), генерал-лейтенант, инженер-путеец по образованию. С 1902 г. занимает пост Управляющего Китайско-Восточной железной дороги. С 1903 г. – руководитель строительства, затем – вплоть до марта 1918-го – Управляющий КВЖД. В 1918 г. – Временный правитель, – до восстановления русской национальной верховной государственной власти. До 14 ноября 1918 года оставался в этом звании – до образования в Сибири из бывших членов Сибирской Областной Думы Всесибирского Правительства, которому он и передал свои верховные полномочия, оставшись на Дальнем Востоке Верховным уполномоченным. В 1919 г. генерал Хорват возвратился в Харбин. После «ноты Карахана» отошел от дел КВЖД и уехал в 1920 г. в Пекин, где оставался официально признанным главой русской диаспоры на Дальнем Востоке.

2. Федорович Михаил Иосифович (1872–1936), контр-адмирал. С 1920 г. в эмиграции в Китае (Харбин). Окончил Морской корпус, Минный офицерский класс и Николаевскую военно-морскую академию. В 1912–14 гг. командир линкора «Император Александр III». Участник Первой мировой войны на Черноморском флоте. Начальник обороны северо-западного участка, командир отряда кораблей, начальник штаба военно-морской базы Севастополя. Получил тяжелое ранение при матросском бунте. Участник Белого движе-

ния на Восточном фронте. С августа 1919 г. – командующий морскими силами на Дальнем Востоке. В Шанхае основал Русское морское училище, работал в шанхайском отделе РОВС. Также являлся главным редактором и председателем издательства по подготовке «Всемирной энциклопедии Русской Эмиграции».

3. Ковалевский Петр Ефграфович (1901–1978), библиограф, историк. С 1920 г. в эмиграции во Франции. Докторская диссертация: «Лесков, недооцененный бытоописатель русской жизни». Руководил работой Братства Св. Александра Невского; был генеральным секретарем Союза русских педагогов. С 1960 г. входил в Комиссию по сбору материалов для «Золотой книги Русского Зарубежья». После неудавшейся попытки совместно издать «Золотую книгу», издал свои материалы под названием «Зарубежная Россия. История и культурно-просветительская работа русского зарубежья за полвека. 1920–1970» (1971, дополнительный том – 1973).

4. Шелохаев Валентин Валентинович (1941), историк, главный научный сотрудник ИРИ РАН, руководитель Центра «История России в XIX – начале XX в.» ИРИ РАН. Член редколлегии журналов «Вопросы истории» и «Российская история». Директор Российского Института общественной мысли, председатель Ученого совета Фонда изучения наследия П. А. Столыпина.

5. Александров Евгений Александрович (1916–2014). В 1932 г. поступил на геологический факультет Киевского горного института. Окончив Днепропетровский институт, работал по специальности в России и, в эмиграции, в США; с 1962 г. читал лекции по геологии. В 1987 г. вышел в отставку. Сотрудничал в журналах «Economic Geology» и «International Geology Review». Выпускал журнал «Российский антикоммунист» и «Русский американец». Возглавлял «Центральную инициативную группу по созыву Конгресса русских американцев», впоследствии был его первым председателем.

Приложение № 1

ВСЕМИРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

24 ноября 1929 года

№ 1325

г. Харбин

Главный редактор

[в правом углу чернилами: *вх. 48 15-1-1930*, в левом нижнем углу: *Его ПР-ву А. П. Кутепову*]

Ваше Высокопревосходительство

Глубокоуважаемый Александр Павлович!

Мною только что получено письмо № 781 от 14 октября от Начальника Вашей Канцелярии Генерал Лейтенанта Стогова, сообщаемое мне от Вашего имени ряд сведений, отражающих впечатление от присланного мною проспекта собираемой Энциклопедии.

Кроме того, Генерал Стогов ставит меня в известность о распо-

ряжении Вашем – пока воздержаться от рассылки проспектов об этом издании, могущем, якобы, явиться пособием для целей большевиков.

Этот ответ на мою лояльнейшую просьбу, в целях защиты авторитета Издания именно от большевистских влияний и веяний, – поставит его естество исходящим из недр Святая Святых многострадальной Русской Эмиграции – ее красы и гордости – Армии, весьма огорчает меня тем, что я, по-видимому, недостаточно ясно сумел изложить в своих предшествовавших письмах характер и цели Издания.

Прежде всего, в присланном мною проспекте и пояснениях к нему я нигде не утверждал его, а просил директив общего значения, оставляя не только составление Издания, но и редакционную разработку материалов всецело на БУДУЩУЮ РЕДАКЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ, намечаемую в Париже и, конечно, при ближайшем участии в ней РОВС.

Мы имели совещание о том, что Энциклопедия сможет принести пользу большевикам хотя бы в виде облегченья наблюдения за Эмиграцией, но обыски в советских посольствах и консульствах подтверждают, что обо всех интересующих их эмигрантах большевики имеют сведения более полные, чем предположено дать в ВЭРЭ (Всемирная Энциклопедия Русской Эмиграции. – Ю. С.), а о рядовых эмигрантах они и не станут справляться.

Разрешение вопросов о том, что можно публиковать и о чем можно будет сообщить лишь по возвращении в Россию, – это дело не столь близкого будущего и явится компетенцией Редакционной коллегии, и только такой авторитетный орган вынесет постановление о том, что может быть отпечатано, не принося вреда ни Эмиграции, ни нашему наиглавнейшему делу – СПАСЕНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ РОССИИ!

РОВС не может претендовать на то, что он один ведет борьбу с поработителями России, – это общая работа всех честно мыслящих русских патриотов, вне зависимости от специальности, партии или класса, поэтому Редакция ВЭРЭ, выполняя свои планы и задания, ни на одну минуту не должна забывать, что выше всех ее целей стоит свержение большевиков и восстановление правового порядка в России.

Посылая Вам свое первое письмо (5-го апреля), я ясно представлял себе все те ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ трудности, которые ставит сложная политическая конъюнктура нашему трудному и ответственному делу.

Особенно щепетильным является вопрос по отношению к РОВС, поэтому было принято решение, чтобы избежать малейшего намека на оплошность или неосторожность, в смысле причинения не

только вреда, но и тени неприятности руководителям РОВС, – не предпринимать ничего без одобрения Вашего не только во всем, касающемся РОВС, но и вообще того, что может принести вред Эмиграции и пользу СССР. Изложив Вам намечаемые цели Издания, я просил Ваших директив и указаний относительно РОВС. Письмо Ваше (11 июня № 556) дало мне основания думать, что мы в своих предположениях осторожнее Вас. Но так как все эти вопросы не требуют немедленного разрешения, то они отложены до ЛИЧНОГО СВИДАНИЯ. Для текущей же работы есть ряд других, гораздо более неотложных вопросов, из которых первыми идут: выявление лица Издания, его пропаганда и начало сбора материалов. Указание в выпущенном мною Воззвании на Ваших представителей и уполномоченных Генерала Хорват, выявляет лицо Издания, пропагандирует его – и свидетельствует о надежности лиц, принимающих материалы на местах, то есть отвечает на наши неотложные задачи момента. Медленность письменных сношений, Ваше любезное обещание содействия и присылка списка начальников отделов РОВС, дало мне смелость решиться указать в Воззвании на них (без имен и адресов) как на временные пункты для сбора материалов: я полагал, что в такой, с их стороны, любезности я не встречу отказа.

Как на пример нашей осторожности, позволю себе указать, что отправленное в печать Воззвание значительно отличается от посланного Вам проспекта. Последний является только первоначальной схемой, принявшей уже сейчас, во время начавшихся работ, целый ряд дополнений и изменений по существу, и только Редакционная коллегия, после моего приезда в Париж, может дать ему и Энциклопедии вид, приемлемый для гордости, славы и благоденствия Русской Эмиграции.

Я должен был НАЧАТЬ это Издание без дальнейших промедлений, дав ему конкретный организационный вид, и, получив список Ваших представителей, сослался на них, как и на уполномоченных Генерала Хорват, отношение которого к Энциклопедии Вы усмотрите из прилагаемых к сему его писем ко мне – в копиях.

Начиная дело, я отлично сознавал, что я не могу в своем лице представить Редакцию такого исключительно сложного и ответственного труда и, только осознав его своевременность и громадное значение как для настоящего Русской Эмиграции, так и для ее будущего, я выступил как определенное, возглавляющее его лицо, как объект для быстрого и всеми легко воспринимаемого образа Энциклопедии.

Я отлично сознавал, что как Адмирал Российского Императорского Флота я встречу оппозицию целого ряда учреждений, организаций и отдельных лиц, претендующих на их большее право пред-

ставительства такого Издания, но они молчали и молчат, быть может не видя путей подхода к делу, – а я выступил открыто, с Русскою волею создать этот труд, с твердым желанием закрепить перед лицом всех народов мира мощь и величие всего, что несет с собою Русское имя, – даже в годы горького беженства, среди чужих и чуждых ему народов.

Я поставил себе целью конкретно, не только духом, но и органическим воплощением общего Русской Эмиграции, во всех странах ее рассеянья, – дорогого ей выявления мощи и силы Русского имени – дать ей базу для интеллектуального и делового объединения, создав Энциклопедию ее культурных и экономических достижений среди приютивших ее всех народов мира.

Подчиненная индивидуальной психологии внутренней жизни каждого отдельного народа, распыленная Русская Эмиграция, систематически подвергающаяся ассимиляции и сливающаяся в своих интересах с чуждыми ей народами, стремится закрепить свои национально-интеллектуальные позиции – в поисках путей к конкретному объединению для сохранения своего Русского лица и для укрепления своих прав перед лицом всех народов.

И сознание того, что Русское имя гордо зазвучит в зеркале русской зарубежной эмигрантской силы – во «Всемирной Энциклопедии Русской Эмиграции», что существует этот общий контакт одной Русской мысли – даст новые силы измученной ожиданием возврата на дорогую родную землю Эмиграции, даст ей веру в себя, в свои оцененные силы и в ПРАВО СОЗНАВАТЬ СЕБЯ НАРОДОМ среди народов других.

И намечая пути к созданию этого большого труда, я никогда не осмелился бы приписывать себе редакцию ГОЛОСА ВСЕЙ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ, – с этою целью я и обратился с воззванием по всему миру, приглашая к сотрудничеству все честные, живые и культурные ее силы.

В недалеком будущем я выезжаю через Китай, Японию и Америку в Париж с остановками во всех крупных центрах, где живет и томится Русская Эмиграция, с лекциями и призывом к объединению, к выявлению своего Русского Духа и к охране подрастающего поколения и к воспитанию его по заветам и в любви к дорогой общей всем нам Родине – РОССИИ!

Теперь же, прилагая к сему несколько информационных данных, иллюстрирующих начало нашей работы, я твердо верю, что мое начинание не встретит нежелательной предубежденности среди сил самой Русской Эмиграции, а наоборот объединит их в защите авторитета и успеха Энциклопедии от неизбежных натисков на нее со

стороны тех, кому нужны и дороги распыленность и разрозненность зарубежных Русских сил.

А в Вас, Ваше Высокопревосходительство, я по-прежнему вижу одну из надежнейших баз своих будущих трудов!

Взятое же на себя большое Русское дело полагаю столь важным и необходимым для Русской Эмиграции, что если Господь Бог поможет мне довести его до благополучного окончания, я буду считать свой долг перед Родиной выполненным и дослуженным перед РОССИЕЙ то время, которое по воле судеб мне не довелось дослужить под дорогим мне славным АНДРЕЕВСКИМ ФЛАГОМ!

Прошу принять уверения в совершенном моем почтении и отличной преданности.

[подписано от руки чернилами:]

Глубокоуважающий Вас *М. Федорович*

Мой адрес до 1 марта: Shanghai China 651 Avenue Joffre, Redaction Vremia

До 1-го апреля: Kobe Japan Jamamoto dori 12/5, chome, L, panio.

[Приложение: два письма генерала Хорват – в копиях. Две вырезки из газеты Гун-Бао. Два листа с пожеланиями ВЭРЭ.]

Приложение № 2

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ И ВЫЙДЕТ В СВЕТ В 1931-м ГОДУ
«ВСЕМИРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ»

Редакция и Главная контора Издательства имеют временное место пребывания в Китае.

Харбин, Почтовая 55

ИЗДАНИЕ ИМЕЕТ ЦЕЛЬЮ: всесторонне осветить жизнь и быт Русской Эмиграции во всех странах мира для: 1) Учета всех Русских Эмигрантских сил, 2) Облегчения интеллектуального и экономического общения эмигрантов между собою, 3) Широкого осведомления о положении эмигрантов в каждой стране, 4) Исторического увековечения всех этапов отношений к Русской Эмиграции стран, давших ей приют.

К УЧАСТИЮ в составлении ЭНЦИКЛОПЕДИИ привлекаются все русские эмигранты и организации, могущие быть полезными Издательству в достижении поставленных им целей.

Во всех странах рассеяния Русской Эмиграции создаются особые органы из русских эмигрантских культурных сил для проведения на местах работы по особой программе и по собиранию всех необходимых для Издания сведений и материалов, касающихся данной

страны. Органы эти возглавляются ответственными УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ИЗДАТЕЛЬСТВА, направляющими работу на местах и представляющими собранные материалы в Главную контору Издательства.

ИЗДАНИЕ выходит форматом в 1/8, на русском, французском и английском языках, разделяясь на тома и книги по отдельным странам.

Каждый том разделяется на провинции и города, заключая в себе алфавитный указатель русских эмигрантов, их социального положения и рода деятельности, а также, по возможности, и сведений о их деятельности в России до эмиграции.

Подробно освещается деятельность и состав эмигрантских объединений, а также роль и участие их в общей жизни и культурной работе данной страны.

Помещаются сведения о каждой стране, могущие быть полезными и интересными для широких кругов Эмиграции, статистического, экономического, политического и исторического характера, все законодательные акты и административные распоряжения, касающиеся Эмиграции, и специальные статьи, отвечающие целям Издания, для всестороннего освещения вопросов эмигрантской жизни, как практических, так теоретических и исторических.

Издательство имеет в виду побудить Русскую Эмиграцию к самостоятельности и общей работе, связанной с изданием Всемирной Энциклопедии Русской Эмиграции, и призывает всех русских эмигрантов внести в дело свою долю участия в создании этого ПАМЯТНИКА РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЖИЗНИ путем доставления могущих быть полезными Изданию материалов.

Главный редактор и председатель Издательства

Михаил Иосифович Федорович

Генеральный секретарь *Александр Александрович Кармилов*

Приложение № 3

Газета «Возрождение»

от 26. 03. 1930 г.

Рубрика «За рубежом»

«Всемирная энциклопедия русской эмиграции»... под таким названием предполагается выход в свет многотомного издания о русских эмигрантах во всех странах рассеяния. Мысль о такой энциклопедии возникла еще в 1926 году в русской эмигрантской колонии на Дальнем Востоке. Тогда же начались первые подготовительные рабо-

ты по изданию под руководством контр-адмирала М. И. Федоровича как главного редактора и председателя издательства.

На Западе генерал А. П. Кутепов и на Востоке генерал Хорват уже предоставили в распоряжение издательства необходимые силы для содействия изданию и созданию кадров уполномоченных и представителей издания на местах. Уполномоченные сохраняют у себя собираемые материалы до отправления их в главную контору, организуемую в Париже, по прибытии туда главного редактора М. И. Федоровича и генерального секретаря А. А. Кармилова, которые находятся теперь в кругосветном путешествии по странам рассеяния: Китай, Япония, Америка, Европа. Это путешествие продлится около года, после чего, путем создания особой редакционной коллегии, будет приступлено к выпуску в свет самой энциклопедии.

Приложение № 4

Харбин. 1 ноября. 1930 г.

БОГ В ПОМОЩЬ!

С каждым годом, отделяющим от нас начало русской революции, становится все более и более очевидным значение русской эмиграции. Мир видит, что не по своей вине оставила русская эмиграция Россию, а по вине тех, которые образовали там невозможные порядки жизни и управления; мир видит, что эмиграция оставила Россию не потому, что она не умеет работать, – работа эмиграции все более и более видна во всех странах, мир видит, что в отношении культурных и научных сил эмиграция тоже не отстает от времени.

А главное, что демонстрировала за это время эмиграция, – так свою правоту в диагнозах по поводу происшедшего в России.

Все пророки катаклизмов и катастроф, несмотря на всю свою голосистость, оказались неправы; оказалась права русская эмиграция.

И истерика пятилеток, рев подкупленной за чечевичную похлебку советской печати не заглушат здорового и трезвого голоса эмиграции:

– Не этой дорогой должна идти Россия! Не коммунистической!

И теперь, стоя уже на тринадцатой годовщине этой работы, эмиграция должна оглянуться на себя и сказать:

– Пора же и подсчитать то, что сделано, пора привести в порядок свои ряды и организовать. Эмиграция – не стайка птиц, вспугнутых с родного огорода и мчащаяся, куда глаза глядят. Эмиграция – организованная сила, – это надо понять. Недавно ген. Хорват в беседе с сотрудником шанхайского «Времени» сказал значительное слово:

– Большевиков в России 400 000, а эмиграция вне России – 2000 000. Кто же имеет больше прав говорить от имени России?

Но надо отметить, что до самой последней поры плохо стоял вопрос с организацией эмиграции. В эмиграции слишком много разнообразных слоев, разнообразных лиц, групп, чтобы дело объединения могло было быть проведено с надлежащей точностью.

И вот в эмиграции зародилась мысль о создании «ЭНЦИКЛОПЕДИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ», то есть издания, которое бы в удобном и конкретном виде представила бы всю наличность русской эмиграции в разных странах мира, во всех необходимых данных.

В этой идее, собственно говоря, нет ничего нового. Всякая, любая колония, любой европейский город имеют свой «Who is Who», где перечислены для удобства сношений и связи живущие в том пункте резиденты.

Как видится, инициаторы этого дела повели его широко и планомерно. По крайней мере здесь, в Китае, руководителями издания получены высокие одобрения этому делу со стороны маршала Чжан Сюеляна и других высоких мукденских и местных сановников, желающих успеха этому полезному изданию.

Пожелаем же успеха ему и мы. Пора забыть старые ошибки! Во время Великой войны русский штаб не знал точного количества своих войск. Будем надеяться, что «Энциклопедия Русской Эмиграции» восполнит этот недостаток в отношении зарубежных русских, и общественным русским деятелям не придется для подсчета сил и возможностей обращаться то к секретариату Лиги Наций, то к д-ру Нансену.

А вместе с тем – эта энциклопедия теснее свяжет между собой и отдельные эмигрантские группы.

Отсылая читателя к обращению от имени издательской группы «Энциклопедии», помещенному в этом же номере, еще раз пожелаем удачи этому нужному делу.

Приложение № 5

ВСЕМИРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Вот уже второй десяток лет, как все мы, русские эмигранты, развееянные по всему миру, переживаем наше безвременье на чужбине!

Каждый из нас, тая близкую душам всех нас, русских, надежду на возрождение России, ищет путей улучшения своего быта в доступных возможностях и условиях жизни приютившей его чужой страны. И каждый год, отдаляющий прошлое, отнимает от нас все больше и больше наше русское естество, вынуждая нас и детей наших ассимилироваться с народами, давшими нам приют, и приспосабливаться к укладу и обычаям их.

Разбросанные по всему миру, мы, тем не менее, ищем всяческих

путей объединения: повсюду уже имеются всевозможные эмигрантские союзы и организации – политические, академические, экономические и другие. Но одного общего целого – выявляющего лицо всей русской эмиграции, характеризующего ее как многогранное зарубежное представительство великой культурной русской силы, – до сего времени мы не могли найти!

Желая дать конкретное отображение этого одного целого, мы предприняли составление особого многотомного Издания, дав ему название: «Всемирная энциклопедия русской эмиграции».

После почти трехлетней подготовительной работы, путем создания во многих странах особых отделов и привлечения отдельных лиц для собирания материалов, мы приступаем к ближайшей разработке и всестороннему их наполнению, а равно к созданию путей для усиления фонда Издания, требующего больших средств для осуществления намеченного плана работ.

Основным заданием Энциклопедии является беспристрастное осведомление всех условий, в которых протекает борьба Русской Эмиграции за право сохранения своего национального лица на чужбине, оставляемое этим Изданием на суд потомства и истории; но кроме того, «Всемирная энциклопедия русской эмиграции» должна ответить и на другое, близкое всем нам, задание – быть первым объединяющим всю Русскую Эмиграцию звеном, облегчающим ей пути взаимного культурного и делового общения. Издание внепартийно и независимо.

Издательство приглашает всех сочувствующих целям Издания и желающих оказать свое содействие цельности его содержания и успеху – помочь этому большому русскому делу присылкою всесторонней, наиболее объективной информации и всевозможных материалов, иллюстрирующих быт русской эмиграции, направляя всю корреспонденцию представителям и уполномоченным Издательств во всех странах по адресам, публикуемым ими в печати.

В настоящее же время Издательство просит посылать все указанные материалы, временно, в адреса: в Европе и Соединенных Штатах – представителям Русского Общевоинского Союза, возглавляемого генералом А. И. Кутеповым, в Китае – уполномоченным Главы Русской Эмиграции на Дальнем Востоке генерала Д. Л. Хорвата, а также в адреса нижеуказанных лиц:

Англия: Александр Михайлович [нрзб.],
Венгрия: Николай Иванович Жуковский-Волынский,
Дания: Георгий Васильевич Вахтин,
Филиппины: Роман Аркадьевич Штюрмер,
Япония: Леонид Федорович Компанион,

Аргентина: Алексей Павлович Воронцов-Вельяминов,
Парагвай: Вадим Николаевич Сахаров,
Австралия: Михаил Иванович Максимов,
Китай: Главный уполномоченный Издательства в Китае Георгий
Андреевич Худаев. Главная контора: г. Харбин. Русская улица, д. № 21.
Тел. 48-18.

Главный редактор и председатель Издательства
Контр-адмирал *Федорович*

Приложение № 6

ПРОЕКТ ПЛАНА ЗОЛОТОЙ КНИГИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Часть I.

Вклад Русской Эмиграции в мировую культуру

- 1 Краткое предисловие
2. Вступительная статья, посвященная возникновению и характеристике Русской Эмиграции.

3. Главы, группирующие те области науки, искусства и техники, в которых проявилась деятельность русских эмигрантов во всех странах света.

Каждая глава будет состоять:

А) Из руководящей статьи, имеющей целью выявить влияние и роль Русской Эмиграции в данной области.

Б) Из именного списка с краткой биографией русских ученых, художников, писателей и артистов, работавших по той или иной специальности.

Примерный перечень глав деятельности, соответствующий имеющимся в настоящее время в нашем распоряжении списка имен.

Научная мысль.

1. Богословие и философия – Психология – Эстетика.
2. Точные науки: Математика – Физика – Химия.
3. Естествознание: Биология – Зоология – Палеонтология – Физиология – Патология – Медицина.
4. Геология – Археология – Астрономия.
5. Социология – Экономика.
6. Всемирная история – История Византии – Египтология – Военная история – История искусств.

Искусство.

1. Пластическое искусство: Живопись – Скульптура – Архитектура – Декоративное и прикладное искусство – Графика.
2. Музыка: Композиторы – Артисты.

3. Театр.
4. Балет.
5. Кинематограф.
6. Литература – Поэзия и проза – Художественная критика. Техника.
1. Сопротивление материалов – Металлургия – Электромеханика.
2. Аэродинамика – Кораблестроение – Беспроволочный телеграф.
3. Паровозы – Двигатели – Турбины – Авиация.
4. Нефтяное дело – Лесное дело – Бетон – Мукомольное дело.

Часть II.

Деятельность Русского Зарубежья

Введение – Русские люди, ушедшие в изгнание, не сделались бездушным телом, но сохранили свой национальный облик, а также свои русские творческие силы, и сумели создать в различных областях человеческой мысли и деятельности собственные учреждения для обслуживания своих нужд. Обзор деятельности этих установлений, бывших и настоящих, во всех крупных сосредоточениях Русского Зарубежья может быть представлен в этой части книги:

Православная Церковь и церковная жизнь.

Эмигрантский Комитет В. А. Маклакова и другие подобного же рода учреждения.

Культурные – Академическая Группа в Париже, Научно-философское общество, Общество охранения русских культурных ценностей, Общество любителей русской военной старины и другие.

Художественные – Русское музыкальное общество в Париже, Общество «Икона» («Иконопись»), Русские кустарные изделия (проф. Глоба) в Париже и др.

Юношеские – Русское Христианское Студенческое Движение, Русские скауты, «Витязи», «Разведчики» и другие.

Учебные заведения – Богословский Институт, Женские Богословские курсы, Народный Университет, Высшее Техническое училище, Военные курсы ген. Головина, Русская гимназия, Корпус имени Императора Николая II и другие.

Торгово-промышленные – Союз Торгово-промышленных деятелей, Русская Торговая Палата в Париже и другие.

Благотворительность – Комитет Помощи русским эмигрантам во Франции, Земско-городской союз во Франции, Скорая помощь, Сестричество и другие.

Старческие дома – в Севре, Ганьи, Кормей-ан-Паризи, Шелль, Сент-Женевьев-де-Буа, Монморанси и на юге Франции, и другие.

Медицина – Главное управление Российского Красного Креста

(старая организация), Лечебница доктора Темкина, Лаборатория проф. Абрамова и другие.

Землячества – Московское, Харьковское, Одесское и другие.

Военные – Русский Обще-Воинский Союз, Гвардейское Объединение, Союз русских военных морских офицеров, Зарубежный Союз русских военных инвалидов и другие.

Музеи – Л.-Гв. Казачьего полка в Курбевуа, Белого Воина в Париже, Конницы в Нью-Йорке, Военный в Сан-Франциско и другие.

Объединения б[ывших] воспитанников русских высших учебных заведений:

Московского, Петербургского университетов, Александровского лицея, Училища правоведения, Петербургского Политехнического института и других.

Профессиональные – Союз русских писателей и журналистов во Франции, Русских химиков, адвокатов, докторов, Объединение судебных деятелей, Очаг русских шоферов и другие.

Печать – Новое русское слово, Русская мысль, Возрождение, Последние новости (Милюкова), Руль, Иллюстрированная Россия, Сатирикон, Мосты и другие.

Издательства – Чеховский Фонд, Посев, ЦОПЭ, Возрождение, Les Editeurs Reunis, Дом Книги, Поволоцкий и другие.

Политические – Представительство русских эмигрантов в Америке, Евразийцы, Союз младоросов, Общество «Посев», ЦОПЭ и другие.

Театры – Интимный театр Кировой, Русская опера кн. Церетели, Русская опера Кузнецовой-Массне, Театр Питоева, Балет Дягилева и другие.

Разные – Общество ревнителей памяти Императора Николая II, Союз дворян и другие.

Вторая часть, как могущая быть интересной лишь для русского, будет издана исключительно на русском языке.

Приложение № 7

РАБОЧАЯ КОМИССИЯ ИНИЦИАТИВНОГО КОМИТЕТА

по изданию Книги о Русской Эмиграции

2-го июня, 1967 г.

Анализ сделанного и планы на будущее.

Рабочая комиссия, в период от 5-го апреля до конца мая (2 месяца), путем многократных встреч и обсуждений следующих материалов:

А) Протокол заседания Инициативной группы, его решения и рекомендации. Т. К. Багратион.

Б) Уведомление о прогрессе работы. Александра Львовна.

В) Меморандум. И. А. Толстой.

Г) Корреспонденция с Парижем. И т. д.

– собрала достаточно материалов, чтобы наметить программу дальнейшей работы и последовательности ее исполнения. Эти два месяца можно считать первым этапом в сложном процессе превращения абстрактной Идеи в весомый предмет: Книгу. В каждом начинании первый, предорганизационный период – когда все делается наощупь и когда еще не на что опереться – является одним из самых трудных.

Главной задачей первого этапа было приведение в порядок и логическую последовательность мыслей и идей из хаотического материала, накопившегося за 6 лет в Нью-Йорке и Париже, за время нескольких попыток осуществить этот проект.

Теперь, когда эта стадия работы закончена, перед Рабочей комиссией стоит новая серьезная задача: разработка СТРУКТУРЫ организации «Общества по Изданию Книги», основанной на плане, принятом на заседании Инициативной группы, 5-го апреля. Структура, план работы, графическая схема, наглядно показывающая состав и функции различных комитетов, их задачи, ответственность и взаимную связь, – это все должно войти в общий проект будущей Организации. От тщательности приготовления и разработки всех деталей будет зависеть продуктивность и успех работы как здесь, в Нью-Йорке, так и в Париже. Поэтому хотя «сроки подошли» и нельзя терять время, мне кажется, что все усилия Рабочей комиссии сейчас должны быть направлены на выработку этого проекта и согласования его с парижским комитетом. Только после ЕДИНОГЛАСНОГО принятия его всеми членами Инициативной группы здесь и в Париже мы можем перейти к Третьему, и последнему, этапу своей работы.

Третий этап – фактическое создание Комитета по изданию Книги и его юридическое оформление. Проект структуры организации послужит основным материалом для юристов. После юридического оформления, выборов членов комитетов, сотрудников и т. д. Рабочая комиссия сможет считать свою деятельность законченной.

Заметки:

1. Мне кажется, что проект надо составить на английском языке. Думаю, что на практике окажется, что все дела, касающиеся конторы, – переписка, администрация и т. д. – будут вестись по-английски. Работа же по содержанию книги, биографии, статьи и т. д. в большей части – по-русски.

2. Приготовляя план постоянного Комитета мы – Рабочая комиссия – уже сейчас можем создавать ячейки будущих отделов и комитетов, вырабатывая на практике систему ведения работы. Например, схема нашей работы сейчас:

Парижский комитет, Инициативный комитет
Робочая комиссия

Комитет по проекту книги, Контора Т. Ф. Корреспондентская
связь с Парижем и прессой.

Картотека. Сбор материала.

3. Организация конторы. При разборке старого материала особенные трудности причинило отсутствие дат, имен и заглавий на различных записках, проектах и др. Поэтому нам следует немедленно установить систему, по которой не только все наши сотрудники, но и Парижский комитет сможет легко разбираться в копиях бумаг: когда, кому, от кого, на какую тему была данная бумага выслана или получена. (Реком. принять систему Толстовского Фонда).

4. Составление Картотеки имен выдающихся русских людей и организаций. Наиболее практичным при данных условиях было бы поручить эту работу одному (или нескольким) лицу. Желательно или пенсионер профессор, или библиотекарь, – назначив оплату от карточки. Думаю, что отыскать полное имя по-английски и по-русски, адрес, телефон, место работы не так-то легко и в среднем возьмет от 15-20 минут на карточку. В дальнейшем по этим карточкам надо начать рассылать письма от имени Александры Львовны, с просьбой о присылке:

- 1) Краткой биографии,
- 2) Перечня научных работ или иных достижений,
- 3) Указания имен известных в этой области работы.

Таким образом, мы уже сейчас, не ожидая платных работников и места в конторе, можем поставить на рельсы отдел сбора материалов и расширить его по мере возможности (главным образом финансовой).

Приложение № 8

СПИСОК ЛИЦ, КОТОРЫМ БЫЛИ ПОСЛАНЫ ПРИГЛАШЕНИЯ
НА ЗАСЕДАНИЕ 13-го ФЕВРАЛЯ 1968 г. ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
ВОПРОСА КНИГИ «РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ И ЕЕ ВКЛАД
В МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ

1. Др. Гагик Сергеевич АГАДЖАНИЯ
2. Проф. Николай Сергеевич АРСЕНЬЕВ
3. Кн. Сергей Сергеевич БЕЛОСЕЛЬСКИЙ
4. Константин Гаврилович БЕЛОУСОВ
5. Проф. Александр Александрович БОГОЛЕПОВ
6. Проф. Владимир Васильевич ВЕЙДЛЕ
7. Алексей Александрович ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР
8. Сергей Павлович КРЫЖАНОВСКИЙ

9. Проф. Борис Александрович КОНСТАНТИНОВСКИЙ
10. Варвара Евгеньевна САХАРОВА
11. Яков Моисеевич СЕДЫХ
12. Борис Васильевич СЕРГИЕВСКИЙ
13. Игорь Иванович СИКОРСКИЙ
14. Сергей Николаевич РЯСНЯНСКИЙ
15. Александра Львовна ТОЛСТАЯ
16. Илья Андреевич ТОЛСТОЙ
17. Татьяна Алексеевна ШАУФУС
18. Проф. Борис Генрихович УНБЕГАУН
19. Владимир Иванович ЮРАСОВ
20. Теймураз Константинович БАГРАТИОН-МУХРАНСКИЙ

Приложение № 9

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ОБ ИЗДАНИИ КНИГИ
О ВКЛАДЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ
состоявшегося во вторник, 13-го февраля 1968 г. в 5 часов вечера, в помещении Толстовского Фонда в Нью-Йорке.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Проф. Николай Сергеевич АРСЕНЬЕВ, Теймураз Константинович БАГРАТИОН-МУХРАНСКИЙ, проф. Константин Гаврилович БЕЛОУСОВ, проф. Александр Александрович БОГОЛЕПОВ, Сергей Павлович КРЫЖАНОВСКИЙ, проф. Борис Александрович КОНСТАНТИНОВСКИЙ, Варвара Евгеньевна САХАРОВА, Яков Моисеевич СЕДЫХ, Борис Васильевич СЕРГИЕВСКИЙ, Сергей Николаевич РЯСНЯНСКИЙ, проф. Борис Генрихович УНБЕГАУН, Александр Васильевич РУММЕЛЬ (представитель кн. Сергея Сергеевича БЕЛОСЕЛЬСКОГО).

Председателем совещания выбирается проф. А. А. Боголепов, секретарем Т. Багратион.

Председатель оглашает письмо, полученное им от Александры Львовны Толстой о невозможности ей лично и сотрудникам Толстовского Фонда принять активное участие в издании намеченной книги ввиду перегруженности Фонда текущими делами помощи беженцам.

По приглашению председателя Т. Багратион сообщает о уже принятой работе по собиранию материалов В. Е. Сахаровой и инициативной группой, которые будут переданы комитету. Т. Багратион также сообщает содержание письма И. А. Толстого и его предложение юридически оформить комитет.

Проф. Арсеньев докладывает о разговорах с проф. В. В. Вейдле о взаимоотношениях с Парижской группой. С. Лифарь отошел от

Комитета, Редакционная комиссия в Париже состоит из проф. Ковалевского, В. В. Вейдле и Е. А. Вечорина. Проф. Вейдле не смог прийти на совещание, т. к. читает лекцию в Университете.

Проф. Белоусов предлагает оформить Комитет и разделить роли членов комиссии по предметам.

Проф. Константиновский говорит, что надо издать сборник наподобие «WHO is WHO» и ряд статей на отдельные темы.

С. П. Крыжановский сообщает о возможности получения помощи от Инженерного Общества.

Я. М. Седых выражает опасение о двоевластии между Парижским комитетом и Нью-Йоркской группой.

Проф. Боголепов говорит о необходимости обеспечить средства для печати и предъявления прав собственности на Книгу.

Т. Багратион сообщает, что с согласия Б. В. Сергиевского Толстовский фонд готов уплатить небольшие расходы по регистрации Комитета как правомочного органа для издания Книги и предлагает поручить это А. А. Гольденвейзеру. По намеченному проекту инициативной группы Комитет предполагался быть международным, с центром в Нью-Йорке и отделениями в разных культурных центрах Русской Эмиграции.

С. Н. Ряснянский предлагает выяснить взаимоотношения с Парижем по поводу редакции статей и изданию Книги. Также вносит предложение привлечь церковных деятелей к этой работе.

А. В. Руммель говорит об отсутствии причин для состязания между центрами и необходимости сотрудничества всех комитетов в общем деле.

Б. В. Сергиевский считает, что нужна одна Книга и что надо избежать конкуренции между разными центрами с тем, чтобы оплачивание расходов происходило из США, где будет зарегистрирован Комитет и где будут собраны средства.

Проф. Б. Г. Унбегаун считает, что в новообразованный комитет должны войти все. Парижский комитет уже ведет работу и его нельзя обойти.

Председатель ставит вопрос создания комитета в Нью-Йорке на голосование.

Предложение создать Комитет в Нью-Йорке для издания Книги о Зарубежье в сотрудничестве с Парижской и другими группами принимается совещанием единогласно.

Проф. Белоусов вносит предложение выбрать должностных лиц и предоставить Комитету выработку названия Книги и право расширить Комитет дополнительными членами.

Предложение проф. Белоусова принимается единогласно.

В Комитет выбираются следующие лица: проф. Н. С. Арсеньев, кн. С. Белосельский, проф. К. Г. Белоусов, проф. А. А. Боголепов, С.П. Крыжановский, проф. Б. А. Константиновский, В. Е. Сахарова, Б.В. Сергиевский, С. И. Ряснянский, проф. Б. Г. Унбегаун.

Выбраны, в их отсутствии в ожидании получения от них согласия: Алексей Александрович Гольденвейзер, Игорь Иванович Сикорский, Илья Андреевич Толстой, Владимир Иванович Юрасов.

Я. М. Седых обещает полную поддержку газеты «Новое русское слово» и участие в совещаниях, но отклоняет предложение быть членом Комитета.

В должностные лица выбираются: проф. А. А. Боголепов – председатель, проф. К. Г. Белоусов, Б. В. Сергиевский, проф. Б. Г. Унбегаун – вице-председатели, проф. Б. А. Константиновский – секретарь.

От имени всего собрания председатель выражает глубокую благодарность Александре Львовне Толстой за ее энергичную деятельность по созданию Инициативной группы для издания книги о Русской Эмиграции и готовность оказывать в будущем необходимую помощь, а также за гостеприимство Толстовского Фонда и предоставление помещения для заседания.

Председатель закрывает совещание в 7.30 час. вечера.

Секретарь совещания
Т. Багратион-Мухранский

Приложение № 10

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ФОНДА РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

состоявшегося в пятницу, 15-го марта 1968 г. в 5.15 час. дня в помещении Толстовского фонда в Нью-Йорке

Присутствовали: проф. Е. В. Александров, проф. Н. С. Арсеньев, Т.Багратион-Мухранский, проф. К. Г. Белоусов, проф. А. А. Боголепов, проф. В. В. Вейдле, А. А. Гольденвейзер, С. Н. Крыжановский, проф. Б. А. Константиновский, В. Е. Сахарова, Б. В. Сергиевский.

Председатель, проф. А. А. Боголепов, открывает заседание.

Протокол совещания 18-го февраля сего года принимается без изменений.

Председатель приветствует члена Редакционной комиссии Парижского комитета проф. В. В. Вейдле, а также впервые присутствующих на заседании А. А. Гольденвейзера и проф. Е. В. Александрова.

Председатель предлагает избрать почетным председателем А.Л. Толстую и почетными членами И. И. Сикорского, Б. В. Сергиевского и Т. А. Шауфус. Предложение единогласно принимается.

Сообщение о составе и постановлениях Правления будет послано в печать после получения ответа от Александры Львовны Толстой и опросного листа.

Б. В. Сергиевский сообщает о полученном им письме и опросном листе от Общества охранения русских культурных ценностей в гор. Париже по просьбе С. М. Лифаря. После обсуждения выносятся единогласное решение не устанавливать сношений с вышеупомянутым обществом, в котором участвует С. М. Лифарь, посетивший официально СССР и поддерживающий сношения с представителями советской власти.

Проф. Вейдле сообщает о работе Комитета в Париже. Комитет и Редакционная комиссия, которые уже поддерживали связь с Нью-Йоркской Инициативной группой, не имеют отношения к обществу под председательством Лифаря. Составлено уже несколько обзоров о деятельности Эмиграции, но недостает основного – о литературе и русской мысли. Не решено несколько принципиальных вопросов – название Книги, которая должна охватить 50 лет эмиграции духовно, а не только территориально, т. е. показать культурную роль Русской Эмиграции. Это не исключает науку, технику и медицину. Можно издать статьи с указанием имен. Самое трудное будет соблюсти пропорции в выборе и перечислении лиц.

Проф. Вейдле заключает тем, что следует не забывать эмигрантов первого десятилетия после революции, большинство которых умерли. Председатель предлагает определить отношение к двум учреждениям в Париже.

Постановили:

Образованный Комитет в Нью-Йорке, как самостоятельная организация, будет иметь дело в Париже только с Инициативной группой и Редакционной коллегией, в которую входит профессор Вейдле, проф. Ковалевский и В. Вечерин, но ни в коем случае с обществом во главе с С. Лифарем.

Проф. Белоусов предлагает передать в Редакционную комиссию разработку программы, которая уже подготовлена Инициативной группой.

Председатель оглашает имена предложенных кандидатов в Редакционную комиссию, которая выбирается единогласно: Н. С. Арсеньев, К. Г. Белоусов, С. П. Крыжановский, И. Д. Левитин, Н. П. Полторацкий, Л. Д. Ржевский, Б. Г. Унбегаун.

Председатель предлагает А. А. Гольденвейзеру войти в Редакционную комиссию. А. А. соглашается быть участником комитета по юридическим вопросам в составе Административной комиссии. А. А. Гольденвейзер высказывается против регистрации и инкорпо-

рации Комитета и предлагает выбрать название организации и открыть счет в банке, что будет достаточно. Предложение А. А. Гольденвейзера принимается.

После обсуждения выносится решение просить Толстовский Фонд принимать пожертвования на Издательский фонд, как уже было сделано раньше для Русской Академической Группы и издания «Записок». Вносится оговорка, что при подыскании средств упоминание о направлении взносов через Толстовский Фонд не будет опубличиваться, а будет сообщаться определившимися жертвователям.

Обсуждается вопрос об источниках средств, как фонды, университеты, русские организации. Профессор Александров говорит о технике сборов в США для университетов.

Вопрос названия Комитета по-русски и по-английски остается открытым до окончательной редакции, сделанной филологами Комитета. Принимаются названия «Издательский фонд Русской Эмиграции», и «Русско-эмигрантский издательский фонд» с подзаголовком: «Книга о Русской Эмиграции», «Зарубежная Россия», «Вклад Русской Эмиграции в мировую культуру».

Б. Е. Сахарова докладывает о подготовительной работе, произведенной Инициативной группой с участием А. Л. Толстой и Т. А. Шауфус и предлагает создать еще административный аппарат. Выбираются членами Комитета Иосиф Давидович Левитин и Леонид Денисович Ржевский.

Проф. Александров предлагает составить сборник по формату Лярусса и обратить внимание на библиографию, которая заинтересует научные и университетские библиотеки.

Председатель подводит итог постановлений заседания:

1. Считать Издательский фонд Русской Эмиграции отдельным учреждением.

2. Издательский фонд будет иметь сношение с Комитетом и Редакционной комиссией в Париже и будет обмениваться для общего мнения статьями и текстами для книг.

3. Издательский фонд не будет иметь отношения к Обществу охранения культурных ценностей в Париже под председательством С. Лифаря.

4. Заседание назначает Редакционную комиссию, которая приступит к собиранию материала и составлению плана Книги.

5. Постановление Комитета решено опубликовать в газетах.

Председатель закрывает заседание в 7.30 час.

Т. Багратион-Мухранский,
Секретарь заседания

СПИСОК УПОМИНАЕМЫХ ЛИЦ

1. Проф. Николай Сергеевич Арсеньев (1888–1977), русский философ, поэт, историк религии и культуры.
2. Кн. Сергей Сергеевич Белосельский-Белозерский (1895–1978), участник Первой мировой войны и Белого движения, общественный и политический деятель. Организатор Славянского института, Российского комитета освобождения. Основатель «Дома Свободной России».
3. Константин Гаврилович Белоусов (1896–1977), инженер-строитель, специалист по гидротехническим сооружениям. Инициатор создания в США Русской Академической Группы (РАГ); был ее вице-председателем в течение многих лет. Участвовал в создании и работе Общества русских инженеров в США.
4. Проф. Александр Александрович Боголепов (1886–1980), церковный писатель, богослов. Был членом правления Русского научного института в Берлине, членом редакции журнала «Вестник самообразования», профессором административного права Русского юридического факультета в Праге. Профессор канонического права и преподаватель Свято-Владимирской Духовной семинарии (США). В 1966–1970 гг. председатель Русской Академической Группы в США.
5. Проф. Владимир Васильевич Вейдле (1895–1979), поэт, литературовед, культуролог, историк культуры Русской Эмиграции. Преподавал в Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже, в университетах Лондона, Мюнхена, Принстона, Нью-Йорка.
6. Алексей Александрович Гольденвейзер (1890–1979), юрист, писатель и издатель, общественный деятель. В эмиграции в Берлине, Франции, США. Основатель Общества русских юристов в Нью-Йорке.
7. Яков Моисеевич Седых (1902–1994), личный секретарь Ивана Бунина. Главный редактор газеты «Новое русское слово». Журналист, критик.
8. Борис Васильевич Сергиевский (1888–1971), летчик-испытатель, участник Первой мировой войны, общественный деятель. Председатель Общества бывших русских летчиков в США, почетный председатель объединений русских летчиков в Зарубежье. Член РОВСа. Возглавлял Союз Георгиевских кавалеров, а также руководил Союзом русских военных инвалидов и Американско-русским союзом помощи престарелым.
9. Игорь Иванович Сикорский (1889–1972), авиаконструктор, ученый, изобретатель, философ. Основатель авиационной фирмы «Sikorsky Aero Engineering Corporation». Общественный деятель, возглавлял Толстовское и Пушкинское общества. Принимал участие в монархическом движении, состоял в Русском национальном союзе.
10. Сергей Николаевич Ряснянский (1886–1976), полковник Генерального штаба, участник Первой мировой войны и Белого движения, организатор Добровольческой армии на Юге России. Начальник отдела РОВСа в США. Состоял в Союзе Георгиевских кавалеров.

11. Александра Львовна Толстая (1884–1979), младшая дочь и секретарь Льва Николаевича Толстого. Создатель Толстовского Фонда.
12. Илья Андреевич Толстой (1903–1970), полковник армии США, дипломат, путешественник, основатель первого в мире дельфинария, принимал активное участие в работе Толстовского Фонда.
13. Татьяна Алексеевна Шауфус (1891–1986), участница Первой мировой войны в качестве сестры милосердия. Общественный деятель Русской Эмиграции, президент Толстовского Фонда.
14. Проф. Борис Генрихович Унбегаун (1898–1973), участник Первой мировой войны и Белого движения. Лингвист, филолог, специалист по славянским языкам и литературе, работал в университетах Франции, Англии, США.
15. Владимир Иванович Юрасов (настоящая фамилия Жабинский. 1914–1996), писатель, сотрудник «Радио Свобода».
16. Теймураз Константинович Багратион-Мухранский (1912–1992), директор Толстовского Фонда, общественный деятель. Был прихожанином и оказывал большую поддержку Русской Православной Зарубежной Церкви. Председатель Палестинского общества. Участвовал в создании Конгресса русских американцев.

Публикация – Юрий Сандулов

Лариса Вульфина

Ф. С. Рожанковский и В. Б. Сосинский. Переписка 1957–1967 гг.

«Мы всё равно судьбы не переспорим...»

Д. Ю. Кобяков

«Милый Федя, привет Вам с Родины» – так часто начинались письма писателя Владимира Сосинского¹ к другу, художнику Федору Рожанковскому. Хранившиеся долгие годы в семейном архиве дочери художника Татьяны Федоровны Рожанковской-Коли и ранее не публиковавшиеся, они рассказывают о дружбе двух бывших участников Белого движения – репатрианта В. Сосинского, вернувшегося в 1960 году в Советский Союз, и Ф. Рожанковского, всю свою эмигрантскую жизнь тоскующего по родной земле, закончившего свои дни в так и не ставшей ему вторым домом Америке. «В 1917 году хотел счастья для России. В 1918-м хотел счастья для всего мира. Меньшего не брал. Сейчас хочу одного: самому вернуться в Россию. Здесь конец хода коня!» – писал он Сосинскому в сентябре 1964 года. Какие именно обстоятельства не позволили ему вернуться – возможно, в этом поможет разобраться сохранившаяся переписка. Время не сделало эти документы неинтересными. Воскрешая картины пережитого, письма изобилуют фактами, именами, событиями, разрушают сложившиеся мифы. Вереницей всплывают портреты замечательных людей, и важно сделать так, чтобы не растаяли они, не исчезли в темноте прошлого, превратившись по прошествии десятилетий в далекие уже фигуры, и снова заняли место в нашей памяти.

Имя В. Б. Сосинского, борца французского Сопротивления, преданного друга М. И. Цветаевой и А. М. Ремизова, давно окружено ореолом легендарности. История о публичной пощечине и несостоявшейся дуэли между поэтом Ю. Терапиано и В. Сосинским, считавшим своим долгом защитить литературную честь Марины Ивановны, не раз была рассказана на киноэкране и в литературе. Вернувшись в Союз, он много и охотно делился воспоминаниями о жизни русского довоенного Парижа на литературных вечерах в

Москве. После смерти писателя вышла книга его мемуарных рассказов и очерков, подготовленная сыновьями Алексеем и Сергеем².

Сосинский называл Рожанковского своим лучшим *зарубежным* другом. Были у него еще два лучших друга, ставшие родными и в буквальном смысле слова – членами семьи; речь идет о Додике Резникове³ и Вадиме Андрееве⁴. Все трое они впервые встретились в Константинополе, а позже женились на дочерях бывшего лидера партии эсеров В. М. Чернова. Две из них (сестры-близнецы Наталья и Ольга) были приемными. Их мужьями стали соответственно Д. Резников и В. Андреев. Сосинский взял в жены родную дочь Чернова – Ариадну.

Вместе с В. Андреевым еще в Берлине он входил в литературную группу «Четыре плюс один» (четыре поэта и один прозаик – Анна Присманова, Вадим Андреев, Семен Либерман, Георгий Венус и Владимир Сосинский). Обо всем этом будет потом рассказано в автобиографической повести В. Андреева «История одного путешествия» (1966). Вместе они сражались за освобождение от немецкой оккупации острова Олерон в Бискайском заливе⁵. Они одинаково долго проживут во Франции (почти четверть века) и почти одновременно с Сосинским Андреев получит советский паспорт – от которого, правда, перед смертью захочет избавиться («не хочется с ним умирать» – так, по свидетельству Н. И. Кривошеина, скажет он ему в Женеве вскоре после высылки А. Солженицына⁶).

Первая и пока единственная книга о Федоре Рожанковском вышла в США в 2014 году (Feodor Rojankovsky: The Children's Books and Other Illustration Art by Irving Allen and Polly Allen with Tatiana Rojankovsky-Koly. 2014). Американские исследователи Ирвинг и Полли Аллен проделали большую и полезную работу, составив библиографию изданий Рожанковского (только детских книг за полувекую карьеру им было проиллюстрировано сто тридцать!). Но, к сожалению, в печатном варианте книга вышла без фотографий и репродукций работ художника, не исследован пока и обширнейший эпистолярный архив, собранный за долгие годы эмиграции. Назовем лишь некоторые яркие имена адресатов: многолетний автор «Нового Журнала», выдающийся русский философ Г. П. Федотов, М. В. Добужинский, А. М. Ремизов, граф Н. Д. Татищев и его сыновья Борис и Степан Татищевы, художники первой и второй волны – А. Т. Худяков, К. И. Аладжалов, В. С. Иванов, Ю. В. Бобрицкий, общественный деятель С. М. Зернова, художники-графики Ле Кампион⁷, Фриц Эйхенберг⁸, Антонио Фраскони⁹, Рокуэлл Кент, переводчик и культуролог Н. А. Папчинская (внучатая племянница Ф. Рожанковского), певица Т. Ф. Романовская (сестра художника). Отношения с каждым из них

будут подробно описаны автором данной статьи в будущей книге о Ф. Рожанковском, над которой сейчас ведется работа.

В России нет пока монографии о художнике, выходили лишь отдельные статьи М. Сеславинского, О. Мязотс, С. Бычкова. В «Новом Журнале» было опубликовано интервью с дочерью Федора Степановича – Т. Ф. Рожанковской-Коли¹⁰. Безусловно, портрет удивительного художника с необыкновенной судьбой всё еще нуждается в более полном представлении. Дальнейшее изучение архива Рожанковского позволит высветить многие неизвестные ранее страницы его жизни. Пока же обозначим лишь штрих-пунктирные вехи биографии художника.

Родился Рожанковский в 1891 году в Митаве (ныне – Елгава, Латвия) в семье инспектора учебных заведений Степана (Стефана) Рожанковского (1848–1897), окончил Александровскую гимназию в Ревеле (ныне – Таллин, Эстония) и в 1911 году отправился получать художественное образование в Москву. Обучение студента Московского училища живописи, ваяния и зодчества было прервано войной. Осенью 1914 года его призвали в действующую армию. Три с половиной года он служил офицером в Дагестанском пехотном полку, был ранен, имел награды, именно в тот период и появились в журналах «Солнце России» и «Лукоморье» его первые фронтовые зарисовки. В начале Гражданской войны Рожанковский оказался в Полтаве (в имении своей старшей сестры А. Папчинской), в 1919-м был мобилизован в Добровольческую армию. Заболев тифом, в бессознательном состоянии он попал в львовский лагерь для военнопленных на бывшей тогда польской территории, с этого времени и началась эмигрантская полоса его жизни. Наследие художника хранит сильную серию выразительных карандашных набросков и акварельных рисунков 1919–1920 гг., по которым можно смело судить – правдивые и одновременно гротескные работы выполнены мастером большого дарования. С 1921 по 1925 гг. Федор Рожанковский жил в Польше, работал декоратором в оперном театре в Познани, потом главным художником в издательстве Р. Вегнера (Rudolf Wegner) «Wydawnictwo Polskie». В 1925 году переехал в Париж, иллюстрировал классиков французской литературы, много работал в области рекламы, затем полностью ушел в детскую иллюстрацию для издательства «Фламарион» и «Домино Пресс».

Книга «Даниэл Бун» с рисунками Рожанковского принесет ему большой успех уже в тридцатых годах. Еще до своего отъезда в Америку в 1941 году он станет любимым детским иллюстратором сразу для нескольких поколений европейцев. Появилась у Рожана (Rojan – так подписывал свои работы Ф. Рожанковский в период французской

эмиграции) и своя взрослая аудитория – во Франции он был известен и как виртуозный мастер эротического рисунка. В своей жизни Рожанковскому придется не раз срываться с места, где уже были пущены корни. Как потом он напишет в своем дневнике, «...меня бросало из одного города в другой, из одной страны в другую, с одного материка на другой».

Осенью 1941 года на пароходе «Навемар» («Navemar») он отправился работать по контракту в Соединенные Штаты, трудился в крупнейших издательствах Америки и так же стремительно завоевал себе новую славу. В 1946-м женился на Нине Георгиевне Федотовой, дочери русского философа Г. П. Федотова; через два года родилась дочка Таня – точно сошедшая со страниц детских книг Рожанковского, – которую он безмерно любил. Образ его обожаемой Танюшки будет оставлен художником в десятках детских изданий. В 1956 году придет настоящий успех: Рожанковский получит самую престижную премию в области детской книжной иллюстрации – золотую медаль Калдекотта¹¹, после чего заказы посыпались один за другим. Число друзей и знакомых веселого, жизнелюбивого, щедрого и гостеприимного художника было безграничным. В «ближний круг» входил и Владимир Брониславович, который в те годы жил и работал в Нью-Йорке.

Корреспонденция Рожанковского с Сосинским занимает значительную долю эпистолярного наследия художника, она объемна и в формате журнальной статьи не может быть представлена полностью. В настоящей публикации будет сделана попытка осветить коммуникативные и биографические аспекты переписки 1957–1967 гг. в контексте тех социальных и культурных процессов, которые происходили в СССР в период, включающий хрущевскую «оттепель». Ценность этой переписки заключается и в том, что в архиве сохранены письма как исходящие, так и ответные. В. Б. Сосинский оказался в числе счастливых получателей целой коллекции оригиналов, которые по сути являются настоящими художественными документами, – до 160 страниц «ин фолио» длинных писем Федора Степановича, который любил писать на бумаге большого формата, чтобы всегда оставалось достаточно места для нового рисунка. Большинство писем сопровождается дивными красочными иллюстрациями. По высказыванию Фрица Эйхенберга, друга и еще одного адресата Рожанковского, «эти письма были достойны того, чтобы хранить их в рамках».

Встреча В. Сосинского с Ф. Рожанковским произошла во Франции в тридцатые годы. Хотя впервые знакомство с рисунками художника случилось еще в годы Первой мировой войны, когда четырнадцатилетний Владимир учился в Петербурге. Рисунки с передовой,

печатавшиеся в патристическом еженедельнике «Солнце России», уже тогда восхищали ученика реального училища «мягкостью, стремительностью линии и своим радостным отношением к жизни»¹². Оказавшись в Париже, Сосинскому было нелегко связать имя любимого художника с мононимом Rojan, встречающимся на обложках самых нарядных и популярных в то время книг для детей серии «Пэр Кастор» («Папаша Бобёр») издательства «Фламарион». На альбомах издателя Поля Фоше выросло не одно поколение французов, бельгийцев, англичан и швейцарцев. О том, что под именем Ф. Рожана скрывается кумир его отрочества, Сосинский узнал лишь в 1933 году. Рожанковский оказался ближайшим его соседом по дому в Плесси-Робинзон – одном из красивейших предместий Парижа, названном в честь Робинзона Крузо, которое не раз появлялось в романах Мопассана и в светской хронике конца XIX века и начала XX (жили они, по воспоминаниям Т. Ф. Рожанковской, в скромных многоквартирных домах). После этой встречи они стали не только соседями, но и большими друзьями, прожив рядом шесть лет, до отъезда Рожанковского в Америку. Сосинский расскажет о тех днях на страницах советского журнала «Детская литература» в 1972 году (через два года после кончины Федора Степановича). В статью, по понятным причинам, войдет далеко не всё. Перекроенные, а местами и полностью искромсанные цензурой, фрагменты воспоминаний он пришлет в том же году в письме Нине Георгиевне, вдове Рожанковского, с собственноручными пометками – «не всё вычеркнуто, но сильно переделано» или «вычеркнуто всё».

Вот эти фрагменты:

(«не все вычеркнуто, но сильно переделано»):

<...> Странное, противоречивое, полное тяжелых предчувствий и в то же время для всех нас веселое было это время! Теперь, на расстоянии лет, можно сказать, что из эмигрантской жизни это были наши лучшие дни. И материально мы процветали. Каждый из нас устраивал многолюдное новоселье, которое потом повторялось в виде вечеринок и даже маскарадов. Чуть-чуть смахивало если не на «Пир во время чумы», то на «Пир накануне чумы», и при этом самой страшной – коричневой!

<...> Всех нас буквально очаровал Федор Степанович – очаровал не на год, не на два, а чуть ли не на четыре десятилетия! Очаровал его веселый нрав, живой, полный задора, остроумия и молодости, пленил его добрый, отзывчивый и очень своеобразный стремительный характер.

(«вычеркнуто все»)

<...> Конец 20-х и все тридцатые годы для русского Парижа (и не только для «русского») были исключительно блестящими – и в поэзии, и в музыке, и особенно в живописи. Поскольку речь идет о нашем художнике, позвольте напомнить вам русские имена, царившие тогда на выставках и на театре Лондона и Парижа: Сутин, Шагал, Ларионов, Гончарова, Коровин, Судейкин, Добужинский, Билибин, Бенуа, Кандинский, Пуни, Минчин, Терешкович... А в Плесси-Робинзон жили тогда, кроме Рожанковского, тончайший гравер на меди, автор иллюстраций в роскошном издании «Капитанской дочки» Пушкина и <...> меню на морские темы океанского лайнера «Нормандия» Валентин Константинович Ле-Кампион, карикатурист Шэм (Александр Павлович Шеметов), будущий герой французского Сопротивления, играл с нами в теннис К. Терешкович, бывал на вечеринках Ю. Анненков. <...> Не могу не упомянуть, хотя он вовсе не русский, еще одного моего соседа, имя которого никак не могу вспомнить: в своей мастерской в течение долгих лет на наших глазах он строил <...> Париж, да, Париж – целый квартал старого Монмартра – кирпич за кирпичом, доска за доской, но из ...паньешаме, и вот до сих пор, если я думаю об этом удивительном городе, я вижу его узкие улочки, покосившиеся домики и скошеннные набок крыши именно этой модели с птичьего полета. Это был американец, он, как многие из них, надолго застрял в городе-светоче!¹³

Не обошлось в этой статье и без легенды, когда автор, как бы оправдываясь, спешит заверить советского читателя, что его друг «вовсе не русский эмигрант, из России не бежал, в Гражданской войне не участвовал, а жил все революционные годы в Таллине, откуда его, как театрального декоратора, вызвал к себе в Париж сам Дягилев». Это, конечно же, не было правдой. В годы Гражданской войны Рожанковский, как и Сосинский, сражался на стороне Белой армии. Сосинский даже получил от Врангеля орден Николая Чудотворца. Правда, по воспоминаниям Сергея Сосинского, «он (Отец. – Л. В.) придумал несколько версий того, как попал в Белую армию, и сейчас уже трудно узнать, как это было на самом деле»¹⁴. В статье 1972 года встречается множество и других неточностей, полуправда, а иногда и совсем неправда. Вот как, например, свободно цитируются строки из письма Рожанковского 1964 года:

Что за чертовщина! – писал он мне в те тяжелые для него дни. В каком обществе приходится жить! Фламарион продолжает печатать мои книжки вот уже 35-й год, ничего не платя мне.

*Американцы ведут себя не лучше (Подчеркнуто мной. – Л. В.), иногда попадают мне в руки мои книги, напечатанные где-то в Латинской Америке, о чем я и понятия не имею...*¹⁵

А теперь сравним с подлинным текстом письма:

Чертовщина! В каком обществе приходится жить. Фламарион продолжает печатать мои книжки вот уже 34-й год, ничего не платя мне. Американцы ведут себя честнее, но их темы иссякли...

Увы, возвращение на родину стоило Владимиру Брониславовичу самого дорогого, что есть у писателя, – возможности откровенного разговора с читателем. В Советском Союзе большинство литературных работ Сосинского были подвергнуты цензуре или вовсе не публиковались. Но судьбу нужно было благодарить уже за то, что уберегла от репрессий. Хотя в конце пятидесятых репатриантов уже не сажали – но ссылали в далекий медвежий угол. Сосинскому повезло. Получив советский паспорт в 1947 году, он не поехал в Советский Союз, а был назначен на должность сотрудника в секретариате ООН и до 1960 года жил в Нью-Йорке. Это был новый, теперь уже тринадцатилетний, период близкого общения с Рожанковскими. В конце пятидесятых Сосинские трижды ездили в Москву, чтобы присмотреться и решить – возвращаться ли на родину (там уже учился сын Алексей), – и обо всем, что видят, с воодушевлением сообщают Рожанковскому. Часть переписки друзей мы предлагаем сегодня читателю НЖ. Автор выражает большую благодарность Татьяне Федоровне Рожанковской-Коли за ценные дополнения и уточнения.

-
1. Сосинский Владимир Брониславович (наст. Владимир-Бронислав-Рейнгольд Брониславович Сосинский-Семихат. 1900–1987), прозаик, критик. В эмиграции с 1922 года. Участник Сопrotивления. Вернулся в Москву, СССР, в 1960 году.
 2. *Владимир Сосинский*. Рассказы и публицистика. – М., 2002.
 3. Резников Даниил Георгиевич (1904–1970), поэт, журналист, в эмиграции с начала 1920-х годов.
 4. Андреев Вадим Леонидович (1902–1976), поэт, прозаик, старший сын писателя Леонида Андреева. В эмиграции с октября 1917 года. Участник Сопrotивления.
 5. Книга «Герои Олерона» (1965) с дарственной надписью В. Сосинского, одного из трех авторов, бережно хранится в семейном архиве Рожанковских.
 6. Н. Кривошеин. Последний репатриант / «Новый Журнал». 2009. № 254. С. 343.
 7. Le Champion (наст. Битт Валентин Николаевич. 1903–1952), французский художник русского происхождения.

8. Fritz Eichenberg (1901–1990), американский график немецкого происхождения.
9. Антонио Фраскони (1919–2012), уругвайский художник.
10. См.: *Сеславинский М. В.* Рандеву: русские художники во французском книгоиздании первой половины XX века: Альбом-каталог. – М., 2009; Художник книги Федор Рожанковский // Библиофилы России: Альманах. – М., 2010. Т. VII.; Американский дедушка: интервью с А. А. Папчинским // Про книги: Журнал библиофила. 2013. № 1 (25). Сс. 16–22; Вспоминая отца: интервью с Т. Ф. Рожанковской-Коли // Журнал библиофила. 2013. № 1 (25). Сс. 6–15; *Мязотс О.* Федор Рожанковский – художник, который любил детей и зверей // Детский зал иностранки. URL: <https://deti-inostranki>; *Мязотс О.* Советские детские книги в Европе и в США в 1920–1930-е гг. // Детские чтения. Т. 12. № 2. 2017. URL: <http://detskie-chtenia.ru/index.php/journal/article/view/274>; Федор Рожанковский снова в России / Татьяна Рожанковская-Коли ; интервью Сергея Бычкова // Собрание шедевров. 2013. № 1 (36); *М. Адамович.* Портрет семьи на фоне эпохи. Интервью внучки Г. П. Федотова Татьяны Коли / «Новый Журнал». 2011. № 264.
11. Randolph Caldecott Medal – медаль Американской библиотечной ассоциации, отделение детской литературы.
12. «Детская литература». 1972. С.78.
13. George Alexander – американский художник, живший во Франции, друг Ф. С. Рожанковского. Даты жизни не установлены.
14. *Владимир Сосинский.* Рассказы и публицистика. – М., 2002. С. 10.
15. «Детская литература». 1972. С. 80.

ПЕРЕПИСКА 1957–1967 ГОДОВ

Осень 1957 года

А. В. Чернова-Сосинская – Ф. С. Рожанковскому

Дорогой Федор Степанович, если бы Вы знали, сколько раз на улицах Москвы, в пригородных поездах и во время нашей поездки по Волге от Москвы до Ростова мы вспоминали Вас, глядя на всё бесконечное однообразие русских лиц и фигур: старушки в платочках и ватниках в летнюю жару; марийские девушки в лаптях и онучах за косьюбой на берегу Волги; белокурые москвички, принарядившиеся к фестивалю¹; красавицы-ростовчанки; молодецкатые военные; бойкий инвалид, без ног на самодеятельной тележке-платформе объезжающий машины на перекрестках, лихо отталкиваясь двумя палочками; молодые и старые лица, жадно склоненные над книгами, – читают взасос; круглоголовые мальчишки, остриженные под нулевой, и те гоголевские лица, «над отделкой которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как то напильников, буравчиков и прочего» и т. д. и т. д...

И всё это ждет Вашего карандаша. Ждет не дождется. Вы просто

должны (и перед Вашим талантом, и перед Вашими друзьями) отправиться в Россию на месяц-два и издать в Париже альбом Ваших зарисовок – *мы настойчиво требуем этого от Вас!*

Поездка эта даст Вам много радости, сколько писателей, сколько чудесных людей Вы повидаете, побываете на замечательных постановках Образцова! К тому же, она освежит Ваши воспоминания, даст свежий материал для Вашего альбома – автобиографии, о котором Вы говорили в Нью-Йорке.

[На оборотной стороне письма приписка Владимира Сосинского:]

...Самое замечательное, что мы пережили осенью этого года, кроме московского фестиваля, который мы еще застали, – это двенадцатидневное путешествие по Волге на электроходе «Украина»² – мимо Костромы, Углича, Горького, Казани, Симбирска, Самары, Саратова и самое потрясающее – Сталинград, Волго-Донской канал и моря: Цимлянское, Куйбышевское и Рыбинское и иные новые моря – до самого Ростова-на-Дону. Чего-чего только не видели по пути – от Руси XII столетия до СССР двадцать первого века – от лаптей до искусственного северного сияния над Волгой и сверхмощных электростанций! Но если «спутники» вас меньше интересуют, то людей мы повидали таких, что и по сей день у нас «головокружение от успехов». Прилагаю для вас и ваших друзей страничку о переделкинских поэтах. Обращая внимание на молодого Евтушенко (24 года) – настоящий голос Маяковского, до ночи публика не отпускает его с уличной эстрады – так читает. Сейчас там расцвет поэзии.

Алеша очень счастлив в московском им. Ломоносова университете: живет он на 17 этаже высотного здания на Ленинских горах – на втором курсе мехмата – получаем от него чудесные письма... Сами мы решили двинуться домой будущей осенью. Пишите...

Любящий Вас Володимир (на Клязьме).

1. Речь идет о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходил в Москве летом 1957 года.

2. В 1957–1958 гг. дизель-электроход «Украина» выполнял спецрейсы с иностранными туристами из Москвы до Ростова-на-Дону. Именно это судно в 2010 г. было переименовано в «Булгарию» и через год затонуло на Волге, унеся с собой жизни 122 человек.

Осень 1957. Париж¹

Ф. С. Розжанковский – В. Б. Сосинскому

...Позвольте Вас поздравить с Первым Спутником Земли! <...>

Здоровья и благополучия Вам в открывающейся перед нами новой астрально-ракетной эре! Так не хочется откладывать нашего свидания до встречи на Луне! Может, тут повидаемся, во Франции? И поговорим с Вами, Володя, обо мне. Сейчас же я начну собирать свои книжицы на местном рынке (фламарионовскую коллекцию), выпишу из Америки то, что выберу хорошего из тамошних, и очень рад буду послать Чуковскому ящичек книжонок!

Ваше письмо, Ариадна Викторовна, действительно меня пихнуло к шкафу здешнему, чтобы взять альбом и подходящие карандаши. Да-с, поехать, говорите... Я так хочу этого давно. Думаю, что это случится. Оно, конечно, надо подготовиться, т. к. если отсель меня запустят, то при помощи какого горючего можно будет вернуться? Хе хе-с! Ну, я надеюсь обо всем этом поговорить еще...

Видался здесь с Мамченко², с Татищевым³. Мамченко говорит, что А. М. Ремизов при смерти, просил меня сделать с него набросок, обещал позвонить, я и жду. Бедняга совсем ослабел и меня не увидит – это тяжелый визит. Два года тому назад мы еще с ним чокались асти спуманте⁴.

Очень благодарю за присылку фотографии Пастернака (я поступил в Училище Живописи, Ваяния и Зодчества вместе с его братом (архитектором), выдержав конкурсный экзамен в 1912 году)...

1. В 1957–1958 гг. Рожанковский с семьей (женой Ниной и дочкой Таней) жили во Франции – зимой в Париже, а в теплое время в Ла-Фавьере (La Faviere), где купили землю и построили летний домик.

2. В. А. Мамченко (1901–1982), поэт первой волны русской эмиграции.

3. Н. Д. Татищев (1896–1985), поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, давний друг Рожанковского и крестный отец его дочери Татьяны.

4. «Asti Spumante» – итальянское игристое вино.

8 ноября 1957. Нью-Йорк

В. Б. Сосинский – Ф. С. Рожанковскому

Надо было мне, дорогой мой Федор Степанович, схватить азиатскую (или как ее там – евразийскую?) инфлуэнцу, модную ныне в США, чтобы выполнить, наконец, мое давнишнее желание поделиться с Вами впечатлениями о <...> Переделкино. А что это такое? – спросите Вы и ворчливо прибавите: – И какое отношение Переделкино имеет ко мне!? Вот для того, чтоб Вы больше не ворчали при имени Переделкина, я и пишу Вам это малярийное послание.

Небольшой дачный городок, утонувший в сосновом лесу, расположен километрах в тридцати от Москвы – по Киевской железной

дороге. Живут в нем писатели – и летом и зимой: *так* здесь хорошо. Местные жители говорят, что название дачного городка происходит от того, что основная профессия туземцев – это ПЕРЕДЕЛКА книг первого издания. Корней Иванович Чуковский очень звал сюда жить нас и семью Андреевых: «Приезжайте, а то тут совсем нет интеллигенции...» – « – ? – » – «...Ну да, ведь здесь только одни писатели».

Молодой поэт, этой осенью выпустивший свою первую книгу стихов для детей, жалуется на свою жизнь в Переделкино:

Я знаю все сосны и елки,
Все пни по дороге в Москву:
Я сплю в подмосковном поселке,
А днем я в столице живу.
Всё реже и всё неохотней
Я в потные окна гляжу
И верст что-то около сотни
За сутки в пути провожу.
Забавно! А мне не до смеха.
Но в этот сезонный билет
Я мог бы всю землю объехать
В течение полутора лет.

Валя Берестов¹, который меня и Ариадну долго не отпускал в гостиницу и всю ночь, без устали, по улицам Москвы читал нам стихи, не совсем прав: Переделкино само по себе стоит вселенной и, добравшись сюда, я бы даже и к Вам – мечте буржуев всех стран – уж не стремился бы. Кстати, раз дело дошло до этой точки космоса, поцелуйте Нину, Таню и Ларионьча², надеюсь, мое пневмонийное письмо не заразно – разве что отнести к нему более предосудительно?

Несколько лет тому назад в трехэтажную старую дачу Корнея Чуковского зачастили со всей округи детишки: слух подтвердился – Корней Иванович выдает на прочтение интересные книги и большинство с картинками. Так родилась Переделкинская детская библиотека, на открытие нового здания которой мы были приглашены в день нашей второй разлуки с Россией: 31 сентября (самолет улетал в пять утра). Здание обошлось в 100 000 рублей – в нем, среди других, должны быть, дорогой Федор Степанович, и Ваши книги. Это ничего, что они по-французски и по-английски: в библиотеке есть специальная комната для двоечников, где и языкам учатся, а при нас посол Индии Менон передал Чуковскому несколько индийских сказок по-английски, а Шостакович – что-то французское. В тот день, когда

разожгли костер величиною в дом и пламя поднялось к небу – прощание с летом, такая у них традиция, – и вокруг я оглянул тысячу славных русских мордочек, – я вспомнил о Вас, мой друг, и решил обязательно написать Вам о детях Перedelкина и их некоронованном вожде, авторе классических «Тараканища» (в эпоху культа личности говорили, что это поэма о Сталине), «Мухи Цокотухи» и «Бармалея».

Корнею Ивановичу сейчас 75 лет: веселый, остроумный, моложе всех нас. Ненавидит всё пошлое, тривиальное, неискреннее. Приносит пионерка голубя (некоторые девчонки уже бизнес завели на голубях), становится в позу: «Дорогой Корней Иванович, мы, пионеры такого-то округа, пришли к вам поблагодарить за то, что вы научили нас любить родину...». Чуковский приходит в бешенство и даже затопал ногами: «Скажи, негодная девчонка, где и когда, на какой странице какой книги я учил вас этому!?»

В этом же письме Сосинский посылает стихи, которые читали авторы в Перedelкине в сентябре 1957-го: «На ранних поездках», «Ночь» Бориса Пастернака, «Удача» Леонида Мартынова.

1. Берестов Валентин Дмитриевич (1928–1998), писатель, поэт, переводчик.
2. Соколенко Владимир Илларионович – друг семьи Рожанковских, смотритель их летнего дома в Ла-Фавьере.

20 августа 1958 г. Ла-Фавьер

Ф. С. Рожанковский – В. Б. Сосинскому

Дорогой Владимир Брониславович!

Получив ваше милейшее письмо, я собрал пачку книжечек своих французских и послал К. И. Чуковскому, а потом и некоторые американские направил по тому же адресу. Письмо свое сопроводительное я послал позже. И вот в апреле получил «международное» от него (Чуковского. – Л. В.). Было приятно прочесть его. Он пишет: «Художники, которым я показывал Ваши иллюстрации к детским книгам, восхищались их изяществом, их лаконизмом, их детскостью, их мастерством». Ну, понятно, я был рад слышать столь лестную оценку. Письмо началось с извинения за запоздавший ответ и дальше бедный Корней Иванович говорит, что он собирался и начал писать мне большое письмо, да заболел. И что болезнь у него тяжелая и неизлечимая: старость! Печально это. Я сейчас читаю его «Люди и книги»¹, где я впервые познакомился с ним как с критиком. И хорош он в ней очень. Статья о Чехове особенно глубоко написана. Его собираются положить 1 мая в больницу. Так вот я ему хочу ответить. Он советует мне связаться и через ВОКС² вступить в основанную

«детскими писателями» международную секцию детских писателей, художников, работников радио и что он будет рад моему вступлению в нее. Вместе с ним основатели этой секции – Михалков, Барто. По возвращении из больницы он обещал поговорить с Иогансоном (мы с ним в том же году (1912 – Л. В.) выдержали конкурсный экзамен в головной класс Училища Живописи, Ваяния и Зодчества). Сей художник сейчас является президентом Академии художеств СССР.

<...> Сидели мы за столом. На столе водочка, закуска подходящая. Сидели Татищевы – он и мальчики³. Тут Шульц⁴ звонит и объявляет о запуске спутника земли⁵. Трудно описать охватившее нас волнение. На небо в эту ночь я смотрел по-новому... Под эти события я начал весьма увлекательную работу – Робинзона Крузо. Сделал макет книжки – сто страниц рисунков в угле и карандаше. Затем начал в красках, сделал двенадцать и остановил ее – пришел контракт от издателя, где он уменьшил процент моих авторских. Я переключился на другую работу и отказался подписать этот контракт. Я не отказываюсь от темы и буду по приезду ее продолжать. Но мне бы приятнее было ее издание на другой земле и для иных детей.

<...> Моя сестра не получила визы и не смогла приехать на шесть месяцев, на что мы все так надеялись. Пришло ее письмо, заплаканное слезами. Боюсь, что с вашим отъездом у меня порвется связь с Родиной и возможность поехать и повидаться с Татьяной.

1. Чуковский К. И. Люди и книги шестидесятых годов. – Л., 1934.

2. Всесоюзное общество культурных связей с заграницей.

3. Николай Дмитриевич Татищев и два его сына, Борис и Степан.

4. Шульц Лев Александрович (1897–1970), французский художник русского происхождения.

5. Письмо написано после долгого перерыва и, вероятно, речь идет о третьем искусственном спутнике Земли, запущенном 15 мая 1958 года.

* * *

Несомненно, письма Сосинских подогревали желание Рожанковского побывать в России и, главное, конечно же, увидеть любимую сестру Татьяну. В семье директора гимназии Стэфана Рожанковского (отца художника) было пятеро детей. Александра, Сергей, Павел были старше Федора на 16, 14 и 12 лет соответственно. Павел трагически погиб молодым, старшая сестра Александра и брат Сергей не пережили ленинградской блокады и скончались от голода в 1942 году. На биографии младшей сестры, Татьяны (1893–1984), хорошо знакомой с семьей Сосинских и состоящей с ними в долголетней переписке, стоит остановиться подробнее. Связь,

прерванная военным лихолетьем, возобновилась лишь в тридцатых годах и длилась более полувека. Певица с редким меццо-сопрано после Гражданской войны оказалась в Москве, вышла замуж за инженера Бориса Романовского, который в конце 1920-х годов был осужден по «Делу Промпартии» и вскоре расстрелян. Татьяна была выслана на пять лет на север (Холмогоры, Архангельская область). В 1933 году она отбыла свой срок, но осталась жить там же, так как вышла замуж за ссыльного Б. М. Зубакина – талантливого поэта-импровизатора, ученого-археолога, скульптора, философа, в прошлом руководителя русской Ложи розенкрейцеров, ближайшими друзьями которого была А. Цветаева, М. Горький, Б. Пильняк (Горький отзывался о Зубакине как о человеке, находящемся на «границе гениальности», «человечище на редкость талантливом»). В 1935 году Бориса Михайловича перевели в Архангельск, а через два года его снова арестовали и в 1938-м расстреляли. В Архангельске Т. Романовская прожила еще десять лет, преподавала английский в техникуме связи и в средней школе и только в 1948 году вернулась в родной Ревель (тогда уже Таллин), где также преподавала и давала частные уроки игры на фортепиано. Все годы заветным ее желанием было увидеть, наконец, «дорогого Федюшеньку». В 1958 году надежда на встречу во Франции была так близка, но в визе ей было отказано. Их связывали необыкновенно нежные отношения. В письмах Татьяна часто называла любимого брата «моя заботушка», а Федор Степанович все годы оказывал сестре всевозможную помощь.

Но встреча всё же состоялась. В июне 1959 года Рожанковский впервые получает долгожданную визу и немедленно телеграфирует Сосинским: «В последнюю минуту получил визу – кричу от радости! Послезавтра будем в Ленинграде!» Тем памятным летом они все троем приплывут на «Балтике» в Ленинград, затем побывают в Москве, встретятся в Барвихе с К. Чуковским. Рожанковский полон впечатлениями, счастлив, но его восторги не всегда разделяет более сдержанная жена Нина, которая с большим недоверием относится к социалистическому «счастью». Еще категоричнее против «левых» взглядов супруга всегда выступал ее отец Г. П. Федотов, известный своим непримиримым отношением к СССР. В письмах сороковых годов уже слышится нарастающая тревога по поводу просоветских симпатий зятя. Из переписки Федотова с женой, Еленой Николаевной Федотовой (Нечаевой):

13 ноября 1946. Нью-Йорк

...С Рожанковским мы не спорим о политике, хотя его идеи самые дурацкие. Но он хороший человек и художник, не потерявший совести.

24 октября 1947. Нью-Йорк

...В последней книжке «Нового Журнала» ужасающий рассказ художника-беженца о жизни в Советской России. Хотелось бы, чтобы по крайней мере Нина прочла, может быть, убедила бы Рожанковского*.

* Вероятно, имелся в виду рассказ Мориса Шабле «Дом предварительного заключения НКВД». – «Новый Журнал». 1947. Кн. XVI-XVII.

11 ноября 1947. Нью-Йорк

...Рожанковский всё еще в своем безумии, и с ним невозможно говорить не только о России и Америке, но даже и об искусстве.

21 ноября. 1947. Нью-Йорк

...У Рожанковских бывает очень напряженно от его безумия, которое сейчас становится для него особенно опасным <...> боюсь, когда он явится в Immigration Office, то не сумеет сдерживать своей ненависти к Америке. Я оставил у них последнюю книгу «Нового Журнала», где описывается страшная гибель художника в России*, оставил это для Нины, надеясь, что она ему покажет или расскажет. Так как у них в доме даже Новое Русское Слово изгнано совершенно, то там не имеют понятия о том, что происходит в мире.

* Дело художника Н. И. Михайлова. Михайлов Николай Иванович (1898–1940). В декабре 1934 года Михайлов написал картину «Москва в Колонном зале Дома Союзов прощается с Кировым». У гроба Кирова были изображены И. Сталин и другие вожди. Тени в складках знамени, склоненного над Сталиным, вызвали ассоциацию со скелетом. Из следственного дела: «...в декабре 1934 после злодейского убийства т. Кирова Михайлов Н. И. написал эскиз 'У гроба' откровенно контрреволюционного содержания, изображающий товарищей Сталина и Ворошилова у гроба, охваченных и увлекаемых пляшущим скелетом смерти...» Арестован в январе 1935 года.

28 мая 1948. Нью-Йорк

... Его (Рожанковского. – Л. В.) дурацкие идеи ничуть не изменились, но в Америке сейчас так обозлены против коммунистов, что его позиция становится рискованной.

20 мая 1949. Нью-Йорк

...Ф. С. одержим по-прежнему политическим бешенством (но я понимаю это как недовольство собой, а за его упадок отвечает капитализм).

Не поддерживал совпатриотический энтузиазм друга и приятель Юрий Бобрицкий. Свидетелем ссор, которые часто случались на почве политических разногласий в домах Рожанковских и Бобрицких, был С. Л. Голлербах, хорошо знакомый с обоими художниками. Сергей Голлербах, Татьяна Рожанковская, Ильза Бобрицкая (вдова Юрия Владимировича) и их дочь Алена не раз с улыбкой делились с автором статьи устными воспоминаниями о непримиримых столкновениях двух добрых приятелей. В книге С. Голлербаха «Нью-Йоркский блокнот» их горячим идейным спорам посвящена отдельная глава. Безусловно, вспылчивому и прямолинейному антикоммунисту Бобрицкому – украинцу, пережившему в юности массовый голод – было невыносимо слушать доводы о необходимости сталинской коллективизации или разделять ликование по поводу строительства Беломорканала. Но, к счастью, как мудро писал С. Голлербах, «человеческие отношения взяли верх над политическими убеждениями, как оно и должно быть» (С. Голлербах. Нью-Йоркский блокнот. Книга воспоминаний. – Нью-Йорк: The New Review Publishing. 2013. С. 124).

* * *

Ровно через год после первой поездки Рожанковского в советскую Россию он получит письмо от Сосинских, принявших решение вернуться в Союз.

15 июня 1960 года. Москва

Дорогой Федор Степанович!

Привет Вам с Родины¹, которая встретила нас очень тепло и конструктивно: уже завален заказами, придется преодолевать лень к перу!

Привет от Чуковского.

В. С.

1. В Советский Союз Сосинские приехали 10 мая 1960 года. Их следующая встреча с Рожанковскими в Москве состоится в 1961 году.

14 сентября 1961. Москва

Записка Ф. С. Рожанковского В. Б. Сосинскому

Дорогие друзья, мы приехали – надо повидаться. Дайте знать: где, когда и как. Мы остановились в Пекине (гостиница). Маяковский стоит к нам спиной (хотя был всегда в хороших отношениях со мной

и называл меня «французом»¹, опередив тем события и напророчив в некотором смысле). Татьяна Романовская тоже здесь.

Наш тел. № D3-81-01, комната 501, пятый этаж.

Целуем всех. Зав. семьей.

Ф. Рожанковский.

1. С Владимиром Маяковским он познакомился во время учебы в МУЖВЗ в 1912–1913 гг. Из дневника Ф. Рожанковского: «...Тогда он еще не печатался, его выступления с группой футуристов только намечались. За мои тематические работы, которые мы писали и выставляли каждый месяц, он называл меня ‘французом’, так как я находился тогда под влиянием Гогена, Матисса и Марке». О Маяковском художник всегда говорил с восхищением – «Люблю я его – орет во весь голос». Вместе в студенческие годы они работали оформителями в Художественном театре (МХТ). Судя по портрету Рожанковского тех лет, сублинный «француз» желал походить на поэта если не «бронзой мускулов и свежестью кожи», то хотя бы образно. На картине, написанной неизвестным художником, всегда улыбающийся Рожанковский здесь в шляпе-федоре, замотанный шарфом, с трубкой в плотно сомкнутых губах, с волевым выражением глаз.

После встречи в Москве Рожанковские вернутся в Париж, а Сосинские проведут зиму в подмосковном поселке «Отдых» в ожидании строительства кооперативного жилья.

17 октября 1961 года.

В. Б. Сосинский – Ф. С. Рожанковскому

Дети наши (старшие) покидают нас на днях. Алеша блестяще выдержал экзамены и ныне аспирант МГУ. Будут жить на Ленинских горах. А мы втроем останемся на зиму на «Отдыхе»: запаслись перелодами (это Ариадна), а я начинаю писать первую часть воспоминаний («Потешная война»). Все хорошо в нашей жизни.

* * *

Начало письма предваряет строка, выделенная крупным шрифтом: «17 октября 1961 года. День открытия XXII Съезда КПСС». События в стране «победившего социализма» тогда действительно происходили головокружительные – вынос тела Сталина из мавзолея, переименование городов, названных в честь еще недавно великого вождя, демонтаж памятников. Генсек Хрущев заверяет: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Всё это не могло не волновать Рожанковского, и его желание поскорее оказаться

на родине, уехать из нелюбимого Нью-Йорка, только крепло, да и когда-то обожаемый Париж уже не был прежним. В день открытия XXII Съезда в Москве Рожанковские во Франции становятся свидетелями «парижской резни» – событий 17 октября 1961 года, во время которых полиция жестко подавила массовые беспорядки протестовавших против войны в Алжире.

15 ноября 1961 г. Париж

Ф. С. Рожанковский – В. Б. Сосинскому

...А у нас в мирном порядке разрешения алжирской войны пули летают около уха, горла и носа, как когда-то писал мотоциклист 21-й пехотной дивизии Пшевлочки, где я в последний год войны (первой империалистической) заведовал автомобильной командой и где я по обязанности должен был проверять личную корреспонденцию вверенной мне команды, дабы в строках оной не проскользнуло сведений, угрожавших царскому (тогда на исходе) режиму.

<...> Я расписываю Круглую башню в старом имении, где помещается старый приют для покинутых детей (в основном от русских и смешанных браков, но в последнее время исключений не делают и для местных жителей). Один из них в почтенном возрасте (80 лет) отдает в этот пансион уже восьмого своего ребенка! По профессии он философ и материально не обеспечен и посему детей обеспечить ничем не может. Я вряд ли доживу до момента, когда он перестанет производить детей. Но в общем дети его не плохи и я ничего не имею против его перепроизводства. Так – в Башне – я панорамно посылаю привет Родине. Пишу Рассею, бывшую и будущую. Все приходят и любят. Разные индифферентные и даже неприязненно настроенные личности под влиянием моего высокого искусства изменили ко мне отношение. Конечно, мне это ндравится. Я вам вскоре пришлю фотоснимки этой башни. В ней мне нравится окно, которое я расписал особыми прозрачными красками под витраж. Оно хуже, чем витражи Шагала, но «не плёхо», как говорит одна знакомая француженка, желая блеснуть знанием русского языка. А витражи Шагала были выставлены в Musée des Arts Decoratifs в особо построенном для них павильоне, выходящем в тюильрийский сад (до отправки в Иерусалим). Они чудесны по яркости и блеску их колорита¹.

Подумать только – ведь мы были в Москве, видались! Потом я много переживал, вспоминал и благодарил Вас за дружбу и знакомство с теми милыми людьми, с которыми Вы нас познакомили. СПАСИБО! <...> У нас была Олечка², я ей рассказал, что мы познакоми-

лись с Эриком Владимировичем³ (Булатовым. – Л. В.), она его знала еще мальчиком, когда у него бороды не было!

1. Расписать стены Круглой башни на мотивы русских народных сказок Рожанковского попросила Софья Михайловна Зернова (1899–1972), руководитель Центра помощи русским беженцам в Париже. Художник согласился сделать это безвозмездно.

2. Андреева-Карлайл Ольга Вадимовна (Andreyev Carlisle. 1930, Париж), журналист, писатель, дочь В. Л. Андреева, внучка писателя Леонида Андреева.

3. Булатов Эрик Владимирович (1933) – художник-нонконформист. Выставочная деятельность за границей с 1973 года. В 1989 г. эмигрировал. Живет в Москве и Париже.

По воспоминаниям Эрика Владимировича Булатова, которыми художник поделился с автором в процессе подготовки публикуемого материала, Рожанковский действительно приходил к нему в тот год в мастерскую, внимательно смотрел работы и не скрывал сожаления, что не может так же свободно заниматься живописью для «души», а вынужден, как заведенная машина, работать по жестким правилам кабальных контрактов для «хлеба насущного».

Круг знакомств Сосинского был велик (артисты, писатели, художники, журналисты; многим он искренне помогал, знакомил, рекомендовал, не случайно писательница Р. Я. Райт-Ковалева называла его – SOS) и, конечно же, с великой энергией он погружал своего заграничного друга в московскую интеллектуальную среду – представил главному художнику Детгиза Борису Дехтереву, познакомил с Эриком Булатовым, вместе приезжали к Чуковскому. Тогда же Рожанковскому было сделано предложение оформить для Детгиза пять книжек. Называлась и конкретная сумма – двадцать пять тысяч рублей за каждую книгу. Это были большие деньги, учитывая, что средняя зарплата в те годы составляла сто рублей. «...Федя! Я серьезно подсчитал цифры Детгиза и пришел к выводу, что моя семейка хорошо прожила бы в Москве не на пять книг, а на ОДНУ!» – пишет ему Сосинский в октябре 1961 года.

8 февраля 1962. Париж

Ф. С. Рожанковский – В. Б. Сосинскому

Дорогой Владимир Брониславович!

Благодарю за письма, за отлично напечатанное «Книжное искусство» (жду особенно 2-го тома). Получили второй том Есенина.

<...> Недавно прочел статью в Sunday Times (Лондон) об инте-

ресном московском скульпторе. Звать его Эрнст Неизвестный¹. Известен он Вам или нет? Три из репродуцированных скульптур очень импозантны. <...> В апреле едем в USA. Думаю побывать в советском консульстве. Должен вас посвятить отчасти в наши планы. Мы едем все трое на время школьных вакаций (весенних пасхальных). Я останусь положенных шесть недель, чтобы снова получить возможность выехать в Европу и вернуться в USA. Останусь несколько дольше, закончу книжную одну работу и, возможно, прямо на шведском пароходе двину в СССР, т. к. генерал² здесь чинит препятствия едущим в СССР и желающим возвращаться во Францию.

<...> Корнею Ивановичу в виде юбилейного подарочка послал толпу на Невском на фоне Гостиного двора (это не иллюстрация к его сказке, а этюд типов, костюмов эпохи нашей и Чуковской молодости), затем двух гимназистов 4-го класса ревельской александровской гимназии – Колю Пернаткина и Соломона Маляевского. Они дошли до конца 4-го класса и ушли из гимназии по семейным причинам. Слава им до четвертого поколения! Третий рисунок может уже фигурировать как иллюстрация для будущей книжки. <...> пожалуйста, пришлите «Серебряный герб» – новую книжку Корнея Ивановича Чуковского. Мне с восторгом отзывалась о ней Ольга Елисеевна³

1. Эрнст Неизвестный (Неизвестный Эрнст Иосифович. 1925–2016), скульптор-нонконформист. Эмигрировал в 1973 году. Похоронен в Нью-Йорке.

2. Имеется в виду Шарль де Голль.

3. О. Е. Колбасина-Чернова (1886–1964), мать Ариадны Викторовны, супруги В. Б. Сосинского. В это время она оставалась еще во Франции. Ольга Елисеевна вернется в Союз летом 1964-го, осенью того же года она скончается. 15 октября 1964 г. Сосинский напишет Рожанковскому коротко: «Дорогой Федор Степанович! Сообщаю Вам весть печальную о событии в нашей семье: 9 сентября тихо скончалась Ольга Елисеевна. Прожила она на Родине четыре месяца без нескольких дней. Расходы и хлопоты по похоронам взял на себя Союз писателей СССР. Хоронили в это воскресенье в Донском монастыре – в крематории со скульптурой Э. Неизвестного. Любящий Вас В. Сосинский».

20 февраля 1962. Москва

В. Б. Сосинский – Ф. С. Рожанковскому

...Вы спрашиваете, знаком ли я с Неизвестным! Не только знаком, но мы его познакомили с теми, кто о нем теперь пишут. Мы очень дружны с ним, и я его поклонник такой же, как и Ваш в иллюстрациях! И так же, как за Вас, готов лечь костями и за него. У

него в мастерской много интересных вещей, даже еще не сфотографированных. Как приедете, первым делом поедem к нему. Я очень жалею, что не свел вас в бытность вашу здесь – правда, Вы мне дали слишком мало дней: успел лишь Детгиз, Лилию¹ и Булатова (недавно мы были у последнего: ряд новых блестящих полотен, я даже одно полюбил, как это бывает перед полотнами мэтров!).

<...> Меня очень радует, что наша переписка налаживается. <...> Все дела с Москвой Вы будете вести через мою контору и только мою. Вот. Второй том «Книжного искусства» своевременно или несколько позже Вы получите. Но я не помню, было ли Вам выслано:

В. Н. Лазарев. Феофан Грек и его школа. «Искусство». 1961.

А. Зотов. Павел Корин. Изд-во Ак. худ. СССР, 1961 (Познакомлю Вас и с дивной коллекцией икон из собр. Корина. И он очень сам интересен).

Лилии дам на днях распоряжение достать III-й том Есенина (только что вышел). Обещаю ей Вашу картинку.

Расскажите Нине, что при I-й Градской им. Пирогова больнице открыт Институт лечения астмы. Моя Ариадна ходит туда. Это очень серьезное дело. Устанавливаются точным научным образом причины и характер астмы. Ариадна еще находится в стадии изучения. Но с одним из наших знакомых учинили чудо: он старый книжник, взяли пыль от его книг и всыпали в его же тело (я шутил с сестрами и молодыми докторами: пыль в глаза пускаете!). И как рукой сняло его астму. Замечательно (особенно после американских докторских счетов!), что всё это у нас не стоит ни гроша. Не теоретически, а на самом деле! И одинаковый уход за судомойкой и генералом. Чем черт не шутит! Может действительно идем в великое нечто, еще небывалое на земном шаре...

Благодарю и целую,

В. С.

1. О Лилии Сергеевне Петровой (в замужестве Шукаевой) известно лишь, что работала она техническим редактором в одном из московских издательств и помогала доставать книжные новинки. В библиотеке Рожанковского есть несколько книг, присланных Петровой. Сосинский называл ее «нашим культагентом».

18 марта 1962. Москва

В. Б. Сосинский – Ф. С. Рожанковскому¹

Дорогой Федор Степанович!

Завтра утром мы уезжаем в Ялту (Дом творчества им. А. Чехова),

и я не знаю, как быть? Готовы ли у Вас рисунки? Если да – шлите заказным в Дом книги Детгиза Ивану Андреевичу Давыдову и после выставки они попали бы к Корнею Ивановичу!

Жаль, что меня не будет в Москве, но теперь главное – Вы! Целую, В. С.

Эти несколько строк приписаны Сосинским на бланке «Детгиза» в левом верхнем углу. Справа сверху адрес и ниже текст:

Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги Детгиза.

Уважаемый Владимир Брониславович!

Предложение Ваше чрезвычайно заманчиво. На выставке, которую готовит Дом детской книги в честь Корнея Ивановича Чуковского, рисунки Ф. С. Рожанковского заняли бы, вне всякого сомнения, достойное место и, наверняка, сам К. И. Чуковский был бы наиболее высоким ценителем его работы. Но как всё это осуществить? Времени осталось очень мало. «Машина согласований» просто не справится с решением этого вопроса в такой короткий срок. Кстати, я до сих пор не мог перекинуться словом с Б. А. Дехтеревым – так он занят и будет в редакции только *в понедельник*.

Может быть, Вы в своем письме к Ф. С. Рожанковскому скажете ему, что его рисунки на выставке будут встречены с гостеприимством. А есть ли у Вас уверенность, что роспись в Башне не отвлекла Ф. С. Рожанковского настолько, что он уже не сможет сделать обещанные рисуночки к стихам Чуковского?

С искренним уважением,

И. Давыдов

31 июля 1962 г. Москва

В. Б. Сосинский – Ф. С. Рожанковскому

...Корней Иванович в бешенстве: ни одного Вашего рисунка так и не видел – куда Вы их заслали? Его слова: «Ерунду получаю, а ценные вещи исчезают!» Тут, конечно, они не исчезли, но нужно узнать, где они.

Запишите наш новый адрес:

Москва У-77 13-я Парковая ул., № 27, корп. 4, кв.49

Воло-дя-дя

В. С.

11 августа 1962. Ла Фавьер

Ф. С. Рожанковский – В. Б. Сосинскому

Я вернулся в Париж из Америки 25 июня после подытоживания своих убытков и составляя инвентарь погибших книг, картин и рисун-

ков¹, и вот месяц и десять дней как под неумолкаемый стрекот цикад мы живем в La Favière, где и пребываем, залиывая раны. Так обидно было видеть многие из своих вещей, непоправимо испорченных наводнением (добро бы это Нева разлилась, а то поганая Bronx River угробила столько книг, Аполлон в их числе!), подарков друзей, гравюр их, рисунков, пейзаж Аполлинария Михайловича Васнецова! Весь первый план его картины уничтожен! Однако не в моем обычае нос вешать, теряя всякое имущество, я привык и мало от этого страдаю, но тут впервые многое весьма пожалел – это часть меня самого в альбомах, рисунках приведена в негодность, а могла бы быть еще прекрасно использована в дальнейшем. Среди испорченного была и папка, в которой было собрано 45 оригиналов (акварелей и рисунков) моих иллюстраций разных эпох, которые готовил к выставке (где бы то ни было). Сидя в Америке, теперь занимался восстановлением наименее пострадавших.

Я стал работать и хочу скостричь три Little Golden Books, чтобы оплатить люксовое пребывание туриста в Союзе, платящего 35 долларов за день. Вероятнее всего, я поеду один. Но об этом подумаю позже. Генерал тут будет ставить спицы в мою колесницу. По приезде нашем сюда к нам приехала Ольга Елисеевна, а через десять дней на денек, на шашлычок в ночном саду приехала Олечка (О. В. Андреева-Карлайл. – Л. В.) с мужем и сыном. Они нас ждали к себе (под Авиньоном), снимая виллу дочки Шагала.

Я тут выписал и получил новую книгу стихов Евг. Евтушенко. Но был бы рад получить и познакомиться с Андреем Вознесенским. Дорогой, угостите!

Бедная моя сестренка потеряла подругу старинную и любимую – Наташу Рашевскую¹. Наша встреча с нею в «Метрополе» стала последней. Схватив плеврит и воспаление легких, она скончалась в марте месяце.

Злит меня пропавшая моя поздравительная грамота с рисунками!² Что мне прибавить к тому, что пакет был заказным послан по адресу Дома Дружбы на ул. Калинина (все, как мне написал для своего адреса, по которому мои письма к нему доходили не пропадая, художник Владимирский³) на имя получателя «для Корнея Ивановича Чуковского». Буду писать Корнею Ивановичу и постараюсь набросать те три сюжета, которые пропали так глупо, – за всю мою долгую жизнь эдакое первый раз случается!

Пишу и орет радио – какой-то француз, надсаживая грудь, поет «Калинку» по-французски. Надо же, понемногу галлы начинают цивилизоваться!

1. Часть архива была безвозвратно утрачена в наводнении, случившемся в

Бронксвилле в начале шестидесятых, во время отсутствия Рожанковских в США.

2. Вероятно, имеется в виду напряженность в период 1960–1963 гг. во француско-советских отношениях.

3. Рашевская Наталья Сергеевна (1893–1962), народная артистка РСФСР, режиссер, худ. руководитель Большого драматического театра М. Горького (1946–1950), ныне АБДТ им. Г. А. Товстоногова.

4. Высланная, вероятно, к юбилею Чуковского.

5. Л. В. Владимирский (1920–2015), русский график, иллюстратор.

28 августа 1962 г. Москва

В. Б. Сосинский – Ф. С. Рожанковскому

...Вы, дорогой, принадлежите к тем корифеям середины XX столетия, которые не считаются с тем, что за каждую линию должно быть уплачено, как это, например, Евтушенко требует за каждую строку крепкую монету (есть – увы – такой грех!). Недавно я, разбирая свои архивы, наткнулся на целую пачку Ваших писем – и возрадовался духом: столько чудесных рисунков, да еще расцвеченные акварелью!

С пропавшей посылкой Корнею Ивановичу подыму целую бурю! Безобразие: скоро уже 6 месяцев, а картины известного художника все еще не доставлены адресату! Сам зайду в Дом Дружбы! Из-под земли выкопаю!

<...> Скорблю о наводнении (помню, как в ООН моя приятельница переводила «всемирный потоп» с английского: «интернациональное наводнение»!), но уже хорошо, что кое-что спасли. Могло быть хуже.

<...> Пока я заказал у друзей Ахмадулину – прочтите другое: особенно интересует меня Ваше мнение о «прокуренном вагоне»¹.

1. Из стихотворения Александра Кочеткова. А. С. Кочетков (1900–1953), советский поэт, переводчик.

30 октября 1962. Париж

Ф. С. Рожанковский – В. Б. Сосинскому

...Где Андреевы? Они в Швейцарии визы получают все с трудом. У меня тоже замерло с американским разрешением на выезд в СССР. Но выход есть. Подаю прошение. Здесь Голь¹ на выдумки хитер – чинит мне тоже препятствия.

1. Обыгрывается имя Шарля де Голля.

1 декабря 1962. Москва

В. Б. Сосинский – Ф. С. Рожанковскому

...Заходил во французскую секцию купца Щусева – тоже ничего не знают о рисунках Ваших.

24 декабря 1962. Париж

Ф. С. Рожанковский – В. Б. Сосинскому

...Мы 30-го едем в Женеву к Морковкиным¹. Кажись, к этому дню там будут и Вадим с Ольгой Викторовной², расскажут о вас, о Москве.

<...> Тут гостит Катя у Тани и они украшают новогоднюю елку. <...> В магазине Глоб³ увидел последнюю продукцию советской дешевой книжки. Это такая печальная безвкусица (хотя и ахово пестрая иногда), реализм без доли поэзии или цветистость без вкуса. Было больно видеть это. Отдохнул, поглядев на Паустовского, получил его автограф для тещи, а ему подарил тут же подвернувшуюся свою книжечку (фламарионскую). Нельзя было пробиться к столу, я поблагодарил его за пробуждение моих чувств евойной лирой. Кроме меня толкалось там много других калмыков и инородцев эмигрантского происхождения, слетевшихся на ту же лиру.

Я думал увидеть там поэта Вознесенского. Я знал, что там будет Олечка Карлай. Но сила в миллион киловатт унесла его из магазина (его книжка не пришла и не на чем было подписываться). То, что я прочел в русской газете, мне не нравится – «миллион киловатт», «самовар», «ТУ-104», «приучены к шири», «разудало по-русски», «Магелланы», «Колумбы», «обалдело Европа глядит» – все это напоминает «шапками закидаем»⁴. У Маяковского сие было сделано громко и куда внушительнее. Это время прошло, и то, что сделано – само за себя говорит.

1. Так Рожанковские шутя называли чету Слонимов – Марка Львовича и его жену Татьяну Владимировну.

2. В. Л. Андреев и О. В. Чернова-Федорова.

3. «Librairie du Globe» – магазин русской книги в Париже.

4. Речь идет о стихотворении А. Вознесенского «Репортаж с открытия ГЭС».

24 марта 1963

В. Б. Сосинский – Ф. С. Рожанковскому

Договор в Детгизе на пять книг в году так и лежит на столе, Вами не подписанный...

Май (?) 1963. Ла Фавьер

Ф. С. Рожанковский – В. Б. Сосинскому

Дорогой Владимир Брониславович, благодарю Вас очень-очень за книжку «Взмах руки»¹ и за милую Ахмадулину, которую мне вчера вернул Марк Львович (М. Л. Слоним. – Л. В.), приехав из Женевы.

<...> По поводу Детгиза – Детгиз мыслим только при условии обладания тем паспортом, который воспет Вл. Вл. Маяковским. Вопрос этот может обождать. Я здесь сейчас занимаюсь пришвинской «Кладовой солнца». Мы с Вами потолкуем в июле. Вадим как-то решил этот вопрос². Я не совершенно свободен, чтобы решить его быстро.

1. Е. Евтушенко. Взмах руки. – М., 1962.

2. В. Л. Андреев, получив советский паспорт в конце сороковых, неоднократно приезжал в шестидесятых и семидесятых в СССР, но окончательно так и не вернулся в СССР.

Сентябрь 1963. Ла Фавьер

Ф. С. Рожанковский – В. Б. Сосинскому

...Меня подмывает заинтересовать Вас поэтом, которого принято было поругивать, но который написал вот это. Зная этого поэта лично и прочтя вчера это стихотворение, я был тронут его искренностью и горечью переживаний.

Бессмысленный и невозможный день.
Без передышки всяческая мука.
И человек и человеческая тень.
И рядом с звуком – отраженье звука.

А вечером, в десятом этаже,
Где потолок в лиловое окрашен,
На переломе, на ночной меже
Мы вспоминаем о любви и чаше.

Какой любви и чаше?! Берегах,
Наполненных голубоватым морем,
Иль о хрустальных тоненьких краях
Бокала, источающего горе.
Мы все равно судьбы не переспорим.

Огромная, незрячая, она
Стоит неумолимо у порога,

Не покидает нас во время сна,
Сопровождает в каждую дорогу.

И мы глоток короткий за глотком,
Не отрываясь, поневоле, пьем¹.

1. Имя автора стихотворения Рожанковский сообщит лишь в следующем письме – Дмитрий Кобяков. Д. Ю. Кобяков (1898–1978), поэт, знакомый Рожанковского по французской эмиграции. «Чаша» – первое стихотворение из одноименного поэтического сборника (Д. Кобяков. Чаша. – Париж: «Птицелов». 1936). В Париже Рожан иллюстрировал журнал «Ухват», который издавал и редактировал Д. Кобяков. Они входили в круг друзей А. Ремизова. Участник Сопротивления, член французской компартии Д. Кобяков в 1948 г. получил советский паспорт, в 1957-м выехал в Восточную Германию и в 1958-м – в СССР. «Я рад, что он, бедняга (глух совсем), наконец получил визу и попал куда хотел, перед этим просидев в Берлине», – напишет Рожанковский, не зная о горьком существовании Кобякова в Барнауле, ютившегося около года под лестницей в одном из домов на улице Советской. Вот запись, сделанная «городским сумасшедшим» (как прозвали поэта местные жители) в его дневнике в марте 1962 года: «Сегодня очень устал – возился с бутылками и банками: продал в аптеку и в магазин, получил три с полтиной, и еще молочные бутылки остались. Живем!» А это октябрь: «...Тошнит от голода. Ничего не достал, даже хлеба. Хотел купить макарон – нигде нету! Нашел язык, но сварил его и не могу есть: слишком твердый. Зато кошки сыты. Денег осталось две копейки. Даже хлеба не смогу купить завтра...» (Александр Родионов. Удостоен всесоюзного позора. – «Сибирские огни». 2008. № 9. С. 160). Впервые дневник поэта был опубликован в сборнике «Судьбы» (Барнаул, 1996).

27 января 1965. Москва

В. Б. Сосинский – Ф. С. Рожанковскому

В Вашу честь, дорогой Федор Степанович, и, конечно, в честь Федора Михайловича Достоевского, назвали внука Федей, по отчеству Сергеевич!

10 мая, 1965. Кавказ

В. Б. Сосинский – Ф. С. Рожанковскому

[на открытке с видом озера в Железноводске]

Сегодня, 10 мая, – пять лет нашего возвращения на Родину – самого счастливого из всех!¹

1. Пройдет еще десять лет и, оказавшись снова в Париже в 1976 году,

Сосинский честно признается, что жалеет о покинутой Франции. Как напишет в своей книге французский филолог-славист Р. Ю. Герра, «...он не говорил, что возвращение – это трагедия, но вернувшись на родину, стал ‘внутренним эмигрантом’» (*Р. Герра. О русских – по-русски. – СПб. 2015. С. 305*)

16 сентября 1965. Нью-Йорк

Ф. С. Рожанковский – В. Б. Сосинскому

...Пожар (В Ла Фавьере. – Л. В.) уничтожил наш участок (два дома не пострадало), но посадки, аллея кипарисов, уголок стриженный под названием «маленький Версаль», аллея Валентина Ле Кампиона, уголок шашлычный, сарайчик, скрывавшийся в джунглях высокого вереска, и т. д. – всего этого, как явствует из письма Н. Татищева, осталась одна треть¹. К пропажам и потерям мы привычны, но что меня приятно удивило – это то равнодушие, с которым я к этим известиям отнесся.

<...> Входя в нью-йоркскую гавань, я был поражен мостищем, переброшенным из Бруклина на Staten Island. Это красивейшее произведение искусства и техники, соединившее остров с Нью-Джерси. Жаль, не дожил Маяковский до этого моста – «на хорошее и мне не жалко слов». Я перечитал вчера на ночь его «Бруклинский мост». Одним из неожиданных и приятных сюрпризов и был наш въезд в порт Нью-Йорк. Чудесный мост!

1. 1965-й Рожанковский назовет «бедовым годом» – пожар в Ла Фавьере, безденежье (из-за вынужденной безработицы после его операции на глазах семья полтора года будет без средств), беспорядки во Франции. В дневнике в тот год он напишет: «Франция и Париж не походили на встретивших меня как своего в 1925 году. Нервные, злые и нелюбезные французы переживали свое крушение – войну и потерю Африки. Когда рвались пластические бомбы, по звуку мы гадали – в каком арондисмене? Если в нашем, то на какой улице? Разгадка приходила с утренней газетой». Arrondissement – муниципальный округ.

Осень 1965 года. Москва

В. Б. Сосинский – Ф. С. Рожанковскому

[В ответ на рисунок нью-йоркского моста Верразано Сосинский шлет фотографию Ферапонтова монастыря]

Вы мне прислали одно из семи чудес современных США – Verrazzano Bridge, и я недолго думал, чем Вам ответить: вот перед Вами седьмое чудо света древней Руси – собор Рождества

Богородицы Ферапонтова монастыря <...>, стены которого расписаны гениальной кистью северного Джотто – Дионисия!

7 октября 1967. Москва

В. Б. Сосинский – Ф. С. Рожанковскому

Огромное спасибо за вторую книгу стихов¹. Мы ее еще не прочли. Произошло это потому, что мой сосед, Игорь Александрович Кривошеин, захватил книгу и носит ее по всей Москве: такого гениального поэта он еще за всю свою жизнь не читал! Про Пушкина я не спрашивал – но его жена, урожденная княжна Мещерская и друг недавно умершего Юсупова, – разделяет восторг своего мужа, бывшего бухенвальдца и героя Французского Сопротивления².

1. В. Сосинский благодарит за присланный сборник стихов Ивана Елагина «Косой полет» (1967).

2. О горькой судьбе еще одного обманутого репатрианта, по понятным причинам, в письме не рассказывается. И. А. Кривошеин вернулся на родину в числе первых, в 1949 году. Недавний узник Бухенвальда и Дахау сразу же получил 10 лет лагерей «за сотрудничество с международной буржуазией». В 1954 г. реабилитирован. В 1957 г. был арестован сын, Никита Кривошеин (по статье 58-10), которому удалось в 1970 году выехать на постоянное место жительства в Париж.

25 ноября 1967. Москва

В. Б. Сосинский – Ф. С. Рожанковскому

Дорогой, бесценный Федор Степанович!

Когда я стал обладателем 35 рисунков небезызвестного в США, Англии, Франции, а теперь и помаленьку – с моей и Корнея Ивановича легких рук – и в СССР (Вас тут с распростертыми объятиями примет на должность «главного художественного руководителя» любое издательство! – а не только «Самое Шустрое») – у меня просто, как у Скупого рыцаря, закружилась голова от новых сокровищ! Будут, будут *тексты* к рисункам, *достойные* их, – будут, обещаю!¹

1. «Самое Шустрое» – так художник называл крупное американское издательство «Саймон и Шустер» («Simon and Schuster»): речь идет об альбоме оригинальных рисунков в красках «С бору да с сосенки», подаренных в 1967 году с авторской просьбой Сосинскому придумать для альбома текст.

Осень 1967. Бронксвилль (Нью-Йорк)

Ф. С. Рожанковский – В. Б. Сосинскому

5 ноября ложусь в госпиталь, и мне сделают операцию второго глаза и буду я смотреть в оба! Говорят – это большое удовольствие. Сейчас я так долго ждал, поправлял свои бюджетные дела, приводил в порядок новый дом (он велик), мы с Ниной садили сад, три года мы не ездили и не отдыхали, как обычно. За это время правый глаз лишь слегка пропускает свет и ничего больше... Эта моя инвалидность, пожалуй, и не так плоха в наше время – столько гадости повсюду, дорогой мой, делается на свете, что и смотреть не хочется – трудно жить на стыке прошедшего с будущим вообще и в данной стране в особенности. Я жду приглашения в комиссию и экзамена. (На получение американского гражданства. – Л. В.) Бумаги поданы.

* * *

Почти три десятка лет жизни в Америке Ф. Рожанковский не подавал документы на процедуру натурализации и оставался резидентом США. Американское гражданство он получил лишь в 1968-м, за два года до кончины. Поводом для принятия такого решения могла стать совокупность разных причин – отказы без объяснения причин в выдаче визы в российском консульстве в Париже, переоценка действительности, происходившая во время визитов в Советский Союз, и, наконец, тяжелая болезнь. После двух операций по удалению катаракты (1964–1965) в июне 1968 года художнику была сделана резекция желудка. В то лето он последний раз приедет в Союз, встретится с сестрой, с Сосинским и родственниками в Ленинграде. Зная уже тогда о смертельном диагнозе, Федор Степанович старался держаться легко, шутил, был подвижен и, как обычно, насмешлив. Сосинский будет очень ждать приезда старого приятеля в 1970-м (в юбилейный год Владимира Брониславовича), но встреча не состоится.

Ф. С. Рожанковский тихо скончался в своем бронксвилльском доме 12 октября 1970 года, когда за окном полыхали огнем гроздь посаженной им рябины. Все его письма будут переданы В. Сосинским его родственнице, Наталье Папчинской, которая, в свою очередь, отправит их вдове художника. Так они снова окажутся в семейном архиве Рожанковского.

Публикация – Лариса Вульфина, Филадельфия

ИСТОРИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Александр Горянин

Роковые двенадцать месяцев

Отрезок времени от 2 (15) марта 1917 года до 18 февраля (3 марта) 1918 года, между отречением Николая II и подписанием Брестского мира, по своим последствиям стал самым страшным в российской истории. Эти двенадцать месяцев и сами по себе были наполнены большими и малыми трагедиями, но лавина, которую они обрушили, оптически уменьшила их масштаб или даже вовсе скрыла причинно-следственные связи. Однако стоит погрузиться в российские события той роковой поры, становится ясно: многие из них по закону домино развиваются до наших дней и в России, и во внешнем мире. Не исключено, что мы подсознательно стремимся преуменьшить их пугающий размах и влияние. Нас тревожит мысль, что несколько одержимых и узко мыслящих людей и несколько почти пустяковых происшествий могли сокрушить великую страну.

Историки любят искать предпосылки, сделавшие неизбежными те или иные судьбоносные повороты в жизни стран и народов. Русская революция 1917 года – трудный случай в этом смысле. Авторитетный коллектив ученых¹ признаёт: «Попытки целого направления отечественной историографии (с 20-х и вплоть до 80-х гг. включительно) определить ‘предпосылки’ революции можно считать безуспешными. Зависимость между выделяемыми объективными и субъективными ‘предпосылками’, с одной стороны, и масштабом, глубиной, результатами революции – с другой, выявить так и не удалось. Сама концепция ‘предпосылок’ навязывала вывод о закономерности революции» – но закономерности не было. По сути, это признание того, что революция 1917 года – во всяком случае, ее начало, февральский переворот, – явление ничуть не предопределенное, а следствие совпадения нескольких злых волей и недоразумений. Но произойдя, этот переворот стал неотменимой причиной (т. е. предпосылкой уже в истинном смысле слова) Гражданской войны и гибели исторической России.

Видимость «революционных предпосылок» усматривалась в начале XX века в большинстве промышленных стран. Но вероятности самых разных поворотов судьбы сосуществуют и уживаются всегда и везде, ветвистость вариантов бесконечна. Прошлое усеяно развилка-

ми. Хорошо сказано у Набокова: «К счастью, закона никакого нет, – зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж, – все зыбко, все от случая, и напрасно старался тот брюзгливый буржуа в клетчатых штанах времен Виктории, написавший темный труд ‘Капитал’ – плод бессонницы и мигрени» («Соглядатай»).

Еще в январе 1917-го царь колебался, не последовать ли советам, содержащимся в записке члена Государственного Совета А. А. Римского-Корсакова. Ее автор, разгадавший, что либеральный «Прогрессивный блок» готовит переворот, буквально требовал ввести военное (или даже осадное) положение в столицах, объявить рабочих оборонных заводов «призванными по законам военного времени», закрыть распоясавшиеся газеты и так далее. Поступи царь именно так, не было бы никакой революции, а остроглазые современники, свои и зарубежные, ясно показали бы в своих дневниках и мемуарах, что рассуждения наивных людей о близкой революции были просто смехотворны. Помня, насколько тяжелее ситуация была в 1915 году, да и в начале 1916-го тоже, царь скорее всего счел меры, предложенные Римским-Корсаковым, излишними и способными только зря озлобить народ.

Были забастовки, были трудности военного времени (далеко не столь суровые, как в других странах-участницах войны), были транспортные проблемы, были ошибки власти – тактические, но вовсе не роковые. Те, кто заметили бы вожаденную ситуацию раньше всех, профессиональные революционеры, ничего такого не видели. Надежно и постоянно информируемый из России Ленин, выступая в цюрихском Народном доме 9 (22) января 1917 года, всего за полтора месяца до начала беспорядков в Петрограде, подбадривал революционную аудиторию обещанием, что «народные восстания» в Европе (и, видимо, в России) произойдут «в ближайшие годы», добавив со вздохом: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции». Однако молодежь, заключил он, «будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции». Когда-нибудь.

Где действительно в это время имели место признаки «революционной ситуации», так это в других странах Антанты, особенно во Франции, где дисциплина в войсках поддерживалась щедрыми расстрелами (об этом чуть ниже). Россия отличалась от этих стран тем, что к катастрофе ее вели не столько общественно-политические или экономические трудности, сколько тайные силы в верхах, вели безмозгло и напролом. «Выросшие в политической культуре черно-белого контраста» (А. И. Уткин), они отвергали идею поисков согласия.

Врагам императора была чужда мысль, что переворот, да еще во время войны, самоубийствен в первую очередь для них самих.

ДО РОКОВОЙ ДАТЫ

Забудем всё, что мы знаем о 1917-м годе, погрузимся в реалии конца 1916-го и попробуем сделать прогноз на их основе. Картина выглядит однозначной. Отступления прекратились, немцы не продвинулись дальше стратегически невыигрышных для них позиций на линии Пинск – Барановичи, а почти 1500 км русско-австрийского фронта от города Броды (в австрийской части Польши) до устья Дуная проходят по территории Австро-Венгрии и Румынии. На турецком фронте корпус генерала Николая Баратова, выбив неприятеля из Персии, движется к берегам Тигра. Немцы – всё еще крайне трудный противник, но уже понятно, что война («цепь катастроф, ведущая к победе») не может кончиться ничем иным, кроме германского поражения. Отлажено производство боеприпасов, покончено со «снарядным голодом». Артиллерией и стрелковым оружием войска обеспечены настолько, что этих запасов потом хватило всем сторонам на всю Гражданскую войну. На пороге 1917 года Людендорф с тревогой признавал: «Российская Империя сосредоточила для кампании 1917 года куда более сильную и лучше оснащенную армию, чем та, с которой она вступила в войну». Еще до «телеграммы Циммермана» ощущалось, что под занавес войны обязательно сыщется повод, чтобы в нее, преодолев свой изоляционизм, вступили США, – молодому промышленному гиганту пора было стать гигантом политическим, а тут такая возможность!

Были «расшиты узкие места», как тогда говорили, в подвозе недостающих военных материалов от союзников: построены порт Романов-на-Мурмане (нынешний Мурманск) и Мурманская железная дорога; с пуском моста через Амур открыта дорога Чита–Хабаровск, так что Транссиб проходит теперь полностью по русской территории. Год выдался урожайным, возросло поголовье скота, нехватка рук в селе терпима, к тому же на сельхозработах теперь используются пленные. Возникавшие время от времени из-за перегруженности транспорта перебои с продовольствием в разных точках Империи не были критическими. Несмотря на войну, отмечен прирост населения, чему содействовало введение в 1914 году «сухого закона».

Если в Германии почти всё продовольствие распределялось по карточкам, да и оно было представлено в основном эрзацами, в России нормировать начали (с августа 1916 года) лишь сахар, а об эрзацах и не слышали. В городах оборонные предприятия давали отсрочку от армии, так что рабочие руки были хоть и не в избытке, но

их хватало. К тому же реальная, то есть с учетом роста цен, зарплата рабочих выросла за 1914–1916 годы на 9% (подсчет С. Н. Прокоповича). Семьям мобилизованных рабочих сохранялось содержание: при наличии детей – 100%, бездетным – от 75 до 50% (цифры из источника раннего советского времени)². Врать, что питерские рабочие восстали против «царизма» из-за невыносимых условий жизни, начали позже, в 30-е.

В стане врага положение дел к началу 1917-го близко к критическому: людской мобилизационный резерв вычерпан почти до дна, явственно подступает голод, быстро иссякают запасы всех видов топлива – от бензина до угля. Истощение Четверного союза с помощью экономической блокады давало Антанте шанс победить без всяких генеральных сражений. Но победить уже за горизонтом 1918 года, если не позже. Такие сроки не устраивали руководство союзников, они хотели ускорить победу, не считаясь с жертвами. К весеннему наступлению русской армии пошита новая форма по рисункам Виктора Васнецова – вскоре склады этой формы достанутся Красной Армии, а шлемообразные головные уборы получают название (бедный Васнецов!) «буденовок».

19 января (1 февраля) 1917 года в Петрограде открывается «предпобедная» конференция союзников – России, Франции, Англии, Италии и Румынии. Конференция длится необычно долго, двадцать дней, обсуждают весеннее, заключительное, наступление, делят «послевоенный пирог». Большинство иностранных участников, свыше 50 (вместе с экспертами) человек, проделав морской путь до Романова-на-Мурмане, далее следовали в Петроград поездом (это была презентация нового порта и новой железной дороги). Надо ясно понимать: собирались не для галочки. Плавание из Англии в Россию и обратно в условиях объявленной немцами «неограниченной подводной войны» было рискованным делом. Полугодом раньше на этом маршруте подорвался на немецкой mine (или торпедe) крейсер «Хэмпшир», шедший из Скапа-Флоу в Шотландии курсом на Архангельск. На нем погиб вместе со своим штабом английский военный министр фельдмаршал Герберт Китченер, также направлявшийся с визитом к русским союзникам.

В успехе завершающего этапа войны никто не сомневается, но наступление русской армии раньше апреля невозможно, должны просохнуть дороги. Может быть ей вообще достаточно связывать возможный максимум сил противника? Позже Уинстон Черчилль пояснял эту точку зрения: «лишь тяжелым грузом давить на широко растянувшиеся германские линии, лишь удерживать, не проявляя особой активности, слабеющие силы противника на своем фронте».

Но гостей такая версия не устраивает, они склоняют хозяев к более решительной стратегии. Обсуждалось предложение мощным совместным ударом вывести из войны Болгарию и, замкнув с юга единый фронт против Германии и Австро-Венгрии, прервать их сообщение с Турцией. Для этого англичане должны были усилить Салоникский фронт, но они колебались, помня о чудовищных потерях в ходе своей неудачной Галлиполийской операции. Условились о разрозненных действиях весной на всех фронтах для удержания стратегической инициативы, а летом перейти в общее согласованное наступление на Западно-Европейском и Восточно-Европейском театрах для окончательного, за несколько месяцев, разгрома врага.

Делегаты, разумеется, уже знали о важном политическом решении царя относительно Польши, почти не обсуждаемом историками наших дней. А. И. Уткин в книге «Первая Мировая война» (М., 2001) напоминает: «21 января президент Вильсон в послании нации пожелал создания 'объединенной Польши' с выходом к Балтийскому морю. Царь Николай полностью и публично поддержал эту идею». Но и раньше, 12 (25) декабря 1916 г., Николай II заявлял, что одной из задач России в войне является восстановление свободной Польши.

Члены делегаций имели встречи с политиками основных партий и думских фракций, посетили Москву, отдельные делегаты совершили поездку на фронт, побывали в Риге. Столичные газеты цитировали слова французского представителя Гастона Думерга: «С момента прибытия в Россию мы ежедневно и ежечасно укрепляемся в уверенности, что воля русского народа довести войну до победного конца непоколебима... Мы очень близки к цели. Наша конференция показала, что мы едины, как никогда».

События Февральской революции, начавшейся через две недели после завершения конференции, задним числом «подправили» впечатление союзников. Оказалось, что от их проницательного глаза не ускользнули многочисленные симптомы того, что Россия «катится к революции», они припомнили множество красноречивых и даже вопиющих фактов, каковые прилежно изложили в своих мемуарах и отредактированных дневниках. Не то чтобы они всё выдумали. Ведущие иностранные участники конференции общались в Петрограде с думскими оппозиционерами, ненавидевшими царя, с недовольными из деловых кругов, могли слышать разные прогнозы и задним числом отобрать нужные.

ФЕВРАЛЬ

Февральский переворот стал плодом сговора Прогрессивного блока (объединения либеральных и центристских фракций обеих

палат парламента – Государственной Думы и Государственного Совета) и Центрального Военно-промышленного комитета (ЦВПК). Заговорщикам было ясно: если царя не свергнуть прямо сейчас, это станет немыслимым делом после победы в войне – и даже на пороге победы.

Просчитывали ли заговорщики дальнейшее развитие событий? Похоже, устранение Николая II было для них той самоцелью, достижение которой сразу всё улаживало наилучшим образом. Как политики, эти люди не переросли даже народников XIX века («честнейших и бестолковейших», по определению философа, богослова и бывшего народника Сергея Дурдылина). «Чисто отрицательное отношение к правительству, систематическая оппозиция – признак детства политической мысли», – тщетно внушал своим политическим наследникам (каковых не оказалось) классик отечественного либерализма, отец российского конституционного права Борис Чичерин.

В верхушечную фронду были вовлечены думцы, видные чиновники, предприниматели, руководители и владельцы крупных предприятий, а посвящены частично или полностью едва не сотни. Историк В. С. Брачев заключает: «О существовании заговора в январе-феврале 1917 года знали, можно сказать, все, кроме самого царя, который спокойно уехал 22 февраля в Ставку»³.

В советское время тезис об антиреволюционности «буржуазии» не мог быть поставлен под сомнение, любая такая попытка пресекалась, притом с оргпоследствиями. Согласно «Советской исторической энциклопедии», «движущими силами Февральской революции были пролетариат и крестьянство». Чуть портили картину два-три неосторожных высказывания всё того же Ленина. Например, такое: «Эта восьмидневная революция была, если позволительно так метафорически выразиться, ‘разыграна’ словно после десятка главных и второстепенных репетиций; ‘актеры’ знали друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь, до всякого сколько-нибудь значительного оттенка политических направлений и приемов действия». Это из статьи «Письма из далека»; в учебном курсе «Истории КПСС» ее, разумеется, не было, студентов мучили другими статьями.

«Официальной» истории в современной России нет, но оценки, изредка формулируемые в высоких государственных структурах по случаю разных годовщин (если речь идет о царской России), обычно мало отличаются от привычных с советского времени.

Бывший террорист, участник покушения на Александра III Михаил Новорусский писал за много лет до февральского переворота⁴: «Строить баррикады и устилать улицы своими трупами было

всегда привилегией четвертого сословия (Простолудинов. – А. Г.) всех народов. Этот наружный факт еще ничего не говорит о внутренних пружинах. И когда речь идет о революционных организациях, ни богатство духа, ни избыток героизма не могут сделать их деятельными, если иссякли питавшие их денежные ресурсы». Народоволец Новорусский был знаком с вопросом не понаслышке. Денежными ресурсами февральскую «стихию» могла обеспечить, и обеспечила, российская крупная буржуазия.

14 февраля 1917 года А. Ф. Керенский произносит с думской трибуны: «Исторической задачей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало». В каком парламенте воюющей страны было возможно такое? Газеты радостно подхватывали подобные слова – журналисты и тогда были не умнее, – эти слова читали в окопах с очевидными последствиями для боевого духа армии. Вряд ли подобные речи были случайны, они готовили страну к дворцовому перевороту. Во время войны!

Враги царя спешили еще и потому, что хотели опередить указ об «ответственном правительстве». Но разве не об этом так давно и страстно грезил вся либеральная Россия? Только вот беда: одно дело получить желаемое из снисходительных царских рук и другое – добиться своего как победители монархии! Документ уже был подписан императором и лежал в столе у недавно (20 декабря 1916 года) назначенного министра юстиции Н. А. Добровольского⁵. Обнародовать указ собирались на Пасху, 2 апреля. Хотел ли император, чтобы его уступка оппозиции выглядела примирительным подарком к светлomu празднику, пасхальным яичком, а значит – и чуть менее уступкой вообще? До Пасхи никто не должен был знать об указе, но сохранить тайну, похоже, не удалось. В число просчетов, приведших к катастрофе, входит и эта попытка совместить важнейшее решение с праздником.

Те, кто не верят ни в заговоры, ни в народные стихи, а верят в мистическую подоплеку событий, вспоминают, как Распутин предупреждал (якобы) царя: «Ты царствуешь, пока я жив». За две недели до нового, 1917 г., бедовый «старец» был убит. И довольно скоро, в феврале, возникла пауза в подвозе провианта в Петроград. Паузу намеренно удлинил участник заговора, управляющий делами Особого совещания по продовольствию Н. А. Гаврилов. Историк, автор исполинского (90,5 авт.л.) исследования «Красная смута» В. П. Булдаков на основании документов Госархива РФ (Ф.5881, оп.2, д.110, л.2) приходит к ошеломляющему (хотя для людей 1917 года достаточно очевидному) выводу: «Монархию свалили снежные заносы на

железных дорогах, поставившие под угрозу продовольственное снабжение столицы – вопреки тому, что не столь далеко от столицы, на станции Бологое, скопилось громадное количество продовольствия». В «хвостах» у булочных какие-то люди начали уверять, что правительственный аппарат «в доле» со спекулянтами, распускать другие интересные слухи.

Просто слухов для открытого бунта было бы, вероятно, недостаточно, если бы не хорошо подготовленная атмосфера всеобщего недовольства. Февральскому перевороту предшествовали долгие годы антиправительственной пропаганды. Американский исследователь Майкл С. Меланкон провел контент-анализ ста русских газет 1910–1914 гг., обнаружив удивительное единодушие взглядов: все сто, включая праворадикальные органы, критически относилась к политике правительства и лично к монарху. Война не заставила газетчиков сбавить тон. Пресса настойчиво создавала образ внутреннего врага в лице императорской четы, правительства, «камарильи» и «темных сил». В разгар войны якобы умеренная газета позволяет себе фельетон, где положение в России сравнивается с положением пассажиров автомобиля, ведомого безумным водителем по узкой дороге над пропастью, когда всякая попытка овладеть рулем кончится общей гибелью. Поэтому сведение счетов с шофером (то есть с императором) откладывается «до того вождельного времени, когда минует опасность»⁶. Писал это не мелкий щелкопер, а Василий Маклаков, которого другая газета, орган либералов-прогрессистов «Утро России», перед этим выдвинула в министры юстиции некоего альтернативного кабинета (тоже неслабо во время войны!). Подобный настрой прессы стал важным фактором подготовки переворота.

Есть поразительное свидетельство о том, что Февральская революция начиналась, как хорошо организованный «флэшмоб» (тогда и понятия такого не было). Петроградский градоначальник генерал А. П. Балк вспоминает события в «международный день работников» (23 февраля / 8 марта по новому стилю), когда в Петрограде была организована демонстрация женщин (рабочие с Выборгской стороны подтянулись позже)⁷. Движение по Литейному и Невскому, пишет генерал, «необычное – умышленное. В публике много дам. Густая толпа медленно и спокойно двигалась по тротуарам, оживленно разговаривала, смеялась, и часам к двум стали слышны заунывные подавленные голоса: ‘Хлеба, хлеба’. И так продолжалось весь день всюду. Причем лица оживленные, веселые и, по-видимому, довольные остроумной, как им казалось, выдумкой протеста. Голода не было. Достать можно было всё. Вопрос о наступающем голоде был раздут самой же публикой, к сожалению, не без участия интеллиген-

ции. Было приятное занятие ставить полицию в глупое и смешное положение. И таким образом многие, вполне лояльные люди, а в особенности молодежь, бессознательно подготавливали кровавые события, разыгравшиеся в последующие дни.

Руководство ряда крупных оборонных (!) предприятий Петрограда вдруг объявляет их временную остановку («локаут»). Сто тысяч не занятых у станка рабочих отправляются «бузить», как это тогда называлось, на улицы. Удивляться нечего: начальником крупнейшего из остановленных заводов, Путиловского, был участник заговора генерал А. А. Маниковский. Начинают бастовать – но уже по инициативе снизу – другие предприятия. У загадочных благотворительных фондов находятся деньги для выдачи вознаграждений активным участникам демонстраций.

Совсем не случайно после первого дня беспорядков не была принята мера, очевидная для любого из нижних чинов, но кто-то ее запретил. Саперы должны были взорвать лед на Неве и Обводном канале, чтобы нельзя было перейти по льду в сторону центра города, где кипела основная буча, а на мостах следовало разместить вооруженные заслоны. Этим от мест массовых беспорядков отсекались бы не столько путиловцы и обуховцы, своего рода рабочая аристократия, сколько Выборгская сторона с ее менее оплачиваемым рабочим классом. (Это стоит пояснить. Зарботки рабочих низшего разряда Обуховского и Путиловского заводов составляли 160 руб. в месяц, высшего – 400, при среднем заработке 300 руб. Фунт говядины к началу февральских событий стоил в Петрограде 40 коп. То есть средний рабочий мог купить на свою месячную зарплату 750 фунтов (307 кг) говядины, рабочий высшего разряда – 410 кг, низшего – 164 кг. Обуховский и Путиловский были самыми большими заводами Петрограда, их рабочие больше дорожили работой и были менее склонны «бузить». Путиловцев подтолкнул локаут, но и прочие участники волнений были непрочь с помощью шествий под экономическими лозунгами улучшить свое материальное положение. Человеку никогда не кажется, что он имеет достаточно. Обладай рабочий класс России возможностью заглянуть в будущее, он вел бы себя в феврале 1917 г. совершенно иначе.)

Сразу выяснилось (хоть и так было известно), что столичный гарнизон развращен безопасным тылом и готов поддержать любую бучу, любые антивоенные лозунги, лишь бы избежать отправки на передовую. Остряки не зря называли его «Петроградским беговым обществом» – столько в нем за время войны зацепилось «ограниченно годных» и уклонившихся от фронта под любыми предложениями. Еще хуже обстояло дело с запасными и учебными частями, набитыми в

перенаселенные казармы. Показательно, что удалить ненадежные соединения из столицы давно требовали как раз те, кого молва зачисляла в прямые немецкие шпионы — премьер Б. В. Штюрмер и министр внутренних дел А. Д. Протопопов.

И в момент заминки событий у точки невозврата (Керенский вечером 26 февраля даже воскликнул: «Революция провалилась!») предательство в учебной команде запасного батальона Волынского полка обрушило лавину. Трудно избавиться от вопроса: не застрели «герой Февраля» унтер-офицер Тимофей Кирпичников штабс-капитана Ивана Лашкевича (в спину!), вся мировая история пошла бы другим путем?

АРМИЯ ПОД УДАРОМ

Это припадочное убийство нелюбимого офицера вселило в учебную команду ужас и одновременно решимость. Спасая себя от трибунала, солдаты ринулись поднимать на бунт другие части Волынского полка («Всех не засудишь!»). К ним присоединились запасной батальон Преображенского полка, 6-й запасной Саперный батальон. Бунт нарастал быстро, в течение нескольких часов на стороне мятежников оказалось больше половины столичного гарнизона.

Дальнейшее слишком хорошо известно. Демоны массового безумия были выпущены на волю. Роковым порождением Февральской революции стал созданный явочным порядком Петроградский совет, сразу заявивший претензии на высшую власть не только в Петрограде, но и во всей стране. Едва возникнув, это самочинное собрание породило печально знаменитый «Приказ № 1», давший толчок к распаду армии. Этот документ был плодом коллективного творчества — правда, очень специфического. Участники первого заседания Петросовета вспоминали позже, как «на трибуну поднимались никому не известные солдаты, вносили предложения, одно другого радикальнее, и уходили при шумных рукоплесканиях. Ошибкою было бы искать индивидуального автора этого произведения»⁸. Вид формального документа «произведению» придал присяжный поверенный Н.Д. Соколов.

Приказ № 1 предписывал среди прочего создать в воинских частях и на кораблях выборные комитеты из представителей нижних чинов. В политических вопросах воинские части подчинялись не офицерам, а выборным комитетам и Петросовету. Всё оружие отныне должно было находиться в распоряжении комитетов и «ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованию». Приказом вводилось равенство прав «нижних чинов» с остальными гражданами в политической и частной жизни, отменялось титулование офице-

ров, больше не надо было вставать при их появлении, отдавать честь и т. д. «Строжайшая воинская дисциплина» оставалась обязательной лишь при несении службы. Обращаться к нижним чинам теперь можно было только на «вы».

Обнародованный 2 (15) марта 1917 года, Приказ № 1 сразу разрушил основополагающий принцип единоначалия в армии, по сути лишив офицеров власти. В тот же день стало известно об отречении царя. Сумятица в умах нижних чинов под воздействием этих двух новостей не поддается описанию. Едва ли не все они восприняли «отставку» царя как освобождение от воинской присяги Богу, царю и отечеству. Простые люди, особенно из крестьян, видели в присяге молитвенную клятву, нарушить которую означало попасть в ад. После 2 марта большинство из них сочло себя свободными от этой клятвы, они ничего больше не были должны не только царю, но и отечеству. И даже Богу. Сразу резко сократилось число рядовых, подходивших к исповеди и причастию, об этом пишут многие мемуаристы. Солдаты и матросы, в чьих душах произошло крушение веры, дезертировали массами. Дезертиры сыграли важнейшую, возможно, решающую роль в событиях 1917 года.

5 (18) марта министр юстиции Временного правительства А. Ф. Керенский произнес растиражированные прессой (и самые знаменитые по глупости) слова о «великой бескровной революции», хотя только на Балтике к тому времени (и в ближайшие дни) матросами было убито до ста старших офицеров. В их числе командующий Балтфлотом адмирал А. И. Непенин, главный командир Кронштадтского порта адмирал Р. Н. Вирен, начальник штаба Кронштадтского порта адмирал А. Г. Бутаков, командир 2-й бригады линкоров контр-адмирал А. К. Небольсин, комендант крепости Свеаборг, флота генерал-лейтенант В. Н. Протопопов, командиры 1 и 2-го флотских экипажей флота генерал-майоры Н. В. Стронский и А. К. Гирс, командир линкора «Император Александр II» капитан 1-го ранга Н. И. Поваляшин, командир крейсера «Аврора» капитан 1-го ранга М. И. Никольский, контр-адмирал Н. Г. Рейн, капитаны 1-го ранга Г. П. Пекарский и К. И. Степанов. Сколько всего произошло расправ с «офицерами-угнетателями» по стране в целом и на фронтах, осталось неподсчитанным.

Армейская масса восприняла Приказ № 1, говоря современным языком, как рамочный, постоянно норовя расширить полномочия солдатских комитетов. Кое-где эти комитеты смещали неугодных командиров, заменяя новыми на свой вкус, вмешивались в работу фронтовых штабов. По требованию солдатских комитетов весной 1917 года на фронтах было отстранено от командования и удалено из армии до 150 генералов. В войсках обсуждались приказы, мог быть

отменен, к примеру, приказ об атаке. Свободно велась политическая агитация, что не допускается ни в одной армии мира. Самое тягостное впечатление на офицерский корпус произвела врученная лично генералом Лавром Корниловым награда «любимцу Керенского и творцу Февральской победы, унтер-офицеру Кирпичникову, убившему своего командира»⁹.

Еще одним тяжким испытанием для русской армии стало ее расщепление по национальному признаку. Еще в начале войны был создан ряд национальных соединений (латышских стрелков, Польский корпус и несколько мелких, скорее символических), но как части ополчения, а не регулярной армии.

Попытки вычленения национальных частей в составе пока еще единой армии начались уже в марте 1917-го. К счастью, процесс оказался непрост. За некоторыми исключениями более или менее боеспособные национальные части в ощутимом количестве (53 пехотные и стрелковые дивизии, 6 кавалерийских дивизий, 8 отдельных пехотных и кавалерийских полков) появились незадолго до (и вскоре после) Октябрьского переворота. Произойди полноценная «национализация» армии хотя бы весной-летом, фронт начал бы разваливаться много раньше, чем в реальности. Самой тяжелой по последствиям была украинизация, поскольку около трети личного состава русской армии составляли выходцы из малороссийских губерний. Требование Всеукраинского национального съезда в апреле 1917 г., что полномочные представители Украины должны участвовать в будущей мирной конференции, говорило о том, что съезд уже видит Украину субъектом международного права.

Уже после Приказа № 1 Россия не смогла бы до конца оставаться полноценной участницей войны. Резкое падение воинской дисциплины, разгул самой безответственной демагогии, массовое дезертирство, чудовищный выплеск разрушительной социальной энергии — всё это шаг за шагом погружало российскую военную машину в паралич. На этом фоне поражает то, о чем упоминают редко: запас ее прочности, несмотря ни на что. Уже перестав быть императорской, она, вопреки мощнейшим разлагающим факторам, вопреки большевистской пропаганде и всем актам предательства, вопреки отколу от ее русского ядра значительных сил по этническому признаку, каким-то чудом (или совсем не чудом?) продолжала держаться еще почти год, до марта 1918-го. Те, кто должны были дезертировать, дезертировали, оставшиеся держались. Одаренный демагог Керенский вплоть до своего политического конца легко покорял солдатскую аудиторию. Он всегда верил в то, что говорил в данный миг, это придавало его словам неотразимую силу. Его почти истерические речи были куда

убедительнее на слух, чем при чтении. Он звал войска на смерть, а те отвечали криками «ура!».

Характерно, что Четверной союз, с самого момента отречения русского императора полностью осведомленный обо всём происходящем в России и ее армии, не спешил оголять свою сторону русских фронтов. Они не могли пойти на такой риск, как ни вопияли о подмоге другие их фронты, поскольку военные действия на востоке хоть и ослабли, но не прекратились. 4 апреля уже упоминавшийся корпус генерала Николая Баратова занял Ханакин (ныне в Ираке), причем передовая казачья сотня соединилась с англичанами. Русской армии пришлось отказаться от согласованной было с союзниками на Петроградском совещании апрельской операции, но у нее хватило сил предпринять пусть и неудачное, но наступление (июньское, на Станислав и Галич), хватило сил организовать в октябре умелую оборону островов Эзель и Даго (Моонзундская операция). Немцы в конечном счете захватили острова, но эта победа оказалась для них хуже поражения, ибо стоила слишком многих потерянных и поврежденных кораблей и никак не облегчила стратегическое положение Германии. 19-24 августа 1917 г. противнику удалось прорвать оборону русских войск и овладеть Ригой. Заговорили об угрозе Петрограду, но продвижение немцев в этом направлении было остановлено 12-й армией Северо-Западного фронта. В июле-августе на Румынском фронте 400-тысячная русско-румынская группировка под командованием генерала Д. Г. Щербачёва в сражении у города Мэрэшешти лишила немцев надежд прорваться на Украину. Вслед за этим активные действия на Восточноевропейском фронте затихают. Центральные державы явно ждут смены политики российского Временного правительства. Или смены Временного правительства.

Но при этом одна только Германия даже в октябре 1917 года продолжает держать против России не менее 80 дивизий, которые ей позарез нужны на Западном фронте. Зато сразу после большевистского переворота генерал Людендорф (начальник штаба кайзеровской армии и на тот момент фактический диктатор) с легким сердцем предписывает начальнику штаба Восточного фронта генералу Гофману перебросить на запад ни много ни мало миллионную (!) группировку. То есть эти генералы словно откуда-то знают (или действительно знают?), что большевики не предпримут никаких действий, исключая показательные, против немецких войск, и фронт можно максимально разгрузить. Уже к заключению перемирия 15 декабря 1917 года немцы успели снять 50 дивизий и 5 тысяч орудий с русского фронта и отправить на Западный. Сходные подвиги произошли на линиях соприкосновения с австро-венграми.

А В ЭТО ВРЕМЯ

К моменту отбытия делегаций союзников из Петрограда (т. е. к 8 февраля 1917 года) Четверной союз располагал 331 дивизией общей численностью 10 млн человек. Ему противостояли на тот момент в общей сложности 425 дивизий Антанты умопомрачительной численностью в 21 млн человек (Цифры из Большой советской энциклопедии, 3 изд., 1975, том 19). Генерал и военный историк Николай Головин, сам участник Первой мировой, писал, что на 31 декабря 1916 года в действующей армии России находилось 6,9 млн человек, т. е. без малого треть всех сил Антанты¹⁰.

К весне 1917 года германское командование решило отказаться от попыток наступать на суше: пусть противник сам пробует наступать и несет непоправимые потери. И действительно, попытка апрельского французско-английского наступления на бельгийском направлении закончилась катастрофой – французы потеряли 187 тыс. человек, англичане, временно подчиненные французскому командованию, – 160 тыс. В случившемся был во многом виновен легкомысленный французский военный министр Нивель, он охотно рассказывал о предстоящем наступлении чуть ли не дамам и, что еще хуже, – журналистам, намекнув даже на направление удара, что дало немцам возможность подготовиться. Битву назвали «мясорубкой Нивеля». Во французской армии начались мятежи, 20 000 солдат дезертировали. Английский военный историк Джон Киган (John Keegan) называет в своей книге «Первая мировая война» (рус. пер.: М, 2002) цифру, замалчивавшуюся не только во время войны, но и в откровенные годы после нее: «54 французские дивизии отказались прийти на смену дивизиям, находившимся на передовых позициях». Это был мятеж, который мало было подавить, его надо было еще и замять. Стало ясно, продолжает Дж. Киган, что какое-то время британским войскам придется сражаться во Франции в одиночку. В мае Нивеля на посту главнокомандующего французской армии сменил Петэн, получивший почти диктаторские полномочия. Дисциплину в армии он укреплял показательными казнями. Военный трибунал упрятал при нем за решетку 23 тысячи военнослужащих. Гражданские власти тоже не дремали. В стране были арестованы, не считаясь с положением или иммунитетом, свыше тысячи оппозиционеров и лиц со связями по ту сторону фронта. Так, были отданы под суд Жозеф Кайо, бывший премьер-министр, несколько депутатов парламента и даже только что покинувший пост министра внутренних дел Жан-Луи Мальви. Государственный аппарат подвергся суровой чистке от пораженцев и германофилов.

В июне 1917 г. революционным движением во французской

армии были охвачены уже 75 пехотных и 12 артиллерийских полков (данные неполны). Солдаты покидали окопы, захватывали грузовики и поезда, чтобы двинуться на Париж, некоторые подняли красные флаги. Несколько дней между линией фронта и Парижем была всего одна надежная дивизия (по другим данным, целых две), командование сформировало заградотряды. На заводах Франции, включая военные и металлургические, в мае и июне прошла волна забастовок. В июле был отдан приказ по армии о смертной казни за отказ повиноваться. Наконец, было сделано то, на что ни в коем случае не решилось бы российское Временное правительство: были закрыты все мало-мальски вольнодумные газеты, а прочие издания прикусили язык сами. В редакциях газет, где представитель русской армии во Франции граф А. А. Игнатьев пытался понять, продержится ли Франция, избегали отвечать прямо и переходили на шепот.

Британские войска по соглашению с Парижем заняли тот участок французского фронта, где революционное движение было сильнее всего. «Это дало возможность французскому правительству, – пишет Киган, – увести восставшие войска в тыл для расправы и переформирования». Разгоравшаяся революция была погашена. Только по статье «Оставление поста перед неприятелем» военно-полевыми судами было вынесено в 1917 году 4650 смертных приговоров (далеко не все были исполнены). Поскольку нельзя было отдать под суд целый батальон, «мятежников» отбирали по жребию или каждого десятого; были случаи, когда сдавшиеся в плен солдаты и офицеры заочно приговаривались к смерти.

Во второй половине года стало казаться, что внутреннее напряжение в стране слабеет, но уже вскоре после большевистского переворота в России президент Пуанкаре записывает в дневнике: «Всюду среди парижан тревога. Число пораженцев беспрестанно растет». И неудивительно: стало известно о начавшейся массовой переброске немецких войск с русского фронта на французский. Угроза поражения Антанты обозначилась вновь, сторонники немедленного мира обрели второе дыхание, повторялась ситуация апреля-июня, а кто-то был готов последовать русскому примеру. Но у Франции нашелся еще один спаситель, 76-летний премьер Жорж Клемансо, он действовал уже испытанными методами. Можно сделать вывод: своей твердой политикой Петэн и особенно Клемансо «дотащили» свою страну до победы. А вот российское Временное правительство оказалось, увы, неспособно на твердую политику – социалист Керенский, стеснявшийся окоротить социалиста Ленина, был совсем не Клемансо.

Что же до Германии, «наступление Нивеля», даже провалившееся-

ся, стало тяжким испытанием и для немцев. Фронт был удержан ими уже при дефиците резервов. Неизвестно (вернее, известно), как бы повернулся ход войны, если бы русская армия нанесла свой согласованный с союзниками удар на германском фронте в те же дни апреля. 1 мая 1917 года, когда «наступление Нивеля» уже захлебывалось, страны Антанты получили из Петрограда важную ноту.

К тому времени из Петрограда уже прозвучало несколько деклараций о целях России в войне (манифест Петросовета «К народам мира» за подписью председателя Совета Н. С. Чхеидзе, «Заявление Временного правительства о войне» за подписью премьера князя Г.Е. Львова, меморандум министра иностранных дел П. Н. Милюкова для печати, заявления разного рода деятелей). Попытки совместить внешнеполитические установки разных партий с воззрениями «оборонцев» и генералов вели к зыбкости формулировок.

Петросовет призывал народы Европы к совместным выступлениям в пользу мира и предлагал германским социалистам свергнуть кайзера. В правительственном заявлении через запятую после слов о «полном соблюдении обязательств, принятых в отношении наших союзников», шли положения, встревожившие этих самых союзников: «мир на демократических началах» (т. е. не на условиях победоносной Антанты), «самоопределение народов» и главное: «цель свободной России – не господство над другими народами, не отнятие у них национального их достоинства, не насильственный захват чужих территорий» (т. е., отказ от аннексий и контрибуций). В то же время Милюков заверял газетчиков в твердом намерении России присоединить русинскую Галицию, обрести контроль над Константинополем и проливами.

Нота русского МИДа от 1 мая (вошедшая в историю как «нота Милюкова»), ничего не прояснив для Антанты, похоронила и обращенный к «своим» образ подразумеваемого стремления Временного правительства к прекращению бойни.

Нота подтверждала, что ни о каком ослаблении роли России в общей союзной борьбе нет и речи, подчеркивала всенародное стремление воевать до победы. Для менее всего способного быть политиком Милюкова спокойствие Антанты (всё равно недостижимое) было важнее хрупкого политического мира в России. Социалистам же его политическая неуклюжесть дала повод скovyрнуть «февральский» кабинет и ввести в правительство эсеров и меньшевиков. Слом первоначальной модели правительства оказался роковым. Орган управления, который видел свою задачу лишь в том, чтобы как можно скорее довести страну до Учредительного собрания, оказался на поверку шаткой конструкцией, чьи цели и состав могут меняться под давлением безответственных сил.

Как настаивает историк С. В. Куликов, «неизбежное в уже близком будущем легальное установление в России парламентаризма стало невозможным именно из-за Февральской революции».

ПЕРЕЛОМ, НО ЕЩЕ НЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ

Неприятным сюрпризом для Четверного союза стало вступление в войну американцев. Повод подала сама Германия. Ее министр иностранных дел Артур Циммерман, встревоженный усиливающимися в США голосами о необходимости помочь Англии и Франции силой оружия, придумал, от большого ума, как нейтрализовать эту угрозу с помощью Мексики, у которой американцы только что отняли Аризону, а до того – Нью-Мексико (ставшие соответственно 48-м и 47-м штатами США). Германскому послу в Мексике было поручено в случае вмешательства США в европейскую войну предложить мексиканскому президенту заключить военный пакт с Четверным союзом и напасть на США, за что Германия обещала (в случае победы над всеми врагами) вернуть Мексике все утраченные ранее штаты, в том числе Техас. Телеграмма с этим предложением была перехвачена британцами и расшифрована благодаря тому, что нужные коды содержались в сигнальных книгах, захваченных русским флотом на германском крейсере «Магдебург»¹¹. Публикация телеграммы выбила козыри из рук американских пацифистов. Президент Вильсон произнес фразу, ставшую крылатой: «Я не против чувств пацифистов, я против их глупости». 6 апреля 1917 года США объявили Германии войну, а в октябре первая американская дивизия заняла на европейском фронте свой участок передовой.

Весна 1918 года – время последних надежд Четверного союза на победу. Незадолго до этого успехом для германо-австрийских войск закончилась битва при Капоретто, одна из крупнейших в войне (описана Хемингуэем в романе «Прощай, оружие»). За ней последовали еще более приятные для немцев события: большевистский переворот, перемирие с большевиками (15 декабря 1917), сепаратный мир с Румынией, а главное – Брестский мир (3 марта 1918), по которому Германия получила, во-первых, доступ к таким видам продовольствия, о существовании которых давно забыла (зиму 1916–1917 в Германии называли «брюквенной» не ради красного словца, а потому что брюква на несколько месяцев стала едва ли не основным продуктом питания большинства), а во-вторых, смогла начать переброску значительной группировки с русского фронта на западный.

Англия, Франция и Италия, считая, что власть в России захватила прогерманская партия (а всё говорило о том), приняли решение, тем не

менее сохранить контакт с новой властью в надежде удержать ее от полнообъемного военного союза с Германией. Их опасения понятны. Отправка на Западный фронт, в дополнение к высвободившимся немецким и австро-венгерским, еще и миллиона русских солдат, могла означать только одно: гарантированное поражение западных держав. Могли большевики пойти на такую аферу и придумать ей идеологическое обоснование? Гибкость мышления Ленина и его товарищей, особенно в безвыходном положении, заставляет ответить: да, могли, история войн знала кульбиты и покруче. Но такое предложение вряд ли прозвучало, ведь в этом случае Германии и Австро-Венгрии пришлось бы отказаться от мысли об аппетитных кусках Российской империи. Весной 1918 г. они не устояли перед таким соблазном, а чтобы закрепиться на чужих землях, расположили на них свыше 50 дивизий, позарез нужных на западе. Этим они отняли у себя последний шанс уцелеть в мировой войне. Большевики же удовлетворились главным на тот момент для себя: удержанием власти, отложив всё прочее на потом.

Самой тяжелой статьей договора, подписанного в Бресте от имени России (без попытки обсуждения!) второстепенным Г. Я. Сокольниковым, была Третья: «Области, лежащие к западу от установленной договаривающимися сторонами линии (В литературе ее называют «линией Гофмана». – *А. Г.*) и принадлежавшие раньше России, не будут более находиться под ее верховной властью». Остальные статьи также содержали достаточно яркие положения: демобилизовать армию и разоружить флот, признать Украину (в еще неясных границах!) независимым государством, вывести русские войска с территории Османской империи и передать ей Ардаган, Батум и Карс. Кроме того, большевики обязывались прекратить свою агитацию в странах Четверного союза.

К западу от «линии Гофмана» лежали ранее оккупированные немцами польские губернии Российской империи, запад Белоруссии (его поляки также считали своим), Курляндская губерния, Литва, части Эстляндской и Лифляндской губерний. Немецкая сторона не объявляла об аннексии этих «областей», но, как показали ее дальнейшие действия, самонадеянно планировала это. Названные земли воспринимались в России как национальные окраины, а Украина с Белоруссией – как бесспорные части метрополии и исторической Руси. Но было ясно, что Германия нацелена прежде всего на Украину, видя в ней гарантию своей продовольственной безопасности.

Немцам даже не обязательно было обводить «линией Гофмана» восточную границу Украины. Их логика была проста: Украина сама вышла из состава Российского государства, поэтому нет речи о том,

что Россия уступает ее Германии. Украинская народная республика, провозгласившая свою независимость 9 (22) января 1918 г., уже через 18 дней, а именно 27 января (9 февраля), заключила сепаратный мирный договор с Четверным союзом, опередив в этом ленинский РСФСР на три недели. Интересно, что карта территориальных уступок РСФСР по Брестскому договору не была общественным достоянием целых сто (!) лет, в связи с чем гуляли самые разные количественные оценки этих уступок: от, по советским оценкам, 4% всей российской территории (без Финляндии, к моменту подписания Брестского мира уже вышедшей из состава России) до утверждения каких-то немецких историков, что «под немецким господством оказалась треть российской территории»¹². Лишь в 2018 году историк Диана Зиберт (ФРГ) обнародовала фрагмент (!) карты, показывающий прохождение «линии Гофмана» на отрезке между Курляндией и Украиной, объяснила ошибки интерпретации текста договора в немецкой историографии и причины утаивания карты¹³.

РСФСР, к тому времени уже признавшая, без внешнего давления, независимость Финляндии, отказывалась в Европе, по Брестскому договору, как подсчитала Д. Зиберт, от прав и претензий на 660 тыс. кв. верст территории (751 тыс. кв. км), считая с Украиной и Польшей. В Азии – от 17 тыс. кв. верст (19,3 тыс. кв. км, размер двух Кипров), которые она отчасти уступала, отчасти возвращала Османской империи.

«Украинский» Брестский договор предоставлял новорожденной УНР немецкую и австро-венгерскую военную помощь «в оттеснении советских сил» с ее (пока нечеткой) территории. Вскоре «помощники» заняли не только бесспорную Украину, но и части Области Войска Донского, Воронежской и Курской губерний, белорусское Полесье, всю Таврическую губернию (а это Крым с его периферией к северу от Перекопа) и даже Ростов с Таганрогом, установив повсеместный оккупационный режим. В конце апреля 1918 года командующий немецкими войсками на Украине, 70-летний генерал Эйхгорн, расширил юрисдикцию немецких военно-полевых судов на граждан УНР.

Немцы мало уважали украинский суверенитет. 28 апреля 1918 г. в зал заседаний Центральной Рады вошли немецкие солдаты, и, по словам свидетеля, «какой-то фельдфебель... на ломаном русском языке крикнул: 'По распоряжению германского командования объявляю всех присутствующих арестованными. Руки вверх!' Солдаты взяли ружья на прицел»¹⁴. Был арестован глава правительства и министр иностранных дел УНР 33-летний Всеволод Голубович, обвиненный в похищении банкира Абрама Доброго с целью выкупа.

Выгодополучатели «украинского» Брестского мира, который они сами называли «хлебным миром», были удержаны с его помощью на краю могилы. Тем удивительнее, что в австро-немецком стане еще звучали какие-то недовольные голоса. «Из Украины к нам прибыло 42 000 вагонов. Эту продукцию невозможно было получить откуда-то еще. Миллионы людей спаслись от голодной смерти. Пусть подумают об этом критикующие Брестский мир», – писал Оттокар Чернин, министр иностранных дел Австро-Венгрии.

Весной 1918 года германское командование сделало всё, чтобы разбить англо-французские войска до прибытия в Европу по-настоящему крупных вооруженных сил США. Эти попытки, включая операцию на Марне, стоили Германии исполинских потерь – около миллиона человек. Германии всё более не хватало людских резервов. Как и горючего. Оказались исчерпаны вообще все резервы. Солдаты были измотаны и не желали воевать, многие дезертировали. На фронт отправляли подростков.

А ведь после выхода России из войны Германия смогла перебросить на Западный фронт огромные воинские подразделения. Но, как выяснилось, недостаточно огромные. Слишком много дивизий пришлось оставить в «приобретенных» по Брестскому миру Нарве, Двинске, Ковно, Пскове, Гродно, Полоцке, Гомеле, Белгороде, Луганске, Одессе, Таганроге, Ростове, разместить по всей Украине и Прибалтике, отправить в Крым и даже в Грузию (морем из Крыма). Именно этих дивизий не хватило Людендорфу в его последнем броске, который всё-таки мог переломить судьбу Европы. Их отсутствие на французском фронте стало фатальным для немцев и спасительным для Антанты. Кайзеровские политики стали жертвой не только своей традиционной недооценки противника, но и заурядной жадности.

8 августа началось встречное наступление войск Франции, Англии и США под общим командованием французского маршала Фердинанда Фоша. За один день они разгромили 16 дивизий. Немецкие солдаты охотно сдавались в плен. Это был, по словам Людендорфа, «самый черный день германской армии в истории мировой войны». С того дня, когда масштаб разгрома стал известен, у Четверного союза больше не было шанса на победу, это видел каждый. Кровавопролитие последних трех месяцев войны было уже окончательно бессмысленным.

И тут мы сталкиваемся с большой загадкой. Именно в эту пору, 27 августа 1918 г., РСФСР заключила – «в духе дружелюбного соглашения» и для «восстановления добрых и доверчивых (Именно так. – А. Г.) отношений» – еще один договор с кайзеровской Германией¹⁵. «Добавочный» к Брестскому и притом секретный документ, помимо

дополнительной территориальной уступки (на этот раз ленинское руководство признавало, что «отступается от верховной власти над Эстляндией и Лифляндией»), содержал отдельную «финансовую часть». Ее условия потрясают: РСФСР обязывалась выплатить «для вознаграждения потерпевших от русских мероприятий германцев» 6 миллиардов марок, 55% из них золотом (245,5 тонн), остальное – кредитными обязательствами и поставками сырья и товаров. В сентябре 1918 г. из Москвы двумя партиями было отправлено 93,5 т золота. В обессилевшую Германию, неспособную покарать за неисполнение договора! На временной границе немецкие контролеры всё тщательно проверили и выдали расписки. А уже 29 сентября немецкое верховное командование известило кайзера, что вооруженные силы страны больше не могут продолжать войну. 40 дней спустя Германия капитулировала. Лишь это остановило дальнейшие золотые поставки. Что заставило ленинское правительство, которое не было слепо, подписать этот «добавочный договор» и сразу приступить к его выполнению? Почему немцы не включили свои финансовые требования в основной договор, заключенный в Бресте, – когда большевики не глядя подписывали всё, что им диктовали немцы? Что изменилось между мартом и августом? Уж не шантажировала ли германская сторона большевиков какими-то разоблачениями? В этом случае уступки по Лифляндии и Эстляндии (подтверждавшие фактическое положение дел), как и прочие пункты договора от 27 августа, могли быть вставлены для отвода глаз. Станет ли когда-нибудь известна истина?

В том же ряду еще одна загадка. В конце октября 1918 года, зная, что румыны готовятся к расторжению Бухарестского договора от 7 мая 1918 года, своего «Брестского мира», чтобы в последний момент вскочить на подножку поезда победителей (что им и удалось за сутки до окончания войны!), Ленин и его правительство не попытались предпринять подобный шаг. Что-то мешало им разорвать «похабный мир», хотя немецкое поражение уже было вопросом дней, и это тоже напоминает поведение жертв шантажа. Большевики оставались лояльны кайзеровской Германии до ее последнего мига. Надеюсь, и на эту загадку когда-нибудь найдется ответ.

КОГДА НАЧАЛАСЬ РОССИЙСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА?

Относительно даты начала российской Гражданской войны (вот до этого дня включительно ее не было, а с этого уже началась) единого мнения нет. В Приложении к Федеральному закону «О ветеранах» N 5-ФЗ от 12 января 1995 г. содержится бестрепетное утверждение, что Гражданская война началась 23 февраля 1918 г. и длилась по октябрь 1922 года. Красные историки 20-х годов, которые вели отсчет

Гражданской войны сразу от Октябрьского переворота, не знали сомнений в исторической правоте большевистской революции и поэтому спокойно объединяли свой захват власти с началом величайшего раскола России и братоубийственной войны, тем обнажая причинно-следственную связь событий. А вот авторов закона «О ветеранах» это смутило. Видимо, они решили: начнем-ка ее на четыре месяца позже. Разница невелика, зато не обидим ветеранов КПСС, не надо, чтобы они чувствовали себя наследниками зачинщиков Гражданской войны.

Что же до 23 февраля, в СССР это был День Красной (позже Советской) армии и Военно-морского флота, а в наши дни стал Днем защитника Отечества. Цепь недоразумений, ставшая причиной появления в 20-е годы этой праздничной даты, многократно описана, не будем повторяться. В 1938 г. дата была закреплена в «Кратком курсе истории ВКП(б)» фразой о том, что в этот день «части молодой Красной Армии наголову разгромили германских интервентов под Псковом и Нарвой» – что не соответствует истине. Сегодня праздник объясняют тем, что именно в этот день в 1918 г. началась массовая запись добровольцев в отряды РККА. К началу Гражданской войны этот день в любом случае отношения не имеет.

Порой натыкаешься на притянутые за уши попытки начать отсчет Гражданской войны от так называемого «чехословацкого мятежа» в мае 1918 года. Странная хронология объясняется желанием уверить, что большевики не хотели гражданской войны, ее развязали другие. В мае 1918 г. Германия действительно потребовала от РСФСР, соблюдая условия Брестского мира, разоружать и заключать в концлагеря военнопленных стран Антанты, каковыми стали к тому времени бывшие чехословацкие пленные, перешедшие в подчинение французского командования. Большевики убоялись не подчиниться кайзеру, чехословаки с этим не согласились. Но и без того уже воевали между собой Красная Армия и Добровольческая армия: к маю 1918-го война шла либо тлела в любой губернии, уезде, а то и волости. Счет ее жертв (начиная с массовых убийств в Петрограде и Кронштадте в дни свержения царя) шел к тому времен уже на десятки тысяч. Это не было случайностью. Уже в сентябре 1914 г. в статье-декларации «Война и российская социал-демократия» Ленин заявил о необходимости «превращения современной империалистской войны в гражданскую». *О необходимости!*

Задержимся на этом. Революционером, в отличие от сторонника эволюционного пути, можно назвать только того, кто ставит перед собой задачу силового захвата власти. Встать у власти по итогам выборов у него нет шансов, остается ее захватить. В ленинском случае – захватить во имя цели, которая ему кажется неотразимо пре-

красной: полностью пересоздать Россию или даже весь мир по рецептам немецких теоретиков предыдущего столетия. Допустим, чудо случилось, звезды сошлись, судьба каким-то пируэтом вознесла большевиков к власти, что дальше? Рассчитывать, что им удастся силой своей социальной логики убедить консервативного недоверчивого крестьянина, купца себе на уме, мастерового, предпринимателя, землевладельца, чье имение перезаложено в Крестьянском банке, донского казака, журналиста, горного инженера, генерала от инфантерии, депутата Государственной Думы, университетского профессора и поэта-декадента начать строить Новую Жизнь по лекалам почтенных бородачей?.. От каждого по способностям, каждому по потребностям, без религиозного дурмана и эксплуатации человека человеком, без денег, на основе строжайшего учета, контроля и справедливого распределения?..

Российское общество, которое революционеры собрались спасать, их отторгнет и поднимет на смех. Поэтому у Ленина с соратниками (или у одного Ленина) складывается печальный, но неизбежный вывод: привести всех к счастью можно только силой, с помощью очень долгого и жесткого принуждения. Сопrotивление обязательно будет яростным и одолеть его сможет только беспощадный *террор*. Всё старое, капиталистическое, поповское, эксплуататорское, мироедское и дармоедское (и т. д.) должно быть беспощадно сломано и брошено в очистительный огонь. Это и есть гражданская война. Конечно, предавать такой сценарий гласности даже в среде «своих» значило бы загубить замысел в зародыше.

Эффективность террора большевикам была известна не по слухам. Эсэры, их идейные двоюродные братья, пытались в 1905–1907 годах свалить власть, разжигая именно гражданскую войну. Власть тогда с трудом, но устояла, гражданская война была загашена, однако революционеры запомнили приобретенный опыт. Воздействие террора на мирное население было надежно испытано и осмыслено именно тогда. Этот аспект «первой русской революции» (именовавшейся, с подачи кадетов, «освободительным движением») был в те годы подробно освещен множеством столичных и провинциальных авторов, но почти весь этот массив свидетельств советские историки старались обходить как «обывательский»¹⁶. Дескать, «им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни», как писал «буревестник» Горький.

Сторонник террора как средства, во-первых, перевоспитания народа после захвата революционерами власти и, во-вторых, как способ гарантированно упреждать любые попытки сопротивления, свысока относится к тем, для кого террор – просто лесенка к власти. Уж

он-то знает, как могущественно старое, как оно, не будучи полностью выжжено, быстро пробьется наружу и удушит новое. С первых дней Мировой войны Ленин уже видит тот ход событий, который мог бы открыть шанс перед его скромной по размерам на тот момент партией. 1 ноября 1914 г. он пишет в газете «Социал-демократ», выходившей на русском языке в Женеве (тиражом в несколько сот экземпляров): «Превращение современной империалистской войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг... Социалисты никогда не откажутся от систематической, настойчивой, неуклонной подготовительной работы в этом направлении». И в тот же день в другой статье: «Долой поповски-сентиментальные и глупенькие воздыхания о мире во что бы ни стало! Поднимем знамя гражданской войны!». Когда высказываешь шокирующую мысль, полезно намекнуть, что она давно известна. Ленин ссылается на опыт (провальный) Парижской коммуны 1871 года, на базельский манифест 2-го Интернационала, гласивший, что надо использовать войну, буде она грянет, «для ускорения падения господства капитала». Следующее откровение – там же, некоторое время спустя: «Революция во время войны есть гражданская война, а превращение войны правительств в войну гражданскую, с одной стороны, облегчается военными неудачами ('поражениям') правительств, а с другой стороны, невозможно на деле стремиться к такому превращению, не содействуя тем самым поражению» («О поражении своего правительства в империалистской войне», «Социал-демократ», 26 июля 1915).

В 1915 г. большевики еще были достаточно слабой партией. Работать на поражение своей страны (и на завоевание ее войсками кайзера!) они пока только учились. Но действия их активистов (призывы к поражению своей армии, возбуждение ненависти к правительству, натравливание солдат на офицеров, призывы к неподчинению, склонение солдат к дезертирству, подогревание социальной розни, распространение провокационных и подстрекательских слухов) в любом случае были равнозначны переходу на сторону врага в военное время, сошлось выводы на историка С. В. Волкова, выдающегося знатока вооруженных сил ушедшей России.

Опыт 1905–1907 годов показал, насколько ожесточенные формы «классовая борьба» при умелом ее разжигании может приобрести в деревне. Да, в конечном счете всё решается в столицах и на фронтах, но ведь и там, и там дело могут взять в свои руки крестьяне в шинелях, сравнительно быстро получающие вести из дома. Во время так называемой Первой русской революции (и уже разгоравшейся было гражданской войны) мир с Японией был заключен, к досаде революционеров, слишком рано, летом 1905 года – когда армия еще никак не

успевала стать революционной силой. Но урок управления настроем солдат через вести из родного села был усвоен.

Что происходило на селе в 1905–1907 гг.? Массовые разгромы и грабежи усадеб в масштабах, неслыханных со времен Пугачева. В Европейской России (без Закавказья) было отмечено 21513 крестьянских выступлений, каждое третье выразилось в разгроме дворянской усадьбы¹⁷. Самый высокий процент полностью разоренных усадеб пришелся на Саратовскую, Курскую, Тамбовскую, Черниговскую, Самарскую, Курляндскую и Лифляндскую губернии. Особенно активна была деревенская молодежь.

Многие помнят картину В. Э. Борисова-Мусатова «Призраки» (1903) с почти бестелесной женской фигурой в белом на фоне дивной красоты усадебного дома, венчающего холм. К дому ведет лестница, обставленная белыми скульптурами, словно привидениями. В 1905 году неведомые провокаторы распустили среди местных крестьян слух, что сам царь велел каждому селу «в три дня» ограбить и сжечь ближайшее поместье. Жители Зубриловки с готовностью кинулись исполнять «царскую волю», практически полностью уничтожив усадьбу, помнившую Державина и Крылова. Причем награбленное добро не уцелело: после наведения порядка крестьяне, опасаясь обысков, принялись сжигать свои «трофеи», а всё тяжелое топили в реках и прудах.

Кто были провокаторы, кто распускал слухи, да еще от царского имени? Из полицейских рапортов известно: приезжие из городов, «социалисты». Как мы понимаем сегодня, скорее всего эсэры. Но сочувствовали и другие партии. С трибуны Государственной Думы кадет Михаил Герценштейн, член аграрной комиссии Думы, с юмором говорит об «иллюминациях дворянских усадеб».

Прошло несколько почти спокойных лет, но война вновь сделала ситуацию благоприятной для революционеров. Проявления недовольства горожан на протяжении 30 месяцев Первой мировой, до февраля 1917 года, изучены прилежно, хоть и односторонне. Но почти не изученной осталась та «партизанская война между прессой и властью», которая, как писал без тени раскаяния в своих мемуарах кадет Гессен, «продолжалась с возрастающим ожесточением до самой революции»¹⁸.

Что же касается темы захватов дворянских земель и нападений на усадьбы, эта тема в советские годы была почти табуирована, а в наше время редко выходит за хронологические рамки «черного передела» в российской деревне вслед за большевистским «Декретом о земле». Между тем вести о поджогах усадеб, ставшие после 1907 года достаточно редкими, в ближайшие месяцы после начала Мировой

войны вновь вернулись на страницы газет. Главными зачинщиками беспорядков на селе чем дальше, тем чаще, становились дезертиры.

Дезертирство превратилось в бедствие из-за крайне мягкого наказания за это воинское преступление¹⁹.

Дезертиром считался солдат, отсутствующий в части до шести (до трех в военное время) дней, но при этом состоящий на службе более трех месяцев. Тот же, кто трех месяцев еще не отслужил, имел «в запасе» 7 дней. Вдобавок, полноценное наказание дезертира ждало лишь по окончании войны, которое (в этом были убеждены все) непременно будет ознаменовано широкой императорской амнистией. В ходе же войны большую часть дезертиров попросту отправляли обратно на фронт, даже не всегда под конвоем. Лишь за год до Февральского переворота были введены суровые (вплоть до расстрела) кары за дезертирство, но и те остались по большей части на бумаге.

Слухи, что царь готовит отмену дворянского землевладения и вся земля станет крестьянской, возникли вскоре после массовых мобилизаций и начала боёв на западных границах империи. Возникли, скорее всего, стихийно. «Крестьянство почти сразу осознало весь размер и размах начавшейся войны; основание на земельные претензии было заложено лейтмотивом защиты Отечества всеми крестьянами страны»²⁰.

Антигосударственные агитаторы поддерживали подобные слухи в уверенности, что эти надежды рухнут, и чем крепче настроить крестьян на земельную реформу в их пользу, тем сильнее они озлятся потом. Добавлялись тревожные подробности, а солдаты повторяли их в письмах домой: царь де решил распределить между крестьянами строго по справедливости земли помещиков, купцов, «немцев» (людей с немецкими фамилиями), а также казенные земли, но его отговаривают жена-немка и генералы Ренненкампф и Эверт. Так что может ничего и не перепасть. А Эверт, говорят, улетел на аэроплане в Германию.

Будоражили деревню и загадочные городские провокаторы. 10 мая 1915 г. начальник Тульского губернского жандармского управления сообщил в Департамент полиции: «В последнее время по губернии замечено, что из городских центров ездят разные люди с целью антиправительственной пропаганды между сельским населением». Неведомые агитаторы, солдаты в отпуске и дезертиры всё чаще начали внушать примерно следующее: члены семей воинов вправе бесплатно пользоваться помещичьей собственностью, особенно если помещик и его семья отсутствуют в деревне, живя где-то в городе. В этом случае помещичью землю следует признать «свободной». Но даже если помещик и его сыновья тоже на фронте, их служба легче – они офицеры, а крестьяне рядовые. Из чего делался «вывод о правовой

вынужденности погромов и поджогов купеческих складов и дворянских усадеб»²¹. Что и происходило, приобретая порой загадочный характер. В июле 1915 г. газеты сообщали, что в Березине (Мозырский уезд) опустошительный пожар истребил 587 строений. «По аналогии с бывшими в течение предшествующих двух недель пожарами от поджогов, приписывают и этот огромный пожар поджогу, причины которого дознание, однако, пока не выяснило». Каков был смысл уничтожать то, что можно присвоить, неясно. Возможно, это делалось в попытке раз и навсегда выкурить помещика (или помещиков), чтобы возвращаться им было просто некуда.

Слухи, царившие на селе в военные годы, были не без оттенков. Мол, после победы георгиевские кавалеры получают земли «вдвое» против остальных, но получают все. Или: помещики тоже получают землю, но в Сибири, и тоже «вдвое» против того, что у них было. Народ в этих слухах выделял главное (землю у помещиков отберут в любом случае) и привыкал к этой мысли. Зато, если победит Вильгельм, он вернет всех крестьян обратно в крепостное состояние, поэтому сражаться надо что есть силы. Селян возмущало продолжавшееся выделение «отрубов» для тех крестьян, что решили выйти из общины. Почти смирившись с этим в мирное время, теперь они срывали землемерные работы, утверждая, что «выделенцы» нечестно пытаются получить лучшие земли в то время, когда половина общинников на фронте. На землемеров нападали даже толпы женщин. Чтобы снизить напряжение на селе, Главное управление землеустройства и земледелия в июне 1915 г. сочло за благо отложить процесс до конца войны.

Этот шаг был отступлением власти, крестьянство поняло, что может успешно давить на нее. Крестьяне-арендаторы стали массово отказываться продлевать аренду земли: зачем платить за аренду того, что завтра станет твоим. Те землевладельцы, для которых арендная плата была главным источником существования, стали продавать землю за полцены – в основном тем же крестьянам. И всё это на тревожном фоне вестей о пожарах и разгромах имений то там, то здесь. Известный журналист записывает в дневник в июле 1917-го: «Разжигание с.-ров сделало свое дело – вся страна пылает аграрными беспорядками, беспощадными, такими, каких не знали в 1905-1906 гг. В Рязанской губ. мужичье движется целыми таборами, оставляя за собой пепел помещичьих усадеб»²².

Даже в маленьком селе хоть кто-то да выписывал газету; оппозиционные статьи и речи вызывали полное доверие – в этом глубокий тыл не расходился с передовой, что подтверждают письма из окопов домой и обратно. Ход военных действий село оценивало мрачно,

независимо от объективного положения дел. Российское крестьянство, невротизированное двумя с половиной годами потерь, ожиданий, обещаний, разочарований, тягот, слухов и всё никак не сбывающихся надежд, к февралю 1917 года уже, вероятно, не согласилось бы на меньшее, чем коренной земельный «передел» (от слова «переделить», т. е. поделить заново) в свою пользу. Идея «мы это заслужили своими жертвами» засела в массовом сознании, а у солдат на передовой появился страх не поспеть к переделу. Более мощный побудительный мотив покинуть фронт и прибыть в родные места с винтовкой и вещмешком патронов трудно себе представить.

Еще один опасный для народного спокойствия слух звучал так: землю после победы будут раздавать общинам, столыпинскую реформу отменят, а у «отрубников» и хуторян всё отнимут. Половину крестьян в шинелях начали, с одной стороны, терзать опасения, что их землю могут отобрать наряду с помещичьей, а с другой – греть надежды, что при всеобщем переделе у них есть законный и справедливый шанс увеличить уже полученный надел. Их теперь тянуло домой даже сильнее, чем солдат из крестьян-общинников. Агитация и слухи достигли цели, село было расколото, и каждая половина готова биться за «свое». Или вместе против внешней силы. Речь, хочу напомнить, о 80 процентах населения страны.

Между тем ни у кого не пришлось бы ничего отнимать, казенные земли состояли не только из лесов и неудобий (как уверяли злопыхатели), они включали миллионы десятин пригодной под пашню земли, и вчерашние фронтовики счастливы были бы получить ее бесплатно. После свержения царя вместе с надеждой на победу растаяла и надежда на победные призы. Победа всё окрашивает в иные цвета. «То, что мы застали в России, – это то, к чему шла Англия в 1918 году»²³. К счастью для Англии, она до этого не дошла. Россия же по вине всего нескольких человек дошла. А счастье было так возможно.

Всего за полгода до Октябрьского переворота Ленин мысленно примерял для России идеал Парижской коммуны (он питал к ней большую нежность). Как известно, немцы в марте 1871 года, разбив французскую армию, вошли в Париж. Но всего на три дня: Франция сдалась и немцы удалились. После чего, с точки зрения Ленина, началось главное: власть в столице взяло революционное правительство, та самая Парижская коммуна. Пример показался Ленину соблазнительным. В работе «О карикатуре на марксизм» он писал осенью 1916 года: «Допустим, немцы возьмут даже Париж и Петербург. Изменится от этого характер данной войны? Нисколько. Целью немцев и – это еще важнее: осуществимой политикой при победе немцев – будет тогда отнятие колоний, господство в Турции, отнятие чуженациональных

областей, например, Польши и т. п., но вовсе не установление чуженационального гнета над французами или русскими». Оставим эти грёзы пораженца без комментариев. События повернули иначе, однако со своим идеалом Ленин не расстался.

Падение монархии стало большим сюрпризом для Ленина, но сразу по прибытии в Россию вопрос о необходимости гражданской войны и террора стал подниматься им снова и снова. В «Докладе о текущем моменте» 7 мая 1917 года он говорит о будущем устройстве власти Советов в России: «Это будет именно государство типа Парижской Коммуны. Такая власть является диктатурой, т. е. опирается не на закон, не на формальную волю большинства, а прямо непосредственно на насилие. Насилие – орудие силы». Путь к такому устройству лежал через вооруженное подавление и/или истребление всех несогласных. То есть через гражданскую войну. Которая к этому времени уже не тлела, а полыхала, но вело ее еще не государство. Временное правительство не было стороной в Гражданской войне.

В том же мае 1917 года «отмечены» (т. е. стали известными) 152 «стихийных» захвата крестьянами частнособственнических земель, в июле – 387, в августе – 440, в сентябре (вопреки разгару полевых работ!) – 958. Сплошь и рядом с погромами, захватами и разграблением имений. С каждой неделей всё более частыми становились убийства. В августе 1917 года газеты писали о кровавой расправе над владельцем образцового хозяйства Лотарёво в Усманском уезде Тамбовской губернии князем Борисом Вяземским, 33-летним историком, благотворителем, орнитологом, фенологом, дендрологом, коллекционером. Продолжая добрые дела своего отца, он сделал много полезного для окрестного населения и для всего своего уезда, построив среди прочего железобетонный мост (новшество для того времени) через реку Байгору, электростанцию, сельскую школу. В соседней деревне Вяземские бесплатно для крестьян заменили их деревянные избы домами из красного кирпича под железной крышей, многие стоят до сих пор. Имение Лотарёво было полностью разгромлено, а сам Борис Вяземский убит озверевшей толпой, в которой коноводили дезертиры. «Человек, которым должна была бы гордиться новая (т. е. послефевральская. – С. Г.) Россия!» – писал, узнав о его гибели, С. М. Волконский.

О каких-то расправах стало известно благодаря общероссийским газетам, сообщения о других затерялись в газетах губернских. На усмирение посылались казаки и команды Георгиевских кавалеров (как заведомых людей чести). В ноябре 1917 года исчез и этот сдерживающий фактор.

Все революции похожи. Французская чернь конца XVIII века

точно так же убивала дворян да еще под веселую песенку «Ah! ça ira, ça ira, ça ira! Les aristocrates à la lanterne!» («Эх, пойдут, пойдут дела! На фонарь аристократов!»). Тамбовские убийцы, кажется, обошлись без песен. Захваты и расправы исчислялись сотнями и сотнями. Активистов и заводил подобных вакханалий на селе и в городе хватывал, согласно ряду свидетельств, коллективный психоз, род извращенного (квази)мессианского опьянения, «без которого советский режим ни за что не осуществил бы тех социальных преобразований и того массового насилия, которые сопровождали его деятельность с самого начала»²⁴.

Историк Владимир Булдаков в монографии «Красная смута. Природа и последствия революционного насилия» (М., 2010) на множестве примеров показал, что события «Красной смуты» 1917–1922 гг. исчерпывающе объясняются психоисторическим состоянием масс – явлением, неизбежно возникающим в ходе любой гражданской войны и не поддающимся регулированию. Организаторы российской Гражданской войны, возможно, не догадывались об этом ее свойстве. Булдаков показывает также, что «смута иссякла только в связи с усталостью от взаимоистребления».

Гражданская война – это прежде всего загубленные человеческие жизни. Известны страшные цифры жертв террора (погибших не в бою, не от голода, испанки или тифа): от красного террора – 1,2 млн человек, от белого – 0,3 млн, от «зеленого» (разных Махно и Григорьевых) – 0,5 млн, а всего 2 миллиона душ²⁵. Много реже среди трагедий этого времени вспоминают разгром и уничтожение, частичное или полное, тысяч дворянских усадеб – вместе с предметами искусства, документами и иными культурными ценностями, бывшими в собственности последних владельцев.

До недавнего времени общим местом было утверждение, что вдохновителями разгромов «дворянских гнезд» были эсеры. Но работы последних лет показывают: разгром усадеб – во многом результат провокационной деятельности большевиков²⁶. Как тут не вспомнить слова восторженного олуха А. В. Луначарского: «Это большая удача для русского народа, что после социальной революции власть захватила такая культурная партия, как большевики»²⁷. Именно большевики в борьбе с эсерами за власть и влияние в массах призывали к незаконному самодетельному захвату земли и усадеб. Впрочем, они до известного момента это и не скрывали. Н. И. Бухарин в брошюре «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз» (1925) похвалялся, что, вопреки эсерам, твердившим, будто нельзя «выкуривать помещика без особого закона из его помещичьих имений», и пугавшим резней и земельным хаосом, «который должен возникнуть, если крестьяне

‘самочинно’ будут забирать эту землю, выгонять помещиков, расправляться с ними так, как они этого заслужили... наша партия вела энергичнейшую работу по разъяснению крестьянам всей необходимости разгрома помещика». Были, конечно, и «внепартийные» разгромы.

По свидетельствам современников, доля разоренных в Гражданскую войну усадеб – разграбленных, а затем и сожженных (второе часто следовало за первым) приближалась к трем четвертям их общего количества. Остальные добивали в следующие десятилетия. Эта чаша не миновала Михайловское, Тригорское и другие места, связанные с именем Пушкина и с именами других деятелей российской истории и культуры. Малочисленные (порядка шестидесяти) музеи-усадьбы наших дней – как правило, просто копии и новоделы.

Специалист по охране памятников И. В. Краснобаев пишет: «К 2000 году в России уцелело, по разным источникам, от 5 до 10% дворянских усадеб из числа существовавших до 1917 года, то есть не более 8 тысяч»²⁸. Слово «уцелело» не должно вводить в заблуждение: уцелело почти исключительно в виде руин, в лучшем случае – в виде второстепенных хозяйственных построек и наполовину вырубленных и одичавших парков. Действительно уцелевшее – редчайшие исключения.

Размеры этой культурной катастрофы до сих пор плохо осмыслены. Просто потому, что не укладываются в сознание. Исчезновение важнейшей части национального наследия – памятников архитектуры, картин, скульптуры, рукописей (в том числе мемуарных), предметов старины, библиотек, коллекций, личных архивов и иных ценностей, порой совершенно уникальных, навсегда останется одной из главных утрат России. Эта утрата – еще одно следствие сознательного курса большевиков.

Настояв на заседании ЦК РСДРП(б) 23 октября 1917 г. на срочной необходимости насильственного захвата власти (потому что «ждать до Учредительного Собрания, которое явно будет не с нами, бессмысленно»), Ленин тем самым отсек возможность затухания Гражданской войны, такой шанс был.

В литературе всё еще можно встретить утверждение: «Гражданскую войну устроили белые». На это хорошо ответил публицист Егор Холмогоров, просто процитирую его. «Первым актом Гражданской войны в России стал насильственный захват большевиками власти в Петрограде и Москве, сопровождавшийся артобстрелом Кремля. Что, все граждане бывшей Российской империи должны были подчиниться этой узурпации на том основании, что какой-то съезд каких-то советов объявил о переходе власти в руки некоего совнаркома?»

Перечислим наиболее явные шаги к осуществлению ленинской идеи «диктатуры с опорой на насилие», сделавшие Гражданскую войну неизбежной. Декрет Совнаркома, принятый всего через 10 дней после Октябрьского переворота, уже содержал требование ареста и «революционного суда народа» над всеми, кто «вредит народному делу» (решать, что такое «народное дело» и кто ему вредит, будут сами большевики). Со «Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем» тоже не мешкали: она была создана через месяц после захвата власти, 7 декабря 1917 года. Двумя днями раньше Ленин, юрист по образованию, росчерком пера отменил Свод законов Российской империи. И еще одна важная подробность: в РККА добровольцев брали с 16 лет, а в ЧОНЫ, карательные «части особого назначения», — с 14 (правда, красные кхмеры в Камбодже Пол Пота набирали в свои отряды 12-летних).

Справедливость требует признать: стихийную Гражданскую войну начали не большевики, а либералы, начали 2 марта 1917 года. Либералы ее не хотели и не планировали, но в силу специфической самоуверенности и специфической ограниченности, маргинальности образованных людей имели очень приблизительные представления о собственной стране. Эти представления оказались роковыми. Ленин же гражданскую войну планировал, он сделал всё для того, чтобы не дать ей утихнуть и, увы, преуспел в этом. Белые Гражданскую войну проиграли, но своим пятилетним сопротивлением спасли честь России.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА РОССИИ ИЗ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Нельзя сказать, что отечественные историки совсем уж чужаются темы последствий досрочного выхода России из Первой мировой войны для остальных ее участников. Не чужаются, но затрагивают как-то по касательной. Упоминают об «утраченной победе», но тоже не слишком углубляясь, хотя наследники советской исторической школы непрочь напомнить, что интересы России были «цинично преданы забвению» в Версальском договоре 1919 года, редко упоминая при этом, что большевики сами провозгласили отказ от любых аннексий и контрибуций.

Не выйди Россия из войны, Первая мировая закончилась бы победой Антанты гораздо раньше и уже поэтому обошлась бы куда меньшим числом жертв. Чувство глубокой обиды и досады бывших союзников из-за миллиона или двух (кто подсчитает?) молодых жизней, оборванных из-за затяжки войны минимум на лишний год легко понять. Французы, бывшие в наиболее угрожаемом положении, даже называли Россию «дезертиром».

Можно возразить: зато были спасены от гибели и увечий сотни тысяч российских солдат, избавленных от участия в заключительной фазе мировой бойни. Увы, этот довод ущербен. Российская победа в составе Антанты исключала чудовищную Гражданскую войну с ее неизмеримо более обильными жертвами. «Спасенные», вместе с сотнями тысяч и даже миллионами других людей, были в реальности вовлечены в пятилетнее братоубийство, неизбежное после двух переворотов 1917 года и высвобождения бесов социального реванша.

В Статье № 116 Версальского договора говорилось о праве России (видимо, некоей виртуальной России) на получение с Германии репараций и реституций. Насколько известно, попыток имплементации этого положения не было.

Была еще одна обида на Россию – из-за отказа большевиков платить по долгам старого режима. Клемансо в дни Версальской конференции напомнил: «Франция инвестировала в Россию около двадцати миллиардов франков, две трети этой суммы были вложены в ценные бумаги русского правительства, а остальное – в промышленные предприятия». Он утверждал, что Россия своим «предательством в Брест-Литовске» сама лишила себя прав державы-победительницы.

Но эти и подобные чувства почти не коснулись русской армии как таковой. Западные лидеры после 1918 года обычно высоко оценивали ее военные усилия. Двадцать лет спустя после завершения войны Ллойд Джордж писал: «Если бы не жертвы России в 1914 году, немецкие войска не только захватили бы Париж, но их гарнизоны и по сей день стояли бы в Бельгии и Франции». Такие оценки поначалу преобладали и среди профессиональных историков Запада, но с годами на них стали всё больше влиять сочинения советских историков-марксистов про «бездарных царских генералов». Общеизвестны высокие похвалы в адрес русской армии Уинстона Черчилля, можно их не повторять.

Один из параграфов Статьи № 116 Версальского договора, который подвел черту под Первой мировой, обязывал Германию признать как независимость всех новых государств на землях, входивших в состав Российской империи к 1 августа 1914 года, так и недействительность Брестского мира 1918 года, равно как и прочих договоров, заключенных ею с большевиками. Следующая, Статья № 117 обязывала Германию признать все договоры и соглашения союзных и присоединившихся держав с государствами, которые «образовались или образуются на всей или на части территорий бывшей Российской империи». Заметьте: «или образуются»! В этих словах – месть Версаля России, приглашение к ее дальнейшему разделу. Германия, разумеется, признала независимость всех новых государств на «бывших россий-

ских землях». То же сделали другие подписанты Версальского договора. Кроме США. Причин было несколько. Историк, в прошлом депутат Госдумы и член российской делегации в ПАСЕ Александр Фоменко напомнил об этом в статье «Американская защита»²⁹.

Пока в России шла Гражданская война, вплоть до лета до 1922 года, США оставались тверды как в непризнании правительства большевиков, так и в вопросе территориальной целостности России. Госсекретарь Бэйнбридж Колби пояснял: «Правительство не считает полезными какие-либо решения, предложенные какой-либо международной конференцией, если они предполагают признание в качестве независимых государств тех или иных группировок, обладающих той или иной степенью контроля над территориями, являвшимися частью Императорской России, так как это может нанести ущерб будущему России и прочному международному миру... США сохраняют неослабевающую веру в русский народ, в его благородный нрав и в его будущее». США признали Финляндию, т. к. она обладала правосубъектностью уже в составе Империи. Независимость Армении (не имевшей даже границ), была признана в надежде, что только это создаст ей защиту международного права. «Польский же вопрос (продолжает А. В. Фоменко) вообще относился к числу 'гуманитарных легенд' западной дипломатии. Т. к. по итогам войны перестали существовать все три империи, когда-то поделившие Речь Посполитую, Вашингтон признал воссоединенную Польшу». Но США не поддержали решение Высшего совета союзников в Париже признать Грузию и Азербайджан и около пяти лет противились признанию прибалтийских государств. Признание состоялось 25 июля 1922 г. со специальным разъяснением: «США последовательно настаивали, что расстроенное состояние русских дел не может служить основанием для отчуждения русских территорий, и этот принцип не считается нарушенным из-за признания в данное время правительств Эстонии, Латвии и Литвы, которые были учреждены и поддерживаются туземным населением». Госдеп США до последнего надеялся на послереволюционное восстановление исторической России.

Звучат утверждения, что в ходе российской Гражданской войны вчерашние союзники пытались урвать куски распадавшейся России. Ни одно из них так и не доказано, хотя их происхождение понятно. Как мы помним, после заключения 3 марта 1918 года Брестского мира Антанта заявила о его непризнании, но, опасаясь окончательно толкнуть Россию в объятия немцев, вела себя крайне осмотрительно, возникали странные комбинации. Одна из них освещена достаточно подробно. Бакинский совнарком, считавший Баку и весь Апшерон-

ский полуостров частью РСФСР (с чем была согласна Германия!), 25 июля 1918 г. в связи с угрозой городу со стороны союзной немцам турецкой армии приглашает в Баку английский контингент из Персии; правда, сам в последний момент сдает власть оппозиции и пытается бежать в Астрахань. Англичане в количестве 900 человек вместе с «Диктатурой Центрокаспия» (12-тысячное войско и военная флотилия) защищали город до 14 сентября, после чего были вынуждены одновременно снять оборону и удалиться.

Другой пример менее известен. 10-12 мая 1918 г. на мурманском Севере большевики вместе с матросами английской эскадры контр-адмирала Т. У. Кемпа отразили попытку финского «шюцкора» (нерегулярное войско) отторгнуть Печенгу. Англичане не стремились что-то захватить в этих краях, но опасались, что огромное количество военных грузов, поставленных союзниками и скопившихся здесь, достанется немцам, наводнившим соседнюю Финляндию и легко переходившим границу. Парадоксальное сотрудничество длилось не менее двух месяцев, но постепенно англичане оказались перед выбором: иметь дело с местными белыми или местными красными. Но РСФСР и Германия, согласно тексту Брестского мира, «решили впредь жить между собой в мире и дружбе», а белые, как и англичане, воевали с немцами. Восстание Чехословацкого корпуса на Урале аукнулось на Севере. Поначалу считалось, что Корпус будет эвакуироваться через Мурманск и Архангельск, чтобы попасть на передовую против немцев как можно скорее. Чтобы обезопасить эту эвакуацию, англичане высадили в Архангельске в августе 1918 г. двухтысячное соединение, но Чехословацкий корпус изменил маршрут, направившись во Владивосток. Большевики хотели помешать вывозу и утилизации английской военной собственности (оставшейся неоплаченной). Начались столкновения, постепенная эскалация которых именуется иностранной военной интервенцией на Севере России. В сентябре 1919 г., в основном выполнив задачу по вывозу и утилизации своей военной собственности, англичане отбыли восвояси. Они не пытались отнять кусок русской территории (в отличие от «шюцкоровцев»), угнать или ограбить жителей, они появились на русском Севере не как помощники белых, хотя ситуативно ими стали.

Были ли попытки отъема частей российской территории на Дальнем Востоке? Была одна. Японцы оккупировали Северный Сахалин и нехотя убрались оттуда лишь в 1925 году. Да еще несколько канадских авантюристов пытались захватить остров Врангеля, вели там промысел, поднимали канадский и британский флаги, но это был их частный почин. Они были счастливы, когда их в 1924 г. вывезли во Владивосток и оттуда препроводили домой.

Военных попыток свергнуть большевиков тоже не было, отмечено участие иностранцев в разного рода заговорах, но подобное старо как мир. Иностранная поддержка антибольшевистского сопротивления была крайне скромной и только в обмен на золото. Некоторые историки торжествующе именуют соглашение союзников от 23 декабря 1917 года о зонах своей ответственности на юге России планом ее раздела. В зону Великобритании вошли Кавказ и казачьи области, в зону Франции – Бессарабия, Украина и Крым; Сибирь и Дальний Восток рассматривались как зона ответственности США и Японии. Это не был план раздела. Отпадение важнейшего союзника в условиях Мировой войны требовало от стран Антанты иметь готовые планы реагирования, привязанные к определенным регионам. С завершением Мировой войны эти зоны были забыты. В советских учебниках писали также про «поход 14 держав» против советской власти, но список «держав» никогда не приводился.

УЖЕ НЕ ИСПРАВИТЬ

Вернемся к первой из роковых дат. Прямыми выгодополучателями от падения монархии стали февральские заговорщики, либералы Прогрессивного блока, но ненадолго. Случившимся радостно воспользовались социалистические и сепаратистские партии, никак не участвовавшие в свержении царя. Они быстро затоптали либералов, в чьи умные головы такой сценарий явно не приходил, и стали проводить в жизнь свои представления о правильном и справедливом.

Сумятица в умах простого народа, вызванная отречением царя 2 марта 1917 года, имела мало равных в истории России. «Вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь» (Иван Бунин). Последствия этого обрыва оказались чудовищны. Главное, что упустили в своих расчетах готовившие февральский переворот мудрецы, равно как и те, кто поначалу возрадовались перевороту, было высвобождение негативной энергии масс, дотоле подавляемой, как и везде, самим устройством жизни. Поразительно наивными оказались и «властители дум». Чего стоят, например, восторженные идиотизмы Бальмонта: «Я хочу горящих зданий, / Я хочу кричащих бурь!... / Я хочу кинжальных слов, / И предсмертных восклицаний!». Бунин в «Автобиографических заметках» вспоминает, как Леонид Андреев, «изголодавшийся во всяческом пафосе, писал...: ‘Либо победит революция и социалы, либо квашеная конституционная капуста. Если революция, то это будет нечто умопомрачительно радостное, великое, небывалое, не только новая Россия, но новая земля!’». Нечто умопомрачительно радостное не замедлило последовать.

Остался последний вопрос. Допустив ниспровержение монар-

хии, можно ли было не допустить большевистский переворот? Отматывая ленту назад, ясно видишь ряд исторических развилок, спасительно уведивших от него. Есть вещи, о которых невозможно размышлять без закипания крови, но надо сделать над собой усилие и поставить себя на место людей 1917 года. Будь у них возможность заглянуть в будущее, они действовали бы иначе – почти все, независимо от того, на чьей стороне они были в роковой миг.

Это сегодня понятно, как следовало действовать патриотам Отечества в ответ на начало захвата ленинцами стратегических точек столицы (во время войны!). Рабочая «красная гвардия» в военном отношении представляла из себя ноль, немногим опаснее были дезертиры, некоторую силу представляли собой «революционные» матросы, но не против офицерских команд Петрограда. Эти команды должны были окружить гнезда большевиков, хорошо известные, подкатить пушки и броневики и, не считаясь с жертвами и ущербом для зодчества, разнести в щепы штаб большевистского вооруженного восстания (правда, без В. И. Ленина, благоразумно отсиживавшегося на Сердобольской улице). Примерно такой план предлагал Керенскому генерал М. В. Алексеев. Никто не отменял статью 108 «О вооруженном мятеже с целью свержения законной власти» Уложения об уголовных преступлениях и пресечение такого мятежа любыми средствами было бы абсолютно законным актом. Мемориал жертв «реакционной военщины» сегодня посещали бы туристы, как они посещают памятник коммунарам в Париже, но Россия избежала бы самых страшных событий своей истории. Миллионы несчастных не были бы убиты выстрелом в затылок в расстрельных подвалах ЧК и на «полигонах», не были бы утоплены на баржах, не были бы взяты в заложники и затем расстреляны из пулеметов, замучены в концлагерях и на гиблых рудниках, в тундре и глухих поселениях, закопаны в вечной мерзлоте. Мы не узнавали бы, холодея от ужаса, как срезали под корень историческую Россию с ее аристократией, казачеством, купечеством, промышленниками, духовенством, крестьянством, земством, дворянскими гнездами, монастырями, уникальным асимметричным устройством, Серебряным веком, самыми высокими в мире темпами развития, не стала бы тяжелым инвалидом российская интеллигенция. Мы жили бы сегодня в процветающей многолюдной стране.

Это понятно сегодня, но не могло быть понятно тогда. Русские военные не хотели начинать братоубийственную войну. Заяви большевики честно и сразу, что намерены умертвить миллионы соотечественников, разрушить душу и нравственность народа, превратить страну в ад на земле, военные действовали бы иначе. Однако в те дни

многие рассуждали так: одного «временного» социалиста, притом крайне надоевшего, сменит другой. Тревожно, конечно, – но ведь это только до Учредительного Собрания. Подготовка к выборам идет вовсю, так стоит ли стрелять в своих?

Но и большевики тогда еще не планировали массовые убийства и колымские лагеря. Они ждали, что народ под их руководством дружно переделает неправильный старый мир в правильный новый, коммунистический – мир без денег и собственности, мир учета и контроля, распределения и счастья. А «материал» сопротивлялся утопии, придуманной далеко от России. Из тысяч и тысяч красных активистов 1917 года и Гражданской войны (в советское время про таких придумали говорить: «Они делали революцию») немногие умерли своей смертью. Подавляющее большинство получили в подвалах и на «полигонах» пулю в затылок от своих же, а затем пуля досталась и этим «своим».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. А. Н. Боханов, М. М. Горинов, В. П. Дмитриенко. История России. Т. 3. XX век. – М., 1996.
2. Архив истории труда в России. Кн. 9. – Пг., 1923. С. 135.
3. На путях к дворцовому перевороту // «Тerra Humana». – 2007, № 4.
4. М. В. Новорусский. Из размышлений в Шлиссельбурге // «Минувшие годы», № 3, 1908.
5. К. И. Глобачев. Правда о русской революции: Воспоминания бывшего начальника Петроградского охранного отделения. – М., 2009.
6. «Русские ведомости», 27 сентября 1915.
7. Гибель царского Петрограда // «Русское прошлое». – Л., 1991. № 1.
8. Д. О. Заславский, В. А. Канторович. Хроника февральской революции. Т. 1. 1917 г. Февраль – май. – Пг., 1924.
9. «Родина». № 11, ноябрь 2016.
10. Н. Н. Головин. Россия в Первой мировой войне. – М., 2014.
11. Дэвид Кан. Взломщики кодов. – М., 2000.
12. Krumeich G. Die 101 wichtigsten Fragen: Der erste Weltkrieg. – München, 2015.
13. Д. Зиберт. Карта из приложении к Брест-Литовскому мирному договору: причины неопубликования и ошибки в интерпретации текста документа в немецкоязычной историографии // Журн. Белорус. гос. ун-та. История. 2018. № 2. Сс. 47–56. <http://elibrary.bsu.by/bitstream/123456789/201315/1/47-56.pdf>
14. А. А. Гольденвейзер. Из киевских воспоминаний // Архив русской революции. Т. 6 – Берлин, 1922; Репринт: М., 1991.
15. Русско-германский дополнительный договор к Мирному договору между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой: https://histdoc.net/history/ru/dobavochnyi_dogovor_1918.htm

16. См., например: «В дни освободительного движения», подзаголовок «Из дневника обывателя города Омска» // Томск, 1911. <http://library6.com/books/763002.pdf>
17. *В. Г. Тюкавкин, Э. М. Щагин*. Крестьянство в период трех революций. – М., 1987.
18. *И. В. Гессен*. В двух веках. // Архив русской революции. Т. XXII. – Берлин, 1937. с. 337; репринт: М., 1993.
19. *Пол Симмонс*. Борьба с дезертирством и добровольной сдачей в плен в Русской армии в годы Первой мировой войны // Сб. «Величие и язвы Российской Империи». – М., 2012.
20. *М. В. Оськин*. Крестьянство Центральной России в годы Первой мировой войны. 1914 – февраль 1917 // Известия Саратовского университета. Новая серия. Т. 15. Вып. 3.
21. *М. В. Оськин*. Указ. соч.
22. *В. А. Амфитеатров-Кадашев*. Страницы из дневника // «Минувшее». Исторический альманах, вып. 20. М. – СПб, 1996. Сс. 487-488.
23. *Герберт Уэллс*. Россия во мгле. <https://www.e-reading.club/book.php?book=59157>
24. *Мартин Малиа*. Анналы зла // «The New Republic», США; рус. пер. на сайте ИноСМИ.ру от 27.12.2004.
25. *В. В. Эрлихман*. Потери народонаселения в XX веке. Справочник. – М., 2004.
26. *Л. В. Рассказова*. Разгром дворянских усадеб (1917–1919) // Общество. Среда. Развитие. 2010. № 2/15.
27. Цит. по: *Н. П. Анциферов*. Из дум о былом. – М., 1992. С. 407.
28. *Иван Краснобаев*. Русские усадьбы в начале XXI века // «Новый Журнал». 2013. № 271.
29. «Московские новости» от 20.04.2007.

Елена Кулен

Толстовский Фонд в Германии

*Толстовский Фонд в послевоенном Мюнхене и его роль
в оказании гуманитарной помощи русским ДиПи. 1947–1956*

«Кто спасает одну жизнь – спасает целый мир.»

Мишина, Сангедрин, 4:5

Толстовский Фонд, основанный Александрой Львовной Толстой, младшей дочерью Льва Толстого, в 1939 году в Нью-Йорке, начал свою обширную деятельность по оказанию помощи русским «перемещенным лицам» в Мюнхене лишь с осени 1947 года. До этого момента не имелось ни одной частной благотворительной организации, кроме УНРРА (UNRRA – United Nation Relief and Rehabilitation Administration) и ИРО (International Refugee Organization), которые бы целенаправленно заботились о русских православных ДиПи (Displaced Persons).

Русские православные ДиПи составляли внушительную по численности группу среди многомиллионных «перемещенных лиц» в Германии, различных по своему национальному и конфессиональному многообразию. По предварительным статистическим подсчетам УНРРА в 1944 году союзники предполагали обнаружить на территории Третьего рейха около 11,3 млн лиц, перемещенных в ходе войны, которым должна была быть предоставлена помощь¹. «Общая численность ДиПи (иностранцев принудительных рабочих, военнопленных, гражданских беженцев) на момент подписания капитуляции Германии 8 мая 1945 года составляла 13 500 000 человек.»² Из них «6,5 – 7 млн ДиПи»³ находились в западных оккупационных зонах. «Среди ДиПи и иностранцев беженцев были представители 20 национальностей»⁴.

После окончания Второй мировой войны опеку над «перемещенными лицами» взяли на себя международные организации ООН – УНРРА (с 9.11.1943 по 30.06.1947) и ИРО (1.07.1947 – 1951), последовательно сменявшие друг друга. Обширная работа этих организаций по оказанию помощи ДиПи не была бы такой успешной без действенной поддержки частных благотворительных обществ и фондов.

«Число частных инициатив достигло с мая 1945 года по 1951 год около 90 организаций, которые работали в сотрудничестве с ИРО, из них 25 частных организаций разместили свои филиалы в послевоенное время в Германии, Австрии, Италии.»⁵

Эта помощь оказывалась конфессиональными организациями или частными благотворительными обществами, направленная на поддержку отдельных национальных и конфессиональных групп ДиПи. Помощь оказывалась выборочно и была предоставлена в виде регулярных поставок продовольствия, одежды, медикаментов, учебников для школ в лагерях ДиПи, а также предоставлялась консультативно-правовая поддержка по организации выезда перемещенных лиц из лагерей Германии и Австрии в другие страны.

Вот лишь отдельные примеры организаций, предоставивших помощь иностранным беженцам и ДиПи разных национальностей в лагерях и вне их в послевоенное время в Германии, Австрии, Италии:*

1. Католическая Церковь:

«Помощь Ватикана беженцам» в Риме (Vatikanische Hilfsarbeit für Flüchtlinge)

«Бюро эмиграции Ватикана» в Риме (Vatikanisches Auswanderungsbüro)

«Интернациональная благотворительность» в Люцерне (Caritas International)

«Служба помощи во время и после войны» в Нью-Йорке (War Relief Services (агентство National Catholic Welfare Conference / NCWC))

2. Протестантские сообщества:

Экуменический Совет церквей в Женеве (*World Council of Churches, WCC*)

«Лютеранское Мировое сообщество» в Женеве (Lutherischer Weltbund)

Всемирная служба Церквей в Нью-Йорке (Church World Service, CWS)

ИМКА в Женеве (Young Men's Christian Association, YMCA)

3. Еврейские организации гуманитарной помощи:

«Сионистское движение» в Иерусалиме (Zionistische Bewegung)

«Еврейский Мировой конгресс» в Женеве / Нью-Йорке (Jüdischer Weltkongress)

«Еврейское общество помощи иммигрантам» в Нью-Йорке (HIAS – Hebrew Immigrant Aid Society / jüdische Hilfsgesellschaft für Einwanderungsfragen)

* Названия указанных благотворительных организаций взяты из архивного источника Баварского министерства по делам беженцев от 1950 года. (Е. К.)

«Еврейское общество по защите детей, здоровья и гигиене» в Женеве – Париже (OSE, jüdische Hilfsgesellschaft für Kinderschutz, Gesundheitsdienst und Hygiene)

«Сообщество помощи по трудоустройству евреев» в Женеве (ORT, Organization for Rehabilitation through Training)

«Американский комитет помощи евреям» в Нью Йорке (JOINT – American Jewish Joint Distribution Committee)

«Центральный Комитет помощи освобожденным евреям в Баварии», Мюнхен (Zentralkomitee der befreiten Juden in Bayern)

«Американо-еврейская организация по оказанию помощи эмиграции в Палестину» в Мюнхене (HIAS, JDC).

4. Благотворительная Организация помощи квакеров «Религиозное общество Друзей»:

«Сервис Религиозного общества Друзей» в Лондоне (Friend's Relief Service)

«Американское Религиозное общество друзей» в Филадельфии, США (American Friend's Service)

«Медицинский сервис Религиозного общества друзей» в Лондоне (Friend's Ambulance Unit)

5. Международный Красный Крест (Internationales Rotes Kreuz):

Международный Красный Крест, МКК в Женеве (Internationales Komitee vom Roten Kreuz)

«Лига сообществ Красного Креста» в Женеве (Liga der Rotkreuzgesellschaften)

Международная помощь Американского Красного Креста в Вашингтоне (American Red Cross International Assistance / Internationale Hilfsarbeit des Amerikanischen Roten Kreuzes)

Каждая из вышеуказанных конфессиональных и благотворительных организаций имела юридическое право голоса в ООН при обсуждении проблемы послевоенных беженцев, имела право собственных инициатив и реализации конкретных программ для ДиПи, но это сотрудничество проходило с УНРРА и ИРО только на основе заключенных договоров.

Отклик на бедственное положение ДиПи разных национальностей был повсеместен в мире после Второй мировой войны. Особенно действенной была материальная поддержка из стран, на чьих территориях не проходили военные действия, таких как США, Австралия, Канада.

Распределение помощи между различными национальными и конфессиональными группами существенно отличалось друг от друга качеством и количеством, к концу 1946 года возникла своего

рода проблема превалирующей помощи одной группе лиц ДиПи и недостаточной для другой. В связи с этим возникла острая необходимость равноправного распределения помощи. Для лучшей координации деятельности международных частных благотворительных организаций к зиме 1945–1946 года УНРРА создала т. н. «Картель международных благотворительных организаций» в нейтральной Женеве, где размещалось после войны большинство международных организаций.

До осени 1947 года, времени создания филиала Толстовского фонда в Мюнхене, не было ни одной частной благотворительной организации, которая бы целенаправленно и регулярно оказывала гуманитарно-правовую помощь православным русским ДиПи. Русские люди, если они имели статус ДиПи, получали помощь с мая 1945 года исключительно от организаций ООН: УНРРА, затем от ИРО. Это были как ДиПи, проживающие в лагерях, также и те, кто имел этот статус, но проживал вне лагерей, т. н. «свободно проживающие ДиПи» («free living DP»). Остальные русские православные беженцы, не проживающие в лагерях ДиПи из-за боязни насильственных выдач, никакой поддержки от УНРРА и ИРО не получали; многие сильно бедствовали, ютились на частных квартирах группами, получали карточки на продовольствие от немецких учреждений при наличии временной прописки.

При отсутствии частных инициатив для православных русских «перемещенных лиц» до Толстовского Фонда уже была предпринята первая попытка гуманитарно-правовой помощи со стороны Русской Зарубежной Православной Церкви. Это выразилось в создании Церковно-Благотворительного комитета Германской епархии при Архиерейском Синоде Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), которое относится к Пасхе 1946 года. Было выработано послевоенное «Положение о Русской Зарубежной Церкви для окормления многочисленных православных беженцев в лагерях и вне их», сосредоточенных в Средне-Европейском митрополичьем округе, где были основаны 6 викариатств. Все 26 иерархов РПЦЗ, присутствовавших на Архиерейском Соборе РПЦЗ 1946 года в Мюнхене, единогласно выступили за основание Церковно-Благотворительного комитета при митрополии.

В задачи этого Комитета входило оказание гуманитарной помощи и правовой защиты православным беженцам: русским, украинцам, белорусам. Из воззвания председателя Православного Церковно-Благотворительного комитета Высокопреосвященнейшего митрополита Серафима (Ляде) к настоятелям православных приходов в лагерях ДиПи от апреля 1947 года⁶ следует, что при Комитете был

создан печатно-информационный орган Церковно-Благотворительного Комитета «Сообщения Комитета», освещающий деятельность Комитета и положение судеб православной эмиграции.

После года работы этого Комитета возникли проблемы с его финансированием. Комитет не получал субсидий ни от Американской военной администрации, ни от православных собратьев из других стран, ни от мирян, православных ДиПи, в силу их чрезвычайно сложного материального положения в лагерях и вне их.

В письме митрополита Серафима (Ляде) от апреля 1947 годы мы находим информацию о привлечении денежных средств для продолжения работы Церковно-Благотворительного комитета в виде ежемесячных членских взносов и просьбы к настоятелям православных приходов и общин Германской епархии об отчислении из приходских сумм на нужды Комитета в размере, определенном Приходскими советами.

На момент весны 1947 года Церковно-Благотворительный комитет был единственной организацией, заботящейся о нуждах и судьбах православной эмиграции в западных зонах Германии. В связи с появившейся возможностью расселения православных ДиПи в разные страны, с весны 1947 года при Архиерейском Синоде РПЦЗ создается дополнительно Переселенческий комитет для организации выезда православных мирян из послевоенной Германии в другие страны.

Предположительно в 1948 году оба Комитета были объединены. В информационном оповещении настоятелей православных приходов № 114 ГЕ РПЦЗ от 11 октября 1947 года мы находим следующее подтверждение активности Русской Зарубежной Церкви о нуждах мирян: «Имея ввиду тяжелое положение православных беженцев в Европе, Архиерейский Синод уже в 1945 году обратился к правительствам ряда государств о приеме эмигрантов. Наиболее благоприятный ответ был получен от Аргентинского правительства, что и дало основание для начала акции переселения в Аргентину.»⁷

Процесс переселения в Аргентину был затяжным, но всё же успешным и одним из первых. Об этом свидетельствует воспоминание архиепископа Нафанаила: «Зарубежная Русская Церковь обращалась к правительствам заокеанских стран с ходатайством о том, чтобы эти страны согласились принять к себе русских эмигрантов. Наиболее дружественный отклик в этом отношении Церковь встретила со стороны правительства Аргентины, где тогдашняя супруга президента, Ева Перон, добилась представления Синоду нашей Церкви 25 000 виз»⁸.

Несмотря на активность Церковно-Благотворительно и

Переселенческого комитетов при Архиерейском Синоде РПЦЗ, помощь для многотысячной группы православных «перемещенных лиц» была недостаточной. Необходима была поддержка частных благотворительных сообществ и дополнительные материальные средства. Среди этого миллионного дипийского сообщества русские «перемещенные лица» не были избалованы вниманием частных международных организаций. Эта помощь пришла лишь два года спустя после окончания войны, осенью 1947 года. Эта поддержка была оказана двумя деятельными русскими женщинами – Александрой Львовной Толстой и Татьяной Алексеевной Шауфусс.



Эмблема европейского офиса Толстовского Фонда в Мюнхене. 1947. Архив Толстовской библиотеки в Мюнхене. Фото Е. Кулен

Эти две неутомимые женщины были уже в зрелом возрасте (Александра Львовна Толстая – 61 год, и Татьяна Алексеевна Шауфусс – 54), когда они решились развернуть обширную деятельность по оказанию помощи русским ДиПи в послевоенной Германии и Австрии и осенью 1947 года основали филиал их нью-йоркского Толстовского Фонда в Мюнхене.

Ни большими средствами, ни персоналом, ни помещением для Фонда в Мюнхене они не располагали. Всё, что у них было, – это огромное христианское желание помощи ближнему в трудную минуту и опыт гуманитарной деятельности за время существования Толстовского Фонда с 1939 года.

Опыт гуманитарной помощи был приобретен за трехмесячный период советско-финской войны (30.11.1939 – 13.03.1940) – войны, когда в Нью-Йорке были собраны пожертвования для советских военнопленных, оказавшихся в трагическом положении в Финляндии. В советско-финскую войну в финский плен попали 50 тысяч советских военнослужащих. По причине неподписания Советским правительством Гаагской конвенции, советским военнопленным было отказано в помощи Международного Красного Креста. По инициативе Толстовского Фонда был организован сбор пожертвований через систему Американского Красного Креста по поставке пакетов с одеждой, обувью, едой, русскими библиями. В своих воспоминаниях Александра Львовна Толстая пишет: «Мы узнали о бедственном положении советских военнопленных в Финляндии в период трехме-

сячной Советско-Финской войны (30 ноября 1939 – 13 марта 1940). Советские солдаты были преимущественно из русских крестьян, воевавшие в плохом, не предназначенном для суровых зимних условий обмундировании и плохой обуви. Это были изголодавшиеся и истрадавшие люди. Толстовский Фонд без промедления организовал для них сбор средств в размере 34 тысячи долларов»⁹.

С началом Второй мировой войны Александра Толстая и Татьяна Шауфусс, как и каждый русский в изгнании, с тревогой следили за развитием хода войны и трагической судьбой советских военнопленных после нападения нацистской Германии на СССР. Оказание реальной гуманитарной помощи для советских военнопленных в нацистской Германии было невозможно для Толстовского Фонда как американской благотворительной организации. Эта помощь стала возможной лишь по окончании войны.

Александра Толстая пишет в своих воспоминаниях: «На Ялтинской конференции от 11 февраля 1945 года была принята насильственная репатриация для всех советских граждан независимо от их желания и воли, таким образом была решена судьба тех советских граждан, которые находились в занятых союзниками странах, это также решило судьбу разоруженной Русской Освободительной Армии (РОА) и Русского Корпуса. Произошла жестокая трагедия нашего времени. Великая Америка, известная всему миру своим гуманизмом и жертвенностью, страна, помогающая народам мира при голоде, природных катастрофах, наводнениях, впервые противоречила своему законодательству, своим идеалам свободы, человеческой чести, достоинства и прав человека, которые провозглашались двумя знаменитыми мировыми деятелями Франклином Д. Рузвельтом и Винстоном Черчиллем. Они толкнули сотни тысяч русских людей на мучительную смерть и бесчеловечные пытки, выдав их Советскому Союзу. Знали ли они, что насильственная репатриация означает верную смерть для этих людей?»¹⁰

Новости о насильственных выдачах в американской, британской, французской зонах были ошеломляющими и долетали до Америки через разные каналы: через рассказы американских солдат, от спасшихся и приехавших в Америку русских людей, через скудные новости в американской печати. Возмущенные происхождением Татьяна Шауфусс и Александра Толстая начали действовать: они писали петиции к американскому правительству в защиту интересов русских православных «перемещенных лиц», делали доклады в общественных американских клубах, собирали одежду и денежные средства для русских ДиПи в Германии и Австрии, снова и снова разясняя трагедию невозвращенцев американской общественности, американскому пра-

вительству в газетных публикациях, добиваясь встречи с представителями американского Конгресса, пытаясь донести до американцев истину о большевистской власти в России. А. Л. Толстая писала, обращаясь в Конгресс: «От имени всех страдальцев мы обращаемся к совести мира. Мы обращаемся к мировым знаменитостям в литературе и культуре, к политикам и ученым, разъясняя каждый раз, почему русские люди не хотят возвращаться домой».

Александра Толстая и Татьяна Шауфусс, как яркие представительницы Русского Зарубежья в США, на себе испытали бесчеловечность коммунистической системы и слишком хорошо знали, что ожидало их соотечественников после возвращения на родину. Чтобы лучше осмыслить дух Толстовского Фонда и понять политическую позицию Александры Толстой и Татьяны Шауфусс, обратимся к их биографиям.

Судьбы А. Л. Толстой и Т. А. Шауфусс связаны общим жизненным опытом и христианским жертвенным менталитетом сестер милосердия на фронтах Первой мировой войны, а также горьким опытом столкновения с советской властью после Октябрьской революции. Обе пережили репрессии и тюремные заключения в Советском Союзе прежде чем они покинули родину. Жизненный опыт объединил двух женщин в абсолютной непримиримости к коммунистической, нелегитимно захваченной власти, попирающей элементарные права человека. Неслучайно, что очутившись вне пределов советского влияния, А. Л. Толстая и Т. А. Шауфусс начали активное оповещение мировой общественности о ситуации террора и бесчинства в СССР, свидетелями и жертвами которых они сами являлись. Это стало делом всей их жизни.

Александра Львовна Толстая (18 (30) июня 1884, Ясная Поляна, Тульская губерния, – 26 сентября 1979 года, Вэлли-Коттедж, шт. Нью-Йорк). А. Л. Толстая, будучи 30-летней барышней, уезжает из семейного имения на Кавказский фронт в первые месяцы Первой мировой войны после окончания курсов сестер милосердия. Далее она была переведена на Северо-Западный фронт, организовала т. н. «Летучий медицинский отряд» в составе 10 человек. После прихода большевиков к власти А. Л. Толстая возвращается с фронта в семейное имение в Ясной Поляне и организывает музей своего отца во избежание разорения архивов Льва Толстого и всей усадьбы. Оставшись жить и работать в имении своего отца, она с большими трудностями создает музей в голодные послереволюционные годы.

Уже первые контакты с советской властью приводят к трениям. В 1920 году она была арестована ВЧК по делу «Тактического центра» и приговорена к трем годам заключения, которое отбывала в лагере

Новоспасского монастыря. Благодаря ходатайству крестьян из Ясной Поляны ее освободили досрочно, в 1921 году она вернулась в усадьбу, создав там культурно-просветительный центр, открыла школу, больницу, аптеку, подготавливала первое полное издание Л. Толстого. За все эти годы она предоставляла помощь и укрытие для своих друзей и единомышленников, не принявших советскую власть. С 1924 по 1929 годы против нее была устроена кампания травли в советской прессе. За период с 1920 по 1929 годы Александра Толстая арестовывалась пять раз. Повторяющиеся аресты угрожали ее жизни. При большом участии Анатолия Луначарского, наркома просвещения СССР, Александра Львовна легально выехала в 1929 в году в Японию с циклом лекций о своем отце.

После двадцатимесячного пребывания вне СССР у нее созрело окончательное желание не возвращаться на родину, ее дальнейший путь лежал из Японии в США. В своих мемуарах «Дочь» А. Л. Толстая описывает ее первый сложный период в Америке с 1931 по 1938 годы, как тяжелый период вхождения в американскую жизнь без каких-либо материальных средств и возможности постоянной работы, но с удивительным чувством освоения жизни в новой стране, с позитивным поиском приложения своих духовных и физических сил на благое дело помощи русским людям в изгнании, следуя заветам своего отца.

Татьяна Алексеевна Шауфусс (22.10.1891, Киев – 25.07.1986 Вэлли-Коттедж, шт. Нью-Йорк). Правписание ее фамилии встречается с одним «с» и с двумя – «сс» на конце. Нами предпочтено немецкое написание с двумя «сс» от слова «фусс» (Fuß – стопа) в силу немецкого происхождения по отцу. Родилась в состоятельной семье присяжного поверенного в Киеве, закончила Киевский Институт благородных девиц; после его окончания Татьяна Шауфусс уезжает на учебу по классу фортепиано в Дрезденскую консерваторию, прекрасно владеет немецким языком. С началом Первой мировой войны она покидает Германию и возвращается в Россию. В свои 23 года она поступает на курсы сестер милосердия Свято-Георгиевской общины Красного Креста в Санкт-Петербурге, где работает с большой отдачей и трудолюбием. В свои 26 лет она завоевала большой авторитет благодаря своим профессиональным способностям и таланту организатора. Благодаря этим качествам она была назначена старшей хирургической сестрой и руководила Школой сестер милосердия при госпитале. С 1917 года она была назначена генеральным секретарем Русского профсоюза сестер милосердия.

Трагические для России революционные события октября 1917 года нарушили привычный ход жизни. С началом массового больше-

вистского террора Т. А. Шауфусс подверглась первому аресту уже в 1919 году. Вместе со своей подругой, такой же сестрой милосердия, как и она сама, Ксенией Андреевной Родзянко¹¹, она была обвинена в создании подпольного антисоветского сообщества «Белый Крест»¹². Они обе как сестры милосердия были заключены в один концлагерь. Но после непродолжительного пребывания в тюрьме они были освобождены благодаря вмешательству Екатерины Павловны Пешковой, первой жены М. Горького.



Во избежание нового ареста Татьяна Шауфусс переехала из

Татьяна Шауфусс и Александра Толстая.
Мюнхен. 1954

Петербурга в Сергиев Посад, в 52 км от Москвы, в отдельных зданиях которого с 1921 года был открыт туберкулезный диспансер, где Т. Шауфусс работала обычной медсестрой с 1921 по 22 мая 1928 года. Все эти годы она проживала при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и стала свидетельницей коммунистического бесчинства и расправы с русским духовенством и уничтожения многовековой монастырской культурной традиции после декрета СНК РСФСР «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» от 20.01.1918 года. На ее глазах прошли роспуск Московской духовной академии в марте 1919 года, осквернение мощей Преподобного Сергия, закрытие Лавры 21 октября 1919 года и грубое выселение братии монахов из монастыря.

В 1919 – 1921 годы Татьяна Шауфусс познакомилась с философом Павлом Флоренским, который был назначен научным секретарем в Свято-Сергиевой Лавре при Комитете по охране памятников в надежде хоть как-то сохранить Лавру от тотального грабежа и с целью сохранения культурных ценностей на территории Свято-Сергиевского монастыря. Павел Флоренский активно выступил за сохранение монастыря и Духовной академии в Свято-Сергиевой Лавре, за признание ее величайшей духовной ценности для России и невозможности превращать монастырь в мертвый музей. Он создал философский кружок при монастыре. Доносы не заставили себя ждать. В них Павел Флоренский обвинялся в распространении теократического монархизма в философском кружке. Интересно то, что время ареста Татьяны Шауфусс и Павла Флоренского совпадают, это

1928 год. Он был сослан в Нижний Новгород, она – в Казахстан. Есть ли какая-то взаимосвязь в обвинениях – неизвестно. Согласно материалам т. н. «Открытого списка»¹³ Татьяна Шауфусс была арестована 22 мая 1928 года за «религиозные убеждения и антисоветскую деятельность» в Сергиевом Посаде, осуждена Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 8 июня 1928 года к трем годам заключения в лагере в Казахстане.

Выезд Татьяны Шауфусс из СССР стал возможен лишь благодаря заступничеству Международного Красного Креста, членом которого Татьяна Шауфусс являлась с 1914 года. По истечении полного срока заключения ей удалось выехать легально в Чехословакию по приглашению Чехословацкого Красного Креста в 1933 году. Татьяне Шауфусс к этому моменту исполнилось 42 года. Она прибыла в Прагу вместе со своей давней подругой Ксенией Андреевной Родзянко, которая также являлась видной представительницей дореволюционного Красного Креста и Российского Профессионального союза сестер милосердия. В организации выезда их обеих большое участие приняла Алиса Масарик (Alice Masaryk, позднее известна как Masarykova, 3.5.1879 – 29.11.1966, Чикаго), дочь основателя республики Чехословакия и ее первого президента Томаша Масарика (7.3.1850 – 1.9.1937). Алиса Масарик была известным чешским социологом и еще в 1920 году создала в Праге Комитет помощи русским беженцам и оказала огромное влияние на Татьяну Шауфусс. Опыт работы в Пражском Комитете помощи русским беженцам пригодился позднее для Т. Шауфусс для работы с русскими ДиПи в Мюнхене после Второй мировой войны.

Время пребывания Татьяны Шауфусс в Праге, ярком центре Русского Зарубежья, не было продолжительным, всего пять лет, с осени 1933 по осень 1938 года. С момента аннексии Судетов от Чехословакии с 1 октября 1938 начинается процесс ликвидации независимости молодой республики, закончившийся весной 1939 года немецкой оккупацией всей страны. Татьяна Шауфусс, как и многие русские эмигранты, приложила все усилия, чтобы выехать из Чехословакии до вступления немецких частей. Ей это удалось. В 1938 году она получила разрешение выехать в США. И вновь Международный Красный Крест пришел ей на помощь, на этот раз в деле оформления американской визы.

В 1938 году Татьяна Шауфусс встретила в Нью-Йорке со своей давней подругой Александрой Толстой после 16-летней разлуки. Их обеих связывала память о работе сестрами Красного Креста на фронтах Первой мировой войны, большая дружба и взаимопонимание. Вот что пишет в своих воспоминаниях «Дочь» А. Л. Толстая о созда-

нии Толстовского фонда в Нью-Йорке: «В 1939 году, ранней весной, на квартире последнего русского посла, Бориса Александровича Бахметьева, было созвано первое организационное собрание в составе Б. А. Бахметьева, Б. В. Сергиевского, С. В. Рахманинова, гр. С. В. Паниной, друга б. президента Хувера д-ра Колтона, проф. С. В. Ростовцева, присяжного поверенного Гревса, Т. А. Шауфусс и меня. В память моего отца, Л. Н. Толстого, решено было назвать комитет Толстовским Фондом, он был зарегистрирован в Нью-Йоркском штате 15 апреля 1939 года. В моей жизни начался новый, очень важный этап.»¹⁴

В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, Толстовскому Фонду исполнилось 6 лет. Для частной благотворительной организации это срок, достаточный для создания своего имиджа в американской общественности и в среде русских эмигрантов в США. Критическая ситуация русских «перемещенных лиц» в послевоенной Германии и Австрии, накаленная до предела из-за насильственной репатриации и полной правовой незащищенности их интересов при репатриации требовала немедленных действий по спасению русских ДиПи.

Сразу же после окончания войны А. Л. Толстой были предприняты попытки организовать помощь русским ДиПи в Германии путем объединения общих усилий всех русских организаций в Северной Америке – от монархистов, эсеров до беспартийных. А. Л. Толстая вспоминает: «Наши переговоры длились часами, они закончились плачевно. Я заболела тромбофлебитом. Несмотря на это, я продолжала участвовать в заседаниях до момента предписания врачом постельного режима. В 1946 году слегла Татьяна Алексеевна Шауфусс в больнице с язвой желудка, воспалением легких и перитонитом. Она перенесла три тяжелые операции и пролежала четыре с половиной месяца в госпитале им. Рузвельта. Мы убедились в том, что совершенно невозможно объединить различные эмигрантские организации.»¹⁵

Но и у православных Церквей в Америке А. Толстая и Т. Шауфусс не нашли достаточного понимания трагичности ситуации православных ДиПи в Германии. А. Л. Толстая вспоминает: «Для больших организаций – протестантов, католиков, евреев – было легче найти работу в США для ДиПи их конфессий, их общины в Америке были состоятельными и многочисленными. Толстовскому Фонду было тяжелее уже и потому, что большинство русских в Америке были выходцы из Карпат и Галиции, эмигрировавшие 60 лет назад. Их дети ничего не знали о России, многие забыли русский язык. Вопрос русских беженцев интересовал их мало. Поэтому Толстовский Фонд не мог рассчитывать на их помощь. Русские беженцы были вынуждены самостоятельно искать работу по прибытию в США на фабриках,

фермах, куда их после прибытия в Америку посылал Толстовский Фонд. Это было трудной задачей – найти работу для многих тысяч человек»¹⁶.

После двух лет выступлений Александры Толстой и Татьяны Шауфусс в американской прессе и тщетных попыток объединить разрозненные эмигрантские силы для них наступило осмысление того, что всего этого недостаточно. Нужно было искать другую форму действий, а именно действовать непосредственно в центре самих событий, в Германии и Австрии. При критичности ситуации с насильственными выдачами русских людей в СССР каждый день промедления стоил человеческих жизней. Кто как ни они сами могли бы заступиться за своих соотечественников и православных?

Александра Толстая и Татьяна Шауфусс отчетливо понимали, что безвыходность русских людей, чаявших защиты у западных демократий, США и Англии, от СССР, наткнулись на стену стратегического лавирования правительств этих стран перед своим союзником СССР и стену полнейшего непонимания трагизма ситуации русского народа в коммунистической России и нежелания сотен тысяч русских людей возвращаться на родину.

«Толстовский Фонд незамедлительно встал на защиту тех, кто по тем или иным причинам, в основном политического характера, не желал возвращения в СССР и всячески уклонялся от насильственной выдачи их западными союзниками советскому командованию. В числе таких был и Русский Корпус, сформированный из русских беженцев первой эмиграции и членов их семей, которых насчитывалось в Югославии около 21 тысяч человек, а также воинов РОА, добровольно, как и Русский Корпус, сдавшие оружие американцам и англичанам. Как известно, колоссальную работу по вызволению их из плена и обретению ими свободы проделала в Европе Т. А. Шауфусс.»¹⁷

Чтобы заинтересовать американскую общественность и привлечь к работе Толстовского Фонда, А. Л. Толстая ездила по Америке. «Главная цель Фонда формулировалась просто – помочь русским вне России. В некоторых крупных городах (Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго) были организованы комитеты Фонда. Так, удалось добиться пожертвований на дом престарелых от русских американцев (50 центов в месяц) – за несколько лет таким образом было собрано 58 000 долларов; Толстая была принята женою президента США Элеонорой Рузвельт в 1941 году, беседовала с Папой Пием XII в 1952 году, неоднократно выступала с осуждением и разоблачениями действий правителей СССР, подчеркивая, что кремлевское правительство не является представителем русского народа.»¹⁸

Организовать филиал Толстовского Фонда в американской зоне

оккупации в Германии оказалось не так-то просто. Первое препятствие возникло при организации выезда Т. А. Шауфусс. Все попытки организовать выезд в Европу для Т. А. Шауфусс саботировались напрямую или косвенно американскими военными инстанциями как в США, так и в Германии, вероятно, из-за боязни срыва массовых репатриаций русских ДиПи из Германии и Австрии в СССР.

Вот что пишет об этой атмосфере А. Л. Толстая в своих воспоминаниях: «Мы были в полном отчаянии. Наконец-то после долгих попыток мы добились встречи с кардиналом Спелльманом (4.5.1889 – 2.12.1967) в Нью-Йорке. Мы рассказали ему подробно о трагедии насильственной репатриации, о массовых самоубийствах при выдачах и о том, что люди предпочитали лучше смерть, чем возвращение на родину. Кардинал все понял... Мы слышали, как он сразу же после нашего разговора созвонился с Папой Римским, и вскоре, случайно это было или нет, но в ‘Таймс’ была опубликована статья о насильственной репатриации. Насильственный принцип репатриации был аннулирован, но для многих русских людей это было уже слишком поздно. Миллионы погибли!»¹⁹

Встреча с кардиналом Фрэнсисом Спелльманом не была напрасной. Возмущения этих двух непримиримых деятелей американского Русского Зарубежья против выдачи русских людей на расправу советским органам были услышаны уже и потому, что кардинал Спелльман по своим политическим убеждениям был открытым противником коммунизма. По сообщению американского историка Уильяма В. Шеннона, «Спелльман утверждал, что настоящий американец не может быть ни коммунистом, ни его попутчиком. Первая лояльность каждого американца заключается в том, чтобы бдительно противодействовать коммунизму и обратить американских коммунистов в американцев»²⁰. В этом смысле воззвание А. Л. Толстой и Т. А. Шауфусс были услышаны кардиналом Фрэнсисом Спелльманом. Они нашли общность в их непримиримой антикоммунистической позиции.

Это сыграло немаловажную роль в пересмотре вопроса насильственного принципа репатриации русских ДиПи со стороны правительства США. Общественный голос Фрэнсиса Спелльмана был весомым не только в Нью-Йорке, в котором он был с 1939 года до конца своих дней в 1967 году шестым архиепископом штата Нью-Йорк. Он, ирландец по происхождению, был доверенным лицом президента Рузвельта во время войны, был военным викарием при американской армии с момента высадки союзников в Нормандии, знаменитого D-Day 1944 в Италии и Франции. Он находился в постоянном контакте с Дуайтом Дэвидом Эйзенхауэром, Верховным главнокоман-

дующим экспедиционных военных сил США, а также с военным губернатором американской зоны Йосифом Мэкнарни (Joseph T. McNarney, ноябрь 1945 – январь 1947 года) и позже с Луисом Д. Клэем (Lucius D. Clay, январь 1947 – май 1949).

В период 1920–1930 годов Фрэнсис Спелльман был американским атташе в Ватикане, с этого времени у него сохранились прочные связи как с Ватиканом и Папой Римским Пиусом XII, так и с высшим католическим клиросом в Германии, особенно в Баварии. Инициатива помощи католическим ДиПи, полякам и украинцам, в лагерях послевоенной Германии общеизвестна²¹.

В самый разгар насильственных выдач перемещенных лиц из Германии на родину Фрэнсис Спелльман в 1946 году получил назначение его кардиналом, что обеспечивало ему прямой контакт с Ватиканом и Папой Римским, а значит, быстрое решение проблем с беженцами и «перемещенными лицами» в Европе на конфессиональном уровне. Выступления Папы Римского сыграли огромную роль в деле приостановления насильственных выдач ДиПи и формирования мирового общественного мнения по этому вопросу. «Так, например, Папа Римский во всеуслышание осудил насильственную репатриацию украинцев 5 июля 1945 года.»²² Публикации в мировой прессе появлялись всё чаще и чаще. В феврале 1946 года Организация Объединенных Наций приняла решение об исключительно добровольном принципе репатриации ДиПи на родину. С этого момента наметилось изменение в политике западных союзников. Но насильственные выдачи шли полным ходом в лагерях ДиПи в Германии и дальше вплоть до начала 1947 года.

По ряду счастливых совпадений, в этот же самый период была создана в 1946 году екуменическая организация «Всемирная служба Церквей» (Church World Service, CWS) в Нью-Йорке, которая успешно объединила усилия всех христианских Церквей в деле помощи беженцам и ДиПи. Эту екуменическую тенденцию активно поддерживал католический кардинал Фрэнсис Спелльман. Организация CWS стала одной из самых важных межконфессиональных инстанций для решения огромной проблемы беженцев после окончания Второй мировой войны. Она объединила вокруг себя 22 американских протестантско-лютеранских и католических сообществ. Без объединения усилий всех Церквей реализация помощи ДиПи была бы просто невозможна ни в финансовом, ни в гуманитарном, ни в организационном смысле.

Руководствуясь принципом «Мы вместе служим» («Together We Serve») на дело помощи беженцам после войны, были созданы организационные структуры не только для протестантско-лютеранских и

католических церквей, но и для других христианских конфессий, в данном случае также и для православной.

Руководствуясь идеей экуменизма и идеологией всехристианского единства, организация CWS создала базис для сближения различных христианских конфессий. Эта объединенная всехристианская помощь выражалась прежде всего в создании четкой организационной структуры для частных благотворительных организаций. В 1946–1947 годах CWS было переправлено в Европу более 11 млн фунтов продовольствия, одежды и медикаментов. Но что более важно, было предложено общее решение проблемы – это реализация программы переселения ДиПи из Европы в США.

Как встреча А. Л. Толстой и Т. А. Шауфусс с кардиналом Спелльманом, так и создание «Church World Service» в Нью-Йорке способствовали делу организации филиала Толстовского Фонда в Мюнхене. Это были те «соломинки» помощи, за которые цеплялись и при помощи которых удалось организовать первый выезд Т. А. Шауфусс в Германию. После двух лет ожидания выезд в Европу стал возможен. Но эта первая поездка Т. А. Шауфусс в Европу была предложена от CWS с некоторыми ограничениями. Ей был выдана виза в Германию в статусе «гостя» без предоставления каких-либо прав или полномочий Толстовскому Фонду как благотворительной организации, а также ее пребывание было ограничено тремя месяцами в Мюнхене.

«В 1947 году Т. А. Шауфусс выехала в Европу вначале с целью наладить контакты с американской администрацией, легализировать деятельность Толстовского Фонда, а затем приступить к работе по оказанию помощи ‘перемещенным лицам’ из числа русских беженцев и военнопленных, не пожелавших вернуться в СССР.»²³

Первые встречи с русскими людьми в лагерях ДиПи и вне их, встречи с представителями Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей в Мюнхене дали Т. А. Шауфусс общее представление о ситуации: повсюду было страдание, трудности, сложность найти помещение, персонал для работы, отсутствие денежных средств. Вот что пишет Татьяна Алексеевна Шауфусс о ее первых шагах в Мюнхене: «Я вылетела в Европу осенью 1947 года. Я чувствовала себя как слепой котенок, который имел лишь одно страстное желание – самоотверженное посвящение себя делу, однако не зная, как это сделать и куда нужно совать свой нос. В это трагическое время слово ‘Россия’ и ‘русский православный’ не разрешено, нельзя было произносить вслух, об этом говорилось шепотом, спрятавшись в уголке!»²⁴ Это состояние общего страха русских «перемещенных лиц» на момент осени 1947 года, передавшееся Татьяне Алексеевне

Шауфусс, объяснялось прежде всего работой советских команд по репатриации, рыскающих по западным зонам союзников и выискивающих своих жертв.

Три месяца пребывания Татьяны Алексеевны Шауфусс со статусом «гостя» и пассивности наблюдателя не могли удовлетворить ее. Вот что вспоминает Александра Львовна Толстая: «Наблюдать три месяца страдание соотечественников в их безвыходной ситуации отчаявшихся людей, которые потеряли всё: родину, имущество, их семьи, оставшиеся без крова и не знающие, что принесет завтрашний день, живущие в переполненных лагерных бараках и не имеющие прав и возможности получения настоящей помощи, такую ситуацию не могла акцептировать Татьяна Алексеевна, будучи лишь гостем протестантской организации.»²⁵

И всё же за этот короткий период трех первых месяцев пребывания в Мюнхене Т. А. Шауфусс смогла завоевать уважение к себе и добиться признания у ИРО и CWS благодаря ее энергии и терпению, а также благодаря огромной вере в свое благородное дело христианской помощи своим соотечественникам.

Выбор места для Толстовского Фонда в Мюнхене был неслучаен по нескольким причинам. Толстовский фонд мог существовать только в американской зоне как частная неправительственная американская организация – и по причине того, что большинство русских ДиПи, наотрез отказавшихся возвращаться на родину, находились именно в американской зоне оккупации Германии и Австрии. Бавария была самой крупной административной единицей американской зоны. В Мюнхене были размещены и главные представительства сначала УНРРА, позднее ИРО, как организаций, юридически отвечающих за судьбы ДиПи.

К моменту формирования филиала Толстовского Фонда осенью 1947 года общая политическая атмосфера между союзниками антигитлеровской коалиции – США, СССР, Англии и Франции – начала существенно изменяться по причине различия союзнических геополитических целей в Восточной Европе. Разница во мнениях наблюдалась почти по всем вопросам: репарации, в германском вопросе, прежде всего в решении вопроса т. н. четырех важных «Д» Германии: демилитаризация, денацификация, декартелизация экономики, демонтаж немецкой экономики. Это осложняло совместное управление разделенной на зоны Германии в Союзническом Контрольном совете. При обсуждении общих вопросов наложение вето со стороны СССР приводило к полному бездействию совместного верховного органа управления союзников. Таким образом, уже после 16 месяцев после окончания войны исчез доверительный базис для послевоенного

сотрудничества западных союзников и СССР. В американских кругах политиков и военных произошли серьезные перемены по отношению к СССР. Такова была общая атмосфера начинающейся «холодной войны».

Это, несомненно, благосклонно сказалось на периоде формирования Толстовского Фонда в Мюнхене, который смог активно встать на защиту прав русских ДиПи и подключиться к программе ИРО «Resettlement» по переселению русских ДиПи в другие страны. Вся деятельность Толстовского Фонда в этот период проходила под контролем американского офицера, который, по сообщению А. Л. Толстой, был добрым человеком, но понятия не имел об общей ситуации русских беженцев.

На момент передачи ответственности за ДиПи от УНРРА к ИРО к 1 июля 1947 года «на учете этих организаций числилось 718 600 человек в американской зоне.»²⁶ ИРО предоставляло жилье в лагерях ДиПи, обеспечивало продовольствием и медикаментами, предоставляло минимальную правовую помощь. Но только после тщательной проверки – скринингов всех «перемещенных лиц» и выявления правомерности присвоения статуса ДиПи, после новой регистрации возможно было получение дальнейшей помощи от ИРО. Программа скринингов (Screening-Programm) преследовала цель легитимного отсеивания ДиПи из лагерей и сокращения финансовых затрат на их обеспечение. Отсеянная группа лиц ДиПи переводилась на немецкую экономику. При потере всех прав на обеспечение у «перемещенных лиц» оставалось лишь право выезда в другие страны.

Поэтому к началу деятельности Толстовского Фонда стоит учитывать также момент изменения видов опеки и обеспечения для ДиПи со стороны ООН, в данном случае ИРО, а также настроение самих русских ДиПи, измученных бесконечными проверками и подозрениями со стороны лагерных администраций, проводивших скрининги по заданию ИРО. Бесконечный процесс проверок и опросов утомлял людей, отнимал у них последнюю надежду, внушал ощущение полной бесправности и безнадежности.

Период начала работы Толстовского Фонда в Мюнхене отмечен миграцией русских ДиПи из лагеря в лагерь, организованной американской военной администрацией в связи с сокращением лагерей в американской зоне. По мнению С. С. Вороницына из Мюнхена, проживающего в лагере Шляйсхайм с 1947 по 1950 годы, в перевозе людей из лагеря в лагерь наблюдалась стратегия ИРО, изматывающая нервы. Нередко люди, уставшие скитаться по лагерям, выбирали репатриацию на родину как последний выход от безнадежности, несмотря на страшные последствия. Хотелось ясности. Продолжи-

тельная неизвестность судеб людей в лагерях была именно тем общим настроением среди русских «перемещенных лиц», которое царило повсюду и которое так чутко уловила Т. А. Шауфусс. Толстовский Фонд давал людям надежду на будущее, прежде всего на переселение в другие страны.

К декабрю 1948 года Т. А. Шауфусс получила разрешение от ИРО и CWS на официальное открытие филиала Толстовского Фонда в Мюнхене и договор о совместном сотрудничестве и предоставление административной и финансовой помощи от CWS. Вся деятельность по обслуживанию ДиПи в Германии, Австрии, Италии проходила централизованно в соответствии с указаниями ИРО. По предписанию ИРО, Толстовский Фонд брал на себя в 1948 году обязанности по централизованной регистрации русских ДиПи, желающих выехать в другие страны. Это означало прежде всего стандартизацию всего процесса: составление списков желающих выехать, которые проживали в лагерях и вне их, заполнение «ировских» анкет на двух языках (английском и немецком), запросы в консульства и представительства тех стран, которые высказали желание принять по квоте русских ДиПи, организация приглашений-поручительств американских граждан для русских ДиПи, на основе которых был возможен выезд в другие страны.

Такую огромную работу по регистрации русских ДиПи можно было реализовать лишь при наличии персонала в Толстовском Фонде в Мюнхене, владеющего языками. В период с осени 1947 года по июнь 1949 года филиал Толстовского фонда насчитывал всего трех сотрудников: Т. А. Шауфусс как вице-президента Толстовского фонда в Нью-Йорке, протоиерея о. Павла Лютова как американского представителя в Германии от Комиссариата по делам беженцев в Женеве²⁷, Л. Сердаковского, русского эмигранта из Югославии. В 1948 году к работе подключается Маргарита Габриэль (урожденная Бланкен).

Маргарита Габриэль сыграла очень важную роль в деле становления филиала Толстовского Фонда в Мюнхене. Вот что о ней пишет А. Л. Толстая: «Это одна из первых и самых ценных сотрудниц Толстовского Фонда, которая проработала в нем 16 лет; она была правой рукой Татьяны Алексеевны при организации работы за границей. Маленькая, сильная, энергичная, с устремленным взглядом в серых глазах она соединяла в себе эстонскую точность и аккуратность и самоотдачу русскому делу. Как и Татьяна Алексеевна, она не считала свои часы работы. Работала, отдавая себя всю даже в выходные ценой отдыха и восьмичасового сна»²⁸. Маргарита Габриэль начала свою работу в филиале Толстовского Фонда в Мюнхене в 1948 году, в Мюнхене проработала около 10 лет, создав вместе с Т. А. Шауфусс прочную структуру Европейской Главной квартиры Толстовского

Фонда в Мюнхене. С 1957 года она вместе со своим сыном Михаилом и Т. А. Шауфусс выехала в США, где и продолжила работу в Толстовском Фонде до кончины А. Л. Толстой в 1978 году. В конце 1970-х она вернулась в Мюнхен, где преданно проработала при Толстовской библиотеке вплоть до 2005 года.

Позволим себе несколько слов посвятить Маргарите Габриэль. Из материалов интервью с ней петербургского исследователя и литературоведа Сергея Фокина мы узнаем следующее: «Маргарита-Ольга Бланкен родилась 18 апреля 1918 г. в маленьком эстонском городке Эльва близ Тарту в смешанной балтийско-русской семье. К моменту репатриации в Германию она окончила гимназию в Таллинне и занималась с преподавателем-англичанином, что дало ей знание не только немецкого, но и английского языков (эстонский и русский она знала с детства). Получив специальность счетовода, она работала в одной из столичных фирм – знание языков и бухгалтерского дела определило ее дальнейшую профессиональную судьбу и на Западе. Почти сразу по приезде в Германию она получила работу в Гамбурге, куда добралась в мае 1941 г. Отец Маргариты, Освальд Юлий Бланкен, по-видимому, имел датские корни, но при получении паспорта в России, где он долго работал, был зарегистрирован как немец, что позволило семье в феврале 1941 г., уже после начала советской оккупации, уехать в Германию. Мать, Мария Петровна Зимина, была русской, уроженкой Санкт-Петербурга. Вскоре она получила место переводчика в конторе ‘Остфазергизельштафт’ в Берлине, где и прожила практически всю войну. Фамилия мужа Маргариты была Гаврилов. Попав в эмиграции сначала во Францию, он стал именоваться Габриэль – эту фамилию и носила после замужества М. Бланкен»²⁹.

Вот именно на таких людях, как Маргарита Габриэль и держалась большая работа по спасению русских ДиПи от репатриации, а позднее работа по организации выезда в другие страны.

Период с сентября 1947 по январь 1949 года был первой фазой ориентации Т. А. Шауфусс в Мюнхене. «Понимая важность задач и масштабы предстоящей деятельности, Толстовский фонд заключил соглашение с протестантской организацией ‘Чорч Уорлд Сервис’, позволившее Т. А. Шауфусс выехать в Европу с целью защиты интересов русских эмигрантов и всех тех, кто не желал возвращения на родину, и помощи им в выезде в разные страны, главным образом в США и в Южную Америку.»³⁰

Регистрация русских ДиПи и заполнение стандартных анкет для ДиПи на двух языках, английском и немецком, было обширной рабо-

той для малочисленных сотрудников Толстовского Фонда. Нередко требовались переводы распоряжений IRO и Church World Service с английского на русский язык. Эту работу выполняла неутомимая Маргарита Габриэль.

Месторасположение Толстовского Фонда в этот период было в Главной квартире ИРО в Мюнхене-Пазинг, в здании Карл-гимназии, где была предоставлена маленькая комната для Толстовского Фонда. Вот как описывает бюро Толстовского филиала Т. А. Шауфусс: «Три стола и три стула. У меня даже не было права вывесить табличку с надписью ‘Толстовский фонд’. У нашего русского комитета также не было своего ‘лица’, как и у тех русских людей, чьи интересы мы должны были защищать»³¹.

В здании Карл-гимназии Американская военная администрация разместила Главную квартиру УНРРА, позднее ИРО. Этот район Мюнхена не был так сильно разрушен во время войны. В силу того, что в этом здании были размещены многие международные благотворительные организации, а также их персонал, места не хватало; в 1947 году было конфисковано также и рядом стоящее здание профессионально-технической школы в Пазинге, чтобы суметь всех разместить.

В здании Главной квартиры ИРО в Пазинге было размещено большое количество не только международных организаций, но и имелся небольшой лагерь ДиПи разных национальностей, численностью до 1 тысячи человек. В связи с этим в здании царил атмосфера человеческого муравейника, было шумно и суетно. Расстояние от центра Мюнхена до Пазинга составляет примерно 13 км. При сложных послевоенных условиях, разбомбленных трамвайных путей и разрухи, добраться туда было трудно, регистрация русских православных ДиПи проходила с большим трудом из-за невыгодного размещения офиса Толстовского Фонда.

При всей важности размещения поблизости с Главной квартирой ИРО и быстрой информированности о распоряжениях относительно «перемещенных лиц», Пазинг был весьма неудобным местом расположения Толстовского Фонда с 1947 по 1949 годы. Добраться из центра было трудно при сложностях с общественным транспортом, трамваи были переполнены, денег на билеты у русских беженцев не было, велосипеды имелись редко у кого, поэтому русские посетители в Пазинге не были частыми гостями. Сказывалось и то, что все православные русские ДиПи были географически рассыпаны по лагерям в Мюнхене и его окраинам. Поэтому неслучайно, что Т. А. Шауфусс начала искать новое место для Толстовского Фонда в Мюнхене. Это место было найдено в городском районе Богенхаузен, по адресу Рёнтгенштрассе 5. Эта презентабельная вилла была в прекрасном

состоянии после войны. Вилла, выстроенная в 1910 году, в т. н. период «Принцрегента», баварским архитектурным бюро Heilmann & Littmann, выстояла 73 воздушных налета союзников и осталась неповрежденной. После войны здесь размещались многие русские организации, Толстовский Фонд, а также предшественница русской Толстовской библиотеки – первая общественная русская Библиотека им. Лесли Стивенса³².

Вилла на Рёнтгенштрассе 5 была конфискована после войны американским военным правительством в Мюнхене и передана на нужды общественных русских организаций на период двух лет. В ней разместились на одном этаже Толстовский Фонд, на другом этаже – Институт по изучению истории СССР; в подвальных помещениях были выделены помещения для пункта выдачи подержанной одежды из гуманитарной помощи из Америки. На первом этаже размещалась библиотека. Это месторасположение было очень удобным еще и потому, что совсем рядом находился Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей по адресу Донауэрштрассе 5 (Donauer Str. 5), при котором был еще с весны 1946 года организован Православный Благотворительный комитет, с апреля 1948 года был создан также и Православный Переселенческий комитет.

С 1949 года Толстовским Фондом организовывались пожертвования одежды и обуви из США для православных ДиПи в Германии, был основан сборный пункт по распределению вещей по тому же адресу Рёнтгенштрассе (Röntgenstraße 5). Одежда, обувь, продукты поступали в Толстовский Фонд через сеть американского благотворительного сообщества КАРЕ (C.A.R.E., Cooperative for American Remittances to Europe), которое было организовано 27 ноября 1945 года в США; кооператив «включал в себя 22 частных благотворительных общества. Из Америки в послевоенную Европу было выслано 100 млн пакетов КАРЕ, включающих в себя продукты, одежду, обувь, предметы первой необходимости. Они спасли многим жизнь в голодное послевоенное время. Стоимость находящихся в одном пакете вещей составляла 15 долларов»³³.

Как уже упоминалось, на Рёнтгенштрассе 5 размещалась Библиотека Лесли Стивенса, дарителя книг, руководящего отделом психологической стратегии при Главной квартире американских военных частей во Франкфурте-на-Майне. С 1946 года с первыми признаками начинающейся «холодной войны» между бывшими союзниками СССР и США Отделу психологической стратегии отводилось важное место в деле консолидации сил восточноевропейских ДиПи, выявлению персонала в психологической войне, его обучению, использованию знания русского языка и менталитета страны, антикоммунистической

настроенности среди русских ДиПи. Рассматривалась ли Библиотека им. Лесли Стивенса в этом ракурсе, нам неизвестно. Подтверждающих данных нами не было обнаружено. Библиотека была местом встреч русских людей разных политических направлений. Сотрудники библиотеки также принадлежали к различным политическим эмигрантским партиям. Так, например, одной из ведущих сотрудниц библиотеки была назначена Валентина Крылова, близкая по духу к политическому крылу бывших военнослужащих Русской Освободительной Армии (РОА), к тому времени организация СБОРН.

Следующим важным местом встреч русских «перемещенных лиц» в Мюнхене была русская швейная мастерская на Верлештрассе 8 (Wehrlestraße 8) в том же районе Мюнхен-Богенхаузен. Она была основана Толстовским Фондом в рамках программы ИРО по профессиональному обучению ДиПи, где обучались русские молодые женщины кройке и шитью, а также проходило переобучение ДиПи старшей возрастной группы для лучшей социальной интеграции как в немецкое общество для получения больших шансов в поиске работы, так и для большего успеха выехать в другие страны по рабочей квоте. Здание на Верлештрассе 8 принадлежало протестантской общине при церкви Св. Троицы (Dreieinigkeitskirche); это было организовано при посредничестве Church World Service. Интересным является тот факт, что в создании русской швейной мастерской большое участие оказала YMCA³⁴, предоставившая в распоряжение несколько швейных машинок. В основном здесь перешивалась та поддержанная одежда, которая поступала по распределению из благотворительных пакетов КАРЕ в Толстовский Фонд и в Церковно-Благотворительный комитет при Архирейском Синоде.

Эта русская швейная мастерская просуществовала до начала 1950-х годов и была не только местом работы и обучения, но и местом встреч и установления контактов между русскими «перемещенными лицами». Эту мастерскую называли «биржей контактов и информации», где из уст в уста передавались свежие политические новости большого мира и маленького русского эмигрантского «острова» в Мюнхене, новости для русских ДиПи. Здесь помогали друг другу и узнавали обо всем, что было насущно и волновало: русские школы, праздничные торжества для детей на Рождественскую Елку, летние скаутские лагеря для детей, выезд в Америку. Это был своего рода послевоенный женский русский клуб в рабочей атмосфере швейной мастерской, свой доверительный русский социальный форум.

При поддержке YMCA не только была организована русская швейная мастерская, но и предлагались детям летние лагеря для отдыха и лечения. Это шло параллельно с летними лагерями Русских

разведчиков (ОРЮР). Толстовский Фонд также имел тесный контакт с YMCA; с 1948 года без ее финансовой помощи многие благотворительные мероприятия Фонда были бы просто невозможны.

Размещение Толстовского Фонда в зеленом городском районе вил и парков в Мюнхене-Богенхаузене было удобно не только из-за сосредоточения там русских учреждений, но еще и по другой причине. Здесь были размещены многие учреждения Американской Военной администрации в Баварии. Многие виллы были конфискованы после войны и перешли в ведомство американцев. «Так, например, Главное Американское управление дистрикта Мюнхена располагалось по адресу Ламонтштрассе 7 (Lamontstraße 7), здесь выдавались также продовольственные карточки для гражданского населения, немецких и иностранных беженцев.»³⁵ В первые полгода в районе Богенхаузен в знаменитой «Вилле Штук» («Villa Stuck») размещались отделы по реституции при Американской военной администрации, позднее они были переведены в городской район Кёнигсплатц, где находилось бывшее Ведомство фюрера (Führerbau am Königsplatz).

В городском районе Богенхаузен находилась также одна из самых важных организаций для послевоенного времени и политической атмосферы переосмысления нацистского прошлого Германии – Государственный Комиссариат по вопросам лиц, преследуемых по расовым, религиозным и политическим признакам» (Staatskommissars für rassistisch, religiös und politisch Verfolgte), созданный усилиями Американской военной администрации. Это учреждение находилось по адресу Хольбайнштрассе 9/11 (Holbeinstraße 9/11). Этим Комиссариатом руководил Филипп Ауэрбах (Philipp Auerbach), представитель еврейских ДиПи, который сам пережил все ужасы немецкого концентрационного лагеря, будучи депортированным из Гамбурга. «Этот Комиссариат занимался вопросами поиска жилья и финансовой помощи для ДиПи разных национальностей и конфессий. Филипп Ауэрбах подвергся массивной критике со стороны баварских ведомств из-за своего небюрократического стиля управления и необоснованной помощи для некоторых жертв нацизма, в 1951 году он был осужден ввиду денежных растрат вверенных ему сумм и несоответствия посту Комиссара. Два дня после объявления приговора Ауэрбах покончил жизнь самоубийством в 1952 году. В 1954 году он был полностью реабилитирован Баварским Парламентом.»³⁶

До войны в этом здании на Хольбайнштрассе 9/11 размещалось Страховое общество Верхней Баварии (Landesversicherungsanstalt Oberbayern). Здание сохранилось в прекрасном состоянии, предоставив американским сотрудникам площадь для офисов и жилья в 8 686 кв.метров с 101 кабинетом. Позднее в этом здании размещались не

только американские учреждения, но и Баварское Государственное Министерство юстиции, и, что самое главное для Толстовского Фонда, здесь находился Государственный Комиссариат по вопросам беженцев, как немецких, так и иностранных. Этим Комиссариатом руководил Теодор Оберлэндер (Theodor Oberländer), позднее Вольфганг Йенике (Wolfgang Jaenicke). Этот Комиссариат был организован в первую очередь для решения огромной проблемы немецких беженцев из бывших восточных рейхских провинций, как Богемия, Судеты, Силезия, которые нахлынули в Баварию после Потсдамской конференции и насильной депортации немецкого населения из этих регионов. Постепенно в компетенцию этого учреждения вошла ответственность и за иностранных беженцев.

В этом же здании был размещен общий американо-баварский Отдел по денацификации ведомственных работников в баварских министерствах.

Рядом с Хольбайнштрассе 9/11, в виллах на Фридрих-Хершельштрассе 9 и Кувельештрассе 14 (Friedrich-Herschel-Straße 9 und der Cuvilliestraße 14), размещались американские Комиссии по трофейному искусству, награбленному нацистами за время Второй мировой войны в разных европейских странах. В этих зданиях проживали и американские офицеры, работающие в этой Комиссии.

Детальное описание топографии городского района Мюнхена – Богенхаузена преследует цель описать те места, которые «окружали» месторасположение Толстовского Фонда. В этом же районе Мюнхена размещалось множество еврейских международных благотворительных организаций. Так, например, на Мёльштрассе 10 (Möhlstraße 10) размещался «Американский комитет помощи евреям» (JOINT), а рядом размещался Центральный комитет освобожденных евреев Баварии на Зибертштрассе (Siebertstr. 4), а также Организация ORT³⁷. На Мёльштрассе был знаменитый черный рынок города Мюнхена с 1945 по 1953 годы. В вилле семьи Лауэр («Lauer-Villa») была устроена временная синагога после Второй мировой войны.

К топографии городского района Богенхаузен, или «русского Богенхаузена», относится Дом милосердного самарянина на Мауэркирхерштрассе 5 (Mauerkircherstraße 5), организованный протоиереем о. Александром Киселевым, где были созданы начальная школа, гимназия, медицинская лаборатория и приют для русских православных беженцев, живших вне лагерей ДиПи. Это был очень важный и самобытный остров русской диаспоры в Мюнхене.

Все годы Толстовского Фонда в Мюнхене ему был характерен кочевой характер существования. С конца 1951 года Толстовский Фонд переезжает с адреса Рёнтгенштрассе в виллу на Пинценауэр-

штрассе 15 (Pienzenauerstraße 15) в том же городском районе Богенхаузен. Но и этот адрес был всего лишь промежуточной станцией для Толстовского Фонда. По этому же адресу размещалась также русская эмигрантская организация Союз Андреевского Флага (САФ).

Следующим адресом был Байэрштрассе 13 (Bayerstraße 13). Это один из центральных районов вблизи Главного железнодорожного вокзала. Во время войны он был довольно сильно разрушен, в 1970-е годы эта часть города претерпела существенные изменения, появилось много новостроек. В начале же 1950-х годов это месторасположение Толстовского Фонда было идеально для многих русских ДиПи уже в силу его центрального расположения для прохождения всех формальностей, необходимых для выезда в другие страны из Германии. Выезжали поодиночке, но чаще семьями и группами. «Согласно статистике ИРО к декабрю 1949 года в трех западных зонах Германии и Австрии находилось 75 тысяч русских ДиПи.»³⁸

Несмотря на кочевой характер существования Толстовского Фонда, в Мюнхене работа по опеке соотечественников расширялась. Были воссоединены усилия Толстовского Фонда с Архиерейским Синодом Зарубежной Православной Церкви. Доказательством сотрудничества Толстовского Фонда и Благотворительного и Переселенческого комитетов Русской Зарубежной Церкви может служить протокол общего заседания Толстовского Фонда и представителей Германской епархии Русской Зарубежной Церкви от 9-10 марта 1948 года, прошедшего в г. Вендлингене (Вюрт). В нем приняли участие от Толстовского Фонда Т. А. Шауфусс и сопровождавший ее прот. Павел Лютов, от Архиерейского Синода РПЦЗ прот. Г. Граббе, прот. И. Легкий, прот. А. Римаренко, а также А. П. Филинов, А. И. Никитин, А. К. Свитич. Совещание было посвящено объединению действий по оказанию помощи православным беженцам. Следующие решения были приняты на совещании:

«В целях установления взаимного понимания и совместной работы по оказанию помощи православным беженцам среди американских и русских кругов необходимо:

1.а) объединение усилий всех трех юрисдикций в деле создания в США и других странах общеславянских комитетов, задачей которых было бы оказание помощи православным беженцам всех национальностей.

1.б) для осуществления сего и для общего сближения трех основных русских православных групп за границей необходимо свидание трех Высокопреосвященных Митрополитов Анастасия, Феофила и Владимира.

1.в) для подготовки этого свидания и содействия делу указанного

сближения командировать в США прот. Г. Граббе, а при невозможности его выезда – преосвященного Епископа Нафанаила и дьякона Черткова. До поездки им надлежит посетить Женеvu и установить контакт с должностными лицами в Мировом Совете Церквей (World Council of Churches, WCC³⁹).

2. а) В Северной Америке создать единый Православный Комитет помощи беженцам под председательством Высокопреосвященного Архиепископа Афинагора или Преосвященного Николая Жичского, куда влились бы активные силы существующих уже там комитетов. Вновь организованному комитету надлежит незамедлительно приступить к подготовительной работе по расселению иммигрантов, прибытие коих предполагается в связи с ожидаемым принятием нового закона.

2. б) Просить Высокопреосвященного Владыку Митрополита Анастасия обратиться с особыми письмами к Владыкам Феофилу, Виталию, Афинагору и Николаю, а также к кн. Белосельскому, гр. Толстой, гг. Бахметьеву, Сикорскому, Соколову и Штрандтману, призывая их к совместной работе для оказания немедленной помощи православным беженцам в Германии и Австрии.

3. В целях создания благоприятной атмосферы для встречи трех иерархов и для внесения умиротворения в церковную жизнь, а также, чтобы не создавать препятствий международным межцерковным организациям в деле оказания помощи православным беженцам, необходимо прекращение взаимных нападок в печати и резких полемических выступлений.

4. Православные священники, стремящиеся выехать в Америку, независимо от принадлежности их к той или иной юрисдикции, и имеющие соответствующие оттуда вызовы, должны иметь канонический отпуск от своего правящего архиепископа.

5. Признать в принципе нежелательным создание параллельных приходов в тех местах, где уже имеются организованные православные приходы и где создание новых приходов может вредно отразиться на налаженной приходской жизни, а основывать приходы только там, где таковых еще не имеется и где вообще не ведется никакой церковно-религиозной работы.

6. В деле оказания помощи духовенству и его переселения необходимо произвести классификацию духовенства, проживающего на территории Германии и Австрии, выделив особые группы: престарелое духовенство и духовенство, оставшееся на приходах в Германии.

7. Просить Архиерейский Синод РПЦЗ о всех состоявшихся внезонных (т. е. между зонами оккупации Германии и Австрии. – *Е. К.*) назначениях, сообщать Беженской Комиссии в Женеве, через американского представителя в Германии прот. Павла Лютова»⁴⁰.

Активность Толстовского Фонда в американской зоне оккупации в Германии и Австрии, критическая позиция А. Л. Толстой и Т. А. Шауфусс по отношению к насильственной репатриации русских людей из Германии в СССР и их активность по спасению многих русских людей не осталась незамеченной советским правительством. Реакцией СССР на основание Главной квартиры Толстовского Фонда в Мюнхене осенью 1947 года стала серия статей в советской прессе, изобличающих А. Л. Толстую как американского шпиона и «врага народа». С 1948 года начинается систематическая травля А. Л. Толстой в советской прессе, нацеленная на дискредитацию Толстовского Фонда. Так, например, в «Правде» от 21.09.1948 года был организован «Протест членов семьи Л. Н. Толстого против шпионской деятельности изменницы Родины А. Толстой в Америке», в нем писалось: «Нужно заклеймить позором тех, кто пытается именем великого русского писателя и патриота прикрыть грязные, шпионские, человеконенавистнические дела, направленные против мира, прогресса, свободы. Имя Льва Толстого не может стоять рядом с именами фашистских подонков, американских гангстеров, линчевателей негров, убийц, душителей демократии, врагов свободлюбивых народов.» С 1948 года Александру Толстую убрали из всех фотоснимков и кинохроник. В музее Ясная Поляна ее имя было вычеркнуто из истории музея, более 60 лет ее имя не упоминалось даже в примечаниях и мемуарах, экскурсиях и музейных выставках. Ситуация начала меняться лишь в 1978 году, когда она была официально приглашена в Россию на празднование 150-летия своего отца Льва Толстого. К этому моменту ей исполнилось 94 года, она была уже больна. Вплоть до ее смерти она находилась под постоянным наблюдением советских секретных служб. Александра Толстая была официально реабилитирована лишь в 1994 году Борисом Ельциным, 15 лет после ее смерти.

Но травля в советской прессе А. Л. Толстой в конце 1940-х годов не смогла ни остановить работу Толстовского Фонда в Мюнхене, ни повлиять на позитивный имидж этой благотворительной организации. В период с февраля 1949–1951 гг. Толстовский Фонд продолжает реализацию программы по переселению русских ДиПи, преимущественно в США. К этому периоду Толстовский Фонд становится самостоятельной организацией и завоевывает себе достойное имя в ряду с другими международными частными благотворительными организациями, оказывающими помощь перемещенным лицам в Европе.

Сотрудничество ИРО с частными благотворительными организациями было организовано через комиссии ИРО по переселению с центральной регистрацией ДиПи для той или иной страны, куда

переезжали ДиПи. Эти комиссии состояли из консула отдельной страны, отвечающего за вопросы миграции и трудоустройства, врачей и секретарей для заполнения анкет. Обычно такие комиссии размещались непосредственно при Генеральных консульствах стран в Мюнхене. Если таковых в Мюнхене не было, то дела переправлялись в Берлин, где находились посольства стран. После получения разрешений на въезд в ту или иную страну, ДиПи отправлялись группами, с этой целью ИРО были организованы транспортные средства.

В этой связи интересна информация ИРО на 1 июля 1946 года, в которой указывалось, что в распоряжении ИРО были 36 пароходов для перевоза ДиПи в США и другие дальние страны, 45 ж.-д. вагонов, 3 300 грузовиков и 50 самолетов.⁴¹ Это были внушительные цифры, говорящие о масштабности перевозок с 1946 по 1951 годы, времени ответственности ИРО за перемещенных лиц.

Оплата переезда была для каждой страны разная в силу условий въезда в страну: за одних оплату производило ИРО, за других – принимающая страна на условиях рабочего договора, или же стоимость за проезд брала на себя одна из благотворительных организаций или частное лицо в той стране, куда выезжал тот или иной ДиПи.

Сотрудничество Толстовского Фонда с ИРО по программе переселения реализуется на основе обязательного договора. С этого момента Толстовский Фонд получает субсидии, что дает возможность расширить персонал Фонда и найти отдельное помещение, более удобное, нежели комната в Главной квартире ИРО в Пазинге.

Почему у русских православных «перемещенных лиц» было огромное желание скорейшего выезда из Германии? Прежде всего, из-за неустойчивости социального положения после принятия федерального закона в Западной Германии об «Иностранцах без подданства» в апреле 1951 года. При получении социальных прав мало у кого была уверенность в будущем в Германии – с высокой безработицей после войны, с недостатком жилья в разбомбленных немецких городах и селениях, из-за затянувшихся трудностей с продуктами. Страх быть насильно выданным советским репатриационным комиссиям сменился страхом быть выкраденным агентами НКВД. Этот страх был реальным в русской эмиграции, подкрепленный примерами. Этот страх владел теми людьми, кто во имя спасения своих жизней сменил свои имена и фамилии, изменил свою национальность, используя эту стратегию выживания в опасных условиях. Многим бывшим советским гражданам, очутившимся волей судьбы или по собственному желанию в американской зоне, пришлось придумывать свои биографии для спасительного выезда в США. Главным желанием было покинуть Германию как можно скорее еще и из-за страха

нагнетаемой политической атмосферы начинающейся «холодной войны». Людям, прошедшим тяжелейшую Вторую мировую, не хотелось вновь участвовать в новой войне. «Толстовский Фонд регистрировал тысячи русских, при этом во имя спасения людей нередко закрывал глаза на их 'биографии' или пережидал удобный момент, чтобы послать людей в ИРО или к консулу для объяснения неточностей в их биографиях.»⁴²

К 1948–1950 гг. русским «перемещенным лицам» уже не грозила насильственная выдача. При регистрации на выезд в другие страны вставал вопрос возвращения к своей истинной биографии и идентификации. «Нужно было приложить неимоверные усилия для объяснения американскому, британскому, французскому правительствам нежелания русских ДиПи возвращаться на родину и объяснения ситуации вынужденной подделки документов во имя спасения их жизни.»⁴³ В архиве Толстовской библиотеки имеются анкеты регистрации многотысячной группы русских, украинских, белорусских перемещенных лиц, желающих переселиться в другие страны. Эти материалы размещены в алфавитном порядке зарегистрированных лиц, обширность актов на каждое отдельное лицо различно в зависимости от продолжительности опеки за человека.

Все анкеты заполнялись на английском и немецком языках, что говорит о языковой разносторонности малочисленного персонала Толстовского Фонда. В работу Толстовского Фонда входила не только регистрация лиц, но и активное продвижения заявок на выезд, что означало опеку на протяжении всего процесса ожидания, который длился от 1 до 3 лет, иногда и дольше. В работу входил перевод решений от комиссий по выезду, сопровождение русских ДиПи на обязательных медицинских комиссиях при национальных консульствах, а также включало в себя юридическую консультацию в течение всего процесса рассмотрения документов на выезд. Эти архивные документы на выезжающих включают в себя также многочисленные благодарственные письма в адрес Толстовского Фонда от тех лиц, которым была оказана помощь. В длинных письмах или коротких открытках на Рождество и Пасху выражена человеческая благодарность как Толстовскому Фонду в целом, так и отдельным его сотрудникам, самоотверженно и подвижнически работавших по программе переселения русских ДиПи в Новый Свет, там, где стал возможным для многих новый старт в жизни после тяжелой войны и утомительного периода лагерей ДиПи.

Толстовский Фонд имел тесную связь и сотрудничество с Русской Зарубежной Церковью в Америке. Это было особенно важно при поиске работы и жилья для тех, кто прибывал из Германии в

США. Прибывая на новое место, русские «перемещенные лица» искали православные церкви как места первой помощи в незнакомых городах и селениях других стран. Это было воистину деятельной поддержкой. Православные церкви в Новом Свете стали первыми пристанищами для русских беженцев. Огромную посредническую помощь в поиске жилья оказала также Church World Service. Так, этой организацией были предложены рабочие контракты на первое время по прибытию. Представители CWS брали на себя так называемые «партнерства» за ДиПи, прибывающих в США.

Стоит коротко остановиться на странах, в которые Толстовский Фонд организовал выезд православных ДиПи. К середине 1947 года понятие «ИРО-беженец» было уже общепринятым термином при согласовании программы переселения ООН с правительствами других стран. Для христианских беженцев предлагались следующие страны: США, Австралия, Канада, Англия, Франция, Аргентина, Бразилия, Бельгия, Венесуэла, частичное согласие принять ИРО-беженцев выразили такие страны, как Парагвай, Чили, Перу, Швеция.

ИРО была разработана общая программа принятия ИРО-беженцев по рабочим квотам. «Благодаря международной программе переселения ИРО-беженцев, в период с 1947 по 1951 годы смогло выехать из западных зон Германии около 700 тысяч человек.»⁴⁴ Из всех вышеупомянутых стран самым большим спросом и популярностью среди русских православных беженцев пользовались США, Австралия и Канада. Это объяснялось прежде всего тем, что в этих странах уже существовали такие русские социальные инфраструктуры, как православные церкви и приходы, русские школы, русские печатные издания и т. д.

В трех западных зонах оккупации Германии с конца 1947 года начали работу многочисленные комиссии, вербующие рабочую силу в свою страну, таким образом преодолевался недостаток в трудовых ресурсах того или иного государства. Каждая из стран, принимающих ДиПи разных национальностей, имела особые возможности приема и устанавливала свои условия въезда в страну. Общим критерием отбора среди ДиПи для всех стран было состояние здоровья для въезжающих ИРО-беженцев и профессия. Большим преимуществом пользовались те, кто был молод и здоров. Так, например, Австралия в конце 1940-х годов ставила своей задачей получение рабочей силы из рядов ИРО-беженцев в сельскохозяйственной области при условии набора неженатых мужчин. В Бельгии предпочтение отдавалось рабочим в горной промышленности; из-за недостатка мужского населения страны после войны требовались не просто рабочие в угольных шахтах, но прежде всего инженеры горной промышленности.

Посредничество в подборе профессиональной рабочей силы не представляло трудностей, все было организовано через национальные генеральные консульства стран и работающих при них миграционно-трудовые комиссии. Число выезжающих было установлено квотами по въезду в страну на основе трудовой востребованности. Выезд оформлялся как договор, ограниченный по времени, было введено также условие въезда с семьями или без них. В таких случаях затраты на транспорт и переезд из Германии в ту или иную страну оплачивали те фирмы, которые нуждались в рабочей силе. Эти же фирмы брали на себя расходы по медицинской страховке и обеспечению жильем. В таком случае работа Толстовского Фонда ограничивалась лишь подготовкой информации о стране, составлением списков желающих. В лагерях ДиПи вывешивались, например, списки затребованных профессий с указанием страны: инженеры, механики, электрики, секретари со знанием языка. К 1950 году этот процесс был автоматизирован и хорошо отлажен в Мюнхене.

Другая ситуация была со странами, ищущими рабочую силу в аграрных хозяйствах. В большинстве случаев речь шла о непрофессионалах, процесс набора проходил медленно. Причинами тому были прежде всего неподходящий для русских людей тяжелый климат стран Южной Америки и Австралии, а также малая заселенность этих стран, неразвитая транспортная инфраструктура, отсутствие русских церквей и культурных учреждений, русских школ в этих странах, а также невозможности получения кредита на первом этапе. Но в большинстве случаев многие готовы были принять и эту неопределенную ситуацию после пятилетнего изнуряющего ожидания в лагерях. «Бездейственное существование в лагерях убивает людей и разлагает не только морально, но постепенно и физически»⁴⁵, – написал один из заявителей на выезд в своем письме в Толстовский Фонд. Среди согласившихся на выезд в климатически экстремальные страны нередко были и случаи возвращения обратно в Германию.

С началом программы по переселению ИРО-беженцев работа Толстовского Фонда была облегчена уже и потому, что не нужно было высылать «челобитные» в генеральные консульства различных стран. Процесс формальностей был централизован уже в силу общих договоров ООН с разными странами по рабочей квоте. Это было важным базисом международных договоренностей о решении проблемы ИРО-беженцев после войны. С каждой отдельной страной через посредничество частных благотворительных организаций заключались дополнительные договоры о медицинской и социальной страховках, финансировании ИРО-беженцев до момента прибытия в страну, перевода денежных сумм на переезд и т.д.

ВЬЕЗД В США

На протяжении всего существования мультикультурного государства Соединенных Штатов Америки въезд в страну регулировался квотами разного вида. После Второй мировой войны были введены специальные квоты для ИРО-беженцев. Благодаря давлению президента Трумэна наступило изменение в миграционной политике для ДиПи, что выразилось документом «ДиПи-Акт 1948» («Displaced Persons Act», 1948), в котором указывалось, что на протяжении следующих четырех лет (с 1948 по 1952 гг.) будет возможным принятие 410 тысяч человек в США.

Миграционная политика США всецело отразила идеологические и внешнеполитические аспекты послевоенного времени. «Документ 'ДиПи-Акт 1948' дал защиту в США не только лицам, преследуемым во время национал-социализма и фашизма, но и оказал помощь лицам, политически преследуемым советским режимом.»⁴⁶ Согласно архивным материалам о выезде в США, хранящимся в Толстовском Фонде, 21 октября 1948 года из порта Бремерхафен отплыл пароход «Генерал Блэк» («General Black»), на борту которого были первые русские православные ИРО-беженцы.

В 1950 году в документ «Displaced Persons Act 1948» были внесены изменения, которые позволили въезд дополнительно новому числу ИРО-беженцев. В 1951 году квота на прием ИРО-беженцев была продлена и позволила принять очередную партию переселенцев из Европы. Вследствие этих изменений, по статистике согласно американскому закону иммиграции «Public Law 774, US Congress» от июля 1948 года и дополнению «Home Rule 4567» от 16.6.1950, в США смогли въехать 351 400 беженцев до 30.6.1951.⁴⁷ «Общая статистика до конца 1951 года составляет более 400 000 ДиПи, принятых в США.»⁴⁸

Миграционный закон США от 1948 года указывал также на то, что все расходы на переезд на пароходе государство берет на себя с наложением определенных условий отработки на фермах, фабриках в соответствии со стоимостью билета за человека. «Стоимость переезда ИРО-беженца из Германии в США была установлена размером в 150 долларов.»⁴⁹

Опеку для ИРО-беженцев по трудоустройству и жилью должны были брать на себя частные организации, подтверждение их ответственности запрашивалось до выезда как залог того, что въезжающее лицо не будет в тягость США. «Гарантия за беженца» предоставлялась, как правило, Толстовским Фондом. Это направление деятельности Толстовского Фонда предполагало также огромную работу по выявлению контактов, договоренностей, формальностей непосредственно в Америке. Этим занималась А. Л. Толстая в Нью-Йорке.

Вот что об условиях оплаты пишет Ирина Фирсова из Вашингтона – она находилась в баварском лагере ДиПи в Мемминген со своей семьей и сумела выехать в 1951 году: «Мне известно от родителей, что после приезда в США мы были в долгу перед Толстовским Фондом, который оплатил нашу поездку из Нью-Йорка в Калифорнию. Я знаю, что получение визы в Америку требовало получения спонсора, который был бы готов за ДиПи поручиться и гарантировать, что эмигрант не станет обузой для государства. Я помню, что первая виза, которой смог добиться мой отец, куда-то пропала, и затем через некоторое время отец нашел нового спонсора, и мы приехали в Америку, но, увы, остались на Эллис-Айленде, пока не были найдены свидетели о папиной деятельности в Киеве. Найти свидетелей в русской диаспоре было несложно, но нужны были такие свидетели, которые были бы готовы дать показания агентам ФБР – это было совсем другое дело. На поиск храбрых и честных людей ушло три месяца»⁵⁰.

Выдача виз в Америку для ИРО-беженцев была связана с выполнением строгих условий и долгого процесса проверок, вследствие которого группы лиц были классифицированы; при этом одни из них имели больше шансов для выезда, чем другие. «Так, например, каждый желающий выехать должен был пройти медицинскую проверку, одна из процедур которой была проверка на туберкулез и рентген. В силу того, что были случаи фальсификации и подмены снимков, проверка на ТБЦ проводилась непосредственно в комиссиях при консульствах. В качестве обязательного условия было предоставления гарантии проживания в США и работы от частного лица, государственной или частной компании. Из числа выдаваемых виз 30% отводилось для желающих работать в сельском хозяйстве Америки. Одним важным условием была установленная квота на въезд иностранцам, будь он ‘иммигрант’ (‘immigrant’) или ‘беженец’ (‘refugee’). Это было связано с тем, что виза для ИРО-беженцев и квота по въезду были соотнесены друг с другом.»⁵¹

Регистрационные документы архива Толстовского Фонда в Толстовской библиотеке в Мюнхене были просмотрены нами выборочно ввиду их архивной необработанности. Архив представляет собой дела отдельных лиц, которые находились на попечении Толстовского Фонда в Мюнхене с 1947 по 1972 годы. Заявки поступали не только из Мюнхена и Баварии, запросы охватывали все три западные оккупационные зоны Германии и Австрии. Выборочный характер просмотренных материалов не дает возможность сделать всеохватывающий обзор и анализ статистики ДиПи, выехавших в другие страны.

Однако с точностью можно указать на время возникновения т. н. «волн» выезда русских ДиПи в США, которые совпадают с датами вышеуказанных законодательных документов США. Наивысшим временным пиком выезда из лагерей ДиПи были, несомненно, 1949–1950 годы. В этот период наблюдается усиленная деятельность Толстовского Фонда по регистрации русских беженцев и подготовке их выезда в США. Вот что рассказал Георгий Александрович из Нью-Йорка, представитель русской эмиграции, родившийся в Югославии, после войны очутившийся в Мюнхене, – он и его семья жили вне лагеря: «В 1949 году приехала к нам Александра Львовна Толстая в Мюнхен, которая помогала русским беженцам выезжать в Америку. Мы разговорились, и она меня спросила, хочу ли я с родителями перебраться в Америку, на что я ответил: ‘Конечно!’ Через несколько недель мы получили визы на выезд, а в январе 1950 года уже плыли на пароходе в Америку. 1 февраля высадились в Нью-Йорке, и нас встречали представители от Толстовского Фонда. На следующий день был юбилей Толстовского Фонда, и Александра Львовна взяла меня с собой в Карнеги-холл на концерт, посвященный этому событию. На третий день с двумя долларами в кармане я поехал с фермы в Нью-Йорк искать работу. В тот же день нашел работу, проработал день, получил 5 долларов, нашел комнату у русского князя и приготовил себе ужин. Через пару дней нашел работу в электронном магазине. Так началась моя жизнь в Америке. Наша семья никогда не забудет огромной человеческой теплоты и христианского участия, которые оказала нам А. Л. Толстая»⁵².

Архивные документы Толстовского Фонда по выезду русских ДиПи в США представляют обширный масштаб помощи людям от регистрации, заполнения анкет на английском и немецком языках, переводов решений национальных комиссий, сопровождения на медицинские комиссии – до человеческого утешения в трудную минуту отказа в заявке на выезд. Русским, немецким и американским историкам еще предстоит сделать анализ этого обширного архива. Судя по просмотренным материалам, США были одной из наиболее предпочитаемых целей для выезда из Германии и Австрии.

В силу многочисленных заявок на выезд время ожидания могло длиться от 1 года до 3 лет. И люди терпеливо и подчас обреченно ожидали ответа на заявки. При этом национальность, возраст, профессия, количество членов семьи, состояние здоровье играли решающую роль в выдаче разрешения на выезд. Иногда смогли выезжать лишь молодые члены семьи, люди старше 50 лет имели малый шанс на успех. В результате такой политики разбивались семьи, разъединяясь географически.

ВЬЕЗД В АВСТРАЛИЮ

Австралийское Министерство внешних сношений приняло решение в 1945 году о разрешении на въезд лишь 200 тысячам человек в год. Среди всех наций большее предпочтение оказывалось англичанам или ДиПи, владеющими английским языком. «В 1949 году Австралия имела 7,9 млн жителей, из них 2 тысячи человек были безработными. До 31 сентября 1950 года в страну смогли въехать 155 494 человека со статусом ИРО-беженец.»⁵³ Австралия не была затронута Второй мировой войной в силу своей отдаленности от европейского континента, однако вступила в войну одной из первых вместе с Великобританией, сразу же после нападения Германии на Польшу. «В течение всего хода войны около 93 тысяч австралийцев участвовали в военных операциях в Европе, Северной Африки и юго-западной части Тихого океана. Из них 25 тысяч погибли.»⁵⁴

К концу войны ситуация в экономике Австралии требовала привлечения рабочей силы извне. Программа переселения ИРО по рабочей квоте была выгодным предприятием для преимущественно сельскохозяйственной страны с малой заселенностью территорий. Экономическая переориентировка из аграрного в индустриальное государство произошла в Австралии в течение Второй мировой войны. Создавались новые предприятия с учетом военных потребностей, росли темпы производства прежде всего в станкостроении, самолетостроении, судостроении, увеличилась выплавка чугуна и стали. Все это требовало рабочих рук. Экономическая мощь страны выросла за годы войны, требовалась квалифицированная рабочая сила из Европы. В октябре 1947 года с западными союзникам был подписан договор о Южно-Тихоокеанской Комиссии, куда входили Новая Зеландия, Великобритания, Франция, США, Нидерланды; это предполагало привлечение дополнительной рабочей силы в страну. «Предпочтение оказывалось групповому въезду в Австралию: семьями, профессиональными группами, национальными группами, которые размещались по приезде в едином месте. В силу отдаленности Австралии от Европы стоимость на переезд была довольно высокая и составляла 450 долларов. Эта сумма оплачивалась ИРО.»⁵⁵

ВЬЕЗД В КАНАДУ

Канада, как и другие страны, высказала желание принять определенное число ИРО-беженцев. Так же, как и США, Канада имела свое строгое иммиграционное законодательство, предполагающее жесткий контроль въезда иностранцев в страну. «В 1949 году Канада насчитывала около 13,5 млн жителей, из них 110 тысяч было безработными в период с 1945–1950 годы.»⁵⁶

В незатронутой войной Канаде срочно требовались квалифицированные рабочие в целлюлозно-бумажной и нефтеперерабатывающей промышленности. Канадские иммиграционные комиссии начали свою работу в Германии и Австрии с 1949 года с желанием получить рабочую силу из рядов ДиПи. Канада пользовалась среди русских, украинских и белорусских ДиПи большой популярностью уже в силу схожих климатических условий, а также существования в этой стране православных приходов еще с 1920-х годов. Так, например, украинские ДиПи имели крепкие связи с Канадой по причине быстро растущей украинской диаспоры. Единственным препятствием была установленная годовая квота по въезду в страну в 50 тысяч человек в год и письменная гарантия профессионального образования. Для большинства восточноевропейских ДиПи, не располагающих документами об образовании или имеющих документы, не признанные в западных странах, а также для тех, кто сменил свою фамилию и имя, Канада оказалась неосуществимой мечтой. Выезд в Канаду проходил также по конфессиональным каналам, не только через систему ИРО. Так, например, западным украинцам – греко-католикам – выехать в Канаду было легче. Здесь сказалась сильная поддержка Мирового Совета Церквей и деятельная украинская диаспора в Канаде.

Интересным представляются информационные брошюры Беженского комитета ИРО, в которых на национальных языках ДиПи давались краткие сведения о той или иной стране. Эта серия именовалась незамысловато «Куда?». В нашем распоряжении имеется сборник о Канаде. В этой маленькой книжечке, в блокнотном формате DIN A5 на 50 страницах представлена страна Канада по следующим разделам: краткий исторический очерк о стране и ее государственном строе, система выборов, экономика, обучение, информация об установленных квотах по набору иммигрантов. Брошюра составлена на русском языке, по всей видимости, переводилась также и на другие языки. Тираж насчитывал всего 500 экземпляров, что было, без сомнения, лишь каплей в море, судя по многотысячной численности тех же русских ДиПи. Однако наличие таких брошюр способствовало распространению достоверной информации, а не слухов среди русскоязычных «перемещенных лиц». Нам неизвестно, распространялись ли такие брошюры в лагерях ДиПи или при национальных консульствах и иммиграционных комитетах, или же имелись в свободной продаже при Главной квартире ИРО в Мюнхене-Пазинге.

Переселенческая программа ИРО должна была закончиться летом 1951 года, к моменту передачи ответственности за ДиПи правительствам суверенных государств Германии и Австрии, где были сосредоточены многотысячные «перемещенные лица». Однако Толстовский

Фонд и далее продолжил свою обширную деятельность по переселению русских ДиПи, заручившись при этом финансовой поддержкой ООН вплоть до 1956 года. Это касалось переселения как отдельных лиц, так и переселения целых семей, которые соединялись после продолжительного времени, прежде всего в США. Это объяснялось часто тем, что выезд был разрешен лишь молодым, здоровым, неженатым, чаще всего мужчинам как перспективной рабочей силе. За ними через 3-5 лет следовали их престарелые родители и родственники.

Уже в последний год работы ИРО стало ясно, что проблема ИРО-беженцев не будет решена окончательно к моменту завершения деятельности ИРО в Германии и Австрии в июне 1951 года. Это стало основанием тому, что своевременно было создано особое Ведомство Высшего Комиссара по делам беженцев в Женеве как преемственное учреждение после завершения работы ИРО. Его официальное открытие произошло 15 декабря 1950 года. Первым послевоенным Высшим Комиссаром по делам беженцев стал голландский дипломат Геррит ван Хёвен Гудхарт (G. J. van Heuven Goedhart).

Так как Толстовский Фонд с 1949 года был официально признан как благотворительная организация, защищающая интересы православных русских ИРО-беженцев в Германии и Австрии, то всё совместное сотрудничество проходило в согласовании с тремя важными организациями, находящимися в Женеве с 1948 года:

- с Высшим Комиссаром по делам беженцев, международная организация при поддержке ООН;
- с Church World Service (CWS), протестантская организация;
- с World Council of Churches (WCC), межконфессиональная организация.

Это требовало от Т. А. Шауфусс регулярных разъездов для участия в ежегодных заседаниях в Женеве и укрепления позиции мюнхенского филиала Толстовского Фонда и для определения правового статуса русских ДиПи в лагерях и вне их. Многие работающие в Толстовском Фонде восхищались силой и энергией Т. А. Шауфусс, которая в свои 58 лет в 1949 году успевала быть на всех официальных заседаниях ИРО в Мюнхене и на заседаниях в Женеве, а также успевала всё организовывать в филиале Толстовского Фонда в Мюнхене. Находясь в частых разъездах, она проводила титаническую работу в Мюнхене и была движима неустанной заботой о своих соотечественниках на чужбине.

* * *

Период 1951–1953 годов был для Толстовского Фонда продолжением работы по переселению ДиПи в другие страны. Работа

велась с той же интенсивностью уже по той простой причине, что с июля 1951 года ответственность за ДиПи всех национальностей была передана от ИРО и ООН немецкому правительству. Многие лагеря расформировывались. Тот, кто не сумел по разным причинам выехать в другие страны, вынужден был искать себе жилье и устраиваться на работу в Германии самостоятельно.

«На момент весны 1951 года в западных зонах Германии осталось примерно 130 тысяч человек со статусом ДиПи»⁵⁷. Эти 130 тысяч были теми, кто не имел возможности переселения в другие страны и не соглашался репатрироваться на родину. Сколько из этого числа этнически русских – установить невозможно. В их число входили поляки, представители прибалтийских стран, Украины, Белоруссии, бывшие советские граждане разных национальностей. Ввиду смены фамилии и национальности во имя спасения, анализ национальной статистики особенно затруднен.

Благодаря активному участию Т. А. Шауфусс на заседаниях Комиссариата по делам беженцев в Женеве, удалось добиться следующих юридических прав для русских ДиПи, остающихся в Германии:

– Право на легитимный паспорт страны проживания.

После принятия «Закона об иностранцах без подданства и их правах» от 25.4.1951 года каждый ДиПи, проживающий в западных зонах Германии, получил новый документ, идентифицирующий личность. Этот документ был выдан всем ДиПи взамен на паспорта ИРО.

– Неограниченное право на пребывание в стране и право на передвижение внутри страны.

Для русских «перемещенных лиц», получивших статус «иностранцы без подданства» в Германии, право на свободное передвижение внутри страны было одним из важнейших. Это давало возможность поиска работы в других западных зонах Германии, кроме американской. Было принято также важное право возвращения ДиПи обратно в Германию из той страны, куда он выехал из Германии по рабочему договору. Это было чрезвычайно важно для тех, кто тяжело работал, например, на шахтах в Бельгии, и по состоянию здоровья не мог более оставаться на прежнем месте. Возвращаться таким русским было некуда, но оставаться, скажем, в Бельгии, не разрешалось по истечении срока рабочего договора. На защиту этой группы русских лиц встали А. Л. Толстая и Т. А. Шауфусс. И русским ДиПи разрешено было возвращаться в Германию.

– Индивидуальные социальные права русских «перемещенных лиц» в Германии.

Русские «перемещенные лица» имели легитимное право на

заключение брака и развод в Германии без согласования своих действий с министерствами по делам беженцев и независимо от срока пребывания в стране. Было признано право на усыновление детей и право быть усыновленным. Это было чрезвычайно важно для русских детей и юношества, оставшихся сиротами и проживающих в детских домах в Германии.

– **Право на обучение, получение профессии и работу.**

Каждый русский ДиПи имел право на обучение в школе. Существующие с мая 1945 года русские начальные школы и гимназии при лагерях ДиПи продолжали функционировать в Мюнхене, например, в Доме милосердного самарянина, а также в поселке Людвигсфельд, в который переехало много русских ДиПи из лагеря Шляйсхайм в 1952–1953 годы, куда переехала и русская школа. Все школьные свидетельства этих русских школ были признаны Министерством образования Баварии. Однако в целях лучшей социальной интеграции русским детям было предложено после окончания начальной русской школы продолжить обучение в немецких реальных школах и гимназиях.

Для тех же русских ДиПи, кто уже имел профессиональное образование и русские дипломы, ситуация была сложной, т. к. их профессиональная квалификация не была признана. В силу этого многие русские ДиПи были вынуждены браться за работу ниже их профессиональной квалификации, часто соглашались на работу без договора или лишь на временное трудоустройство. Большим исключением является пример проф. Федора Степуна, сумевшего получить соответствующее его знаниям и опыту место профессора на кафедре истории русского языка в университете им. Людвига-Максимилиана с 1949 года по 1965 год.

– **Права на социальную и медицинскую страховку для русских ДиПи были приравнены к немецким.**

В этот период оказывалась сильная материальная помощь, например, для русских детей на Рождество и Пасху; предоставлялась правовая помощь для русских беженцев по устройству на работу и при поиске квартир в Германии. При незнании немецкого языка среди большинства русских беженцев такая помощь Толстовского Фонда была чрезвычайно важна. Архивные документы переписки сотрудников Толстовского фонда и т. н. «просителей» по разным вопросам дают нам представление о масштабе и характере деятельности Толстовского фонда в этот период.⁵⁸

После расформирования всех лагерей ДиПи на территории западных зон Германии и Австрии с 1951 по 1954 годы для мюнхенского филиала Толстовского Фонда наступила новая фаза деятельно-

сти, а именно – процесс укрепления правового статуса русских ДиПи, оставшихся по разным причинам в этих странах и не сумевших выехать по программе переселения ИРО в другие страны.

Период с 1954 года был отмечен для Толстовского Фонда новым переездом по адресу Баерштрассе 13 (Bayerstr. 13), в городском районе Мюнхен-Людвигштадт. В это время меняется профиль работы Толстовского Фонда в Мюнхене в силу того, что программа по переселению ИРО-беженцев со стороны ООН была завершена, дальнейшие субсидии на ее продолжение не были предусмотрены ООН для частных благотворительных организаций. Это означало, что дальнейший выезд в другие страны для русских «перемещенных лиц» производился лишь частным путем через друзей и знакомых. Вся деятельность Толстовского Фонда в Мюнхене сосредотачивается на помощи тем русским людям, которые оказались социально незащищенными в Западной Германии и Австрии.

Это были прежде всего престарелые люди, которые по возрасту или болезни не смогли выехать со своими детьми в США или другие страны. Их судьбы были печальны. Они не могли найти ни работу, ни жилье. Получение минимальных социальных пособий для этой группы лиц было долгим и трудным процессом. Именно по устройству этой социально незащищенной группы престарелых лиц была проделана обширная организационная работа сотрудниками Толстовского Фонда. Судя по просмотренным архивным материалам Фонда в архиве Толстовской библиотеки в Мюнхене, с его стороны оказывалась скромная денежная поддержка этой группе лиц, а также помощь для не владеющих немецким языком в подаче заявлений в немецкие и австрийские социальные министерства по получению социальных пособий на проживание.

Огромной помощью стало строительство домов престарелых. В качестве примера стоит привести один из строительных проектов для 25 русских беженских семей, принятый Толстовским Фондом в австрийском городе Клагенфурт (Klagenfurt). На информационном щите перед домом была размещена информация, что строительство осуществляется на средства, выделенные по американской программе «United States Escapee Program» по заказу Толстовского Фонда. Создание русских домов престарелых стало важным направлением деятельности Толстовского Фонда в Западной Германии. В течение 1950-х годов Фондом было выстроено несколько домов престарелых в Западной Германии: в Гессене, Нассау, Дармштадте. Осилить такие строительные проекты в одиночку для Толстовского Фонда было немислимо. На помощь пришла Евангелистская организация «Хильсфверк-Зидлунг» («Hilfswerk-Siedlung GmbH»). Она была создана как

социально-строительная организация при Евангелистском Синоде 13 июня 1952 года с целью возведения жилищных поселков для немущих людей в разрушенном после войны Западном Берлине и вообще в Западной Германии. В 1964 году был выстроен еще дом престарелых в Западном Берлине, в зеленом городском районе Целендорф.

По сообщению мюнхенских историков Курта Зеебергера и Герхарда Раухветтера, «население жило между горами камней, кирпичей, песка, золы от разрушенных войной зданий... В результате воздушных налетов 264 000 мюнхенцев остались без крова. Примерно 300 тысяч были эвакуированы во время войны из Мюнхена. После войны недоставало 117 тысяч квартир, не считая разрушений общественных зданий: 13 тысяч домов с 62 тысячами квартир были полностью уничтожены. В сильно разрушенном состоянии находилось 8 тысяч домов с 32 тысячами квартир»⁵⁹. В такой ситуации найти место для размещения офиса Толстовского Фонда и жилья сотрудников было непростым делом. В период с 1947 года по 1956 годы Толстовский Фонд кочевал с одного места на другое. Но несмотря на частые переезды и кочевое существование, Толстовский Фонд был надежной благотворительной организацией для русских эмигрантов в Мюнхене после войны.

Толстовский Фонд в Мюнхене, начав свою деятельность с несмелых шагов осенью 1947 года, превратился в сильную благотворительную частную организацию в Мюнхене к 1951 году, времени передачи ответственности за перемещенных лиц от ИРО к германскому правительству. Филиал в Мюнхене стал первым отделением в Европе, который постепенно превратился в главную штаб-квартиру Европейского отдела Толстовского Фонда. «В тесном сотрудничестве и под покровительством Международной организацией помощи беженцам (УНРРА), ‘Чорч Уорлд Сервис’ и Архиерейского Синода, Т. А. Шауфусс развернула энергичную деятельность по оказанию помощи нуждающимся в ней соотечественникам, соединению семей, разбросанных войной, получению виз для перемещенных лиц, томившихся в лагерях различных городов Европы. Более сотни тысяч русских, украинцев, белорусов, армян, грузин, калмыков, евреев и других национальностей благополучно эмигрировали в США, страны Южной Америки, Австралию, Канаду и др.»⁶⁰

С 1956 года Толстовский Фонд в Мюнхене, являясь филиалом американской частной организации, был реорганизован в Благотворительное общество – как самостоятельную организацию, по юридической форме, соответствующей немецкому законодательству.

Толстовский Фонд защищал интересы не только русских «перемещенных лиц», но также представителей других наций и народностей и конфессий, которые были выходцами из многонациональной

России. Забота о «перемещенных лицах» не ограничивалась помощью в послевоенной Германии. Толстовский Фонд предоставил также возможность проживания, трудоустройства и юридической защиты тысячам беженцам из СССР в США.

Прибывающие из Германии русские ДиПи часто получали первый кров на Толстовской ферме вблизи Нью-Йорка. «Жизнь русской фермы»⁶¹ и Фонда протекала мирно и дружно, и никто не подозревал тогда, какую громадную роль в деле переселения беженцев из Европы сыграет Толстовская ферма после Второй мировой войны. К 1952 году Фонд занимался делами около 40 000 беженцев – ‘перемещенных лиц’ (ДиПи). В 1947 году их были десятки, позднее – тысячи. Были периоды, когда на ферме одновременно жило до 200 ДиПи, а всего их там перебивало свыше 3500. Только в 1951 г. в документах Фонда по европейским проектам значилось 11 500 человек.»⁶² «В 1947 расширилась деятельность Толстовского Фонда, открыв свои отделения, помимо США, в Канаде, Западной Германии, Австрии, Италии и в Южной Америке. А. Л. Толстая основала старческие дома для беженцев во Франции, в Германии, в Западном Берлине и в Южной Америке. В 1970 году основала дом для хронически больных... в Валлей Коттедж.»⁶³ «...открылись штаб-квартира в Цирндорфе, а затем во Франкфурте, представителями от Толстовского Фонда были назначены Г. Беблло и А. Игнатьева. В те же годы (1947–1948 годы) открылись отделения в Париже, Риме, Вене, представителями в них являлись Т. Толстая, Ж. Стефард и Д. Рогойский. В 1947 году начала функционировать в городе Зальцбург вторая в Австрии штаб-квартира Толстовского отделения. В конце 1947 года в Брюсселе открыло работу бельгийское отделение Толстовского Фонда, активным представителем которого стала О. Володимирова.»⁶⁴

Деятельность Толстовского Фонда географически расширилась в Европе с 1948 года: появились филиалы в Брюсселе, Париже, Риме и Вене. Время существования этих филиалов зависело от программ обеспечения и опеки российских беженцев и ДиПи. По мере их выполнения и завершения этих программ европейские филиалы Толстовского Фонда закрывались. В нашем распоряжении не имеется документов, подтверждающих время расформирования этих филиалов.

Модели финансирования проектов Толстовского Фонда базировались на международных гуманитарных субсидиях по различным программам с участием капитала пожертвований частных лиц или обществ в США. Так, например, программа опеки русских «перемещенных лиц» после Второй мировой войны проходила в рамках всеобщей финансовой поддержки ООН, которую несла ИРО с 1 июля

1947 года по осень 1951 год. «В Европе и на Ближнем Востоке Толстовский Фонд работал с помощью ЮСЕП (United States Escape Program) со штаб-квартирой в Женеве, который финансировал различные проекты, представленные Толстовским Фондом для облегчения участи русских беженцев (строительство домов для престарелых и квартир, устройство на работу и др.) Толстовскому Фонду помогали Департамент земледелия США, организация КЭР (CARE, Cooperative Relief Everywhere), Британский Комитет помощи в Западной Германии и др.»⁶⁵

Своей подвижнической гуманитарной деятельностью Татьяна Алексеевна Шауфусс и Александра Львовна Толстая завоевали себе имя и признание не только среди международных благотворительных организаций, действующих в западных зонах Германии и Австрии, но и получили активную поддержку у военной администрации в Американской зоне, в том числе и в Баварии. Но самым большим признанием была благодарность своих соотечественников, которым была спасена жизнь и оказана правовая защита от насильственной репатриации в СССР и которые смогли переселиться в другие страны для начала новой жизни с наличием всех социальных прав.

Резюмируя опыт европейской работы Толстовского Фонда, Александра Львовна Толстая писала: «Самое ценное в работе Толстовского Фонда является не только то, что он материально помог русским эмигрантам в трудный час и дал возможность выехать в свободные страны, а прежде всего то, что Фонд сумел объяснить американским учреждениям почему русские люди покинули свою родину, Советский Союз»⁶⁶.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Jacobmeyer, Wolfgang*. Vom Zwangsarbeiter zum heimatlosen Ausländer. Die Displaced Persons in Westdeutschland 1945–1951. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 1985.
2. *Frings, Paul*. Das internationale Flüchtlingsproblem 1919–1950. – Frankfurt am Main: Frankfurter Hefte. 1951, S. 55.
3. *Wetzel, Juliane*. [www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Displaced_Persons_\(DPs\)](http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Displaced_Persons_(DPs))
4. *Oltmer, Jochen, Prof.* Zwangswanderungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Bundeszentrale für politische Bildung, 2005. – Bonn, S. 2.
5. *Frings, Paul*. Ibid. – S. 88.
6. Архив ГЕ РПЦЗ, фонд 4, опись 2, коробка 15, дело № 15/3а, Организация Представительства русской эмиграции в Германии, 1949–1950 гг.
7. Архив ГЕ РПЦЗ. Ibid.

8. *Архиепископ Нафанаил*. Православная Русская Зарубежная Церковь. Из сборника «Беседы о Священном Писании и о вере». Т. V, издание Комитета русской православной молодежи. – Нью-Йорк. 1995.
9. *Толстая, А. Л.* Наш Толстовский Фонд // Бюллетень Толстовской библиотеки в Мюнхене. № 144-145, март-июнь 2010. С. 4.
10. *Толстая, А. Л.* Ibid. – С. 16.
11. Ксения Андреевна Родзянко (188–1970). Родилась в Полтаве, с 1901 г. сестра милосердия, работала в Общине Марии Магдалины в Сергиевом Посаде, принимала участие в организации Русского Красного Креста и школ сестер милосердия в дореволюционной России. Во время Первой мировой войны была фронтовой сестрой милосердия. После большевистского переворота неоднократно арестовывалась (1919, 1921, 1928), провела в тюрьмах и ссылке более пяти лет. С 1933 года сумела выехать вместе с Т. А. Шауфусс в Чехословакию.
12. Должанская, Лия. Российский политический Красный Крест и организация «Е. П. Пешкова. Помощь политическим заключённым» // «Здравый смысл». Зима. 2007/2008, № 1 (46).
13. См.: <https://ru.openlist.wiki>
14. *Толстая А. Л.* Дочь. – Лондон: Изд-во «Заря». 1979. С. 487.
15. *Толстая, А. Л.* Наш Толстовский Фонд... – С. 29.
16. *Толстая, А. Л.* История Толстовского фонда // Бюллетень Толстовской библиотеки в Мюнхене. № 144-145, 2010 – С. 33.
17. *Хечинов, Ю.* История Толстовского Фонда // Бюллетень Толстовской библиотеки в Мюнхене (Bulletin der Tolstoi-Bibliothek), № 160-161. Март-июнь. 2014. – С. 31.
18. Лит. некролог // «Часовой». – Брюссель. 1986. Сент. – Окт. № 662. Сс. 26-27; *Сахарова В. Т. А.* Шауфус и создание Толстовского фонда // НРС. 1986. 24 авг.
19. *Shannon, William V.* (October 28, 1984) в статье «Guileless and Machiavellian: Review of John Cooney, The American Pope». – The New York Times. Retrieved October 23, 2018.
20. Статья «Flugzeugführer Spellman». – Spiegel, 15.03.1947.
21. *Wojtowicz, Bernadetta.* Geschichte der Ukrainisch-Katholischen Kirche in Deutschland vom Zweiten Weltkrieg bis 1956. – Harassowitz Verlag. 2000. – S. 50.
22. *Хечинов, Ю.* Бюллетень Толстовской библиотеки в Мюнхене... – С. 32.
23. *Толстая, А. Л.* Наш Толстовский Фонд... – С. 29.
24. Ibid.
25. «Care and Maintenance» / IRO-Press/ 27.01.1950.
26. Прот. Павел Лютов (Павел Тимофеевич. 4.11.1900, Кубань – Вашингтон, 1978). В эмиграции с 1920 г., учился в Политехническом институте в Праге в 1922–1927 гг. В 1931 г. закончил Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже. Бакалавр литературы в Оксфорде в 1934 г. Преподавал в Св. Сергеевском институте. Рукоположен в 1938 г., переехал в

- США. В 1945 г. получил степень магистра в Школе искусств и наук в Американском университете. Преподавал в Howard University в Вашингтоне в 1938–1947 гг. Работал в Библиотеке Конгресса США в 1949–1954 гг. Настоятель православного храма в Вашингтоне. См.: <http://zarubezhje.narod.ru>
28. Толстая, А. Л. Наш Толстовский Фонд... – С. 30.
29. Фокин, Сергей. Толстовский фонд. Заглянуть в глаза прошлому. – Прага, «Русская традиция», 24.11.2015.
30. Хечинов, Ю. История Толстовского Фонда... – С. 31.
31. Толстая, А. Л. Наш Толстовский Фонд... – С. 29.
32. Лесли Стивенс (Leslie Stevens) был назначен ответственным за русских ДиПи в Главной Европейской квартире Американской армии во Франкфурте («United States European Command») на вилле I.G.-Farben-Haus, в которой с марта 1945 по 1995 г. размещалась Главная квартира американских частей.
33. См. сайт: www.care.de
34. YMCA – Young Men's Christian Association. Организация основана в 1850 в Женеве. YWCA – Young Women's Christian Association. Основана в 1894 в Женеве. Это были две взаимосвязанные организации единого Всемирного Христианского Союза Студентов.
35. Willibald, Karl. Die Möhlstraße. Keine Straße wie jede andere. – München: Buchendorfer Verlag. 1998. S. 66.
36. Процесс над Ауэрбахом сопровождался грубыми антисемитскими выступлениями в Мюнхене. Приговор был объявлен судьей, который все годы нацизма проработал на своем месте. Приговор гласил: два года заключения и денежный штраф. Приговор был объявлен 14 августа 1952 г. Через два дня после объявления приговора Ауэрбах покончил собой. – См: Geschichtspfad München, Band 86 Bogenhausen, S. 52.
37. ORT – «Organization for Habilitation through Training», американский филиал русского «Общества помощи и распространения ремесленного и земледельческого труда среди евреев». Основано в 1880 в Санкт-Петербурге.
38. IRO-Statistikal Report, 30.9.1950.
39. World Council of Churches, WCC – экуменическая организация была создана на всеобщем заседании в Амстердаме 22 августа 1948 года, объединившем 90 христианских Церквей. Первым генеральным секретарем был избран Willem Adolph Visser 't Hooft, протестант (Netherlands Reformed Church).
40. Архив ГЕ РПЦЗ, Мюнхен, Ф.7, д. «Епархиальная переписка, 1948 год». Эти документы любезно предоставил архивариус архива ГЕ РПЦХ г-н Анатолий Кинстлер, прокомментировав таковые. Приносим ему сердечную благодарность.
41. Frings, Paul. Das internationale Flüchtlingsproblem 1919–1950... – S. 75.
42. Хечинов, Ю. Бюллетень Толстовской библиотеки в Мюнхене... – С. 31.
43. Толстая, А. Л. Наш Толстовский Фонд... С. 14.
44. Oltmer, Jochen. Krieg und Nachkrieg: Auswanderung aus Deutschland

- 1914–1950, Haus der Bayerischen Geschichte. – Augsburg: Jahresheft. 2014. – S. 10.
45. Толстая, А. Л. Наш Толстовский Фонд... – С. 31.
46. Dickel, Doris. Einwanderungs- und Asylpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika. – Wiesbaden: Springer Fachmedien. 2002. – S. 94.
47. Frings, Paul. Das internationale Flüchtlingsproblem 1919–1950... – S. 101.
48. Frings, Paul. Ibid. – S.
49. Frings, Paul. Ibid. – S. 188.
50. Ирина Фирсова. Письмо автору от 1.02.2019 по электронной почте.
51. Behr, Hartmut. Zuwanderungspolitik im Nationalstaat: Formen der Eigen und Fremdbestimmung. – Opladen: Laske und Budrich Verlag. 1998. – S. 50.
52. Александрович, Георгий. Письмо автору от декабря 2018 г. по электронной почте.
53. Frings, Paul. Das internationale Flüchtlingsproblem 1919–1950... – S. 188.
54. Long, Gavin. The Six Years War. A Concise History of Australia in the 1939–1945 War. – 1973. – S. 55-58.
55. Frings, Paul. Das internationale Flüchtlingsproblem 1919–1950... – S. 190.
56. Frings, Paul. Ibid. – S. 191.
57. UNRRA – die Repatriierung der «Heimatlosen Ausländer» geschichtsatlas.de, abgerufen am 20. März 2016.
58. Архив Толстовского фонда послевоенного периода находится в русской Толстовской библиотеке в Мюнхене.
59. Seeberger, Kurt. Rauchwetter Gerhard, München 1945 bis heute. Chronik eines Aufstiegs. – München: Südwestverlag. 1970. S. 10.
60. Хечинов, Ю. История содания Толстовского Фонда...
61. А. Л. Толстая приобрела ферму в 70 акров земли в 30 милях от Нью-Йорка в местечке Вэлли Коттедж (Valley Cottage) в 1941 г. благодаря спонсорству частного лица – мистера Ярроу, которому А. Л. Толстая спасла жизнь в турецкой Армении во время Первой мировой войны. На ферме был устроен Дом для престарелых.
62. Толстая А. Л. История Толстовского фонда... – С. 30
63. Лит. некролог // «Часовой». – Брюссель. 1986. Сент. – Окт. № 662. – Сс. 26-27; Сахарова В. Т. А. Шауфус и создание Толстовского фонда // НРС. 1986. 24 авг.
63. Толстая А. Л. История Толстовского фонда... – С. 29.
64. Хечинов, Ю. История Толстовского Фонда... – С. 44.
65. Толстая А. Л. История Толстовского фонда... – С. 32.

Мюнхен

Ирина Анастасьева

«Горьким словом моим посмеюся...»*

Неопубликованная переписка М. Алданова и Л. Штильмана

Часть II

В прошлом номере «Нового Журнала» мы начали разговор о переписке двух выдающихся деятелей культуры: писателя Марка Александровича Алданова и его младшего друга, профессора Колумбийского университета Леона Штильмана. В письмах корреспонденты обсуждали работу над литературной антологией «Сто лет русской художественной литературы», которую намеревались опубликовать в издательстве Скрибнеров, но которая, к сожалению, так и не вышла в свет.

Безусловно, соавторство двух талантливых людей, М. Алданова и Л. Штильмана, могло бы принести блестящие плоды, подарив жизнь литературной антологии (Марк Александрович однажды написал младшему другу: «Вообще, Вы очень одарены самыми разными дарами, (От руки: ей Богу, завидно)»¹). Жаль, что этого не произошло, хотя и была проведена огромная подготовительная работа. Отбор материала оказался хлопотным делом: необходимо было много и быстро читать, а из-за большой нагрузки в университете Штильману приходилось отрывать время от сна, отдыха, отпуска. Доставать литературу тоже было нелегко: в Корнеллском университете (Итака), где он в то время преподавал, не было широкого выбора русских книг, поэтому он заказывал «фотостаты», то есть фотокопии книг в библиотеках других городов, прежде всего, конечно, в Нью-Йорке. Оба автора писали вступительные статьи о писателях, чьи произведения они намеревались включить в антологию, а также давали комментарии к текстам. Чтобы пробудить читательский интерес, Алданов пытался «оживить» статьи анекдотами из писательской жизни.

Наиболее захватывающая часть корреспонденции – дискуссия о том, какие произведения и каких именно писателей следовало бы предложить для публикации в книге; попутно авторы обсуждали особенности творческого метода тех или иных литераторов, радовались их художественным достижениям и победам, талантливым откры-

* Начало см.: НЖ, № 293, 2018.

тиям. Их оценки, безусловно, носили субъективный характер; ни тот, ни другой не скрывали своих симпатий и антипатий, но Алданов и Штильман, наделенные тонким слухом и точным профессиональным чутьем, умели предсказывать литературную славу тем, чей талант пока еще не проявился в полной мере. 27 июля 1943 года Алданов напишет: «Кажется, найдена и заключительная вещь для антологии: ‘Народ бессмертен’ какого-то Василия Гросмана². Фамилия мне не известная и, может быть, ан унд фюр зих³, неподходящая, но это роман, посвященный обороне Москвы от Гитлера».

Авторы собирались взять для антологии небольшой кусок из второй книги «Хождения по мукам» («18-й год») Алексея Толстого. Считая его очень талантливым писателем, Алданов все же недостаточно высоко ценил его современные произведения малого жанра, поэтому отказывался от «плохих» его рассказов. Но романы требовали аннотаций; на примере отрывков из крупных, объемных произведений подчас было сложно продемонстрировать прелесть всего текста, поэтому рассказы и стихотворения брали охотнее: будучи законченными произведениями, они лучше подходили для публикации. К тому же в США редко издавали сборники рассказов неамериканских авторов, предпочитая им романы, поэтому было больше шансов заинтересовать читателя антологией мало известной беллетристики. Так, были отобраны «Рогулька» Михаила Зощенко, рассказ Леонида Сергеевича Соболева «Соловей»⁴, стихи Константина Бальмонта («Получил вчера Ваше письмо от 24-го, сегодня от 25-го. Почему Вы с Симмонсом похоронили Бальмонта? Он был жив еще летом 1942 года. Может быть, умер с тех пор, – этого я знать не могу, так как больше из Франции известий не имею»)⁵. Думали также об отрывке из шолоховского романа «Они сражались за родину», небольшой части из книги К. Федина «Тишина», об отрывках из произведений М. Горького, которого, впрочем, оба не любили. Штильман в письме к Алданову скажет:

О Горьком с Вами не стану спорить. Я и сам небольшой его поклонник. На всю жизнь булочником остался. У меня такое впечатление, что он тесто месит. «На пароходе»⁶ я предлагаю без энтузиазма. Но, как и Вы, лучшего не нашел. Так давайте и возьмем эту вещь. Но в данном случае нужно все-таки считаться с его рангом, скажем, сбавивши ему известное число очков. Очень рад, что мы сходимся в оценке Пришвина. Замечательный, очень тонкий и по-настоящему своеобразный писатель, недостаточно оцененный, конечно, во многих отношениях выше Горького, но кто же нам поверит?⁷

Творчество М. Пришвина устраивало авторов антологии не только своим высоким художественно-исполнительским качеством, но и

необычностью содержания. Советуясь с Алдановым насчет отрывка из его произведений, Штильман напишет 4 сентября 1943 г.: «Хотел бы, чтобы Вы санкционировали мой выбор Пришвина: 'Jeng-Sheng: The Root of Life'⁸, глава IX. Посмотрите предисловие Julian Hu-lay. Это о животных, а у нас о животных ничего нет».

Вреден тем временем подготовил перевод «Тамани» М. Ю. Лермонтова и главы из романа Д. С. Мережковского «Петр и Алексей»⁹, так как имеющиеся переводы того и другого оказались плохими. Штильман раздумывал, не включить ли в книгу новые переводы из произведений П. И. Мельникова¹⁰, Квитки-Основьяненко¹¹, И. Гончарова, а также тургеневский «Дневник лишнего человека». Конечно же не обошлись без И. Бунина, Н. Лескова (отрывок из «Аскалонского злодея»), которого особенно почитал Штильман. Написав о его произведениях вступительную статью, он отчитался перед Марком Александровичем:

Посылаю Вам статью о Лескове, которую я только что успел закончить и переписать. Надеюсь, что Вы не обидитесь на меня, что переделал уже написанную Вами статью, но я привык к тому, что Вы прощаете мне мое нахальство. Оправдание мое в том, что Вы Лескова не любите, а я люблю. (Любить его научился у В. В. Гиппиуса¹² и у моего отца, – конечно, не «Некуда» и не «На ножах»¹³). <...> Мне хотелось показать, как я понимаю статьи: биографии, по-моему, много не нужно (кроме тех случаев, когда они особенно интересны, напр[имер], Лермонтов), а оценка и характеристика, безусловно, нужны¹⁴.

Авторы даже решились на Федора Сологуба. Его роман «Мелкий бес» был окончен в 1902 году, однако опубликовать его оказалось достаточно сложно. В письме от 12 сентября 1943 г. Штильман заметил: «Из 'Мелкого Беса' все-таки нужно будет что-нибудь дать. Рассказы его я прочел теперь все (4, кажется, тома). Совершенный ужас». Оба автора антологии не раз сетовали на трагическое звучание русской литературы, в которой редко удавалось обнаружить оптимистические нотки. Так, комментируя штильмановский выбор «Архиерея», Алданов, очень высоко ценивший талант писателя, скажет (9 февраля 1943 г.):

Я перечел этот чеховский рассказ, – он чудесен, но уж очень много у нас печальных вещей и так мало «радостных». Это не повредит ли успеху книги? Я в своих романах с этим никогда не считался, но для антологии сплошной минорный тон был бы явно неудобен. Пожалуйста, прочтите перевод «Первой любви»¹⁵. Если ее нужно переводить заново, то Вреден будет на некоторое время обеспечен.

Исследователь творчества Н. Гоголя Л. Штильман, колебавшийся в выборе отрывка из знаменитой поэмы, оставил решение этого вопроса на усмотрение коллеги. Марк Александрович предпочел сюжет о Ноздре, «историческом человеке», без участия которого, как известно, не происходила ни одна история: «Оба отрывка ‘Мертвых душ’, я, конечно, хорошо помню. Один лучше другого. В чисто художественном отношении, быть может, глава о Коробочке еще лучше. Но действия, правда, больше в главе о Ноздре»¹⁶.

Безусловно, создатели антологии не могли пройти мимо литературного наследия Льва Толстого. «Мировым шедевром начал, мировым шедевром кончил», – писал о нем Марк Алданов, досадуя, что мир, достаточно высоко оценив его художественные произведения, проигнорировал его морально-философское учение. Будь человечество более нравственно и прозорливо, комсомольцев в России было бы меньше, чем толстовцев, заявлял он в очерке «О Толстом». Из огромного наследия писателя было сложно выбрать небольшой отрывок, ибо каждый казался превосходным, приходилось «отбраковывать» те, которые звучали менее актуально, то есть были слабо сопоставимы с историческим моментом – войной с фашистами:

<...> я уступаю и в вопросе о «Войне и Мире». Вам не надо меня убеждать в том, что намеченные Вами сцены гениальны. За исключением одной, они, в самом деле, гениальны, как почти все в этой истинно-божественной книге (говорю, конечно, не о философии, я по части «распорядителей» за Толстым никогда не шел). Но, по-моему, мой выбор был лучше. Я взял сцены, выше которых ничего в литературе нет. Меня (От руки: здесь) мало интересует вопрос о том, какие сцены актуальнее. С одной стороны, все актуально: Фили и оставление Москвы, вступление французов, не меньше чем уход (От руки: французов) из Москвы, и партизанщина. С другой стороны, совершенно не известно, будет ли та партизанщина еще актуальна в момент выхода книги (От руки: и тем более когда ж). Почему Вы думаете, что читателям выбранные Вами сцены менее известны. Читатели пропускают философские главы, а не те части, в которых есть философские главы, целиком. Если б они пропускали выбранное Вами, то они просто не разобрались бы в сюжете: откуда вновь появился Пьер? куда исчез Петя? и т. д.

В Вашем выборе я мог разобраться только по изложению сюжета, а не по нумерации глав, в которой я ничего не понял. Как Вы знаете, у Толстого в подлиннике никаких «книг тринадцатых» и т. п. нет. В переводе же Мода¹⁷ «книга тринадцатая» имеет всего четыре главы, тогда как Вы говорите о главах XI–XIV включительно?

Как бы не вышло путаницы?

<...> Очевидно Вы хотите взять и поездку Долохова с Петей во фран-

цузский лагерь? Да и действительно из второй комбинации это выпустить трудно. Я когда-то писал, да и думаю по сей день, что это единственная неправдоподобная, да и почти невозможная сцена в «Войне и Мире». Во-первых, опытный (От руки: человек), как Долохов, не взял бы (От руки: без малейшей надобности) 16-летнего мальчика в такую поездку, где малейший промах стоил бы жизни. Во-вторых, Долохов, как сказано в начале романа (паре о подоконнике) «не слишком хорошо» говорил по-французски, и французы, вообще мгновенно узнающие иностранцев, никогда не могли бы принять за французов его и Петю. Здесь Лев Николаевич поверил воспоминаниям одного партизана, доверия не заслуживавшего, и единственный раз в жизни не устоял против (От руки: соблазна) чисто-Куперовского¹⁸ эффекта.

Гораздо меньше, чем всё другое, я люблю и (От руки: страницы) о капитане Рамбалле. Вы его даёте, и это будет не очень «актуально»: немецкие офицеры не таковы¹⁹ и их, конечно, принимают иначе.²⁰

Понимая, что у «конкурентов», то есть авторов других антологий русской литературы, также будет отрывок из эпопеи Толстого, Штильман стремился обогатить свою книгу такими сюжетами, которых в чужих публикациях наверняка не будет. Так, в его литературной коллекции находился дневник Дениса Давыдова – известного поэта, гусара, ставшегося прототипом толстовского персонажа Василия Денисова, и, чтобы привлечь читателя, Штильман собирался поместить в антологию страницы из дневника.

Строже, нежели к толстовскому творчеству, авторы относились к художественному наследию Ф. Достоевского. Впрочем, многие собраты по перу не скрывали своей скептической оценки его трагических повествований и стилистически тяжелой для восприятия манеры письма. В «Лекциях по русской литературе» Владимир Набоков практически разгромил ряд сцен из «Преступления и наказания», раскритиковав писателя за неумение мотивировать поступки героев и за нежизненность обрисованных ситуаций. Размышляя над выбором эпизодов из романа Федора Достоевского, Алданов спросит Штильмана:

Надеюсь, что из Достоевского сцену убийства? Предупреждаю Вас, что на рассказ Мармеладова я решительно не согласен. Бунин мне говорил, что этот рассказ «ниже критики», – я так далеко не иду, но рассказ действительно плохой.²¹

Что касается современной литературы, то в состав сборника должны были войти не только произведения метрополии, но и те, что были созданы в эмигрантской среде. Авторы антологии не стреми-

лись противопоставить литературу дореволюционную – постреволюционной, эмигрантскую – советской. Им было важно показать единство русской литературы, влияние старых писателей на современных. Конечно же, они намеревались взять отрывки из романов самого Марка Алданова, фрагменты из рассказов (или целые рассказы) Ивана Бунина, а также Владимира Набокова. Авторы антологии относились к Сирину с большим уважением, признавая его исключительный талант, особую одаренность. Марк Александрович предрекал ему большую славу, подчеркивал значимость и масштабность его литературных способностей, видел в нем большой потенциал; Штильман был более сдержан в оценке его произведений. По этой причине они никак не могли сойтись в выборе набоковских рассказов, не все из которых казались Штильману привлекательными. 27 февраля 1943 года Алданов получил «очень милый» ответ от Сирина, предложившего для сборника свой рассказ «Мадмуазель О» (в дальнейшем Набоков колебался относительно публикации в антологии этого рассказа). При отборе произведения для публикации в антологии возник вопрос о переводчике – надо понимать, кому причитается гонорар за работу. Обсуждая эту проблему с Штильманом, Алданов пишет:

<...> (Набоков – И. А.) неясно добавляет: «сам перестроил». Не знаю, что именно это значит: он ли перевел или он исправил чужой перевод к ней (к «Мадмуазель О» – И. А.)? Если б Вы могли деликатно, вскользь, спросить Петра Александровича, кто перевел рассказ, – было бы хорошо. Если не Перцов, то как нам быть? Я тоже *очень* хотел бы, чтобы П[етр] А[лександрович] принял хоть небольшое участие в антологии. Сирину тоже надо будет заплатить, но я предупредил его, что плата будет небольшая.

Алданов очень хотел включить в книгу этот сиринский рассказ, хотя Штильман воспринял его скептически. По словам современного исследователя Геннадия Барабтарло, «‘Mademoiselle O’ Набоков написал по-французски и напечатал в 1939-м году в парижском журнале ‘Мезюр’, затем перевел, с помощью г-жи Хильды Вард, для бостонского ежемесячника ‘Атлантика’ и, наконец, кое-что переделав, поставил пятой главой в свою автобиографию ‘Убедительное доказательство’ (Нью-Йорк, 1951)»²². Однако Петр Александрович Перцов, приятель Штильмана, считавший рассказ слабым, утверждал, что он был переведен на английский самим автором²³, впрочем, он мог ошибаться. Доверяя литературному вкусу коллеги, Штильман отказывался включать в сборник данное набоковское произведение. Он попытался прибегнуть к хитрости, настаивая на том факте, что рассказ изначально был написан не на русском языке, поэтому не мог

считаться образцом русской литературы. Но Марк Алданов оценил произведение очень высоко, поэтому настаивал:

Не могли бы Вы взять у Петра Александровича и прислать мне и «Мадмуазель О», и «Весну в Фиальто» (Так у Алданова. – *И. А.*)? Если обе вещи небольшие, то не взять ли обе, хоть это и не очень улыбается и не соответствует табели о рангах? Однако я предполагаю, что, в случае отказа от его предложения после того, как мы его запросили, Сирин не даст ничего.²⁴

Забыл Вам в прошлом письме написать о «Мадмуазель О». Рассказ блестяще написан, и я очень рад включить его. В нем 7 двойных страниц «Атлантик». Это составляет около 30 тысяч печатных знаков, а сколько на слова, я не знаю, все еще не привык к такому счету. Если не очень много, – напр[имер], не более 10 страниц антологии, – то не взять ли еще маленький рассказ (От руки: Сирина) в переводе П[етра] А[лександровича]?²⁵

Деля обзор новой литературы в предисловии к антологии, Алданов назвал Набокова лучшим писателем своего времени, возвысив его, таким образом, и над современными эмигрантами, и над корифеями советской литературы. Штильман, как мы уже сказали, не разделял его мнения о Набокове и не соглашался со столь высокой оценкой его вклада в мировое художественное творчество, хотя в целом заслуги Набокова признавал и даже был рад тому, что его собирались пригласить в Корнеллский университет читать историю. Невзирая на отсутствие достаточного числа научных работ, В. Набоков несколько позже, в 1948 году, за «размах и глубину познаний» всё-таки был приглашен в Корнеллский университет читать курс русской литературы *на русском языке* и курс «Мастера европейской прозы» *на английском языке*. Он проработал там вплоть до 1959 года. Моррис Бишоп вспоминал: «Годы, проведенные в Корнелле, были плодотворными для Набокова. Кроме рассказов и стихов для 'Нью-Йоркера' он написал 'Пнина', 'Лолиту', 'Убедительное доказательство', серию статей по энтомологии; перевел 'Слово о полку Игореве' и 'Евгения Онегина'»²⁶.

Возражения Штильмана могли быть вызваны недостатком личных симпатий к русско-американскому писателю («Я бы очень хотел, чтобы он приехал, но боюсь, что он начнет выкалывать свои обычные коленца и что это кончится крахом»²⁷), ведь у Набокова отношения с эмигрантами-литераторами обычно не складывались или оставались долгое время весьма прохладными. 12 сентября 1943 года, призывая соавтора быть более объективным в оценке творчества Сирина, Штильман напишет:

<...> Что касается до Сирина, то хотя я действительно за Вашу статью

не отвечаю, но я всё же очень бы Вас просил несколько *altérer*²⁸ Вашу оценку (скажем, не «первый», а «один из первых», или что-нибудь в этом роде). Политика тут, конечно, ни при чем²⁹. Я Сирина очень люблю и очень ценю. Но он, на мой взгляд, при исключительном таланте не настоящий «большой» писатель. У него слишком много эффектов, стилистических и «фабульных», слишком много исключительных ситуаций, психологии, слишком чувствуются иностранные влияния, и не из лучших. Но всё это опять-таки дело вкуса. Что же касается до того, что он стал английским писателем, то это отнюдь не мешает его включению в Антологию и не влияет на оценку его творчества в прошлом. Я привел это соображение в ответ на то, что Вы «надежды» на него возлагаете. Должно быть, я не ясно выразился. Это всё равно, как если бы писатель умер или впал в идиотизм. Его можно было бы как угодно хвалить за прошрое, но нельзя было бы на него возлагать надежд <...> Всё-таки был бы очень рад, если бы Вы с Сирина сняли «пальму первенства», которой он, ей Богу, не заслуживает. (Может быть вообще «первый приз» сейчас некому выдать).

Как известно, Набоков в США писал по-английски, поэтому «возлагать на него надежды» как на будущего великого русского писателя, действительно, не стоило. С некоторыми из лучших своих рассказов, созданными ранее на русском языке, он решил познакомить американского читателя. Хотя писатель свободно владел английским языком, переводить произведения самостоятельно по каким-то причинам он не пожелал (как известно, он позднее сделал автоперевод «Лолиты» и автобиографического романа «Другие берега») и предложил работу Петру Александровичу Перцову, преподававшему русский язык в Корнеллском университете. Затем он лишь редактировал эти переводы, хотя их качеством в целом был доволен. Перцов же, как мы уже говорили, был хорошим знакомым Леона Штильмана.

Тайну личности Петра Александровича Перцова приоткрыл читателю современный американский исследователь Максим Д. Шраер. В статье «Набоков и его американский переводчик П. А. Перцов» («Таллинн». 2001, № 23) М. Шраер сообщил: «Перцов родился в Санкт-Петербурге в 1908 г. и эмигрировал в США в марте 1920 года через Манчжурию и Японию. Он учился в классической гимназии города Кэмбридж (шт. Массачусетс), а в 1933 г. окончил Гарвардский университет со степенью бакалавра по английскому языку и литературе. Проучившись еще несколько лет в Гарвардской аспирантуре на отделении сравнительного литературоведения, Перцов вынужден был прервать свое образование из-за начавшегося психического заболевания. В конце 1930-х годов Перцов преподавал во Французском лицее в Нью-Йорке. В 1940 г. он получил диплом библиотекаря в

Колумбийском университете, после чего несколько лет проработал в справочном отделе Нью-Йоркской публичной библиотеки. Переехав в Итаку (шт. Нью-Йорк) в 1943 г., Перцов преподавал русский язык в Корнеллском университете. Кроме Набокова, Перцов переводил и других эмигрантских авторов, включая Алданова. В 1945 г. из-за рецидива заболевания он оставил Корнелл. Перцов лечился у известного бостонского психиатра д-ра Джорджа М. Шломера (George M. Schlomer). После наступления ремиссии Перцов возобновил свою карьеру библиографа и переводчика, прослужив с 1948 г. и до своей смерти в 1967 г. в Библиотеке Конгресса. <...> Несмотря на большое количество поправок и изменений, которые Набокову приходилось вносить в переводы Перцова, Набоков был переводами доволен и очевидно предполагал продолжать с Перцовым сотрудничество. Переписка оборвалась в 1944 г., и внезапный разрыв отношений между Набоковым и его американским переводчиком скорее всего следует отнести на счет возобновившейся душевной болезни Перцова, а также некоторых финансовых разногласий, возникших между писателем и переводчиком».

В своей статье Шраер помещает письма Набокова Перцову. Одно из них от 23 апреля 1943 года и в нем писатель уведомляет переводчика, что «еще не совсем решил, что даст» в алдановский сборник. В комментариях к письму исследователь замечает: «Набоков, скорее всего, имеет в виду 'Новый Журнал', основанный М. Алдановым и М. Цетлиным в 1942 г. в Нью-Йорке». Вероятнее всё же, Сирин раздумывал, какие рассказы предложить Алданову для публикации именно в антологии (т. е. в «сборнике», а не в журнале). Так, 19 января 1943 г. Алданов, отвечая на вопросы Штильмана, пишет:

Я очень хочу, чтобы в Антологии был рассказ Сирина именно в его (Перцова. — *И. А.*) переводе, но все-таки, повторяю, Вы должны поговорить об этом с Вреденом предварительно. Я так и написал Петру Александровичу. Надеюсь, что он еще с Сириним не снесся? Между нами говоря, боюсь, что Сирин теперь меня ненавидит, — в самом деле, отчего не он³⁰? Других русских кандидатов в Клубе, должно быть, не было, — разве Эренбург и Толстой, которых печатает Кнопф? И если и по антологии будет заминка с Сириним (например, не сойдутся в цене издатели), то это будет неприятно мне еще больше, чем ему. Всё это строго конфиденциально. Но я надеюсь, что тут никакой заминки не будет. <...> Я завтра сообщу Вредену содержание Вашего письма и дам ему для перевода «Натали» Бунина. По-моему, эта вещь еще лучше, чем «Генрих», и всё-таки там влюбленность одновременно только в двух женщин, а не в трех (плюс цыганки), как в «Генрихе»: это, особенно в американском смысле, лучше.

Последнюю мысль Алданов еще не раз повторит в своих письмах, намекая на пуританские нравы в США, где, в частности, долго не публиковали набоковскую «Лолиту» (первая публикация в Париже в 1955 г.). 14 апреля 1943 года, т. е. практически в то же время, когда было написано письмо Набокова Перцову, Алданов еще раз повторит: «Сирину я написал, ответ от него (насчет 'Мадмуазель О' и вещей, переведенных Перцовым), пока не имею (От руки: от Перцова я позавчера получил письмо)». Произведения И. Бунина предложили для перевода Н. Вредену, но насчет повестей для публикации авторы антологии долго не могли договориться. «'Натали' слаба, – напишет Штильман, – и не по вине Вредена. Длинная, скучная вещь. В ней очень хороши 3-4 страницы. Остальное, – золотистые волосики на смуглых руках, шелест листьев в саду и больше ничего. Скучно, длинно, [неразборчиво] и старомодно до невероятности»³¹.

Штильман был недоволен выбором рассказа (идея включить его в антологию принадлежала Алданову), Вреден от рассказа тоже был не в восторге. «Натали», как известно, входит в цикл «Темные аллеи», который Бунин считал самым совершенным своим творением, впрочем, как и многие критики. В дарственной надписи, сделанной на книге, которую писатель преподнес Зинаиде Шаховской, он сравнил ее с «Декамероном» Боккаччо. Хотя все рассказы очень лиричны, они, как известно, и очень трагичны. Писатель Юрий Мальцев назвал цикл «энциклопедией любви»³², поскольку в нем представлены разные грани этого сильнейшего человеческого переживания: самозабвение, жалость, колдовство, отчаяние, нежность, сострадание – но и предательство. Архитектура рассказа – одна из наиболее сложных не только в цикле, но, пожалуй, и во всем творчестве Бунина; здесь в традициях модернистской эстетики соединены любовь небесная и любовь земная, Мадонна и Астарта. Вероятно, в этой литературной миниатюре ощущение преступности любовного чувства излишне подчеркнуто, очень уж явствует, – с точки зрения читателя 40-х годов XX века. И это обстоятельство не могло не смущать Штильмана и Вредена.

Было бы странно, если бы Марк Алданов проигнорировал письмо друга, поставившего под сомнение его выбор произведений, но главное – нанес удар по Бунину! Тут алдановский сарказм проявился в полной мере: сравнение Штильмана с Португейсом³³ тот еще бы пережил, но уподобить его Лунцу, наипервейшему врагу (мы говорили о нем в первой части статьи), – это уже обидно. Заодно досталось и тургеневскому «Дневнику» (выбор Штильмана, который, кстати, к Тургеневу, по собственному признанию, питал антипатию).

Я и не сомневался в том, что переводы Ник[олая] Романовича³⁴ окажутся превосходными. Что до Бунина, то, во-первых, Вы «Натали» читали еще в журнале, и я Вам говорил, что хочу дать именно «Натали». Вы могли тогда сказать, что вещь эта Вам не нравится (От руки: по-моему, она тогда, надо сказать, очень Вам нравилась), во-вторых, не подлежит сомнению, что в «Натали» нет *ничего*, задевающего целомудрие или лицемерие читателей, тогда как «Генрих» с тремя одновременными связями (плюс цыганки), несомненно, показался бы американским критикам вещью очень сомнительной; в-третьих же, о вкусах не спорят, но покойный Куприн говорил Бунину: «ты писатель не для читателей, а для писателей». Я Вас причисляю к писателям, и меня удивляет, что Вы также не оценили прелесть этой вещи, как и Степан Иванович, который мне сказал то же, что Вы, о ней (да еще добавил – не знаю, видели ли Вы и слышали Степана Ивановича, – он же Португейс: «кроме того, что она написана плохим русским языком»!). Правда, ругал «Натали» и Сирин, но он, как сообщил Карпович, уже радикально переменял мнение; кроме того, Сирин и «Войну и Мир» считает слабой вещью. Добавлю, что Ваш друг Лунц вполне с Вами согласен насчет «Натали».

«Дневник лишнего человека» я читал давно. У меня осталось впечатление, что это вещь малоинтересная и тоже изобилующая клише. Не пришлете ли Вы мне эту книгу? Или же подождите моего возвращения (От руки: в свет), поскольку у Вредена есть что переводить. Не сомневаюсь, что выбор «Дневника» из всего Тургенева вызовет общее недоумение.

Я обо всем с Вами советуюсь, спрашивал Вас и о выборе главы (банкет из Квитки³⁵). А Вы дали для перевода главу из Мережковского, не показав ее мне и не сообщив, какая это глава. Надеюсь, что она менее «старомодна», чем «Натали» <...>³⁶

Правда, очень скоро Алданов Тургенева «реабилитирует» и отзовется о повести более снисходительно:

Вчера утром получил Тургенева и через два часа отослал его Вам. Бог с Вами, возьмем «Дневник лишнего человека». Он всё-таки лучше, чем мне казалось по памяти (кстати, когда мне было лет шестнадцать, я написал рассказ свой «первый» в подражание этому «Дневнику»). Но ни одного живого человека в нем нет, все мертвые фигуры, вроде князя. Тогда как в «Первой любви» хоть три человека более или менее живые: мальчик, княжна и ее мать. Зато (От руки: в «Дневнике») есть фабула, это ценно для антологии³⁷.

Помимо Марка Алданова и Леона Штильмана в подготовке антологии принимал участие Николай Романович Вреден, сделавший большое количество переводов как рассказов, так и отрывков из крупных произведений русских писателей; Алданов и Штильман

высоко ценили качество этих переводов. Чеховская «Свирель» у него получилась прекрасно, проза Ремизова вышла великолепно, «лучше, чем в подлиннике». Но именно из-за него работа над антологией затягивалась. Он постоянно куда-то исчезал. Его дом находился в пригороде Нью-Йорка, и он позволял себе уезжать из издательства на несколько дней, никого ни о чем не известив. «Не скрываю, и я начинаю злиться на Вредена, – сетовал Алданов, – я ему написал дней десять тому назад письмо, полушутливое, но с разговором о делах, и просил его позвонить мне, как только он вернется в Нью-Йорк. А вчера <...> узнал, что Вреден вернулся уже неделю назад!»³⁸

Поведение Николая Романовича Вредена вызывало всеобщее недоумение. Марк Алданов догадывался, что за его поступками кроются семейные проблемы: Вреден часто болел, к тому же был занят устройством сыновей в школу, переезжал в Нью-Йорк из Уайт Плэйнс³⁹. К тому же он вздумал разводиться, влюбившись в свою секретаршу, миссис Бишоп, которой также пришлось развестись с мужем. Он был постоянно занят в книжном магазине при издательстве. Когда из-за рождественской продажи в магазине было столпотворение, он возвращался домой в одиннадцать вечера и уже ничего не мог переводить. Наконец, Вреден объявил «Чарли» Скрибнеру, что оставляет место ради лучше оплачиваемой должности в издательстве Деттона, пообещав Алданову продолжить переводы и рассказов для антологии, и произведений самого писателя.

Стремясь ускорить процесс работы, Штильман посылал Вредену собственные переводы наиболее сложных кусков из текстов Н. Лескова, вычитывал перевод отрывков из романа Л. Толстого «Война и мир», вносил исправления в перевод «Преступления и наказания» Ф. Достоевского. Договаривался он и с американскими переводчиками, например, с Лорной Бертвелл (Lorna Birtwell), преподававшей в Колумбийском университете, сделавшей перевод отрывков из романа Андрея Белого «Петербург». Штильман и отредактировал ее работу (издателей не волновал вопрос об авторских правах Андрея Белого, так как он скончался в 1934 году. Говоря о переводе «Петербурга», сделанном Лорной Бертвелл, Алданов вскользь заметил, что «едва ли она платит наследникам Белого, если даже есть наследники»⁴⁰). Из-за не сделанных вовремя переводов Скрибнеры откладывали публикацию антологии на неопределенное время. Нынешний темп работы не позволял Вредену быстро сделать и перевод алдановских «Истоков», что сильно осложняло финансовое положение писателя, ибо он не мог роман опубликовать. Безусловно, Н. Вредену приходилось проделывать большой объем работы, и, повторяю, когда он занимался своим делом, то безупречно

справлялся со своими обязанностями. Переводить ему приходилось как произведения русской классики XIX века, так и современную советскую литературу, доставлявшую авторам антологии немало хлопот. Когда они выбирали отрывки из произведений дореволюционных писателей или эмигрантов, они чувствовали себя уверенно, отлично разбираясь в литературном процессе, понимая и принимая законы построения фабулы, композицию образов и т. д. Однако с советской литературой дело обстояло сложнее. Невзирая на то, что в библиотеках можно было познакомиться с содержанием толстых журналов из СССР, поиски произведений, лишенных идеологического контекста и в то же время филигранных, отнимали много сил и времени. Поэтому Марк Александрович не стеснялся советоваться с друзьями насчет выбора произведений советских писателей: «Я кое-что прочел в Библиотеке (там писатель, в частности, просматривал московскую «Правду» – И. А.) и спрашивал Веру Александрову⁴¹, которая *всё* читает», – письмо от 22 июля 1943 года. Вообще же Алданову современная советская литература не нравилась, и хотя антологию намеревались завершить произведениями о Великой Отечественной войне, выбор, с точки зрения Алданова, был невелик: «Не могу не сказать, что как ни плоха была военная литература 1914-5 гг., она была значительно лучше нынешней. И ее в антологии никто не брал. Очень совестно будет печатать это рядом с гениальными произведениями, но боюсь, что придется»⁴². Раскритиковав рассказы А. Платонова «Оборона Семидворья», П. Лукницкого⁴³ «Сила победы», отрывки из И. Эренбурга («первый человек нашей страны стал первым солдатом Красной армии. Поймем всё значение этого...»), Марк Алданов скажет:

Читал всю эту дрянь со смешанными чувствами: с одной стороны, мучительно завидно, что они как-то вложились в дело защиты России и живут в ней; с другой стороны, стыдно читать то, что они пишут (От руки: вернее, как они пишут). Отдохнул душой на превосходном автобиографическом рассказе Зоценко, перепечатанном недавно в «Н[овом] Р[усском] слове». Вот что нужно бы взять в антологию. Многое там – шедевр. Кроме этого я пока ничего не нашел. Надеюсь, Вы будете счастливее. Недурна (От руки: относительно) пьеса Симонова «Жди меня», как и эти же его стихи. Но ведь именно пьес мы не можем давать.⁴⁴

Оценка, данная Алдановым литературе метрополии, не могла не отразиться на содержании Предисловия к книге, – именно на писателя была возложена обязанность сочинить его. Прежде чем отдавать что-либо на перевод Вредену, авторы обменивались очерками друг с

другом, выслушивая замечания. Штильмана пугало скептическое отношение Марка Алданова к советской литературе; он был убежден в том, что если СССР проигнорировал иронию, прозвучавшую в комментариях уже опубликованных антологий, то, без сомнения, обратит внимание на скепсис Алданова и обрушится на него с ответной критикой. По этому поводу он писал 12 сентября 1943 года:

Продолжать полемику о Вашей вводной статье навряд ли стоит, т. к. если Вы прибавите упоминание о Шолохове и Леонове, тенденциозность ее несколько сгладится. А эта тенденциозность все-таки, уж Вы меня простите, кажется мне несомненной. Не потому, что Вы пишете, что у нас больше нет Пушкиных и Толстых. Не знаю, для чего Вы меня парафразируете. На эту часть статьи (об общем понижении) я возражал с другой точки зрения, преимущественно (а именно, что это общее место, что в каждой литературе был свой золотой век в прошлом и что среди современников нет ни Шекспиров, ни Данте, ни Сервантесов). И я только добавил, что это усиливает общую тенденциозность оценки. <...> Вы особо, и чрезвычайно лестно, упоминаете о Бунине и о Сирине (итого 2 эмигранта, а из советских упоминаете, и тоже очень лестно, об одном Толстом⁴⁵). Далее, первым из писателей нового поколения Вы провозглашаете Сирина – эмигрантского писателя. Наконец о Горьком, корифее сов[етской] литературы, Вы упоминаете вскользь и нелестно. Из совокупности этих оценок и замечаний создается тенденциозное суждение, ставящее эмигрантскую литературу выше сов[етской].

<...> Вы отрицательно относитесь к сов[етской] литературе. Очень может быть, что Ваша оценка справедлива.

Более терпимое по сравнению с алдановским отношение Штильмана к творчеству советских писателей объясняется, вероятно, его идеологическими установками, то есть его отношением к Советскому Союзу. Младший корреспондент не скрывал своих симпатий к Советам, и когда Алданов в одном из своих произведений подчеркнул духовное родство политики Сталина и Гитлера, тот сильно возражал. В свою очередь, Марк Александрович не раз предостерегал друга от подобного рода суждений и высказываний, так как, узнай Скрибнеры о симпатиях Штильмана, они отказались бы иметь с ним дело. Круг новых корнеллских знакомых «Лёли» также явно смущал Алданова. За приверженность к диалектическому материализму он мог бы причислить этих людей к группе «морально-дефективных» личностей (определение Штильмана). В письме от 22 июля 1943 г. Алданов скажет:

Стоит ли писать о Ваших новых друзьях? Я решительно ничего не имею против «специалиста по диалектическому материализму», хоть мне и забав-

но, что есть и такая специальность. Несколько прекрасных и злосчастных страниц Гегеля (который пришел бы в дикий ужас от выводов из них), Маркс – и что еще? Десять тысяч ничего не стоящих (От руки: и всё одно и то же твердых) брошюр? Для специальности и кафедры маловато. Но я (От руки: очень) рад, тем более что и среди моих с[оциал]-д[емократических] друзей есть точно такие же специалисты по (От руки: диал[ектическому] матер[иализму]), как Коммервилль (новый знакомый Штильмана – *И. А.*), так же верящие в эту специальность. А если он блестящий и очаровательный человек, то я могу только приветствовать эту Вашу дружбу. К архимиллионерам-коммунистам, как Ламонт⁴⁶ (еще один знакомый Штильмана – *И. А.*), у меня душа не лежит, – не знал, что лежит у Вас. Вырежет ли он свою семью в случае коммунистического переворота в С[оединенных] Штатах? Иногда ловлю себя на мысли, что хотел бы, перед смертью на фонаре, повидать Ламонтов <...> без их доходов (а что такое Ламонт без миллионов?) Наконец, Ваш сосед⁴⁷. Вас, очевидно, задело мое выражение, что до него у Вас «опустились». Я знаю только одно о нем, никогда его в глаза не видал и мало им интересуюсь. «Новое русское слово», орган, отнюдь не занимающийся травлей большевиков и, главное, отлично знающий законы о клевете в печати, не так давно сообщил, что Ваш сосед одновременно состоит в редакции «Русского Голоса»⁴⁸ и выполняет для «Нэшонал Манюфэктюрер Ассошиэшен»⁴⁹, богатой антибольшевистской организации, работу по выискиванию в американских учебниках и университетских курсах всех подозрительных по большевизму пассажиров! Я не слышал, чтобы он их привлек к ответственности за клевету в печати. Они об этом писали довольно долго, – поэтому я и запомнил <...>

Более всего у Марка Алданова вызовет чувство недоумения и досады рассказ Штильмана о том, что он вместе с просоветски настроенными князьями Мещерскими⁵⁰, также преподававшими в Корнелле, выпил за здоровье «Иосифа Виссарионовича», в то время как бывший тут же «Вишняк»⁵¹ сказал <...>, что Россия всегда была страной холопов и осталась ей» (письмо от 12 декабря 1943 г.)

Я давно потерял надежду переубедить Вас в политическом отношении, но хотел бы дать практический совет. Вы, быть может, не знаете, что русская колония в Америке – это большой Житомир, где все всё узнают, да еще приписывают. Пейте и тост за С[талину], – пили люди и за Калигулу, и за Абдул Гамида⁵², но только в обществе Галочки⁵³. Мещерские скажут кому-нибудь, тот другому, дойдет до Вредена и до Скрибнеров. Конечно, они никаких прав на Вас не имеют и не спрашивали меня о Ваших политических взглядах. Но они *мои* взгляды знали и могли думать, что я не сведу их с феллоу-трэвеллерами⁵⁴, которых они терпеть не могут и не издают. По-моему, Вы заняли

самую неудобную для себя позицию. Вы не коммунист и не феллоу-трэвеллер, а потому не будете пользоваться поддержкой (очень могущественной) партии. Тем не менее, другие Вас будут считать феллоу-трэвеллером, если уже не считают (От руки: гораздо лучше быть аполитичным, без тостов (Рузвельту можно⁵⁵)).

Вишняк – человек невоспитанный, но мне всё же трудно поверить, что он сказал такую грубую глупость. Комплименту князей-большевизанов я чрезвычайно рад⁵⁶.

Но и позднее, в 1947 году, Штильман откажется участвовать с Алдановым в политической дискуссии, подчеркивая, что своих идейных взглядов не пересмотрел и не собирается. Он будет вдохновлен периодом «оттепели» в СССР во времена правления Н. С. Хрущева; вероятно, новая политика Советов и подтолкнет Л. Н. Штильмана принять участие в работе IV Международного конгресса славистов, проходившего в Москве в 1958 году.

Авторы писем, конечно, не ограничивались обсуждением вопросов, связанных исключительно с антологией. У Марка Алданова – химика Марка Ландау – никогда не пропадал интерес к научной деятельности, связанной с его специальностью. Его возвращение в Европу из США лишь подогрело интерес к предмету и желание возобновить теоретические исследования. 18 ноября 1950 года Алданов сообщит Штильману: «Вам послал недели полторы тому назад мою новую химическую работу. Надеюсь, Вы скоро ее получите. Я дорожу ей больше, чем моими романами». Не меньшую ценность для автора представлял и философский опус, над которым он работал в конце жизни: «Вас удивит, что я пишу теперь (по-французски) философскую книгу⁵⁷. Думаю о ней уже очень давно, а во Франции стал писать и увлечен работой. Она в форме диалогов. Первые два о Декарте и об экзистенциализме уже почти готовы. Если хотите, пришлю Вам экземпляр, когда они будут переписаны, – но не иначе как для Ваших заметок на полях»⁵⁸.

И, наконец, они обсуждали вопросы личного характера. Мы уже знаем, что Алданов и Штильман испытывали друг к другу теплые дружеские чувства. Хотя Штильман относился к маститому писателю с пиететом и благоговением, это не мешало ему быть принципиальным в отстаивании собственной позиции; у него обо всем было независимое суждение. Молодой ученый, в прежние годы служивший юристом в Париже, решал и налоговые проблемы М. А. Алданова, постоянно консультируя его, как заполнять декларации и когда их следует подавать. Время от времени к переписке присоединялась жена Леона Штильмана, Галина, или Галочка, как оба корреспонден-

та ласково называли ее. Близость, даже родственность отношений этих семей раскрывается не только в качестве шутиливости, но и в особой интимности, исповедальности их переписки: Штильман не скрыл от Алданова историю своей влюбленности в американскую студентку, с которой познакомился в Корнеллском университете, что чуть было не разрушило их брак с Галиной.

Почему книга Марка Алданова и Леона Штильмана так и не была опубликована? Тут можно было бы назвать много причин, одна из наиболее вероятных – выход из печати трех антологий русской литературы, опередивших своим рождением ту, над которой работали Алданов и Штильман. Предвосхищая ситуацию, Марк Александрович писал еще 28 сентября 1943 года:

<...> думаю, что эти три антологии для нас зарез. Но что бы мы могли сделать? Возможно, что авторы тех трех антологий напали на Вашу идею еще в 1941 году, тотчас после того, как Россия стала союзницей, и нарочно не делали в газете заметок. Возможно и то, что они взяли всё или почти всё в готовых переводах, так что могли состряпать быстро. Думаю, что это и было нашей единственной ошибкой. Однако, если бы мы сдали всё немедленно и если бы Вреден переводил и втрое быстрее, мы всё равно не выпустили бы книги до Нового Года (да так ведь и предполагало издательство?), так что всё равно те вышли бы раньше (если они вообще не врут о времени выхода). Когда я прочел в газете о тех антологиях [неразб.], то у меня даже мелькнула мысль, не отложить [ли] нашу на год, – тогда о тех забудут. Но потом подумал, что едва ли это возможно: и Вам ждать неудобно, и отношение к России может измениться к худшему. Единственное утешение, что наша антология, верно, будет лучше других. Мне ее провал был бы еще неприятнее, кажется, чем Вам, тем более что Вреден моими романами и не занимался. Вероятно, он сам уверен, что наша антология будет продаваться хорошо. Я знаю, однако, по опыту, что предложения и предсказания о тираже всего издательства Скрибнера [неразб.] никакого значения не имеют.

К середине 1944 года обострился «бумажный кризис», не хватало бумаги на уже принятые к публикации книги. В сентябре 1944 года Скрибнер сообщил Вредену, что ввиду полного отсутствия бумаги не сможет приступить к изданию антологии вплоть до следующей осени. Последнее упоминание о ней встречается в письме Л. Штильмана от 20 мая 1946 года: «Рад, что Скрибнеры молчат об Антологии, хотя надеюсь осенью снова за нее взяться».

Не стоит забывать, что к этому времени Штильман лишился соавтора и друга-наставника, талантливого доброжелательного учителя, – Алдановы покинули США и, как оказалось, навсегда, а обще-

ние через океан осложняло работу. 31 августа 1946 года Марк Александрович сообщит Штильману: «Мы выехали 7 августа из Нью-Йорка на ‘Джоне Эриксоне’, путешествовали благополучно <...> 17 августа после стоянки в Саузхемптоне⁵⁹, полуразрушенном, необыкновенно печальном городе, прибыли в Гавр, тоже полуразрушенный, но оживленный и веселый! Разница между двумя народами». Отъезд Алдановых в Европу объяснялся не только их желанием повидаться с родными, друзьями (прежде всего с И. Бунинным), но и тем обстоятельством, что с годами зарабатывать становилось всё труднее, в Америке книги русских авторов продавались вяло, и денег оставалось все меньше. В Европе же «жизнь вдвое дешевле». В письме от 31 марта 1947 года Марк Алданов сетовал: «По-моему, ‘Истоки’, хотя это и наименее плохой из всех моих романов, обречен на материальный провал в Америке, так как из ста американцев едва ли один слышал о народовольцах, об Александре II и т. д.».

Алдановы пытались понять, есть ли смысл возвращаться в США, и склонялись к тому, чтобы более в Америку не уезжать, хотя квартиру в Нью-Йорке еще долго сохраняли за собой. «Мое единственное сходство с Герценом, вероятно, сведется к тому, что и он долгие годы жил в эмиграции оседло, в Лондоне, затем стал метаться без всякой видимой причины и умер в Париже по дороге в Ниццу», – напишет Марк Александрович Леону Штильману 29 декабря 1946 г. Он занялся поисками работы в ЮНЕСКО, интересовался, нет ли у Штильмана там знакомых. Вероятно, он посылал вопрос о вакансии в саму организацию, во всяком случае, в архиве Алданова есть ответ из ЮНЕСКО: «Paris. 18 mars 1947. Monsieur, Veuillez trouver ci-joint une brochure ronéotypée que contient les renseignements essentiels sur l’UNESCO. Nous vous adresserons prochainement un document complètement à jour sur le programme de l’Organisation. Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées». (Пожалуйста, изучите mimeографическую брошюру, содержащую важную информацию о ЮНЕСКО. В ближайшее время мы вышлем вам полностью обновленный документ о программе Организации. Примите, пожалуйста, наши наилучшие пожелания).

На наш взгляд, переписка Марка Алданова с Леоном Штильманом может представлять для исследователей его творчества большую ценность. И не только потому, что она приоткрывает новую страницу его жизни. Важно понимать, что корреспонденты успели создать большое число рецензий, аннотаций, критических текстов, до сей поры никому не известных. К тому же специально для антологии, как мы неоднократно подчеркивали, были заново переведены на английский язык многие русские рассказы, ибо существующие

переводы не удовлетворяли своим качеством ни Л. Штильмана, ни М. Алданова. Закономерен вопрос: где хранится эта интеллектуальная собственность? Несомненно, какие-то переводы могли быть опубликованы в других изданиях. Какие-то осели в архивах. Значит, есть работа для исследователей.

Наш разговор о Марке Александровиче Алданове хотелось бы закончить публикацией еще одного письма – своеобразного исторического свидетельства неоднократных попыток русских эмигрантов добиться присуждения звания нобелевского лауреата Марку Александровичу Алданову. Речь идет о письме Ильи Марковича Троцкого М. А. Алданову от 1 января 1957 года. Очень подробно об этой незаурядной личности рассказал Марк Уральский в № 277 «Нового Журнала» за 2014 год. Однако, кажется, автору статьи осталось неизвестным важное послание Ильи Марковича, в котором он повествует о большой работе по продвижению имени Алданова в Нобелевском комитете.

Став лауреатом Нобелевской премии, И. А. Бунин до конца жизни выдвигал кандидатуру Марка Алданова. Вероятно, ему удалось бы завоевать столь высокую награду в 1954 году, если бы СССР не предложил М. Шолохова как кандидата. Поскольку его кандидатура была выдвинута страной-победительницей во Второй мировой войне, Нобелевский комитет не рискнул утверждать личность второго эмигранта в качестве наиболее достойного представителя русской литературы. В 1954 году никто из русских писателей не был удостоен почетного звания нобелевского лауреата.

Дорогой Марк Александрович! Решил, после долгих размышлений, облегчить душу от тяжести, не дающей ей покоя свыше двух лет и имеющей к Вам непосредственное отношение. В поздравительном письме к Вашему семидесятилетию я обронил фразу, написав, что Вы едва ли догадываетесь, как близки были к получению Нобелевской премии. И вот ради того, чтобы это утверждение не показалось Вам только «фразой», считаю долгом посвятить Вас в то, что два года меня мучает.

Начиная с мая 1954 года, мой покойный шведский друг и я принялись усиленно работать над созданием надлежащего «климата» в кругах нобелевского жюри. Зная отлично царящие там нравы и настроения, равно как и то, сколь ревниво иностранные дипломаты охраняют интересы их национальных литератур, мы действовали по строго разработанному плану и с предельной осторожностью. Мы сознательно избегали всякой газетной публичности, помня, по примеру прежних лет, сколь опасной она способна сказаться. Всё, что, по нашему мнению, членам жюри следовало знать о Вашем творчестве и о Вас персонально, они получили почтой в индивидуальном порядке. В

июле 1954 г. Вы мне прислали, согласно просьбе, краткую автобиографию, попутно и список произведений, которые Вами расцениваются, как наиболее ценные. Всё это было переведено на шведский язык и послано каждому из 18-ти членов нобелевского комитета. Здесь будет уместно напомнить, что лето 1954 года знаменовало «оттепель» в международной политике, когда Москва заметно стала флиртовать с Западом. Сказалась эта оттепель и на отношениях «коллективной власти» к Нобелевской премии⁶⁰. Михаил Шолохов фигурировал среди кандидатов на соискание последней. Из Кремля дана была директива советскому посланнику приложить все усилия к присуждению Шолохову премии. Этот факт побудил нас к сугубой осторожности. К чести моего покойного друга следует сказать, что не только умел бесшумно работать, но и усыпить бдительность не в меру любопытных. Во второй половине сентября мы уже знали, что Ваши шансы очень высоки и успех на получение премии на 90% обеспечен. В первых числах Октября мною было получено письмо, в котором мой приятель рекомендовал мне подготовить Вас к предстоящей победе.

Больше того! Предвидя Ваш приезд в сопровождении Татьяны Марковны на нобелевские торжества, он напоминал о необходимости своевременно заказать вечерние туалеты: фрак, дамское платье и прочие аксессуары. В припадке понятной радости я собирался тотчас же Вам написать... Но остыв немного, передумал... И слава Богу, что этого не сделал! Всю жизнь не простил бы себе подобной оплошности. Что же произошло? А произошло вот что! В конце Октября прибыло новое письмо, свалившееся на меня, словно гром при ясном небе. Советский посланник пронюхал о том, что Вам готовятся присудить премию, и пошла писать губерния. Нобелевскую премию за русскую литературу дать [второму] эмигранту – это оскорбление и вызов Советскому Союзу и ее литературе! Влиять непосредственно на нобелевское жюри советский посланник не мог, но взять в [полемику] [министерство] ин[остранных] дел – труда для него не представляло. Что происходило за кулисами неведомого мин[истерства] ин[остранных] дел и нобелевского жюри – осталось секретом их [вызывателей]. Столковались на компромиссе: ни Алданову и ни Шолохову.

Присудили премию Хэмингвэю, кстати, посодействовало этому появившаяся незадолго до этого новелла «Старик и море». Упускаю сознательно некоторые подробности, по существу неважные. Наш провал потряс моего друга, сказавшись отрицательно и на состоянии его здоровья. И тем не менее он до конца жизни не переставал верить в удачу. Мотивы, побудившие меня держать эту печальную историю в секрете, Вам не трудно будет понять. Слишком силен был шок, чтобы легко его было изжить. Не могу похвалиться тем, что мне удалось наладить новый, серьезный контакт со Стокгольмом. Одна из попыток оказалась неудачной.

К сожалению, в феврале того же года Марка Александровича Алданова не стало...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Письмо М. Алданова от 23 марта 1944.
2. Василий Семенович Гроссман (Иосиф Соломонович Гроссман; 1905–1964), русский советский писатель, журналист, военный корреспондент. Главная книга писателя – роман «Жизнь и судьба» – был конфискован в 1961 году КГБ, чудом сохранен, тайно вывезен на микрофильме и впервые опубликован только в 1980 в Швейцарии, в Лозанне (под редакцией Шимона Маркиша и Ефима Эткинда). Повесть «Народ бессмертен», его первое произведение о Великой Отечественной войне, написано в 1942 году.
3. An und für Sich – само по себе (нем.)
4. Леонид Сергеевич Соболев (1898–1971) – русский советский писатель и журналист, военный корреспондент.
5. Письмо М. Алданова от 27 февраля 1943 года.
6. Рассказ (очерк) впервые напечатан в журнале «Вестник Европы», 1913, книга 5, май, с подзаголовком «Из воспоминаний проходящего», написан не позже марта 1913 года: в письме от 2 мая 1913 года М. Горький извещал И.П. Ладыжникова, что месяц назад им послана Д. Н. Овсяннико-Куликовскому рукопись очерка «На пароходе».
7. Письмо Л. Штильмана от 12 сентября 1943.
8. Повесть «Жень-шень» была написана М. Пришвиным после путешествия на Урал и Дальний Восток в 1931 году.
9. Роман Д. С. Мережковского «Петр и Алексей» был опубликован впервые в журнальном варианте в «Новом пути» в 1904 г., но уже в 1905 г. вышел в Петербурге отдельным изданием под названием «Антихрист», завершив трилогию «Христос и Антихрист» (первый роман – «Отверженный», в дальнейшем издавался под названием «Смерть богов: Юлиан Отступник», вторая книга – «Воскресшие боги: Леонардо да Винчи»). Мережковский любил объединять свои произведения в трилогии – в соответствии с собственной концепцией развития мировой истории: тезис, антитезис, синтез.
10. Известен как Мельников-Печерский (1818/1819–1883) – русский писатель, публицист.
11. Квитка-Основьяненко К. Ф. (1778–1843) – украинский и русский писатель, драматург и журналист.
12. Неясно, идет ли речь о Владимире Васильевиче Гиппиусе (1876–1941), русском поэте Серебряного века, литературоведе, или его брате Василии Васильевиче (1890–1942) – русском поэте и переводчике, литературоведе. Оба погибли в Ленинграде во время блокады.
13. «Некуда», «На ножах» – романы Н. Лескова.
14. Письмо Л. Штильмана от 4 сентября 1943.
15. Повесть И. С. Тургенева.
16. Письмо М. Алданова от 3 сентября 1943
17. Луиза и Альмер Мод (Louise и Aylmer Maude) – переводчики произведе-

ний Л. Толстого на английский язык. Были знакомы с писателем лично, навестив его в Ясной Поляне, и состояли с ним в переписке.

18. Имеется в виду Фенимор Купер – американский романист и сатирик, классик приключенческой литературы.

19. Как известно, Пьер Безухов сумел подружиться с Рамбалем, французским офицером, поселившимся (в занятой французами Москве) в доме друга и учителя Безухова – Иосифа Баздеева. Образ Баздеева списан с реального лица – Иосифа Алексеевича Поздеева, очень популярного среди московских масонов.

20. Письмо М. Алданова Л. Штильману от 3 ноября 1943 года.

21. Письмо М. Алданова Л. Штильману от 20 ноября 1943 года.

22. См.: Предисловие к сборнику рассказов к В. Набокова «Быль и Убыль». – СПб., Амфора, 2001.

23. Письмо Л. Штильмана от 6 февраля 1943.

24. Письмо М. Алданова от 9 февраля 1943.

25. Письмо М. Алданова от 27 февраля 1943.

26. См.: «Звезда». – Москва, 1999, № 4.

27. Письмо Л. Штильмана без даты, вероятно, декабрь 1943 или январь 1944 года.

28. *altérer* – изменить (*фр.*).

29. Штильман намекает на то, что В. Набоков – эмигрантский писатель, а в СССР могли быть разочарованы большим числом эмигрантских произведений в антологии, включающей и советскую литературу, а также тем фактом, что лучшим современным автором, пишущим на русском языке, назван эмигрант.

30. Вероятно, Алданов намекает на недовольство Набокова низким гонораром за рассказы. Скрибнеры платили всем авторам одинаково – по 25 долларов, хотя Набоков рассчитывал на большую сумму. Поведение Скрибнеров возмущало и Штильмана. В письме от 12 декабря 1943 года он напишет: «Ему (Набокову. – *И. А.*) 25 долл[аров] за ненапечатанный большой рассказ я, от своего имени, или даже от имени издательства, предлагать не стану. Мне это, конечно, всё равно, но это всё-таки переходит пределы приличия. Думаю, что Вы, как писатель, должны были бы против этого протестовать. Ведь они по 25 д[олларов] платили за отрывки из старых напечатанных переводов (Обломова, напр[имер], и др.). Как же можно такую же сумму предлагать автору за ненапечатанную вещь да еще плюс гонорар переводчика!!! Это совершенно невозможно! Нельзя ли, в крайнем случае, если Скрибнер не внемлет этим доводам, чтобы они прибавили, скажем, 50 д[олларов], которые потом будут вычтены из наших royalties? Впрочем, ведь все гонорары вычитаются из наших royalties. Что же Scribner'у так упираются? Я уверен, что Набоков откажется, и мы останемся без писателя, которого я очень хотел иметь». Неясно, о каком именно рассказе Сирин идет речь, упомянутые ранее в переписке рассказы «Мадемуазель О» и «Весна в Фиальте» уже были

опубликованы ко времени работы М. Алданова и Л. Штильмана над антологией (второй рассказ, по наблюдениям Б. Бойда, был впервые напечатан в июле 1936 года в 61 номере «Современных записок»). Здесь речь идет о публикации нового перевода.

31. Письмо Л. Н. Штильмана от 13 апреля 1943.

32. См.: *Мальцев Юрий*. Бунин. – «Посев». 1994. С. 332.

33. Семен Осипович (Соломон Иосифович) Португейс (1880–1944, Нью-Йорк), редактор, журналист и публицист, публиковавшийся главным образом под псевдонимом «Степан Иванович», в эмиграции один из основателей научной советологии.

34. Николай Романович Вреден.

35. Речь идет о повести Г. Ф. Квитки-Основьяненко «Пан Халявский».

36. Письмо М. А. Алданова от 14 апреля 1943.

37. Письмо М. А. Алданова от 18 апреля 1943.

38. Письмо М. А. Алданова от 10 марта 1944.

39. Уайт Плэйнс (White Plains) – город в штате Нью-Йорк, США.

40. Письмо М. Алданова от 9 декабря 1943 года. У Андрея Белого (Бориса Бугаева) не было детей, однако его последняя жена, Клавдия Николаевна Бугаева-Васильева (урожд. Алексеева; 1886–1970), была в это время еще жива. В 1931 году ее репрессировали, но благодаря хлопотам Белого, обратившегося за помощью к Е. Пешковой (первой жене Максима Горького), она была выпущена.

41. Александрова Вера Александровна (урожденная Мордвинова, по мужу – Шварц; 1895–1966), литературный критик. После революции вместе с мужем была выслана за границу. Жила в Германии, Франции. С 1940 года жила в Нью-Йорке. В 1952–1956 гг. была главным редактором Издательства Чехова.

42. Письмо М. Алданова от 24 июля 1943.

43. П. Н. Лукницкий (1900–1973), советский поэт, прозаик.

44. Письмо М. Алданова от 23 марта 1944.

45. Имеется в виду Алексей Николаевич Толстой, вернувшийся из эмиграции в СССР.

46. Корлисс Ламонт (Corliss Lamont, 1902–1995), американский философ и общественный деятель. Большую часть своей жизни Ламонт придерживался левых взглядов. В 1930-е гг. он открыто заявлял о своих симпатиях к марксизму и Советскому Союзу, оказывал ему финансовую помощь. После публикации результатов расследования Комиссии Дьюи о фальсификации материалов Московских процессов Ламонт, как и многие другие левые интеллектуалы на Западе, отказался признать их правоту и подписал совместное «Открытое письмо американским либералам» с призывом поддержать действия Сталина ради «сохранения прогрессивной демократии» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ламонт_Корлисс). О Ламонте Штильман писал Алданову: «Lamont тоже очень милый и, по-моему, очень искренний человек. Он, кстати, не марксист.

У него, для Вашего сведения, по меньшей степени 2 труда по философии в Колумбии, и он консультант по философии в Колумбии» (Письмо от 18 июля 1943 года).

47. В письме Штильман упоминает семью Казакевича, которому он помог снять квартиру в том же доме, в котором они поселились сами. Казакевич – «человек очень знающий и способный и при этом очень милый. Он, между прочим, происходит из очень богатой и даже не белогвардейской, а лейб-гвардейской семьи. У него очаровательная жена, американка». Речь, скорее всего, идет о Владимире Дмитриевиче Казакевиче и его жене Эмили Грейс (Казакевич). Владимир Казакевич, выпускник Колумбийского университета, увлекался марксизмом, как и его жена. В начале «холодной войны» они были вынуждены эмигрировать в СССР, где Грейс рассчитывала на место в АН СССР (у нее был диплом доктора философии Йельского университета). Вместо этого семью этапировали в Пермь «на испытательный срок». Они получили возможность переехать в Москву после смерти Сталина. Всю последующую жизнь прожили в СССР.

48. Ежедневная общественно-политическая и литературная газета США и Канады, издавалась в Нью-Йорке с 1917 года. Главным редактором был И. К. Окунцов. Редакция журнала с одобрением встретила обе революции в России, в 20-30 гг. занимала просоветские позиции, помещала на своих страницах перепечатки советских публикаций. В начале 30-х гг. распространялась в СССР. С 1 июля 1963 по 1996 гг. выходила один раз в неделю.

49. Национальная ассоциация промышленников (National Association of Manufacturers), общественная организация, объединявшая компании-производители США.

50. К сожалению, пока не удалось установить их личности. Из эмигрировавших в США князей Мещерских известна судьба художника Бориса Алексеевича Мещерского (1889–1957), переехавшего сюда из Парижа вместе с женой Марией Александровной (урожд. Семеновой) (? – 1957) в 1938 году. Борис Алексеевич окончил Александровский лицей в 1911 г. Произведен в офицеры в 1912 г. Георгиевский кавалер. Оба погибли во время автомобильной катастрофы по дороге из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк 29 июня 1957 г. около Винчестера, штат Виржиния в 1957 году. Неизвестно, идет ли речь об этой паре.

51. Марк Вениаминович Вишняк (Мордху Венъяминович Вишняк, псевдоним Марков; 1883–1976, Нью-Йорк) – юрист, публицист. Известный общественный деятель Русского Зарубежья. В эмиграции с 1919 года. Редактор ж. «Современные записки» (Париж). С 1940 г. в США. В 1946–1958 – редактор русского отдела американского еженедельника «Тайм». Преподавал русский язык на курсах при Корнеллском университете.

52. Абдул-Гамид (Абдул-Хамид) (1842–1918) – последний самодержавный правитель Османской империи. Во время его правления был геноцид армян.

53. Жена Л. Штильмана.

54. *Fellow traveler* (англ.) – букв. «попутчики». В годы «холодной войны» так называли людей, симпатизировавших коммунистам, но официально не являвшихся членами Коммунистической партии США. В СССР «попутчиками» называли писателей, отражавших идеологию мелкобуржуазной интеллигенции.

55. 32-й президент США Франклин Рузвельт в своей речи 24 декабря 1943 года, приведенной в книге «Беседы у камина», Рузвельт сказал о Сталине: «Этот человек сочетает в себе огромную, непреклонную волю и здоровое чувство юмора; думаю, душа и сердце России имеют в нем своего истинного представителя. Я верю, что мы и впредь будем отлично ладить и с ним, и со всем русским народом».

56. Письмо М. Алданова от 16 декабря 1943.

57. Речь идет о философском трактате «Ульмская ночь», историю создания которого подробно описал российский исследователь Андрей Мартынов (см.: «Новый Журнал», 2008, № 253).

58. Письмо М. Алданова от 27 марта 1947.

59. Саузхемптон (Southampton) – город на южном побережье Великобритании.

60. Намек на прежний запрет Б. Пастернаку выехать в Швецию за получением Нобелевской премии и на вынужденный отказ Пастернака от премии.

Марк Уральский

Исторический романист эмиграции

ГЛАВА 1. НАЧАЛО НАЧАЛ (1919–1923)

Всё, что произошло с Марком Алдановым после 1917-го, в общих чертах просматривается в историях жизни сотен тысяч русских людей, выброшенных волной революции на Запад. Уникальность же его судьбы в том, что именно в изгнаничестве Алданов состоялся и блестяще преуспел в той сфере деятельности, которую выбрал по призванию сердца. В считанные годы в эмиграции Алданов стал литературной знаменитостью – наиболее востребованным, широко известным, переводимым на многие языки и читаемым на всех континентах¹ писателем Русского Зарубежья. Более того, он стал единственным европейским писателем исторического жанра, чьи беллетристические произведения своими сюжетами охватывают почти два столетия – с 1762 («Пуншевая водка») по конец 1950-х гг. («Живи как хочешь»). Каждая его книга в отдельности составляет законченное целое, но все они, вместе взятые, связаны между собой сложной цепью аллюзий, тем, персонажей². Такая всеохватность и, одновременно, жизненная «интимность», наряду с классической ясностью изложения и энциклопедическим документализмом, убеждавшим читателя в верности алдановской репрезентации европейской истории, сделали его книги очень популярными в Русском Зарубежье и, в переводах, для западного читателя. Алданов, без сомнения, крупнейший представитель жанра русской историософской прозы XX столетия.

Как уже отмечалось, Марк Алданов вместе с Алексеем Толстым прибыли в Париж летом 1919 года, когда, как писал А. Толстой в книге «Эмигранты», «...Ветер с океана приносил короткие ливни, солнце сквозь разрывы облаков освещало мокрые асфальты Парижа, бульвары, каштановые аллеи, аспидные крыши, полосатые парусины над столиками кабачков, потоки потрепанных автомобилей, снова вернув-

Журнальный вариант публикации из готовящейся к печати книги «Марк Алданов: писатель, мыслитель и джентльмен русской эмиграции» (д.п. – осень 2019). Начало см. – НЖ, № 292–293, 2018.

шихся с полей войны к услугам парижан и иностранцев. Город испускал сложное благоухание. <...> Ветер с полей войны, где под тонким слоем земли еще не кончили разлагаться пять миллионов трупов промежуточного поколения французов, немцев, англичан, африканцев, нагонял на город тление. Оно приносило странные заболевания, поражавшие Париж комбинированными карбункулами, рожей, гнилостными воспалениями, нарывами под ногтями, неизученными формами сыпи. Мертвые, как могли, участвовали в виде стрептококковой пыли в послевоенном празднике живых. Слезы все были пролиты, траур остался лишь в черных оттенках мужских галстуков, женщины обнажились по пояс, и город с часу дня до розовой зари надрывающе пел саксофонами. Всюду, где был квадратный метр свободной площади, взывала стальная пластинка флексотона, мурлыкала скрипка, хрипела кривая дудка, стучали дощечки, бухал турецкий барабан, и демобилизованный, плотно прижимая к себе растопыренными пальцами женщину, шаркал и шаркал подошвами...»³. И все другие воспоминания А. Н. Толстого о недолгой эмигрантской жизни, увидевшие свет в СССР, написаны в столь же неприязненно-очернительском ключе: «Во Франции 1½ миллиона убитых, цвет нации срезан. У Франции 350 миллиардов франков внешнего долга. Нация вымирает <...> У нас в Париже такая гниль в русской колонии, что даже я становлюсь мизантропом. В общем, все – бездельники, болтуны, онанисты, говно собачье»⁴. Будущий «красный граф» довольно скоро из Парижа сбежал – сначала в Берлин, а затем, когда решил, что эмиграции с него довольно, напрямик в Москву. По общему мнению свидетелей времени, страдания Алексея Толстого в эмиграции – плод его художественного воображения, а их гипертрофированная эксцентричность имеет сугубо «заказной» характер. По характеру своему граф был жизнелюб-конформист, идейными соображениями свою жизнь не отягчал.

Алданов же, напротив, был человек «идейный» и сугубо принципиальный. Большевиистская идеология была ему отвратительна, и ни за какие материальные блага он не желал отказываться от личной и творческой свободы. В этом отношении он вполне олицетворял духовный настрой интеллектуальной части всей русской эмиграции «первой волны». В личном плане для Алданова, в совершенстве владевшего французским, окружающая его обстановка отнюдь не казалась чужеродной. Хотя в дошедшем до нас алдановском эпистолярном наследии отсутствуют описания Парижа начала 1920-х гг., можно полагать, что воспоминания о дореволюционном времени, в том числе и о былом Париже – как «уютном, старом, может быть слишком тесном, но дивном храме жизни», его угнетали куда меньше, чем А. Толстого. Как о том свидетельствуют его многочисленные выска-

зывания в художественной прозе и публицистике, по своим и культурно-бытовым предпочтениям он был убежденным франкофилом и в рамках этой культурной традиции вне зависимости от «гримас времени» чувствовал себя очень комфортно. Не в малой степени именно поэтому большую часть своей эмигрантской жизни он прожил во Франции и, в основном, в Париже. Здесь началась его литературная слава, отсюда он, бросив всё свое добро, бежал от немцев в 1940 г. на юг, сюда же вернулся из Америки после войны в 1946 г. Последние десять лет Алданов жил по преимуществу в Ницце, но после его кончины в Париже доживала свои дни его вдова, Татьяна Марковна Алданова⁵.

Алданов не обладал качествами аффективно яркой художественной личности. Ничего такого, что «пикантно» оживляло бы его портрет, не отложилось в памяти современников. И все же по их воспоминаниям можно составить представление о том впечатлении, которое русский парижанин Марк Александрович Ландау-Алданов производил на окружающих. Андрей Седых: «В молодости он был внешне элегантен, от него веяло каким-то подлинным благородством и аристократизмом. В Париже, в начале тридцатых годов, М. А. Алданов был такой: выше среднего роста, правильные, приятные черты лица, черные волосы с пробором набок, 'европейские', коротко подстриженные щеточкой усы. Внимательные, немного грустные глаза прямо, как-то даже упорно, глядели на собеседника...»⁶ Борис Зайцев вспоминает его как изящного брюнета с благородной внешностью, отличными манерами и «прекрасными глазами»⁷. На всех сохранившихся изображениях, в том числе и на портрете А. Лаховского, глаза Алданова действительно привлекают своим особенным — проницательным и, одновременно, отстраненно-задумчивым, как бы «нездешним», — выражением. На пороге своего пятидесятилетия Алданов внешне сильно изменился. Вера Бунина отмечает в своем дневнике: «23 февраля 1928 года. Вчера видели Алданова, он очень изменился, пополнил, стал каким-то солидным. Но все такой же милый, деликатный, заботливый»⁸. По свидетельству Романа Гуля, к середине 1930-х гг. Алданов «потолстел, обрюзг, ни следа бывлой элегантности и красоты»⁹. То же самое отмечает и Седых: «С годами внешнее изящество стало исчезать. Волосы побелели и как-то спутались, появились полнота, одышка, мелкие недомогания. Но внутренний, духовный аристократизм Алданова остался, ум работал строго, с беспощадной логикой, и при всей мягкости и деликатности его характера — бескомпромиссно»¹⁰. До конца жизни сопутствовал ему также имидж человека приятного, но при всём том закрытого: «Уж очень приложимо к нему декартовское изречение, которое Алданов сам не раз цитировал: 'Хорошо жил

тот, кто хорошо скрывал'. <...> Я знал его в продолжение нескольких десятилетий, чуть ли не полвека, периодами встречался довольно часто и всё-таки чего-то никогда не мог в нем расшифровать. Дело было не только в его внешней замкнутости, странным образом уживавшейся с ровностью в его отношениях с людьми (из этого его правила надо исключить тех, которые находились 'по ту сторону баррикады', так как тогда он был бескомпромиссен и даже упрям и в этом отношении очень следил за своей репутацией, боясь как-то очернить свои 'белые ризы'), и вместе с тем, было в нем что-то, что заставляло иной раз задуматься о 'загадке Алданова'. <...> Все его интересы, всё его любопытство были как будто направлены к тому, чтобы возможно более пристально разглядеть тех, кто – в прошлом и настоящем – творил историю, отыскать в их биографиях дополнительные черточки, которые остались незамеченными профессиональными историками»¹¹.

Хотя Алданов искренне сожалел, что ему якобы «очень не хватает <...> музыкальной культуры при большой любви к музыке»¹², он был по-настоящему «разносторонний эрудит», «библиотечный червь», человек, который, по ироническому определению Дон-Аминадо, «дышит полной грудью только в спёртом воздухе библиотек, среди пыльных фолиантов и монографий». По сообщению российского алдановеда Станислава Пестерева (Екатеринбург), «В Бахметьевском архиве хранится переписка Алданова 1948–1953 гг. с Сергеем Сергеевичем Постельниковым (1890–1965), пианистом, с которым писатель после войны состоял в дружеских отношениях. Постельников собирался написать книгу по истории русской музыки и между делом обращается к Алданову за советом по поводу издания. В результате получается своеобразный тандем: опытный писатель организует работу начинающего, ставит ему жесткие сроки по написанию глав ('через три дня Вы должны будете', 'недели две Вы получите', 'надо будет немедленно') и дает рекомендации по содержанию и стилю ('программа могла бы иметь приблизительно следующий вид', 'однако в очерке есть очень большой недостаток' и мн. др.). В этих письмах М. Алданов выказывает глубокое знание истории музыки. Так, например, рекомендуя начинающему писателю обратиться к истории русских крепостных оркестров, он приводит шесть источников, где можно почерпнуть необходимую информацию». Бахрах утверждает, что Алданов: «по всем областям умудрился прочесть не только всё, что 'полагалось', но и всё, что хоть в какой-то мере могло быть ему полезно для отыскания еще одной 'маленькой правды' о своих будущих героях. Ради них он самоотверженно становился библиотечной или архивной крысой, часами просматривал номер за

номером пожелтевшие комплекты старых газет, сверял или сопоставлял воспоминания и записки современников. <...> Он знал все исторические здания Парижа, Рима, Вены, знал, где была создана та или иная классическая вещь, где кто был похоронен»¹³.

Что касается характера, то по общему мнению «русских миров» Алданов был «тихоня и ципа». Это расценивалось как недостаток, обедняющий его писательское дарование, поскольку «затрудняло <...> ему выпуклое изображение женских типов. Женскую капризность и переменчивость он внутренне не чувствовал. Его женщины все по одному шаблону – либо матроны, либо их подрастающие дочери»¹⁴. Целомудренное отношение Алданова к женскому полу настолько было из ряда вон в «свободной нравами» эмигрантской писательской среде, что даже щепетильный Андрей Седых, сам оставивший о себе память как преданный семьянин и порядочный человек, считает нужным это отметить в алдановском литературном портрете: «Он был, например, очень застенчивым и, я бы сказал, целомудренным человеком, – любовные эпизоды в его романах редки; автор прибегал к ним только в крайней необходимости, и они всегда носили ‘схематический’ характер. Бунин с наслаждением писал ‘Темные аллеи’. Алданов наготу свою тщательно прикрывал, и это не только в писаниях, но и в личной жизни: очень недолюбливал скабрезные разговоры и избегал принимать в них участие»¹⁵.

Тем не менее Алданов иногда способен был удивить стороннего человека осведомленностью о теневых сторонах жизни, в игнорировании которых его упрекали. Бахрах по этому поводу пишет: «Я вспоминаю теперь, как в давно ушедшие годы мне как-то случилось в небольшой компании отправиться с Алдановым в одно из значных мест ночного Парижа. К моему удивлению, он и тут если не был в буквальном смысле ‘гидом’, то во всяком случае был хорошо осведомлен обо всей подноготной этого уже давно не существующего заведения. Он знал, кто из политических деятелей его посещал, какие происшествия имели тут место». Не вдаваясь в подробный анализ этого пикантного эпизода, напомним только, что Алданов вплоть до 33 лет обретался в сем грешном мире в качестве красивого, очень состоятельного, активного и жизнелюбивого молодого господина. Бахрах же общался с другим Алдановым – зрелым, остепенившимся, перегруженным повседневной работой человеком. В этом отношении своеобразной автохарактеристикой писателя выступает его герой, французский политический деятель Серизье (роман «Пещера»), который «в молодости развлекался в Латинском квартале», но затем, женившись, «прожил с женой счастливо» (в случае Алданова – до самой смерти). В его жизни: «Любовь вообще занимала не очень

много места <...>. Хорошо знавшие его люди считали его человеком несколько сухим, при чрезвычайной внешней благожелательности, при изысканной любезности и при безупречном джентльменстве. Он был перегружен делами. Работоспособность его была необыкновенной...»¹⁶

В числе многих других свидетелей времени, А. Седых вспоминает: «У него была своя высокая мораль и своя собственная религия – слово это как-то не подходит к абсолютному агностику, каким был Алданов. Очень трудно объяснить, во что именно он верил. Был он далек от всякой мистики, религию в общепринятом смысле отрицал. Не верил фактически ни во что: ни в человеческий разум, ни в прогресс – и меньше всего склонен был верить в мудрость государственных людей, о которых, за редкими исключениями, был невысокого мнения»¹⁷. Судя по мемуарам Андрея Седых, «в основе человеческой и писательской морали Алданова лежали некоторые непреложные истины. Он очень хорошо отличал белое от черного, добро от зла; из всех сводов законов уважал, вероятно, только Десять Заповедей», – и еще предписание о проявлении сочувствия ближнему в виде материальной и моральной поддержки – то, что в Талмуде обозначается словом *цдака*. Он постоянно выказывал готовность к благодетанию, что отмечают в своих воспоминаниях даже чуждые по своим умонастроениям Алданову его современники из числа крайне правых: «Редкой благожелательности человек!.. Особенно же в писательском мире Парижа, и не подумавшем сплотиться на чужбине, в одинаково для всех тяжелых эмигрантских условиях <...> Алданов рад всегда устроить одного, хлопотать за другого...»¹⁸

Здесь же уместно процитировать алдановскую характеристику Рахманинова: «Многие считали его холодным человеком. Он действительно никак не был ‘душой нараспашку’ и к этому не стремился; но был он человеком добрым, благожелательным и отзывчивым»¹⁹, – которая, судя по цитируемым ниже воспоминаниям современников, вполне может быть отнесена и к самому Алданову: «...я, кажется, не звал другого человека, который, подобно Алданову, готов был каждому оказать услугу, даже если это было для него связано с некоторыми затруднениями. Можно, пожалуй, подумать, что в нем был налицо элемент той сентиментальности, которая приводит к ‘маленькой доброте’. Однако ничто не было ему так чуждо, как ‘слащавость’, и если иные горькие пилюли ему приходилось подсахаривать, то делал он это потому, что было ему нестерпимо кого-нибудь погладить против шерсти и огорчить. Доброта была в нем больше от ума, чем от сердца, и потому в каком-то смысле не всегда была плодотворной. А его внешнее и внутреннее ‘джентльменство’ делало его своего рода

белой вороной в той литературной среде Русского Зарубежья, которой хотелось казаться еще более 'богемной', чем она в сущности была...»²⁰

Интересную оценку личности Алданова дает Борис Зайцев, на протяжении более чем трех десятков лет входивший в число его ближайших друзей: «...чистейший и безукоризненный джентльмен, просто 'без страха и упрека', ко всем внимательный и отзывчивый, внутренне скорбно-одинокий. Вообще же был довольно 'отдаленный' человек. Думаю, врагов у него не было, но и друзей не видать. Вежливость не есть любовь...»²¹

Андрей Седых, воссоздавая портретный образ Алданова, отмечал также, что: «В разговоре же и в переписке с друзьями Марк Александрович эрудиции избегал, – писал просто, о вещах самых обыкновенных и житейских, любил узнавать новости, сам о них охотно сообщал, расспрашивал о здоровье, – был он очень мнительным и вечно боялся обнаружить у себя какую-нибудь 'страшную болезнь'. Из-за этого не любил обращаться к врачам, но охотно беседовал с больными, расспрашивал и, видимо, искал у себя 'симптомы'»²².

Нельзя не отметить особо, что Бахрах и другие мемуаристы явно преувеличивают степень интимно-личностной изолированности Алданова. Как свидетельствуют факты, Алданов ни в коей мере не может считаться «человеком в футляре». Не только в публичной жизни, где он являл собой пример исключительно общительного и контактного человека, но и в своей приватной сфере он был отнюдь не одинок. Среди его близких друзей числятся А. Н. Толстой, И. Бунин, В. Набоков, М. Осоргин, Б. Зайцев и Г. Адамович. Да, он не «плакался в жилетку» ближнему своему. Чужды были подобного рода проявлениям «русской задушевности» тот же Набоков и Осоргин, и Адамович, и Мережковский, и многие другие его собратья по перу. В отношении личности Марка Алданова современники часто склонны были использовать банальные штампы, что, впрочем, является общим местом мемуаристики и касается практически всех воспоминаний, где даются характеристики и описываются портреты выдающихся людей. Завершить характеристику Марка Алданова можно его же словами из статьи-некролога «Н. В. Чайковский»: в нем жил «инстинкт порядочности, доведенный до исключительной высоты. Этот инстинкт, врожденная красота души, в любой обстановке, во всяких обстоятельствах подсказывали ему образ действий, верный если не в практическом, то в моральном отношении»²³.

С возникновением Русского Парижа в нем образовались литературные салоны, игравшие вплоть до 1940 г. важную объединяющую и литературно-просветительную роль в жизни русской диаспоры. В

первую очередь здесь следует назвать салоны Цетлиных и Мережковских, постоянным посетителем которых был Алданов. Его ближний круг общения состоял из людей, с которыми он сблизился еще в Одессе, — Цетлины, Бунины, Фондаминские, Теффи и Алексей Толстой. Но ни с кем из соплеменников-литераторов так тесно не общался Алданов в первые три года своей парижской эмигрантской жизни, как с Алексеем Толстым. Он сам говорит об этом в письме к Александру Амфитеатрову: «Мы с Алексеем Толстым были когда-то на ты и года три прожили в Париже, встречаясь каждый день»²⁴. Алексей Толстой, будучи всего лишь на три года старше Алданова, как автор рассказов и повестей «заволжского» цикла (1909–1911) и примыкающих к нему небольших романов «Чудаки», «Хромой барин» (1912), имел реноме «известный писатель». Алексей Толстой, «крупный, богатырского вида человек, с круглым, приятным лицом, густыми светлыми волосами, подстриженными под каре на затылке»²⁵, был, что называется, «славным малым» — как когда-то охарактеризовал его Леонид Андреев, хотя и себе на уме. Он легко сходился с людьми, любил общаться с интеллектуалами и выступать в роли покровителя начинающих литераторов: «Больше всех шумел, толкался, зычно хохотал во всё горло <...>. И привычным жестом откидывал назад свою знаменитую копну волос, полукругом, как у русских кучеров, подстриженных на затылке»²⁶.

Тогдашнюю форму общения между А. Н. Толстым и Марком Алдановым вполне можно назвать «дружбой», хотя оба писателя вряд ли могут служить классическим примером людей, способных на такую форму межличностных отношений. Тем не менее они сошлись и на короткое время стали неразлучны. Кроме банального — противоположности притягиваются, — трудно сказать, что могло сблизить скромного и щепетильного в отношениях с людьми Алданова с разухабистым краснобаем, циником, гедонистом, эпикурейцем, литературным баловнем и эгоистическим младенцем, в скором времени ставшим, по определению Горького, «советским Гаргантюа». С другой стороны, Алексей Толстой «был занятный собеседник, неплохой товарищ и, в общем, славный малый. В советской России такие типы определяются выражением ‘глубоко свой парень’. Его исключительный, сочный, целиком русский талант заполнял каждое его слово, каждый жест. <...> Недостатки его были такие ясно определенные, что не видеть их было невозможно. И ‘Алешку’ принимали таким, каков он был. Много не совсем ладное ему прощалось. Даже такой редкий джентльмен, как М. Алданов (недаром прозвала я его ‘Принц, путешествующий инкогнито’), дружил с ним и часто встречался»²⁷. В эмиграции активно муссировались разного рода слухи, касающиеся

прав А. Н. Толстого на ношение графского титула. Так, например, в одной из последних дневниковых записей Ивана Бунина – от 23 февраля 1953 года – читаем: «Вчера Алданов рассказал, что сам <sic!> Алешка Толстой говорил ему, что он, Т., до 16 лет носил фамилию Бострэм, а потом поехал к своему мнимому отцу графу Ник. Толстому и упросил узаконить его – графом Толстым»²⁸.

Подобного рода откровенность А. Н. Толстого, всю свою жизнь – в «белом» и в «красном» ее периодах – гордившегося и щеголявшего, где только можно было, своим титулом, свидетельствует о высокой степени доверительности его отношений с Марком Алдановым в те годы. Такой степени интимной близости не допускал Толстой даже в отношениях с Буниным.

Алданов не только дружил с Алексеем Толстым, но и делал с ним общее дело – они вместе под крылом Николая Чайковского выпускали журнал «Грядущая Россия», на который, естественно, возлагали большие надежды, и оба пережили горькое разочарование, когда из-за прекращения финансирования поддерживавших Чайковского меценатов выпуск журнала пришлось прекратить. Несмотря на дружбу с будущим вторым по рангу – после Горького, «столпом» советской литературы и своим, опять-таки в будущем, конкурентом в области исторической прозы, Алданов как начинающий писатель в творческом плане от влияния А. Н. Толстого был совершенно свободен. В частности, желания писать злободневные очерки о буднях русской эмиграции в Париже он явно не имел. Можно полагать, что после России, «кровью умытой», парижская эмигрантская действительность его не шокировала и не угнетала. Дружба Алданова с «Алешкой» закончилась с момента перехода его в лагерь Советов, а после отъезда А. Н. Толстого в СССР оба писателя никогда не выказывали желания к какой-либо форме общения.

Иван Бунин был вторым человеком, с которым особенно сблизился Алданов: с начала 1920-х годов он постепенно начинал играть в его жизни всё большую роль. То же самое можно сказать и о Бунине. Как и в случае с А. Н. Толстым, здесь «сошлись лед и пламень», но таким удивительным образом, что самым характерным в этих отношениях была «открытость до самого конца, душевное родство, предельная трогательная заботливость. Здесь разница характеров не мешала близости. За почти три с половиной десятилетия ни одной даже самой малой размолвки, не говоря уже о ссоре. Такая писательская дружба – очень большая редкость»²⁹. Ни у кого из русских писателей «первого ранга» не было столь близких отношений со своими собратьями по перу. Сам Бунин тому пример: на своем долгом жизненном пути разошелся под конец со всеми друзьями молодости,

даже с таким, казалось бы, кровно близким, задушевым другом, как Борис Зайцев! Но дружба с Алдановым согревала его до конца дней.

В самом начале их отношений Алданов пытался привлечь Бунина к участию в редколлегии толстого журнала русской эмиграции «Грядущая Россия», Бунина же притягивала душевная теплота Алданова, которую тот выказывал по отношению к его сложной, эксцентричной особе. Так, например, как записывает в дневнике от 7/20 и 13/26 декабря 1921 года Вера Николаевна Бунина, Иван Алексеевич, когда умер его брат Юлий, был настолько потрясен, что «...сразу же похудел. Дома сидеть не может. Побежал к Ландау. <...> Вечер, я одна. Ян ушел к Ландау. Он бежит от одиночества на люди». Вера Николаевна относилась к Марку Александровичу не менее любовно, чем ее супруг. Вот, к примеру, несколько записей из ее дневника середины 1920-х гг.: «14/27 января 1925 года: Днем были Осоргин и Алданов. Я люблю их обоих. Мне с ними легко и весело». Вместе с Алдановым Бунины встречали Новый 1925 год. А вот запись самого Бунина от 30 января/12 февраля 1922 года, где он тонко, как бы между прочим, отмечает для себя, что Алданов не воспринимает поэтическую образность (запись свидетельствует также и о том, что к началу 1922 г. семейство Ландау из Варшавы уже переехало в Париж): «Прогулки с Ландау и его сестрой по Vinense, гнусная, узкая улочка, средневековая, вся из бардаков, где комнаты на ночь сдаются прямо с блядью. Палэ-Рояль (очень хорошо и пустынно), обед в ресторане Véfoug, основанном в 1760 г., кафе 'Ротонда' (стеклянная), где сиживал Тургенев. Вышли на l'Орега, большая луна за переулком, быстро бегущая в зеленоватых, лиловатых облаках, как старинная картина. Я говорил: 'К черту демократию!', глядя на эту луну. Ландау не понимал – причем тут демократия?» (См.: «Устами Буниных». Т. 1.)

Как большинство эмигрантов «первой волны», Алданов, даже став литературной знаменитостью, считал своим долгом манифестировать тоску по родине: «Всю мою литературную карьеру пришлось делать уже в эмиграции. Но ни мой успех среди зарубежных соотечественников, ни переводы на девятнадцать иностранных языков, никогда не могли заглушить чувство горечи, вытравить сознание, что расцвет мой не пришелся в России, стошестидесятимиллионной России, так много читавшей и с годами проявлявшей стихийную жажду чтения. Никакие переводы не могут заменить подобной утраты необъятного, родного, близкого, 'своего рынка'»³⁰, – и сетовать на тяжелую эмигрантскую долю, например, в письме к литератору Л. Е. Габриловичу от 26 февраля 1952 года: «Эмиграция даже в смысле физического здоровья очень тяжелая вещь и изнашивает человека.

О моральном и интеллектуальном изнашивании и говорить не приходится»³¹.

В повести «Дюк Эммануил Осипович де Ришелье», относящейся к жанру исторического литературного портрета, он писал: «Эмиграция – не бегство и, конечно, не преступление. Эмиграция – несчастье. Отдельные люди, по особым своим свойствам, по подготовке, по роду своих занятий, выносят это несчастье сравнительно легко. Знаменитый астроном Тихо де Браге в ответ на угрозу изгнанием мог с достаточной искренностью ответить: ‘Меня нельзя изгнать – где видны звезды, там мое отечество’. Рядовой человек так не ответит – какие уж у него звезды! При некотором нерасположении к людям, можно сказать: рядовой человек живет заботой о насущном хлебе, семьей, выгодой, сплетнями, интересами дня, – больше ничего и не требуется. <...> Не выносят рядовые люди и сознания полной бессмыслицы своей жизни. Эмигранты же находятся в положении исключительном: внешние условия их существования достаточно нелепы и сами по себе. Простая житейская необходимость давит тяжело, иногда невыносимо. Велик соблазн подогнать под нее новую идею, – и чего только в таких случаях не происходит!»³² Нисколько не сомневаясь в искренности высказываний Алданова, тем не менее еще раз отметим тот очевидный факт, что для него лично Франция всегда была отнюдь не «злая чужбина», а милая сердцу «самая цивилизованная страна на свете». Еще в 1918 г. он писал об «утонченном *charm’e*» и «аромате очарования», «которым окружена старинная французская цивилизация, на мой взгляд, величайшая, во всяком случае наиболее тонкая из всех когда-либо существовавших»³³.

Для общения с этой прослойкой французского общества Алданов был подготовлен как никто другой и, несомненно, завел в ней полезные для жизни знакомства. На это в частности намекает Александр Бахрах: «... Алданову пребывание в Париже, несомненно, пошло на пользу. Он обогатил свой исторический багаж, и при наличии известных связей, которые у него завязались еще в те годы, когда он в Париже учился, он кое-какую информацию мог получать из первоисточников, узнавал кое-что из того, что происходило за кулисами большой политики и в печать не попадало, и многое сумел намотать себе на ус. <...> К тому же, у него был особый талант знакомиться с людьми выдающимися. Этому способствовало не только отличное знание целого ряда иностранных языков, но еще умение найти с каждым соответствующий ключ для разговора и как-то с первых слов заинтересовать собеседника. Этим великим и редким даром Алданов обладал в совершенстве, и едва ли кто-либо другой, особенно среди россиян, в течение жизни беседовал с таким количеством людей,

имена которых можно найти в любой энциклопедии и которые прославились по самым различным отраслям – науки, искусства, политики»³⁴.

Алданов же, хотя и был выходцем из очень состоятельной буржуазной семьи и до революции в материальном плане был человеком более чем обеспеченным, тем не менее от природы отличался скромностью, разумной бережливостью и умением довольствоваться малым: «Мои вкусы? Привычки? Но по нынешним временам отвыкать надо! Хочешь – не хочешь... Люблю тонкую кухню, хорошие вина, ликеры... Люблю ездить верхом... Всё недоступные удовольствия... Люблю – это более доступно – шахматы. Но, увы, шахматы ‘не любят’ меня. Игрок я прескверный!.. В этом нет никаких сомнений»³⁵. Находясь в эмиграции, Алданов всегда исключительно *своим собственным* литературным трудом зарабатывал на хлеб насущный, а потому, привыкнув рассчитывать только на себя и не умея «просить», постоянно страшился бедности. Вот что писал на сей счет Андрей Седых: «Другая тема, его очень волновавшая, была материальная необеспеченность. Алданов вечно, буквально в каждом письме, хлопотавший перед Литературным фондом о помощи для своих нуждающихся друзей-писателей, сам за свою жизнь ни у кого не получил ни одного доллара, не заработанного им литературным трудом. Правда, книги его перевели на 20 с лишним языков, отрывок из романа или очерк за подписью Алданова был украшением для любого журнала, но платили издатели плохо, и заработков с трудом хватало на очень скромную жизнь. Поэтому-то главным образом и прожил он последние десять лет в Ницце. Там было тихо, меньше друзей и знакомых и, следовательно, больше времени для работы, но что было особенно существенно, можно было прожить на скромные заработки...»³⁶

По прибытию в Париж перед Алдановым, в равной мере как перед всеми другими эмигрантами, встал сакраментальный вопрос: «Что делать?» Будучи довольно молодым человеком, полным сил и энергии, он, естественно, искал тот путь, пойдя по которому, можно было реализовать свои честолюбивые планы, обеспечить привычный с детства уровень комфорта и материального достатка. В стратегии поиска у Алданова был выбор, который одновременно являлся дилеммой: он мог продолжить карьеру ученого химика или, начиная по существу с нуля, попытать счастья на литературной стезе. Он поступил на отделение «Экономических и социальных наук» (VI section «Sciences économiques et sociales») в Практической школе высших исследований (École pratique des hautes études – EPHE), где в дополнение к своим университетским дипломам химика и правоведа полу-

чил углубленную подготовку в области практической социологии и обществоведения. Но, в конце концов, страсть к писательству пересилила все другие интересы, и Алданов стал на стезю профессионального литератора. Александр Бахрах явно заблуждается, утверждая, что Алданов: «в своем багаже привез за границу, собственно, одну только книгу («Толстой и Роллан». — М. У.), переизданную затем под измененным заглавием ‘Загадка Толстого’. Будущие историки литературы, вероятно, будут рассматривать ее, как некую ‘пробу пера’ начинающего автора, потому что и по своей тональности, а тем более по фактуре, она весьма далека от более поздних алдановских произведений, от столь характерной для него сдержанности»³⁷. В алдановском «багаже» имелась не «одна», а несколько книг, считая не только опубликованные в России «Толстой и Роллан» и «Армагеддон», но и книги, написанные или же задуманные в эпоху Гражданской войны, однако увидевшие свет уже на Западе, — «Ленин», «Огонь и дым»³⁸. Как идеи, аккумулированные в них, так и целые текстовые блоки были использованы им в последующих многочисленных публикациях. К литературному багажу следует также причислить и материалы, означаемые Алдановым как «Записные книжки», поскольку в массе своей они стали составной частью его публицистики. По мнению некоторых алдановедов, «Алдановская публицистика представляет особый интерес как ключ к дешифровке его беллетристики, к раскрытию ее актуально политического смысла»³⁹. К сожалению, в своем большинстве историки литературы обходят ее, как правило, стороной. Это связано с тем, что публицистика Алданова раннего периода эмиграции большого резонанса в эмигрантской среде не получила. Не оценили ее по достоинству и западные читатели, хотя Алданов попытался в начале утвердиться на французской литературной сцене как публицист. В 1919 г. Алданов публикует на французском языке книгу «Ленин»⁴⁰, которая развивает некоторые его наблюдения касательно личности Ильича, сделанные в «Армагеддоне». Бахрах характеризует эту книгу, как «небольшую монографию, полностью зачеркнутую последующими событиями <...>, от которой он впоследствии отрекался» (*Бахрах А. В. «Вспоминая Алданова»*. С. 166). Действительно, «зрелый Алданов» предпочитал о своем «Ленине» не вспоминать, считая книгу слишком «сырой», поспешно написанной. Однако именно ему принадлежит честь быть первым прижизненным биографом Ленина из стана его непримиримых врагов! Самой первой книгой о Ленине была работа Григория Зиновьева «Н. Ленин. В. И. Ульянов», опубликованная в Петрограде в 1918 году. По оценке Алданова, она поражала читателя тоном безудержного восхищения. Например, Зиновьев писал о Ленине: «Люди,

подобные ему, рождаются только раз в 500 лет», что тогда, на пике деятельности Ленина, несомненно звучало одиозно. Однако и сам Алданов в своей характеристике Ленина весьма апологетичен. В предисловии к немецкоязычной книге «Ленин и большевизм» он пишет: «Ни один человек, даже Петр Великий, не оказал больше влияния на судьбы моей родины, чем Ленин. Россия дала миру великих людей и глубоких мыслителей. Но ни один из них не может сравниться по своему влиянию на западный мир, хотя бы в слабой мере, с этим фантазером, который, может быть, даже не особенно умен». Одним из главных обвинений против Ленина как организатора Октябрьского переворота в русской революции являлся у Алданова исповедуемый им, якобы, «бланкизм». В этом отношении Алданов-политик был солидарен с мнением как русских меньшевиков, так и западных социал-демократов. Алдановский «Ленин» была переведен не только на немецкий, но и на итальянский и английский языки⁴¹, впрочем, книга не стала бестселлером. По меткому замечанию Алексея Толстого: «Как это ни странно, но французская высшая интеллигенция в 19 и 20 годах была в большинстве большевистствующей, она с какой-то спокойной печалью готовилась к европейской, в особенности французской революции»⁴². По этой причине, видимо, первую написанную в эмиграции книгу Алданова хотя и заметили, но предпочли за лучшее особо не «раскручивать». Можно полагать, однако, что гонорары от ее изданий были обнадеживающими, и этот приятный факт сыграл свою роль в решении Алданова сделать выбор в пользу литературной карьеры.

Впоследствии Алданов не раз возвращался к фигуре Ленина. Его образ постоянно всплывает в его романах, всегда тщательно прописанный «в деталях», рельефный, по-будничному «живой» и всегда чем-то «симпатичный» (sic!). «Но едва ли у кого-либо, кто знал или хотя бы читал Алданова, может появиться сомнение в той пропасти, которая отделяла его от Ленина. Вместе с тем, он был о Ленине необычайно высокого мнения, потому что его враждебность к личности Ленина и его идеям не доходила у него до фанатизма и он не думал, что шарж может стать действенным оружием для идеологической борьбы. <...> Алданов рисует Ленина с особой тщательностью, может быть нехотя подчеркивая иные его черты, способные увлечь его как беллетриста. <...> 'Это какой-то снаряд бешенства и энергии', но это и 'большая сила' <...> наружность Ленина описана Алдановым без искажений, без иронии <...>: 'Ленин был всю жизнь окружен ненаблюдательными, ничего не замечавшими людьми, и ни одного хорошего описания его наружности они не оставили. Впрочем, чуть ли не самое плохое из всех оставил его друг Максим

Горький. И только другой, очень талантливый писатель, всего один раз в жизни его видевший, но обладавший зорким взглядом и безошибочной зрительной памятью (Имеется в виду А. И. Куприн. — М. У.), рассказывал о нем: 'Странно, наружность самая обыкновенная и прозаическая, а вот глаза поразительные, я просто засмотрелся — узкие, краснозолотые, зрачки точно проколотые иголкой, и синие искорки'»⁴³. В сжатой форме свое видение фигуры Ленина Алданов сформулировал в 1932 г. в ответе на «Литературную анкету» парижского эмигрантского журнала «Числа»: «Это был выдающийся человек, человек большой проницательности, огромной воли, безграничной веры в себя и в свою идею. Эти свойства, при совершенной политической аморальности Ленина и (главное) при чрезвычайно благоприятной исторической обстановке, имели последствием то страшное, не поддающееся учету, непоправимое зло, которое он причинил России».

Не стала бестселлером и вторая книга Алданова на французском языке — «Две революции. Революция французская и революция русская» (1921 г.)⁴⁴, в которой он вслед за мыслями, впервые высказанными в «Армагеддоне», развивает свой вариант концепции о сходстве Великой французской и Русской революций. Через «призму видения» образов Великой французской революции 1789–1794 гг. оценивает Алданов Русскую революцию и в следующей своей книге — сборнике очерков «Огонь и дым» (1922 г.)⁴⁵. В контексте русской культурологической традиции сопоставительный подход Алданова нельзя назвать оригинальным. Яркие «картины» эпохи Французской революции с начала XIX века столь прочно вошли в мировоззренческий ареал образованных русских людей, что по праву могут считаться «интегральными элементами русской культуры. <...> Интерес к Французской революции [был] обусловлен не столько внешним сходством явлений (якобинского и большевистского террора, например), сколько желанием значительной и всё увеличивающейся на рубеже двадцатого века группы русской интеллигенции видеть Россию преимущественно страной западной»⁴⁶.

Алданов, будучи убежденным «западником», — наиболее типичный и яркий выразитель подобного рода взглядов. Как в публицистике, так и в своей историософской беллетристике он всегда проводил прямое и наглядное сравнение между событиями 125-летней давности во Франции и актуальной ситуацией в революционной России. В этом плане работу «Две революции: революция французская и революция русская» можно назвать «программной».

В тогдашней западной прессе прочно укоренилось представление о сугубо «русской» природе революционных потрясений, имевших место в России. Алданов же утверждал, что в исторической ретро-

спективе русская революция является результатом тех взрывов, что происходили в Европе еще совсем недавно – в последней трети XIX столетия. В статье «Клемансо» (1928 г.) он писал: «Мы теперь часто читаем в иностранной печати: ‘Все это могло случиться лишь в России’. Все это – т. е. ‘русский бунт, бессмысленный и беспощадный’. Я недоумеваю: почему же лишь в России? Точно на Западе ничего в этом роде не бывало. Франция – самая цивилизованная страна на свете, однако за неделю, с 22 по 26 мая 1871 года, на улицах лучшего в мире города одни контрреволюционеры расстреляли более двадцати тысяч человек. Немало людей было казнено и революционерами. Они же вдобавок сожгли Тюильрийский дворец, городскую ратушу, еще десятки исторических зданий и только по чистой случайности не разрушили Лувр и Notre-Dame de Paris. Если этот бунт не бессмысленный и не беспощадный, то чего же еще можно, собственно, желать?»⁴⁷

Такого рода взгляды не находили сочувственного отклика у западного, в первую очередь французского, читателя. Французские интеллектуалы той эпохи в массе своей были прогрессистами и революционное прошлое своей страны оценивали в позитивной тональности. Для них революционные события недавнего прошлого – от Великой французской революции до Парижской коммуны, были окружены ореолом героико-романтического пафоса, и на связанных с ними человеческих трагедиях – теме «кровь и пепел» – они предпочитали не заикаться. Что касается русской революции, то французские левые – они проявляли в те годы исключительную активность на французской общественно-политической сцене – видели не только отражение своей истории, но и новую веху в борьбе народов мира за «свободу, равенство, братство». Эксцессы же русской революции, в том числе кровавый террор «диктатуры пролетариата», они или старались не замечать, или списывали на русскую национальную специфику, пресловутый «ам слав»*. Такой, например, точки зрения придерживался весьма уважаемый Алдановым известный французский ученый историк Альфонс Олар (1849–1928), «потративший немало сил на защиту революции, включая наиболее радикальный ее этап»⁴⁸, от нападок историков из правого лагеря. Скептический пессимизм Алданова в оценке революции как прогрессивного социального феномена воспринимался им как унижение французской истории с позиций реакционного консерватизма. О справедливости подобного рода представлений свидетельствует, например, такой вот эпизод из воспоминаний Андрея Седых: «В моих бумагах сохранилась

* *âme slave* – буквально: славянская душа (*фр.*).

запись, сделанная в 28-м <...> году. Мы сидели в кафе 'Режанс' на площади Палэ Рояль, и я рассказывал Марку Александровичу, как незадолго до этого был у историка французской революции Олара. 'Девятое Термидора' Алданова к тому времени уже вышло по-французски. Олар прочел роман и сердито сказал, что это памфлет на Великую Революцию и что понять ее может только тот, кто ее любит... Отзыв этот Алданова задел – Олара за его великую ученость и труды он почитал. – 'Разумеется, – сказал мне Марк Александрович, – памфлетные цели были от меня далеки. Олар говорит, что понять Французскую революцию может только тот, кто ее любит. Если это верно, в чем я сильно сомневаюсь, то я действительно не могу претендовать на понимание Французской революции, так как большой любви к ней не чувствую: я имею, конечно, в виду жизненную правду революции, ее быт, а не идеи Декларации Прав Человека и Гражданина. Быт же Французской революции не так сильно отличается от быта революции Русской, которую я в 17–18 годах видел в Петербурге вблизи: в этом наше преимущество перед профессором Оларом... Не так высок был и средний уровень, умственный и моральный, людей 1793 года. Русские исторические деятели, не только самые крупные, как Суворов, Пален или Безбородко, но и многие другие, стояли, по-моему, в этом отношении выше'...»⁴⁹

Алданова как историка и мыслителя сегодня можно, кажется, упрекать и в предвзятости, и в поверхностности анализа революционных событий в России. Всю глубинную специфику октябрьских событий он сводил к незаконному захвату власти леворадикальным крылом российских социал-демократов, исповедующих псевдонаучное, по его убеждению, марксистское учение о классовой борьбе пролетариата. Большевикам, утверждал он во всех своих сочинениях, помог слепой случай, как это часто случалось в истории, а Ленину, помимо его неординарных способностей политика, еще и чертовски везло. К концу жизни Алданов стал менее категоричен в своем отрицании каких-либо объективных оснований для победы Октября, признавал и то, что старая власть была дурна, и то, что либеральные демократы и умеренные социалисты, подготовившие Февральскую революцию и возглавившие, после ее свершения, страну, оказались недееспособными. При этом он по-прежнему отстаивал точку зрения: «Революция – это самое последнее средство, которое можно пускать в ход лишь тогда, когда слепая или преступная власть сама толкает людей на этот страшный риск, на эти потоки крови. <...> Там, где еще есть хоть какая-нибудь слабая возможность вести культурную работу за осуществление своих идей, там призыв к революции есть либо величайшее легкомыслие, либо сознательное преступление» («Истоки».

1947). События Великой французской революции Алданов, как правило, описывает с грустной скептической иронией, тогда как картины русской революции преподносятся им в саркастически-уничжительной тональности. Такой подход у него имеет место как по отношению к большевикам-победителям, так и к побежденным ими демократам всех мастей, включая и энесов.

Вот, например, выдержки «Из Записной книжки 1918 года»: «‘Народные комиссары’, ‘революционный трибунал’, ‘декларация прав трудящихся’... Почти все революции XIX и XX столетий подражали образцам 1789–1799 годов, и ни один из переворотов, происходящих регулярно два раза в год в Мексике, не обошелся без своего Робеспьера и без своего Бабефа. <...> Правда, герои Великой революции играли премьеру. И, надо сказать, играли ее лучше. <...> Нельзя сказать с уверенностью, что в кофейнях Женевы туристам XXI столетия будут показывать столик комиссара Троцкого, как в парижском кафе ‘Прокоп’* гордятся столом Робеспьера. Но так грандиозен фон, на котором действуют эти пигмеи, и так велика власть исторической перспективы, что, быть может, и вокруг народных комиссаров создастся героическая легенда. История терпела и не такие надругательства над справедливостью, над здравым смыслом»⁵⁰.

Однако «лучшие умы человечества» в начале 1920-х гг. думали по иному. Все близкие Алданову французские писатели – Ромен Роллан, Анатоль Франс**, Андре Жид, Анри Барбюс и иже с ними, – видя в Русской революции своего рода реинкарнацию событий своей национальной истории, воспринимали ее не только положительно, но и с романтическим воодушевлением. Они сочувствовали большевикам – «русским якобинцам», и активно высказывались в защиту молодой Советской республики, демонстрируя таким образом, по мнению Алданова, высказанном им в публицистической книге «Огонь и дым» (1922), полную некомпетентность во всем, что касалось русской истории и культуры. «Много, например, во Франции, в Англии, в Италии большевиков и так называемых ‘большевиствующих’». Но что же они знают о своем собственном учении? Творец и главный теоретик большевизма Ленин написал на своем веку несколько тысяч печатных

* Кафе «Прокоп» (Le Procopé) – старейшее кафе Парижа. Находится в Латинском квартале на улице Ансьен-Комеди (rue de l’Ancienne-Comédie), недалеко от бульвара Сен-Жермен. В эпоху Просвещения кафе стало дискуссионным центром для литераторов и философов, превратившись, таким образом, в первое литературное кафе.

** Алданова в 1920–1930-е гг. литературные критики часто называли «русским Анатолем Франсом».

страниц; из них переведено на французский язык около шестидесяти <...>. Что бы мы сказали о кантианце, который никогда не читал Канта? Вряд ли нужно пояснять, что я никак не сравниваю московского теоретика с кенигсбергским. Однако большевик, не имеющий представления о доктринах Ленина, всё же представляет собой нечто парадоксальное. Если бы Барбюс в свое время изучил русский язык и политическую литературу, если бы он теперь съездил в Москву и пожил бы – ну хоть полгода – жизнью Всероссийской Федеративной Советской Республики, его протесты несомненно много выиграли бы в силе и авторитетности. <...> Но может быть тогда он не заявлял бы протестов или они были бы направлены не в ту сторону. Анри Барбюс написал ‘Огонь’, может быть, он написал бы и ‘Дым’. И уж наверное он не зачислял бы с такой легкостью в реакционеры и во враги русского народа людей, которые болели горем России и боролись за ее свободу в то время, когда <...> сам Барбюс ходил на уроки в гимназию»⁵¹.

Октябрь 1917 года Анри Барбюс воспринял как величайшее событие в современной мировой истории; под влиянием событий в России вступил во Французскую компартию. В своих сочинениях «Свет из бездны» (1920), «Манифест интеллектуалов» (1927) он пропагандирует процессы строительства социализма в СССР («Россия», 1930) и лично деятельность Сталина; был автором афоризма «Сталин – это Ленин сегодня». Последней работой Барбюса стала книга «Сталин» (1935). Писатель дал к ней еще и подзаголовок: «Человек, через которого раскрывается новый мир». Барбюс посетил СССР в 1927, 1932, 1934 и 1935 гг. На могиле Барбюса установлен памятник со словами Сталина о нем: «...Его жизнь, его борьба, его чаяния и перспективы послужат примером для молодого поколения трудящихся всех стран в деле борьбы за освобождение человечества от капиталистического рабства».

Говоря же о Ромене Роллане, Алданов отмечает, что он «всё как-то ходит вокруг да около большевистской революции. 1 мая 1917 года (т. е. задолго до большевиков) он восторженно писал ‘России свободной и освобождающейся’: ‘Пусть революция ваша будет революцией великого народа, – здорового, братского, человеческого, избегающего крайностей, в которые впала наша! Главное, сохраните единство! Пусть пойдет вам на пользу наш пример! Вспомните о Французском Конвенте, который, как Сатурн, пожирал своих детей! Будьте терпимее, чем были когда-то мы!’ Казалось бы, нельзя сказать, что большевики последовали этим мудрым советам. Ром. Роллан продолжает, однако, и в 1918 г. неопределенно писать о ‘новых веяниях, которые во всех областях мысли идут из России’. В каких именно областях и какие веяния, он не объясняет. Вместе с тем, в той же книге вскользь

упоминается о 'чудовищной вере идеалистов гильотины', – якобинцев 1793 г. <...> Это, конечно, очень приятно слышать, но было бы все-таки полезно знать точно, кто именно представляет в настоящее время русскую мысль. Ром. Роллан – очень большой писатель и очень большой человек. Он совершенно чужд рекламе, тем более саморекламе; таким он был всегда. Но он живет в Швейцарии, высоко над уровнем моря – и над уровнем земли. Он 'любит людей' оттуда, откуда их видно плохо. <...> В Швейцарских горах хорошо писать о философии Эмпедокла или о похождениях французского крестьянина, имеющих давность в несколько столетий. <...> Но о некоторых новейших политических выступлениях знаменитого писателя нам, его искренним и давнишним почитателям, приходится сильно пожалеть. <...> Но с высоты снеговых гор он прежде лучше видел огонь, чем теперь различает дым. За Альпами ему не видно Чрезвычайки»⁵².

Начиная с 1920 г., Алданов, решившийся стать профессиональным литератором, впрягается, ради заработка, в литературную поденщину: пишет, помимо книг и статей, большое количество очень толковых и обстоятельных литературных рецензий, чем в не малой степени завоевал уважение матерых коллег профессионалов. При этом он успевает следить за научными достижениями в области химической кинетики и вдобавок заниматься общественно-политической деятельностью. Алданов везде и всюду. Старый партийный его товарищ Николай Чайковский, тогда председатель партии энесов, пригласил Алданова быть соредактором журнала «Грядущая Россия». Это издание, планировавшееся по типу классического «толстого» ежемесячника, было заявлено как: «Ежемесячный литературно-политический и научный журнал / *Revue mensuelle littéraire, politique et scientifique*. Под ред. Н. В. Чайковского, В. А. Анри, М. А. Ландау-Алданова и гр. Алексея Н. Толстого». Журнал «Грядущая Россия» – среди первых больших и представительных по составу авторов журналов Русского Зарубежья. Однако он оказался «однодневкой»: в 1920 г. вышло всего два номера, затем, вследствие финансовых трудностей, выпуск издания был прекращен. Опубликованная в 1922 г. отдельной книгой в парижском издательстве «Франко-русская печать» алдановская работа «Огонь и дым» может рассматриваться как вторая после «Армагеддона» попытка Алданова утвердиться в публицистике в качестве автора оригинальных по форме очерков-композиций, составленных из литературно-историософских и актуально-политических блоков.

Однако публицистика Алданова 1918–1922 гг. большого успеха у широкой публики не имела, по-видимому из-за того, что была для нее чересчур рассудочной, слишком «мудреной». Быстро осознав

свои недостатки, Алданов принял решение сосредоточиться на писании исторической прозы, в чем и преуспел. Столь же внезапно, как на заре XX в. стал «знаменитым» Максим Горький, в начале 1920-х гг. в Русском Зарубежье в одночасье взошла «звезда» литературной славы Марка Алданова, источающая неяркий, но притягательный свет все годы его писательской карьеры. Современники из числа молодых эмигрантских литераторов, которых раздражали многочисленные романы Алданова, регулярно печатавшиеся в журналах, что затрудняло публикацию их собственных произведений, недоумевали. В частности, Василий Яновский писал: «Чудом карьеры Алданова надо считать факт, что его ни разу не выругали в печати <...>. Я часто, недоумевая, спрашивал опытных людей: — Объясните, почему вся пресса, включая черносотенную, его похваливает?.. Даже ди-пи начали ловко вставлять в текст своих статей комплимент Алданову <...>. Они дошли до этого инстинктом и уверяют, что таким образом статья наверное пройдет и без больших поправок, даже встретит сочувственный отзыв влиятельных подвижников. В чем тайна Алданова? Неужели он так хорошо и всегда грамотно писал, что не давал повода отечественному исследователю его вывалить в грязи (по примеру других российских великомучеников)? Толстого ловили на грамматических ошибках. Достоевского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Державина и Пастернака. Кого в русской литературе не распинали на синтаксисе! Но не Алданова. Алданова никогда ни в чем не упрекали: всё, что он производил, встречалось с одинаковой похвалой. Что случилось с зарубежным критиком?»⁵³ На этот недоуменный вопрос Яновского — одного из «злых» свидетелей времени, который, по свидетельству Г. Адамовича, и сам писал, что Алданов «‘величайший писатель XX века’, значит, даже лучше Чехова»,⁵⁴ — и литературные критики эмиграции, и современное алдановедение дают четкий, вполне аргументированный в историко-литературоведческом плане ответ.

Во-первых, и это, пожалуй, самое главное, Алданов сумел чутко уловить читательские ожидания Русского Зарубежья. На фоне трагедии Гражданской войны и гибели Российской империи события истории Нового времени в русской эмиграции стали осмысляться людьми не как «картинки с выставки», а очень лично, как отражения их собственной судьбы. Историософские романы Алданова удовлетворяли эту насущную потребность сопереживания актуальности в исторической ретроспективе. Во-вторых, по меткому замечанию Александра Бахраха: «в писательской манере Алданова была еще одна черта, которая немало содействовала его популярности. Читатель чувствовал, что автор его уважает, не смотрит на него свысока, хотя в

то же время не хочет быть с ним запанибрата»⁵⁵. В-третьих, органический симбиоз «западничества» и русофильства, свойственный Алданову, делал его «своим», особо привечаемым во всех слоях русской эмиграции «первой волны», в том числе и среди юдофобски настроенных ее представителей из крайне правого лагеря, таких, например, как Николай Брешко-Брешковский (Н. Суражский), генерал Петр Краснов или мыслитель и литератор-монархист Иван Солоневич.

Быть «русским» звучало в устах Алданова столь же достойно, без малейшей доли иронии или скепсиса, как и в отзывах критиков определение «мудрый» применительно к нему самому. И современники – как вся, без исключений (sic!), русская эмиграция, так и многоязычный иностранный читатель, – это очень ценили. Имели место, конечно, и отдельные казусы, связанные с «неарийским» происхождением Алданова. Например, один из свидетелей времени вспоминает: «Одна почтенного возраста русская дама всегда зачитывалась Алдановым. Недавно ей кто-то сказал, кто такой Алданов. И она перестала его читать. Потеряла аппетит, как она выразилась. Боже мой. Как это грустно»⁵⁶. Не могли простить Алданову его «неарийство» такие махровые патриоты, как, например «два Ивана» – писатель Шмелев и философ Ильин. Впрочем, высказывались они на сей счет лишь в личной переписке⁵⁷. С противоположного фланга тоже звучало выражение недовольства, выражаемое также в приватной форме. Так, например, Вера Бунина записывает 22 августа 1930 года в своем дневнике: «Виделись с Поляковым-Литовцевым. Он произвел странное впечатление, точно его лихорадило. Он много говорил, обрушился на Алданова, что у него меньше творчества, чем у Брешко-Брешковского, что он блестящ, умен как эссеист. <...> Когда же он пишет роман, он делает ошибки. <...> – Нет, – я говорю ему. – Вы – еврей и никогда настоящим русским писателем не будете. Вы должны оставаться евреем и внести свою остроту, ум в русскую литературу»⁵⁸.

Из литературных критиков эмиграции единственным, кто единожды позволил себе публично «кусануть» Алданова, был Георгий Иванов. Наскок был осуществлен не на литературном поле, а в сугубо идейной области: в рецензии 1950 г. на роман Алданова «Истоки» Г. Иванов обвинил Алданова в унижении русской истории и, как следствие, в негативном воздействии алдановской прозы на моральный дух доживающих свой век эмигрантов-патриотов. Впрочем, никто из литераторов, включая крайне пристально следившего за эмигрантской литературой Г. Адамовича, на статью Г. Иванова внимания не обратил. Оценивая историю с этой рецензией, Вадим Крейд

в биографической книге «Георгий Иванов» пишет: «Марк Алданов – один из тех немногих, кто, кажется, навсегда остался при своем мнении и относил Георгия Иванова к тем, кого в послевоенной Франции называли ‘коллабо’. Но спорадическая переписка и редкие встречи продолжались. Зла Алданов не таил, хлопотал в Литературном фонде о материальной поддержке Г. Иванова, ходатайствовал о месте в старческом доме Кормей. <...> Отношение к Алданову как прозаикуроманисту у Георгия Иванова менялось. В 1948 году Алданов ему писал: ‘Мне говорили из разных источников, совершенно между собой не связанных и тем не менее повторявших это в тождественных выражениях, что Вы весьма пренебрежительно отзываясь обо мне как о писателе. Поверьте, это никак не могло бы повлечь за собой прекращение наших добрых отношений. Я Вас высоко ставлю как поэта, но Вы имеете полное право меня как писателя ни в грош не ставить, тем более, что Вы этого не печатали и что Вы вообще в литературе мало кого цените’. Этим ‘полным правом’ Георгий Иванов года через два воспользовался и напечатал в ‘Возрождении’ резкий отзыв на ‘Истоки’, едва ли не лучший роман Алданова. <...> Вред же книги в том, что, согласно Алданову, ‘цивилизованно’ России почти не существовало: все, что было ‘цивилизованного’, достигнуто иностранцами или перенято у них. ‘Рисуя русских царей, знаменитый писатель неизменно вместо портрета создает шарж’, а рисуя царевубийц, создает исключительной убедительности картину. <...> ‘Если я здесь выступаю отчасти против Алданова, то только потому, что отдаю себе отчет в его писательской силе’»⁵⁹.

Для понимания особой важности как руссо-, так и евроцентризма Алданова в глазах эмигрантов «первой волны» напомним, что в начале XX в., как, впрочем, и по сию пору, членство России в Европе не является для всех, в том числе и самих русских, однозначно очевидным фактом. В эмиграции 1920-х гг. куда более распространенным было представление о России как о евразийской державе с особым типом культуры. Таковым, например, было течение евразийства. Кроме того, унижительным для большинства эмигрантов «первой волны» представлялось вытеснение в Советской России из публичного обихода этнонима «русский», вместо которого в СССР повсеместно использовалось слово «советский». Согласно большевистской пропаганде в России возникла новая, доселе неведомая миру историческая общность – «советские люди», а за рубежом, в изгнаничестве влачили жалкое существование бывшие «русские». Поэтому алдановский «руссцентризм» вместе с его декларативной позицией: «я русский, а значит – европеец!» – звучали как интеллектуальный и политический вызов.

Этот вызов Алданов, считавший, что европейцы не оказали должной помощи российской демократии в борьбе с большевиками, бросил западным мыслителям и политикам уже в 1918 г.: «По-видимому, России суждено служить школой наглядного обучения для Европы. Сколько лет мы являлись миру воспитательным зрелищем своеобразного осуществления 'Христианской монархической идеи'. Теперь на нас европейцы могут учиться, как не надо делать революцию. Научатся ли однако?»⁶⁰. Представление русских как плоть от плоти европейцев у Алданова солидно обосновано.

Краеугольным камнем русской культуры, так же как и обще-европейской, является *калокагатия* – греческий идеал нравственной красоты *kalos-kagathos*. По этому культуuroобразующему признаку, а в расчет им принимается только государствообразующая и всеобъединяющая русская культура, Россия – страна, несомненно, европейская (и, по умолчанию, – христианская). Все ее экзотические, с точки зрения среднестатистического европейца, качества по сути своей – это те же «национальные особенности», что определяют «личины» отдельных европейских государств. Ни масштабный фактор – гигантская территория, ни уникальная разнородность, ни неразрешенный «еврейский вопрос» не принимаются им в расчет при сопоставлении Европы и России. Алданов заявлял Россию как неразрывную составную часть Европы, а всю европейскую историю с 1917 г. рассматривал исключительно в свете Русской революции, которая виделась ему самым трагическим событием в истории XX в. По мнению швейцарского алдановеда Жервез Тассис (Tassis) в алдановской историографии «старая Европа» погубила самую себя во многом из-за ее недостаточного внимания к российским событиям начала XX в., неспособности совместить их в своем видении с уроками собственного недавнего прошлого⁶¹. Поскольку тема «отторжения» европейцами России от Европы и в XXI веке остро стоит на политической повестке дня, историософские воззрения Марка Алданова на сей счет остаются непреходяще актуальными.

При всем возвеличивании России как великой европейской державы, Алданов, несомненно, противник почвеннического национализма во всех его формах. Выступает он и против выделения русскими интеллектуалами элементов российской национальной самобытности в такие категории, как «русская идея» или «русская душа», к тому времени уже превратившихся в негативно-иронические стереотипы русского человека. Эти представления, сложившиеся еще у «молодого Алданова», оставались неизменными все последующие десятилетия его жизни на Западе. Так, 15 июля 1947 года он, высказываясь на сей счет, писал Георгию Адамовичу: «По-моему, наряду с классиче-

ской французской ‘ам слав’, над которой у нас только ленивый не смеялся, <...> есть еще русская ‘ам слав’, выдуманная русской же интеллигенцией, приписывающая русскому человеку свойства, совершенно для него не обычные или присущие ему не в большей степени, чем другим людям. Не скажу даже, чтобы эти свойства были такие уж лестные, но они почему-то нравятся национальному самолюбию. Всякие бездонности и бескрайности <...>. За единственным исключением Достоевского (да и то), ни один большой русский писатель не был ‘крайним’ ни в философии, ни даже в политике. Вы скажете – Толстой. Но всё-таки положите на одну чашу фантастических весов его публицистику, а на другую – остальное. Ведь всё-таки Пушкин, Гоголь, Тургенев, Тютчев, Гончаров, Герцен (даже он), Писемский, Салтыков, Островский, Чехов были либо либералы разных оттенков, либо умеренные консерваторы. <...> Таково же, по моему, общее правило и в других областях русской культуры от Ломоносова и обычно забываемого Сперанского до Михайловского, В. Соловьева и Милюкова. Бури же и бездонности больше всего любил горьковский буреветник <...>. Да и сам бескрайний Достоевский в письмах обычно очень ограничивал все свои бездонные глубины, частью, кстати сказать, им заимствованные на буржуазном Западе»⁶².

Можно полагать, что благодаря особого рода «евроцентризму» в представлении и интерпретации событий мировой истории книги Алданова были весьма востребованы на Западе. К числу их достоинств относится и то важное обстоятельство, что они не шокировали западного читателя эксцессами «русской духовности».

Александр Бахрах считал, что у Алданова-беллетриста наиболее ценным является «его дар композиции, умение налагать один пласт на другой, из книги в книгу делать переключку своим героям без того, чтобы этот прием мог показаться искусственным или надуманным. В большинстве случаев читатель этого и не замечал. Алданов в конце своих романов, составляющих единый цикл, никогда, даже в скрытой форме, не ставил традиционного ‘продолжение следует’, хотя его главная цель – подчеркнуть связь времен и, в какой-то мере, связь поколений. С другой стороны, он ни в одном из своих романов не решает какой-либо определенной проблемы, которую надлежит так или иначе разрешить. Нет, это всегда повествование очень умного человека, который, как всякий умный человек, свой ум на первый план не выставляет и им не любителю, хотя никогда от него не отрекается»⁶³. При всем этом Алданова можно назвать *историософом*, автором «романов идей», в представлении которых он одновременно выступает и в качестве историографа-документалиста, и комментато-

ра, и мыслителя-аналитика. В историософском пространстве его книг, пропитанных скептицизмом и тонкой иронией, русское круто перемешано с европейским. Ничто, например, по стилистике не отличает описание событий Французской революции в «Девятом Термидора» от истории убийства террористами-народовольцами Императора Александра II в романе «Истоки». Все это в образно-художественной форме иллюстрирует и доказывает главную концепцию автора: Россия – неотъемлемая часть Европы, и ее история – важнейшая составляющая часть общеевропейской истории.

Что же касается национальной специфики, то Алданов не придает большого значения разнице в психологии отдельных народов, а напротив, всегда старается подчеркнуть их общечеловеческое сходство. Ибо «страсти роковые», которые побуждают людей действовать и которые так много определяют в их судьбах, на его взгляд, одинаковы и не зависят от религии, этнической принадлежности или расы. Обосновывая примат европеизма в этнониме «русский», Алданов боролся не только за историософское утверждение статуса России как великой европейской державы, но также и против концепции «чужеродности» русской диаспоры по отношению к приютившей ее Западной Европе. Всё это очень импонировало русскому читателю и вызывало интерес у европейцев.

Вновь возвращаясь к алдановской публицистике – этой, как он считал, литературной поденщине, особо отметим, что и здесь он к началу 1930-х гг. резко изменился: отказался от чрезмерного интеллектуализма, нашел нужный тон и востребованный широким читателем жанровый формат – литературный портрет. Это сделало его одним из самых желанных и привечаемых авторов лучших эмигрантских газет и журналов. Такого рода «поденщина» всегда являлась для Алданова дополнительным источником постоянного заработка. В портретных очерках «Все его интересы, всё его любопытство были как будто направлены к тому, чтобы возможно более пристально разглядеть тех, кто – в прошлом и настоящем – творил историю, отыскать в их биографиях дополнительные черточки, которые остались незамеченными профессиональными историками. <...> по всем областям умудрился [он] прочесть не только всё, что ‘полагалось’, но и всё, что хоть в какой-то мере могло быть ему полезно для отыскания еще одной ‘маленькой правды’ о своих будущих героях. Ради них он самоотверженно становился библиотечной или архивной крысой, часами просматривал номер за номером пожелтевшие комплекты старых газет, сверял или сопоставлял воспоминания и записки современников»⁶⁴.

Окончательное решение Алданова – прислушаться к голосу сердца и, несмотря на все риски, стать писателем русской эмиграции,

было принято им после успеха своей первой художественной книги – «Святая Елена, маленький остров» (1921), ставшей в дальнейшем заключительной частью его исторической тетралогии об эпохе Великой французской революции и Наполеоновских войн «Мыслитель». «Повесть 'Святая Елена' была как бы хроникой последних дней жизни Наполеона, но нарисованной сквозь видение юной девицы, дочери русского дипломата, посланного в помощь губернатору далекого острова, то есть фактически для слежки за низложенным императором. В этой исторической повести, может быть, с чуть подслащенной фабулой, алдановская 'горечь' еще не ощущалась. Историческая драма заслонялась некой 'розоватостью' действий и разговоров второстепенных действующих лиц, которые воспринимались читателем как декорации эпохи. Алданов писал эту книгу еще не будучи уверен в себе, в новой для него роли исторического романиста. Но что ни говорить, 'победителей не судят'. Повесть пришлась по вкусу читателю. В короткий срок Алданов стал одним из наиболее популярных писателей Зарубежья»⁶⁵.

Между тем, в материальном плане условия жизни в Париже складывались в начале 1920-х гг. не самым лучшим образом, и Алданов посчитал за лучшее переселиться из Парижа в Берлин. Русская колония существовала в Берлине уже в начале XX в. и состояла, в основном, из приезжих, которые в большом количестве прибывали в Германию на отдых и лечение. В революционные 1905–1908 гг. в Берлине осело большое число политических эмигрантов из Российской империи, а также студентов, журналистов и всякого рода дельцов. Однако «русское присутствие» в кайзеровской Германии – капля в море по сравнению с потоком эмигрантов, хлынувшим в Веймарскую республику по окончании Гражданской войны в России. «В 1920-е годы Германия стала одним из крупнейших центров русской эмиграции: в стране насчитывалось до 600 тысяч человек, приехавших из России. Эмигранты ехали в основном не 'куда', а 'откуда', т. е. причины, побудившие их уехать, заключались не в привлекательности страны назначения, а в невозможности оставаться на родине. <...> Однако относительная популярность Германии среди других направлений эмиграции тоже заслуживает своего объяснения. Основных причин такой популярности три: географическая близость к России, сравнительно мягкий визовый режим и дешевизна жизни»⁶⁶.

Берлин, куда в начале 1922 г. переехал на жительство Марк Алданов, являлся самым крупным скоплением русских беженцев в Германии. В 1922 г. численность русской диаспоры в Берлине превышала 300 тысяч человек. Ни в одном из европейских городов в начале 1920-х не было столь интенсивной русской культурной жизни, не

существовало столько русских книжных издательств, литературных и музыкальных обществ, не выпускалось такое количество русских газет, как в городе на Шпрее. «Русский Берлин» – «город в городе», место свободного, ожесточенного и непрерывного эмигрантского дискурса, – под этим именем столица новоявленной Веймарской республики вошла в историю эмиграции «первой волны». В начале 1920-х годов русских в Берлине было так много, что Издательство З. И. Гржебина выпустило русский путеводитель по городу. Жизнь русской колонии сосредоточивалась в западной части города, в районе Гедехнискірхе. Здесь у русских было 6 банков, 3 ежедневные газеты, 20 книжных лавок и по крайней мере 17 крупных издательств. Размах издательского дела тоже впечатляет. В 1918–1928 гг. в Берлине функционировало 188 русских издательств, специализировавшихся в разных областях. Такого количества и разнообразия не было ни в одном из других центров русской диаспоры за все время ее существования, включая сегодняшнее время. В 1922 г. многочисленными русскими издательствами в Берлине, Мюнхене и Лейпциге было издано книг на русском языке больше, чем на немецком⁶⁷. Процветало в Берлине и русское газетное дело. По всем своим показателям Берлин начала 1920-х гг. являлся важнейшим центром российской художественно-культурной эмиграции, сборным пунктом литераторов и художников и артистов всех мастей – «красных», «розовых», «белых» и «черно-коричневых».

Сюда в 1920 г. прибыл выдавленный из России «на лечение» Максим Горький. Чуть пообжившись, он сразу же затеял издавать новый «независимый» литературный журнал – «Беседа». В состав редколлегии входили Андрей Белый и Владислав Ходасевич. Вспоминая на закате жизни о «русском Берлине» начала 1920-х гг., журналист Илья Троицкий в статье «История одной драмы» пишет: «Жизнь по тому времени огромной и социально пестрой русской колонии с преобладающим беженским элементом была ключом. <...> Особое место в культурном плане русской колонии занимал тогда ‘Союз писателей и журналистов’, насчитывающий около полтора-ста членов – в большинстве квалифицированных тружеников пера с солидным стажем и именами. <...>. Материальную поддержку ‘люди пера’ могли найти, по преимуществу, в ‘Союзе писателей и журналистов’ – организации профессиональной и надпартийной. А. А. Яблоновский⁶⁸, по доброте душевной, широкой рукою оказывал собратям по профессии помощь, благо в запасе деньги числились»⁶⁹. В мемуарной книге «Курсив мой» Нина Берберова описывает «русский Берлин» начала двадцатых, перечисляя имена обитавших в нем тогда литературных знаменитостей и их частые встречи в кафе

«Ландграф», где «каждое воскресенье в 1922–1923 годах собирався Русский клуб – он иногда назывался Домом Искусств. Там читали: Эренбург, Муратов, Ходасевич, Оцуп, Рафалович, Шкловский, Пастернак, Лидин, проф. Яценко, Белый, Вышеславцев, Зайцев, я и многие другие. Просматривая записи Ходасевича 1922–1923 годов, я вижу, что целыми днями, а особенно вечерами, мы были на людях. Три издательства были особенно деятельны в это время: ‘Эпоха’ Сумского, ‘Геликон’ А. Вишняка и Издательство З. Гржебина»⁷⁰. Как свидетельствует А. Бахрах: «Под редакцией Керенского выходила тогда в Берлине ежедневная газета ‘Дни’, и редактором ее литературного отдела вскоре стал Алданов. Именно тогда – на деловой почве – мы встречались или сносились почти беспрерывно»⁷¹.

Алданов принял должность редактора литературного воскресного приложения к газете «Дни» в марте 1923 г. Поскольку газета была «под А. Ф. Керенским», которого в те годы Бунин по политическим мотивам не терпел, на его прямое сотрудничество в газете он рассчитывать не мог. Тем не менее Алданов 25 марта 1923 года посылает Бунину, явно на авось, полувопросительное письмо: «...Знаю, что звать Вас в сотрудники не приходится, – Вы не пойдете, правда? Но очень прошу давать мне сведения о себе для отдела ‘В кругах писателей и ученых’. <...> Пожалуйста, сообщите, над чем работаете, а также какие Ваши книги переведены на иностранные языки. Если Вам не трудно, передайте ту же мою просьбу и друзьям – писателям и ученым. Думаю, что бесполезно звать в сотрудники ‘Дней’ Алекс[андра] Ивановича [Куприна] или Мережковских. Для них Керенский... неприемлем, как и для Вас. Но Бальмонт, быть может, согласится...»⁷²

Просьбу Алданова дать для газеты сведения о писателях, вероятно, исполнила Вера Николаевна, т. к. среди писем есть одно без даты, написанное, вероятно, вскоре после цитированного. В нем Алданов, между прочим, пишет Вере Николаевне: «Вас особенно благодарю за милое письмо Ваше, – я его прочел три раза, так и ‘окунулся’ в мир парижских писателей... Шмелева я очень мало знаю, раза два с ним здесь встретился; мало знаю его и как писателя. Зайцевых, которые скоро у Вас будут, знаю гораздо лучше, – мы с ними виделись неоднократно. <...> Бор[ис] Константинович <...> у нас здесь даже клуб писателей основал, где происходили чтения; не мешает завести это и в Париже, – теперь там будет особенно много ‘литераторов’. А что Куприн? Я ему писал полгода тому назад и не получил ответа. <...> О здешних писателях ничего не могу Вам сказать, кроме того, что большинство из них нуждается. Белый пьянствует, Ремизов голодает, ибо его книги не расходятся. Я вижу их мало. В частном быту очень хорошее впечатление производит П. Н. Муратов. <...> Степун живет в

Фрейбурге (там же и Горький), но скоро сюда возвращается. <...> Ради Бога, сообщите совершенно без стеснения, что скажет И[ван] А[лексеевич] о 'Термидоре', – могу Вас клятвенно уверить, что я, в отличие от Бальмонта, не рассматриваю свое 'творчество', как молитву).

В 1922 г. прямо с «философского парохода» в Берлин прибыли изгнанные по предложению Ленина из Совдепии философы Николай Бердяев, Семен Франк, Николай Лосский, Федор Степун, Сергей Булгаков, Иван Ильин и др.; литераторы И. Матусевич и Михаил Осоргин; историки Александр Кизеветтер, Венедикт Мякотин, Питирим Сорокин, литературный критик Юрий Айхенвальд, экономист Борис Брутскус и др. Как пишет Марк Алданов в предисловии к книге М. А. Осоргина «Письма о незначительном»: «Веймарское правительство согласилось выдать им визу, если *они* о ней попросят. Как рассказывал мне когда-то покойный В. А. Мякотин⁷³, германский консул в Петербурге гневно сказал ему: 'Наша страна не место для ссылки! Но если *вы* выразите желание получить визу, я вам ее дам'. Венедикт Александрович так и сделал. Не помню, как сделали другие. Часть высылаемых очень хотела уехать, другая часть – не очень или совсем не хотела. Многие ли пожалели, что уехали? (Впрочем, у них выбора не было.)»⁷⁴. Об этих изгнанниках Алданов говорит и в письме Бунину от 12 ноября 1922 года: «Вижу лиц, высланных из Сов. России: Мякотина (он настроен чрезвычайно мрачно – вроде Вас), Мельгунова, Степуна. Вчера Степун читал у Гессена недавно написанный им роман в письмах. Видел там Юшкевича, который Вам очень кланялся. Не так давно <...> познакомился там с Бор[исом] Зайцевым; он собирается в Италию, да, кажется, денег не хватает»⁷⁵.

В литературном мире «русского Берлина» отношения между про- и антисоветски настроенными эмигрантами – «чистыми» и «нечистыми» – по утверждению Ильи Эренбурга были вполне дружеские. На Алданова, однако, эренбургская оценка тогдашней действительности не распространяется. Он, будучи человеком принципиальным и разборчивым в выборе знакомств, с просоветски настроенными литераторами не общался. Все они, так или иначе, находились на орбите вытолкнутого большевиками в Германию «на лечение» и там фрондерствующего Горького. Алданов же встреч с Горьким принципиально избегал. Зато среди «нечистых» Алданов обрел ряд добрых знакомых, составивших его ближний дружеский круг в последующие годы эмиграции. Среди них в первую очередь следует назвать известного писателя и общественного деятеля Русского Зарубежья Михаила Андреевича Осоргина. В вышеупомянутом предисловии к книге Осоргина Алданов писал: «Это был человек, на редкость щедро одаренный судьбою, талантливый, умный, остроумный, обладавший вдо-

бавок красивой наружностью и большим личным очарованием. Все хорошо знавшие его люди признавали его редкие достоинства, его совершенную порядочность, благородство, независимость и бескорыстие». Другим человеком, с которым Алданов сошелся на приятельской ноге в Берлине и затем поддерживал доверительные деловые отношения вплоть до своей кончины, был журналист и деятельный общественник Илья Маркович Троцкий⁷⁶.

Заканчивая описание эпохи «Русский Берлин», приведем сатирическую зарисовку погибшего впоследствии в Кишиневском гетто поэта и журналиста Жака Нуара (наст. Окснер Яков Вигдорович; 1884–1941), описывающую типичную для тех лет журналистскую «акцию», с перечислением фамилий известных эмигрантских литераторов (Оречкин, Назимов, Офросимов, Троцкий, Лери-Клопотовский), с большинством из которых, включая самого автора стихотворения, Марк Алданов впоследствии сотрудничал в различных эмигрантских изданиях:

БАЛ ПРЕССЫ

Фотография в рифмах

Номера «упрощенной» программы,
Идеально раздетые дамы,
Шибера и во фраках повесы
Из Крыжополя, Голты, Одессы...
Русско-польско-немецкие лица
И фокстротных девиц вереница,
Гардероб, лотерея и, кстати, –
Представители местной печати:

Озабочен, как ива у речки,
Возле кассы вздыхает Оречкин.
Атакуют напитки, как флотский,
Настоящий всамделишный Троцкий*.
И куда-то несетя Назимов,
И тоскует в толпе Офросимов...
Там, где хор разливается дружный, –
Весь в поту надрывается Южный...**

– Эх, плясать, так до самой зари!
Веселее же, черт вас Лери!

* Имеется в виду И. М. Троцкий.

** Имеется в виду Южный Яков Давидович (1883–1938), актер, конферансье, режиссер, директор театра-кабаре «Синяя птица» в Берлине.

Скорее всего, Марк Алданов при всей своей чрезвычайной загруженности литературной работой всё же находил время для посещения подобного рода публичных акций. Недаром же Борис Зайцев, через добрых полвека вспоминая о супругах Ландау-Алдановых, видит его именно в обстановке публичного общения: «Берлин 1922–23 гг. Большая гостиная русского эмигранта. В комнату входит очень изящный, худенький Марк Александрович с тоже худенькой, элегантной своей Татьяной Марковной. Как оба молоды! Южане – из Киева – русские, но весьма европейцы. Помню, сразу понравились мне, оба красивые. И совсем не нашей московской закваски»⁷⁷. Борис Зайцев тоже относится к числу литераторов, с которыми Алданов, познакомившись в «Русском Берлине», поддерживал затем теплые дружеские отношения более тридцати лет.

На закате дней Борис Зайцев – «последний лебедь Серебряного века», проживший самую долгую жизнь из всех дореволюционных писателей, эмигрантов первой волны, – в своей книге воспоминаний писал: «С Алдановым мы встретились в то давнее время, кажущееся теперь чуть не молодостью, когда мы еще только покинули Россию (и казалось, вернемся!). <...> В России Алданова я не знал ни как писателя, ни как человека. <...> Он вполне писатель эмиграции. Здесь возрос, здесь развернулся. Тридцать пять лет этот образованнейший, во всем достойный человек с прекрасными глазами поддерживал собою и писанием свою честь, достоинство эмиграции. Писатель русско-европейский (или европейский на русском языке), вольный, без пятнышка. Без малейшего следа обывательщины и провинциализма – огромная умственная культура и просвещенность изгоняли это. Вскоре после первой встречи я получил от автора только что вышедший роман его исторический ‘Девятое Термидора’. <...> мы с женой, читая наперегонки, разодрали его надвое, каждый читал свою половину. <...> Это был дебют Алданова как исторического романиста. Большой успех у читателей <...> Вся моя эмигрантская жизнь прошла в добрых отношениях с Алдановым. Море его писем ко мне находится в архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк). Да и я ему очень много писал, и это всё тоже там. В начале мая 1940 года, когда Гитлер вторгся во Францию, мы в последний раз сидели в кафе Fontaines на площади Porte de St. Cloud. Алданов, Фондаминский (Бунаков) уезжали на юг, мы с женой оставались, и в затемненном Париже, на самой этой площади в последний раз со щемящим чувством пожали друг другу руки и расцеловались. <...> Гитлера все мы как-то пережили, он исчез (тоже человек тройного сальто-мортале), а Марк Александрович возвратился в любимый свой ‘Старый свет’, Европу, с вековой культурой и свободой ее. Во францужско-итальян-

ской Ницце и кончил дни свои по библейскому завету: ‘Дней лет человека всего до семидесяти...’ Приезжал в Париж – очень его любил, и как в мирные времена, так и после войны – нередко заседали мы в том же кафе Фонтен на той же площади перед фонтанами, где расставались глухой ночью майской 40-го года. А потом настали и для него, и для меня... дни февраля 1957 года, и расставание оказалось уже навечным»⁷⁸.

Живя в Париже, Зайцевы общались также и с матерью Алданова – Софьей Ионовной Зайцевой-Ландау. Об этом, например, свидетельствует запись в дневнике Веры Алексеевны Зайцевой послевоенных лет: «5 марта, суббота 1949. Ужасно сегодня грустно. Была на могиле матери Алданова* – снесла цветочек»⁷⁹.

Несмотря на столь тесные личные отношения, Алданов, опубликовавший не одну рецензию на книги Бунина, об их общем друге Зайцеве в печати не сказал ни слова. Скорее всего, остевая тема зайцевской прозы – «Зайцев, как никто другой в нашей новейшей литературе, чувствителен к эстетической стороне монастырей, монашества, отшельничества»⁸⁰, – не представляла для Алданова интереса. Примечательно в этой связи, что Алданов и в личной переписке, например с Буниным, не упоминает о том, что читает книги Бориса Зайцева – одного из самых плодотворных писателей эмиграции. В обширной переписке Алданова с Зайцевым вопросы, касающиеся разбора зайцевской беллетристики или ее детальной оценки, также не поднимаются.

Итак, в «Русский Берлин» Алданов поехал с твердым намерением полностью посвятить себя литературному ремеслу. В 1922–1923 гг. он символически отметил это свое решение выпуском в берлинском издательстве «Слово» романа «Девятое Термидора», целого ряда газетных и журнальных статей – «О путях России», «Сара Бернар», «Убийство Урицкого», «В. Г. Короленко» – и двух публицистических книг – «Огонь и дым» и «Загадка Толстого» (Берлин: Из-во И. П. Ладыжникова, 1923). Статья «Проблемы исторического прогноза» была им опубликована в сборнике «Современные проблемы», выпущенном парижским издательством Я. Поволоцкого (1922). Последнее издание, как уже отмечалось, является сокращенным вариантом дореволюционного эссе «Толстой и Роллан». Во введении к этой книге Алданов, сообщая читателю предысторию нового издания, писал в частности: «Я предполагаю скоро выпустить в свет также монографию о Р. Роллане; некоторые главы ее будут мною вос-

* Софья Ионовна Ландау (1863? – 1940) похоронена на Новом кладбище в парижском районе Булонь-Билланкурт (Boulogne-Billancourt).

становлены по памяти, другие – большая часть – написаны заново». Однако книгу о Ромене Роллане Алданов не написал, ибо после революции и Гражданской войны, как писал А. Бахрах, «был уже не в состоянии ни душевно, ни политически, ни эстетически оставаться в русле роллановских настроений, пребывать ‘над схваткой’» («Бунин в халате». С. 90). К этому можно добавить, что популярность Ромена Роллана, который до Первой мировой войны был в числе наиболее чтимых европейских писателей, в начале 1920-х гг. сильно поблекла. Французские писатели были горячими симпатизантами Советской России. Скажем, Анатоль Франс, получивший в 1921 г. Нобелевскую премию по литературе, столь страстно сочувствовал русской революции, что все деньги, которые он получил от Нобелевского комитета, пожертвовал в пользу голодающих в России.

После кончины Франса эстафету горячей любви к молодой республике рабочих и крестьян подхватил Ромен Роллан, который по случаю уже 10-й годовщины Октябрьской революции направил Советам пафосное поздравление, в котором писал: «Более мудрая, чем Французская революция, Русская революция должна воздержаться от вмешательства в дела других стран и прочно строить свой дом – Республику Труда. В тот день, когда закончится сооружение этого нового здания, мы увидим, как в Европе и в остальной части мира рухнет немало домов, источенных червями, и произойдет это без всякого внешнего вмешательства. Ибо день убивает ночь. Я не увижу этого дня. Но, как птица Галлов, я возвещаю рассвет»⁸¹. После того, как с осуждением этого письма Роллана от имени русской эмиграции во французской печати выступили Бальмонт и Бунин, для русской эмиграции Ромен Роллан – «большой друг» Горького и Сталина – стал персоной нон грата.

Что касается Льва Толстого, то, как уже отмечалось, он оказался на переднем плане идеологического противостояния Советов и эмиграции. Публикуя книгу о Толстом, Алданов шел в арьергарде ожесточенной борьбы «красных» и «белых» за «своего Толстого». Однако, несмотря на явную актуальность «Загадки Толстого», эта книга большого интереса к себе в Русском Зарубежье не вызвала. Литературные критики посчитали, что Алданову не удалось подобрать какой-то особый «ключ» к Толстому. Алдановская «Загадка Толстого», в научном отношении книга добротная и глубокая, осталась в истории толстововедения, но не вошла в золотой фонд отечественной литературы наравне с такими шедеврами мемуарной беллетристики, как «Лев Толстой» Максима Горького (1923), «О Толстом» Ивана Бунина (1927) или его же публицистическая книга «Освобождение Толстого» (1937).

О своих первых берлинских впечатлениях Алданов делится в переписке с Буниним.

17 апреля 1922 г. Берлином я недоволен во всех отношениях, кроме валютного. Настроения здесь в русской колонии отвратительные. Я почти никого не вижу, – правда, всех видел на панихиде по Набокову. Первые мои впечатления от Берлина следующие: 1) на вокзале подошел ко мне безрукий инвалид с железным крестом и попросил милостыню, – я никогда бы не поверил, что такие вещи могут происходить в Германии, 2) в первый же день, т. е. 3 недели тому назад, я зашел к Толстому, застал у него поэта-большевика Кусикова⁸² <...> и узнал, что А [лексей] Ник[олаевич] [Толстой] перешел в «Накануне». Я кратко ему сказал, что в наших глазах (т. е. в глазах парижан, от Вас до Керенского) он – конченный человек, и ушел. Была при этом и Нат[алья] Васильевна [Крандиевская-Толстая], к[отор]ая защищала А[лексея] Ник[олаевича] и его «новые политические взгляды», но, кажется, она очень расстроена. Сам А[лексей] Ник[олаевич] говорил ерунду в довольно вызывающем тоне. Он на днях в газете «Накануне» описал в ироническом тоне, как «приехавший из Парижа писатель» (т. е. я) приходил к нему и бежал от него, услышав об его участии в «Накануне», без шляпы и трости, – так был этим потрясен. Разумеется, всё это его фантазия. Вы понимаете, как сильно могли меня потрясти какие бы то ни было политические идеи Алексея Николаевича; ему, разумеется, очень хочется придать своему переходу к большевикам характер сенсационного, потрясающего исторического события. Мне более-менее понятны и мотивы его литературной слащавщины: он собирается съездить в Россию и там, за полным отсутствием конкуренции, выставить свою кандидатуру на звание «первого русского писателя, который сердцем почувствовал и осмыслил происшедшее» и т. д., как полагается. Вы были совершенно правы в оценке личности Алексея Николаевича... Больше с той поры я его не видал. 3) Наконец, третье впечатление, к[отор]ым меня в первый же день побаловал Берлин, – убийство Набокова. Я при убийстве, впрочем, не присутствовал. Известно ли Вам в Париже, что убийцам ежедневно в тюрьму присылают цветы неизвестные почтитатели и что защитником выступает самый известный и дорогой адвокат Берлина, – к слову сказано, еврей и юрисконсульт Вильгельма II? <...> Работаю здесь очень мало, большую часть дня читаю. На вечере у И. В. Гессена познакомился с Андреем Белым и со стариком В. И. Немировичем-Данченко, к[отор]ый только что приехал из России. Жизнь здесь раза в 4 дешевле, чем в Париже.

1 июня: <...> почти вся литература здесь приняла такой базарный характер (чего стоят один Есенин с Кусиковым), что я от литераторов – как от огня. В «Доме искусств» не был ни разу, несмотря на письменное приглашение Минского. Не записался и в «Союз журналистов», так что вчера не исключал Толстого. Кажется, сегодня состоится его шутовское выступление,

о котором Вы знаете из объявлений в «Руле». Я ни Толстого, ни Горького ни разу не встречал нигде. Они здесь основывают толстый журнал. Развал здесь совершенный, и после Парижа берлинская колония представляется совершенной клоакой...⁸³

В письме Бунину от 26 июня 1922 года Алданов вновь возвращается к теме о литературно-издательской жизни «Русского Берлина».

Мои наблюдения над местной русской литературной и издательской жизнью ясно показали мне, что литература на 3/4 превратилась в неприличный скандальный базар. Может быть, так впрочем, было и прежде. За исключением Вас, Куприна, Мережковского, почти все новейшие писатели так или иначе пришли к славе или известности через скандал. У кого босяки, у кого порнография, у кого «передо мной все поэты предтечи», или «запущу в небеса ананасом», или «закрой свои бледные ноги» и т. д. Теперь скандал принял только неизмеримо более шумную и скверную форму. Вера Николаевна [Булнина] пишет мне, что Алексей Николаевич [Толстой] «дал маху». Я в этом сильно сомневаюсь. Благодаря устроенному им скандалу у него теперь огромная известность, — его переход к большевикам отметили и немецкие и английские газеты. Русские газеты всё только о нем и пишут, причем ругают его за направление и хвалят за талант, т. е. делают именно то, что ему более всего приятно. Его газета «Накануне» покупается сов[етской] властью в очень большом количестве экземпляров для распространения в Сов. России (хорошо идет и здесь); а она Алексею Николаевичу ежедневно устраивает рекламу. Остальные — Есенин (о котором Минский сказал мне, что он величайший русский со времен Пушкина), Кусиков, Пильняк и др. — делают, в общем, то же самое...⁸⁴

В этом же письме читаем интересное свидетельство о находившемся тогда в Берлине и вскоре уехавшем в Россию Андрее Белом:

Недавно я обедал вдвоем с Андреем Белым в ресторане (до того я встретился с ним у Гессена). Он — человек очень образованный, даже ученый — из породы «горящих», причем горел он в разговоре так, что на него смотрел весь ресторан. В общем, произвел он на меня, хотя и очень странное, но благоприятное впечатление, — в частности, и в политических вопросах, большевиков, «сменовеховцев» ругал жестоко. А вот подите же: читаю в «Эпопее» и в «Гол[осе] России» его статьи: «Всё станет ясным в 1933 году»*,

* Статью можно считать пророческой как для Европы — 30 января 1933 г. к власти в Германии пришел Гитлер, так и для Бунина — в этом году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, и для Андрея Белого — 8 января 1934 г. он скончался в Москве.

«Человек – *чело века*», *тонус* Блока был культ Софии, дева спасет мир, был римский папа, будет римская мама (это я когда-то читал у Лейкина⁸⁵, но там это говорил пьяный купец) – и в каждом предложении подлежащее поставлено именно там, где его по смыслу никак нельзя было поставить. Что это такое? Заметьте, человек искренний и имеющий теперь большую славу: «Берлинер Тагеблат» пишет: «Достоевский и Белый»... В модернистской литературе он беспорочно лучший во всех отношениях».

11 июля 1922 года Алданов официально вступил в брак со своей кузиной Татьяной Марковной Зайцевой. Из-за скрытности Алданова, не посвящавшего даже близких друзей в детали своих интимно-семейных проблем и отношений, невозможно проследить динамику его связи с Татьяной Зайцевой, закончившейся их бракосочетанием. Нам известно только, что они состояли в близком родстве (кузены) и вместе, на одном пароходе, уезжали из Одессы в изгнание. Можно полагать, что сошлись они сразу же по прибытии в Париж. По свидетельству жены М. Осоргина Татьяны Алексеевны Осоргиной (урожд. Бакунина; 1904–1995), в то время Татьяна Зайцева уже была замужней женщиной и для официального оформления отношений им пришлось несколько лет ждать подтверждения о ее разводе с первым мужем.

Вопрос о женитьбе – важнейшем событии в личной жизни – Алданов с Буниными не обсуждает. Тематика их переписки вращается, в основном, вокруг злободневных проблем, касающихся жизни русской эмиграции, в числе которых вопрос о возможности присуждения Нобелевской премии по литературе русскому эмигрантскому писателю являлся приоритетным. Этот вопрос, как чрезвычайно важный, был поставлен на повестку дня в литературных кругах «русского Парижа». Выдвигали кандидатуры академика И. А. Бунина, Д. С. Мережковского и А. И. Куприна. Обретавшийся в Берлине Алданов, пользуясь своими международными литературными связями, принимал в этом деле живейшее участие. В начале июня 1922 г. он написал письмо Ромену Роллану с предложением ему как Нобелевскому лауреату выдвинуть кандидатуры Бунина и Мережковского. В ответном письме его былой кумир, называя Бунина «одним из величайших художников нашего времени», отказывался, однако, выдвигать того на Нобелевскую премию вместе с Мережковским, т. к. последний, по его мнению, «сделал свое искусство орудием политической ненависти». Со своей стороны, Роллан готов был поддержать совместную кандидатуру Бунина и Горького. Причем Горького он явно выдвигал на первое место, давая понять, что именно он наиболее предпочтительный номинант. Ответ Роллана Алданов приложил к своему письму Бунину от 18 июня, в котором высказывал свою точку зрения

насчет кандидатов на номинирование: он стоял за совместную кандидатуру – Бунин, Куприн, Мережковский. Горький же в любом раскладе им исключался. Поскольку Бунину с самого начала русской нобелианы была не по душе идея «коллективного кандидата», Алданов в письме от 15 августа 1922 года подробно разъясняет ему преимущества такого рода номинирования.

По поводу предложения моего, касающегося Нобелевской премии <...> я предлагаю совместную кандидатуру трех писателей, главным образом по той причине, что думал и продолжаю думать, что единоличная кандидатура (какая бы то ни была) имеет гораздо меньше шансов на успех, – и у шведов, и у тех органов, которые ее должны выставить. Три писателя – это не коллектив, – и вместе с тем это как бы *hommage* русской литературе, еще никогда Нобелевской премии не получавшей, а имеющей, казалось бы, право. Вдобавок, и политический оттенок такой кандидатуры наиболее, по моему, выигрышный: выставляются имена трех знаменитых писателей, объединенных в политическом отношении только тем, что они все трое изгнаны из своей страны правительством, задушившим печать. Под таким соусом против нее будет трудно возражать самым «передовым» авторитетам. А ведь политический оттенок в данном случае особенно важен: из-за него же едва не был провален Ан. Франс. Шведский посланник сообщает, что можно выставить только двойную кандидатуру. Так ли это? Нобелевская премия по физике была как-то присуждена трем лицам <...>. Но если это так, то как по-Вашему лучше поступить? По-моему, Вашу тройную кандидатуру должны были *официально* выставить в письме на имя жюри (с копией шведскому посланнику) [Николай] Чайковский от имени нашего Комитета и президент французской секции К[омите]та – после чего (или одновременно с чем) должны быть пущены в ход все явные и тайные пружины и использованы все явные и закулисные влияния. На Вашей тройной кандидатуре К[омите]т, конечно, остановился бы единогласно (особенно, если б Вы согласились на отчисление известного процента в его пользу в случае успеха, – иначе могут сказать, что это не дело Комитета). Но если будет речь только об одном писателе, то боюсь, единогласия не добьетесь. А я не вижу, кто другой (кроме К[омите]та) мог бы официально предложить русскую кандидатуру. Вслед за нашим Комитетом это, по-моему, должна сделать Академическая группа. Нужны ли также Комитеты журналистов – не знаю. Как по-Вашему? Если Вы находите, что чем больше будет коллективных выступлений в пользу Вашей кандидатуры, тем лучше, – напишите. <...> Но, повторяю, необходимое условие – чтобы не было разнобоя. Поэтому, по-моему, надо опять запросить шведского посланника: объяснить, что насчет коллектива вышла ошибка, – и спросить, возможна ли тройная кандидатура. Если же невозможна, тогда, ничего не поделаешь, необходимо сделать выбор. Возможен ли доброволь-

ный отказ наименее честолобивого кандидата, если два других примут формальное обязательство выплатить ему, в случае успеха, третью часть премии? Думаю, что это едва ли возможно. Если отпадет тройная кандидатура и Вы выставите единолично Вашу собственную и если Комитет не найдет возможным официально обратиться в Стокгольм, то, по-моему, лучше всего сделать так. Пусть Р. Роллан, как Нобелевский лауреат, предложит Вас в качестве кандидата Стокгольмскому жюри. Если хотите, попросить его (т. е. Р. Роллана) об этом могу и я. Но насколько мне известно <...> Р. Роллан нашел мою книгу о Ленине слишком реакционной, и едва ли я пользуюсь его милостью. <...> Говорю откровенно, – при нескольких русских кандидатах провал почти обеспечен <...> Со своей стороны обещаю сделать всё возможное для успеха. Как только вернусь в Берлин (дней через 10-12), поведу соответствующую агитацию. <...> Из немцев я уже кое с кем говорил: сочувствуют. Между прочим, они интересовались, как Вы относитесь к Германии и к Польше (поляки здесь пользуются такими симпатиями, которых даже евреи не возбуждают в Сов[етской] России). Должен сказать, что от немцев зависит очень многое: Швеция в культурном отношении всецело подчинена Германии, – и из французов, как Вы знаете, получили в последние годы Нобелевскую премию только «германофилы» Р. Роллан и Ан. Франс, которых поддерживали и немцы. Поэтому воздержитесь, дорогой Иван Алексеевич, не ругайте Гауптмана, – Ваши статьи могут быть ему переведены⁸⁶. Послали ли Вы Ваши книги в шведские и датские газеты? Не мешало бы послать экземпляр с надписью Георгу Брандесу⁸⁷.

Судя по письму Брандеса от 4 сентября 1922 года⁸⁸ по поводу получения им двух авторских книг Бунина, в котором знаменитый критик рассыпается в комплиментах: «Вы умеете описать жизнь и в малом, и в мировом масштабе. Позвольте выразить Вам, милостивый государь и дорогой собрат, мое восхищение и мою признательность», – Бунин последовал совету Алданова.

Последующая переписка Алданова с Буниным свидетельствует о том, что Алданов энергично взялся за подготовку русской кандидатуры на Нобелевскую премию. Однако по прихоти судьбы усилия Алданова в начале 1920-х гг. успехом не увенчались. На вопрос, заданный Алдановым Бунину в одном из писем – от 26 сентября 1923 г.: «А что Нобелевская премия? Решение приближается?..», – ответа пришлось ждать полных десять лет.

Другой темой, которая как лейтмотив звучит во многих берлинских письмах Алданова к Бунину, является общественные «похождения» их общего друга Алексея Толстого. За его судьбой и особенно за его растущей популярностью и доходами Алданов пристально следит. При этом оценки становятся все жестче. Так, например, в пись-

ме от 8 сентября 1922 он пишет Бунину: «Посылаю Вам вырезку из 'Накануне' об А. Н. Толстом — она Вас позабавит. Такие заметки появляются в этой газете чуть ли не ежедневно,— вот как делается реклама. Немудрено, что Толстой, по здешним понятиям, 'купается в золоте'. Один Гржебин отвалил ему миллион марок (за 10 томов) и 'Госиздат' тоже что-то очень много марок (за издание в России). Алексей Николаевич, по слухам, неразлучен с Горьким, который, должен сказать, ведет себя здесь с гораздо большим достоинством, чем Толстой и его шайка». 2 ноября 1922 года: «Едва ли нужно говорить, как я понимаю и сочувствую настроению Вашего письма. Знаю, что Вас большевики озолотили бы, — если бы Вы к ним обратились (Толстой, которого встретил недавно Полонский⁸⁹, говорил ему, что Госиздат купил у него 150 листов — кстати, уже раньше проданного Гржебину, — и платит золотом). Знаю также, что Вы умрете с голоду, но ни на какие компромиссы не пойдете. Знаю, наконец, что это с уверенностью можно сказать лишь об очень немногих эмигрантах». Наконец, 5 августа 1923 года Алданов извещает Бунину: «Толстые уехали окончательно в Россию... Так я ни разу их в Берлине и не видел. Слышал стороной, что милостью их не пользуюсь»⁹⁰.

Отъезд Алексея Толстого на родину не обошелся без очередного скандала и на бытовой почве: граф прихватил с собой кое-какие вещички своих друзей, взятые якобы на время, а также не расплатился по долгам. В архиве историка Сергея Мельгунова⁹¹ находится собственноручное духовное завещание Н. В. Чайковского, а также список его должников с примечаниями, в которых легендарный народник аккуратно и корректно разъяснял своим наследникам, где после его смерти искать должника, рекомендовал, какой срок уместно будет выждать, и давал краткие пояснения своим взаимоотношениям с людьми. Были в этом списке эмигранты, обремененные воистину солидной задолженностью. Например: «Граф Алексей Николаевич Толстой, в России. 1000 франков. — Безнадежен»⁹².

В своих послевоенных мемуарах деятели эмиграции первой волны отнесутся к переходу Алексея Толстого в лагерь Советов, скорее, «с пониманием», чем с осуждением. Быть может, точнее всех высказался Федор Степун: «Я не склонен идеализировать мотивы возвращения Толстого в 1923 году в Советскую Россию. Очень возможно, что большую роль в решении вернуться сыграл идеологический нигилизм этого от природы весьма талантливого, но падкого на славу и деньги писателя. Все же одним аморализмом толстовской 'смены вех' не объяснить. Если бы дело обстояло так просто, мы с женою, только что высланные из России, вряд ли могли бы себя чувствовать с Толстыми (к этому времени Алексей Николаевич был женат вторым

браком на Наталье Крандиевской) так просто и легко, как мы себя чувствовали с ними накануне их возвращения из Берлина в СССР... Мне лично в 'предательском', как писала эмигрантская пресса, отъезде Толстого чувствовалась не только своеобразная логика, но и некая сверхсубъективная правда, весьма, конечно, загрязненная, но все же не отмененная теми делячески-политическими договорами, которые, вероятно, были заключены между Толстым и полпредством. Как-никак Алексей Николаевич ехал не на спокойную жизнь, его возврат был большим риском, даже если бы он и решил безоговорочно исполнять все предначертания власти. Мне, по крайней мере, кажется, что сговор Толстого с большевиками был в значительной степени продиктован ему живой тоской по России. <...> Может быть, я идеализирую Толстого, но мне и поныне верится, что его возвращение было не только браком по расчету с большевиками, но и браком по любви с Россией»⁹³.

В отличие от Степуна и иже с ним, Марк Алданов, в силу своей исключительной принципиальности, не склонен был ни оправдывать «Алешку», ни осуждать его, а просто перестал поддерживать с ним какие-либо отношения. Знаменательным в этом отношении является следующий эпизод, по-разному описанный Алдановым и Буниным. Осенью 1936 года Марк Алданов сообщал Амфитеатрову: «Кстати, об Алешке. Месяца два тому назад Бунин и я зашли вечером в кафе 'Вебер' – и наткнулись на самого А. Н. Толстого (с его новой женой^{*}). Он нас увидел издали и послал записку. Бунин, суди его Бог, возобновил знакомство, а я нет – и думаю, что поступил правильно. Мы с Алексеем Толстым были когда-то на 'ты' и три года прожили в Париже, встречаясь каждый день. Не спорю, что меня встреча с ним (то есть на расстоянии 10 метров) после пятнадцати лет взволновала. Но говорить с ним мне было очень тяжело, и я воздержался: остался у своего столика. Он Бунина спрашивает: 'Что же, Марк меня считает подлецом?' Бунин отвечал: 'Что ты, что ты!' Так я с новой женой Алешки и не познакомился. Об этом инциденте было здесь немало разговоров. Но, разумеется, это никак не для печати. Кажется, Бунин сожалеет, что не поступил, как я»⁹⁴.

А вот как описывает эту встречу сам Иван Бунин: «В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 г., в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кафе, он тоже оказался в нем, – зачем-то приехал в Париж, где не был со времени отъезда своего сперва в Берлин, потом в Москву, – издалека увидал меня и прислал мне с гарсоном клочок бумажки: 'Иван, я здесь, хочешь видеть меня?'

^{*} Имеется в виду Людмила Ильинична Толстая, жена писателя с 1935 г.

А. Толстой'. Я встал и пошел в ту сторону, которую указал мне гарсон. Он тоже уже шел навстречу мне и, как только мы сошлись, тотчас закричал своим столь знакомым мне смешком и забормotal: 'Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?' – спросил он, вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом, и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор еще на ходу: – Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России... – Я перебил, шутя: – Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены. – Он забормotal сердито, но с горячей сердечностью: – Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля... У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету... Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии? – Я поспешил переменить разговор, посидел с ним недолго, – меня ждали те, с кем я пришел в кафе, – он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече, и не позвонил, – 'в суматохе!' – и вышла эта встреча нашей последней»⁹⁵.

Интересно, что за шесть лет до случайной встречи в кафе «Вебер», Алданов – человек, разорвавший по идейным соображениям все отношения со своим старым товарищем и собратом по перу, – публикует в «Современных записках» (1930. № 43. Сс. 493-494) рецензию на его книгу, изданную на Западе (*Алексей Толстой*. Петръ I. Берлин: Из-во «Петрополисъ», 1930), которая выдержана в исключительно комплиментарном по отношению к личности автора тоне: «Об огромном таланте А. Н. Толстого не приходится и говорить. Я думаю, что если б он родился тогда, когда ему следовало родиться, т. е. лет сто тому назад, ему принадлежало бы одно из первых мест в классической русской литературе. Талант и достоинства его целиком от Бога, недостатки в значительной мере от быта. В современной же литературе автор 'Хождения по мукам' и 'Детства Никиты' составил себе большое имя и со своими недостатками». Этот отзыв интересен не только с литературно-критической точки зрения. Он является своего рода «аттестацией личности», подтверждающей на конкретном примере то, что, в частности, подразумевалось под характеристикой Марка Алданова как «последнего джентльмена русской эмиграции».

Начиная с 1923 г., тоску по родине населяющих русский Берлин эмигрантов вдвойне подпитывал резкий рост курса германской марки и связанное с этим удорожание услуг и товаров. Люди, стремясь

найти островки стабильности, стали уезжать – кто в Советы, где НЭП, казалось, прокладывал дорогу Термидору, кто в Париж, а кто и за океан. «<...> вдруг стремительно быстро оказалось, что все куда-то едут, разъезжаются в разные стороны, кто куда. В предвидении этого близкого разъезда, 8 сентября мы собрались сниматься в фотографии на Тауенцинштрассе, и Белый пришел тоже, но раздраженный и особенно напряженно улыбающийся. Гершензон еще месяц тому назад сказал Ходасевичу, что когда он ходил в советское консульство за визой в Москву для себя и семьи (он уехал 10 августа), то встретил в консульстве Белого, который тоже хлопотал о возвращении. Нам об этом своем намерении Белый тогда еще не говорил. Помню грусть Ходасевича по этому поводу – не столько, что Белый что-то важное о себе от него скрыл, сколько по поводу самого факта возвращения его в Россию»⁹⁶.

Пока Алексей Толстой вострил лыжи на восток, на западе поднималась звезда исторического романиста Марка Алданова. Его новая книга «Девятое Термидора» пользовалась исключительным успехом у читателя. По-видимому, хвалил ее и придиричивый Бунин. Об этом косвенно свидетельствует письмо Алданова Бунину от 9 января 1924 года: «Не могу сказать Вам, как меня обрадовало и растрогало Ваше письмо. Вот не ожидал! Делаю поправку не на Вашу способность к комплиентам (знаю давно, что ее у Вас нет), а на Ваше расположение ко мне (за которое тоже сердечно Вам благодарен), – и всё-таки очень, очень горд тем, что Вы сказали». Что сказал Бунин о книге – неизвестно, но отзывы других современников до нас дошли. Андрей Седых, например, считал, что Алданов, в свете исповедуемой им «философии случая»: «был глубоко убежден, что исторический переворот Девятого Термидора произвели четыре мерзавца, спасавшие свою жизнь и свои выгоды и не имевшие вообще никакой идеи» (Седых А. «Далекое близкое». С. 36). На конкретном историческом примере Алданов показал, что желаемое событие может произойти неожиданно-негаданно, вопреки логике событий – по воле «слепого случая». Такая гипотетическая возможность импонировала читателю-эмигранту, надевавшемуся в глубине души, что в Совдепии, где мерзавцев пруд пруди, итогом НЭПа станет русский вариант Девятого Термидора.

С конца 1923 г. начинается процесс угасания «русского Берлина». Жизнь становилась все тяжелее, спад деловой удушающе действовал на книжный рынок и издательское дело. В письме Бунину от 9 марта 1923 года Алданов рисует мрачную картину повседневности: «Здесь книжное дело переживает страшный кризис. Поднятие марки разорило дельцов, и цены растут на всё с каждым днем.

Никакие книги (русские) не идут, и покупают их издатели теперь крайне неохотно...»⁹⁷ В связи с ухудшением жизненных условий Алданов начинает подумывать об отъезде. Это находит отражение в его письмах от 5 августа Бунину и 22 августа Муромцевой-Буниной: «Предстоит очень тяжелая зима. Боюсь, что придется отсюда бежать, – не хочу быть ни первой, ни последней крысой, покидающей корабль, который не то что идет ко дну, но во всяком случае находится в трагическом положении. Немцам не до гостей. Куда же тогда ехать? Разумеется, в Париж. Но чем там жить? Это, впрочем, Вам всё известно. Вероятно, и Вам живется невесело. <...> Жаль, что об И[ване] А[лексеевиче] Вы только и сообщаете: пишет – без всяких других указаний. Слава Богу, что пишет. Особенно порадовало меня, что и И[ван] А[лексеевич] и Вы настроены хорошо, – я так отвык от этого в Берлине. Здесь не жизнь, а каторга. <...> Печатанье книг здесь почти прекратилось... и мне очень хочется убедить какое-нибудь издательство из более близких ('Ватагу'*) перенести дело в Париж и пригласить меня руководителем. <...> Но это вилами по воде писано. Ничего другого придумать не могу. А то еще можно поехать в Прагу, но получать стипендию я не согласен, да и жизнь в Праге мне нисколько не улыбается. Отсюда все бегут. Зайцевы уезжают в Италию, туда же, кажется, собирается Муратов, кое-кто уехал в Чехословакию. Читаете ли Вы 'Дни'? Если читаете, то Вам известно, что здесь творится... <...> Читаю как всегда, т. е. много. Прочел молодых советских писателей и получил отвращение к литературе. <...> я теперь в 1001 раз читаю 'Анну Каренину' – всё с новым восторгом. А вот Тургенева перечел без всякого восторга, пусть не сердится на меня И[ван] А[лексеевич]. Ремизова читать не могу, Белого читать не могу... Очень хороши воспоминания З. Н. [Гиппиус], особенно о Блоке. Прекрасные страницы есть у Шмелева. Очень талантливо ['Детство Никиты'] А. Н. Толстого, и никуда не годится 'Аэлита'».

В январе 1924 года Бунин устроил в Париже вечер, который прошел с большим успехом. Алданов откликнулся на это событие письмом от 9 января 1924 года: «О триумфе Вашем (без поставленных в Вашем письме кавычек) я узнал из статей в 'Руле' и в 'Днях' – надеюсь, что Вы видели напечатанное у нас письмо Даманской (А. Мерич). <...> Надолго ли поправил вечер Ваши (Финансовые. – М. У.) дела?»⁹⁸ Это последнее письмо Алданова из Берлина. В начале 1924 года, сложив с себя редакторские обязанности в «Днях», он переселился в Париж.

* Книгоиздательство «Ватага» принадлежало однопартийцам Алданова – энесам В. А. Мякотину и С. П. Мельгунову, а также издателю Т. И. Полнеру.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Произведения Марка Алданова были дважды увенчаны престижными литературными премиями – в Великобритании и Соединенных Штатах – и переведены на двадцать четыре иностранных языка, чем сам писатель очень гордился. Писатель тринадцать раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе (в 1938, 1939, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 и 1957 гг.). В СССР книги Алданова были запрещены и не издавались вплоть до 1987 г., а после войны их перестали печатать и в странах социалистического лагеря, где ранее они особенно пользовались популярностью.
2. Роман «Бред», отрывки из которого публиковались в «Новом Журнале» в 1954–1955 и 1957 гг. Книга в английском переводе вышла в 1957 г. под заглавием «Nightmare and Dawn». Этот роман не содержит лейтмотивов, связывающих его с другими произведениями Алданова.
3. Толстой А. Н. Эмигранты. URL: https://www.e-reading.club/chapter.php/56691/1/Tolstoi_-_Emigranty.html
4. Толстой А. Н. О Париже. URL: <https://public.wikireading.ru/68445>; Парижские тени. URL: <http://emsu.ru/lm/cc/tolstoi.HTM#22>
5. Алданова-Ландау (урожд. Зайцева) Татьяна Марковна (1893–1968), переводчик. Жена М. А. Алданова. Переписывала рукописи мужа, перевела ряд его произведений на французский, в том числе роман «Чёртов мост» («Le Pont du diable», Париж, 1930). Член Комитетов по организации чествования памяти В. А. Маклакова (1958) и Л. Н. Толстого (1960). Передала в архив Колумбийского университета собрание писем известных деятелей к мужу. Приходилась Алданову двоюродной сестрой со стороны матери.
6. Седых А. Далекие близкие. – Н.-Й.: «Новое русское слово», 1962. С. 35.
7. Зайцев Борис. Алданов / В кн.: Мои современники. – London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1988. Сс. 126–128. Ирина Одоевцева в своей мемуарной книге «На берегах Сены» наделяет Алданова «красивыми, газельими глазами».
8. «Устами Бунинных» / Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы. Под редакцией Милицы Грин. В 3-х тт. – Мюнхен: Possev-Verlag, 1980–1982. С. 174.
9. Роман Гуль. Я унес Россию. Апология эмиграции. В 3-х томах / Предисловие и развернутый указатель имен О. Коростелева. – М.: Б. С. Г.-ПРЕСС, 2001. Том 3. Часть 2. URL: http://www.dk1868.ru/history/gul2_2.htm
10. Седых А. Далекие близкие. – С. 35.
11. Бахрах А. В. Вспоминая Алданова // «Грани». 1982. № 124. Сс. 155–82. URL: <https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/414217-aleksandr-bahrah-vspominaya-aldanova.html>
12. «...Не скрывайте от меня вашего настоящего мнения». Переписка Г. В. Адамовича с М. А. Алдановым (1944–1957) / Предисловие, подготовка текста и

- комментарии О. А. Коростелева // Ежегодник ДРЗ им. А. Солженицына. – М.: 2011. Сс. 297-304. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=562576>
13. *Бахрах А. В.* Вспоминая Алданова. – Сс. 147, 167-168.
14. Там же. – С. 160.
15. *Седых А.* Далекие близкие. – С. 37.
16. *Бахрах А. В.* Вспоминая Алданова – С. 149; URL: <https://www.rulit.me/books/peshchera-read-63205-9.html>
17. *Седых А.* Далекие близкие. – С. 35.
18. *Суражский Н. (Брешко-Брешковский Николай).* Четыре звена Марка Алданова (От нашего парижского корреспондента) // «Для Вас». 1934. № 39, 22 сентября. – Сс. 3-4.
19. *Алданов М. С. В. Рахманинов.* URL: <http://oldcancer.narod.ru/Aldanov/06/Rachmaninov.htm>
20. *Бахрах А. В.* Вспоминая Алданова... – Сс. 155-182.
21. *Зайцев Борис.* Алданов... – С. 128.
22. *Седых А.* Далекие близкие. – С. 38.
23. Чайковский Николай Васильевич (1850–1926), российский общественно-политический деятель, масон. С 1875 г. жил за рубежом (США, Англия). В 1905 г. вернулся в Россию. В 1918 г. возглавлял Верховное управление Северной области. В 1919 г. выехал в Париж для участия в работе Политического совещания и Версальской мирной конференции. С 1920 г. в эмиграции. Жил в Лондоне и Париже. Председатель Заграничного комитета Трудовой Народно-социалистической партии. Член комитета Союза возрождения России (1920 г.). См.: URL: <http://oldcancer.narod.ru/Aldanov/06/>
24. «Парижский философ из русских евреев»: Письма М. Алданова к А. Амфи-театрову / Публ. Э. Гарэтто и А. Добкина // «Минувшее»: Ист. альманах. Вып. 22. – М.; СПб.: 1997. – С. 604.
25. *Дымов Осип.* Алексей Толстой и Леонид Андреев / В кн.: *Дымов Осип.* Вспомнилось, захотелось рассказать... Из мемуарного и эпистолярного наследия / Общая ред., вступ. статья и комментарии В. Хазана. Т. 2 – Jerusalem: Hebrew University. 2011. – Сс. 382–395.
26. *Дон Аминадо.* Поезд на третьем пути. URL: <https://profilib.net/chtenie/121441/don-aminado-poezd-na-tretem-puti.php>
27. *Тэффи.* Алексей Толстой. URL: http://www.rulit.me/books/izbrannoe-read-174233-102.html#section_90
28. Тема родословной графа А. Н. Толстого и по сей день остается предметом научной дискуссии историков. – См.: *Оклянский Ю. М.* Шумное заходьство. – М.: Терра-Терра, 1997.
29. *Чернышев А. А.* Об Алданове и Бунине: <https://knigogid.ru/books/817283-etomu-cheloveku-ya-veryu-bolshe-vseh-na-zemle/toread/page-5>
30. *Бахрах А. В.* Вспоминая Алданова // «Грани». 1982. № 124. – С. 2.
31. *Алданов М. А.* Армагеддон / В кн. «Самоубийство». Роман.

- Исторические портреты и очерки. / Сост. Т. Прокопов. – М.: ТЕПРА. 1995. С. 8.
32. Алданов М. Собр. соч. в 6 тт. Т. 1. – М.: Правда, 1991. С. 35.
33. Алданов М. А. Армагеддон / В указ. книге. – С. 24.
34. Бахрах А. В. По памяти, по записям. М. А. Алданов // «Новый Журнал». 1977. № 126. С. 146.
35. Бахрах А. В. Вспоминая Алданова... – С. 4.
36. Седых А. Далекие близкие. – С. 39.
37. Бахрах А. В. Вспоминая Алданова... – С. 147.
38. *Schlapentoch Dmitry*. Алданов в контексте Французской революции // *Revue des Études Slaves Année*. 1994. Т. 66. F. 2. – Pp. 363-364.
39. *Schlapentoch Dmitry*. Указ. соч. – P. 366.
40. *Landau-Aldanov Mark*. Lénine. – Paris: Édit. J. Povolozky, 1919.
41. *Landau-Aldanow M. A.* Lenin und der Bolschewismus. Aus dem Französischen von Viktor Bergmann. – Berlin: Verlag Ullstein & Co., 1920. В это же самое время Горький писал о Ленине: «Он не только человек, на волю которого история возложила страшную задачу разворотить до основания пестрый, неуклюжий и ленивый человеческий муравейник, именуемый Россией, его воля – неутомимый таран, удары которого мощно сотрясают монументально построенные капиталистические государства Запада и тысячелетиями слежавшиеся глыбы отвратительных рабских деспотий Востока». – См. *Горький Максим*. Владимир Ильич Ленин // «Коммунистический Интернационал». 1920. № 12 (Июль). URL: <https://leninism.su/books/4358-vladimir-ilich lenin.html?showall=1&limitstart;> *Landau-Aldanov M.* Lenin. Tradizione di Attilio Rovinelli. – Milano: Sonzogno, 1919; Lenin. Authorized translation from the French. – New York: E.P. Dutton and Co., 1922.
42. Толстой А. Н. Собр. соч. в 10 тт. Т. 10. Публицистика. – URL: <https://public.wikireading.ru/68442>
43. Бахрах А. В. Вспоминая Алданова... – Сс. 155-182.
44. *Landau-Aldanov Mark*. Deux Revolutions. La Révolution française et la Révolution russe. – Paris: Imprimerie Union, 1921.
45. Алданов М. Огонь и дым. – Париж: Франко-русская печать, 1922.
46. *Schlapentoch Dmitry*. Указ. соч. – Pp. 365-367.
47. URL: https://royallib.com/read/aldanov_mark/klemanso.html#0
48. *Schlapentoch Dmitry*. Указ. соч. – P. 363. Алданов любил повторять изречение Олара: «Нет ничего более почетного для историка, чем сказать: я не знаю».
49. Седых А. Далекие близкие. – Сс. 36-37.
50. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=272164&p=1>
51. Там же.
52. Алданов М. А. Армагеддон / В кн. «Самоубийство» – С. 24.
53. Яновский В. С. Поля Елисейские: Книга памяти / Предисл. Н. Г. Мельникова. Комментар. Н. Г. Мельникова, О. А. Коростелева. – М.: Астрель, 2012. URL: <https://unotices.com/page-books.php?id=31974>

54. Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г. В. Адамовича И.В. Одоевцевой и Г. В. Иванову (1955–1958) / В кн.: «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О. А. Коростелева. – М.: Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»/ Русский путь, 2008. URL: <https://profilib.net/chtenie/153802/georgiy-adamovich-epizod-sorokapyatiletney-druzhby-vrazhdy-pisma-g-v-adamovicha-i-v.php>. С. 14.
55. Бахрах А. В. По памяти, по записям. М. А. Алданов... – С. 146.
56. Будницкий О., Полян А. Русско-еврейский Берлин: 1920–1941. – М.: «Новое литературное обозрение», 2013. – С. 244.
57. См.: Иван Ильин – Иван Шмелев. Переписка двух Иванов / В кн.: Ильин И. А. Собр. соч. – М.: Русская книга, 2000.
58. Устами Буниных... Т. 2. – С. 231.
59. Крейд Вадим. Георгий Иванов. – М.: Молодая гвардия, 2007. URL: <https://profilib.net/chtenie/71808/vadim-kreyd-georgiy-ivanov.ph>
60. Алданов М. А. Армагеддон / В кн.: «Самоубийство». – Сс. 90-91.
61. Tassis Gervaise. L'oeuvre Romanesque de Mark Aldanov: Révolution, histoire, hasard (Slavica Helvetica). – Bern: Peter Lang, 1999; Mark Aldanov écrivain russe et européen. – Lion: Institut européen Est-Ouest, 2008. URL: <http://institut-est-ouest.ens-lyon.fr/spip.php?article296>
62. «...Не скрывайте от меня вашего настоящего мнения». Переписка Г. В. Адамовича с М. А. Алдановым... Сс. 297-304.
63. Бахрах А. В. Вспоминая Алданова... – С. 157.
64. Там же. – С. 147.
65. Там же. – Сс. 154-155.
66. Будницкий О., Полян А. Русско-еврейский Берлин... – С. 29.
67. Schlögel K. Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918–1941. – Berlin: Akademie-Verlag, 1999. – Ss. 501-569.
68. Яблоновский (наст. Снадзский) Александр Александрович (1870–1934), журналист, литературный критик, общественный деятель, сотрудник ряда эмигрантских изданий, в т. ч. газет «Общее дело», «Возрождение» (Париж), «Сегодня» (Рига) и др. В эмиграции с 1920 г., жил во Франции. В Берлине – председатель правления Союза.
69. Уральский Марк. Неизвестный Троцкий: Илья Троцкий, Бунин и эмиграция первой волны. – Иерусалим; Москва: Гешарим; Мосты культуры, 2017. – Сс. 257-258.
70. Берберова Н. Курсив мой: Автобиография / Вступ ст. Е. В. Витковского. – М.: Согласие, 1999. Сс. 42, 46. URL: http://www.rulit.me/books/kursiv-moj-read-73013-1.html#section_1
71. Бахрах А. В. Вспоминая Алданова... – С. 155.
72. Грин Мелица. Письма М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным // «Новый Журнал». 1965. № 80. – Сс. 261-262.

73. Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937), русский историк, писатель и политический деятель. Один из основателей Партии народных социалистов (энесы). В 1922 г. выслан большевиками из России. В эмиграции жил в Берлине, Праге и Софии.
74. URL: https://royallib.com/author/aldanov_mark.html
75. *Грин Мелица*. Указ.соч. – С. 264.
76. См. о нем: *Уральский Марк*. Неизвестный Троцкий...
77. *Зайцев Борис*. Алданов... – С. 126.
78. Там же. – Сс. 127–129.
79. Вера жена Бориса: Дневники Веры Алексеевны Зайцевой. 1937–1964 / Авт.-сост. О. А. Ростова. Под ред. В. Л. Телицына. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2016. – С. 195.
80. *Адамович Г.* Одиночество и свобода: Литературно-критические статьи. – СПб.: Logos, 1993.
81. URL: <http://bunin-lit.ru/bunin/public/obraschenie-k-romenu-rollanu.htm>
82. Оказавшись на Западе, поэт-имажинист Александр Кусиков (1896–1977) столь активно выказывал свою верность революции, что в эмигрантских кругах заслужил кличку «чекист». В 1924 г. он переселяется в Париж, где создает просоветское «Общество друзей России», однако на родину, где его перестают печатать, предпочитает не возвращаться. С 1930-х гг. Кусиков, навсегда поселившийся в Париже, прекращает литературную деятельность.
83. *Грин Мелица*. Указ.соч. – Сс. 261, 262.
84. Там же. – С. 263.
85. Лейкин Николай Александрович (1841–1906), русский писатель и журналист сатирического направления. Издавал юмористический еженедельник «Осколки» в Санкт-Петербурге.
86. Имеется в виду политическая статья И. Бунина «Голубь мира» («Слово». 1922. № 6, 31 июля. С. 1), в которой он жестко критикует примиренческую позицию Гауптмана по отношению к большевикам.
87. Георг Брандес (1842–1927), один из крупнейших авторитетов литературной критики конца XIX – начала XX вв., являлся поклонником русской литературы и, в частности, высоко ценил творчество Ивана Бунина.
88. Переписка И. А. Бунина с Г. Брандесом (1922–1925) / *И. А. Бунин*: Новые материалы. Вып. I. – М.: Русский путь, 2004. – С. 225.
89. Полонский Яков Борисович (1892–1951), доктор права, журналист, писатель, историк литературы, библиофил, общественный деятель. Муж родной сестры Алданова литератора Любови Александровны Ландау-Полонской (1893–1963).
90. *Грин Мелица*. Указ.соч. – Сс. 263–264.
91. Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956), русский историк и политический деятель, после Октябрьского переворота был приговорен к смертной

казни, замененной 10-годами тюремного заключения, а в октябре 1922 г. выслан за рубеж. В эмиграции жил в Париже.

92. *Толстой Иван*. Третий Толстой и Второй Чайковский. URL: <https://www.svoboda.org/a/26864279.html>

93. *Варламов А. Н.* Алексей Толстой. Красный шут... – Сс. 31-32. Степун Федор Августович (1884–1965), русский философ, публицист. В 1922 г. выслан из Советской России, жил в Берлине, затем в Дрездене (с 1926) и Мюнхене (с 1946).

94. «Парижский философ из русских евреев»: Письма М. Алданова к А. Амфи-театрову... – С. 630.

95. *И. А. Бунин*. Третий Толстой / В кн.: И. А. Бунин. Гегель, фрак, метель. – СПб: 2003. – Сс. 478-479.

96. *Берберова Н.* Курсив мой: Автобиография... – С. 44.

97. *Грин Мелица*. Указ. соч. – С. 265.

98. Там же. – Сс. 265-267.

Брюль

БИБЛИОГРАФИЯ

БЛОК МАРИНЫ АДАМОВИЧ

Книги находят друг друга – как находят люди-единомышленники. Казалось бы, каждый из авторов, составителей, издателей работает индивидуально, соотносясь с собственными планами и пристрастиями, – а нет, окидывая взглядом книжный горизонт ушедшего 2018-го, видишь отчетливо, что волновало книжников всех возрастов и мастей, чем жила русская культура, какие болевые точки выделило подсознание общества.

Или – мое подсознание. Выбор – мой, в чем-то субъективный. Но эти книги *пришли* ко мне; пришли из совершенно разных и, казалось бы, не связанных источников. И соединились. Для меня в том бесспорное проявление внутренней жизни современной русской культуры – как в ее российских пределах, так и во всемирных.

Но сначала – о России. Три книги, осмысливающие историю диссидентства в СССР и, в этом контексте, – интерпретирующие спорные перестроечные постсоветские российские 90-е.

Свободные люди. Диссидентское движение в рассказах участников / Сост. А. Архангельский. – М.: Время. 2018. – 352 с.

Эта книга имеет длинную историю. Видеопроект интернет-ресурса «Арзамас» – воспоминания участников диссидентского движения в СССР (к. 2016-го), из которого книга и возникла, – это, скорее, завершение сюжета. Начало же было положено падением сталинской диктатуры, хрущевской «оттепелью» – и теми, кто в нее поверил, кто решил, что возможна демократизация коммунистической страны, что бывает «социализм с человеческим лицом» – за что жестоко поплатился в дальнейшем. Двадцать шесть монологов – многих героев этого сборника уже нет среди нас: Людмила Алексеева, Владимир Войнович, Наталья Горбаневская... История в лицах – нет, скорее *лицо* истории. Потому что летопись оппозиционного движения в СССР – это свод биографий и, прежде всего, – индивидуальные сюжеты на тему «роли личности в истории».

Для советского молодого человека 1950-х горечь «запятнанной» ленинской идеи была сильным движущим механизмом, приводящим его к активности. «...пока не было самиздата, нас делал антисоветчиками Ленин», – признаётся на страницах книги правозащитница Лидия Алексеева (1927–2018). Короткую опись реальных дел ленинстов-продолжателей дает составитель сборника А. Архангельский в «Краткой хронике послевоенного инакомыслия». Хроника впечатляет: после февраля 1956-го, осудившего культ личности Сталина, –

1957 год: арест группы Льва Краснопевцева, Льву – 10 лет за веру в чистый социализм; 1960-й – начало поэтических чтений у памятника Маяковскому – и через год арест Ильи Бокштейна, Владимира Осипова и Эдуарда Кузнецова; 1964-й – арест генарал Петра Григоренко, организатора «Союза борьбы за возрождение ленинизма»; сентябрь 1965-го – арест Андрея Синявского и Юлия Даниэля; январь 1967-го – Галансков, Гинзбург, Лашкова, Добровольский; август 1968-го – Горбаневская, Баева, Бабицкий, Богораз и другие; 1970-й – Джемилев и Габай; 1972-й – Буковский; Якир, Красин; 1974-й – Ковалев; 1975-й – Марамзин, Осипов; 1977-й – Гинзбург, Орлов; 1978-й – Щаранский, Огородников; 1979-й – Якунин; 1980-й – Дудко; 1982-й – Крахмальникова; 1983-й – Ходорович; 1984-й – Боннэр; 1985-й – Тимофеев. Невозможно воспроизвести все имена, как нельзя адекватно описать возмущение стихии. Но замечу: посадки и ссылки в лагеря не прекращались в течение *всей* советской диктатуры – о чем следует помнить нынешним любителям поговорить о вольнице «оттепели», о блаженном брежневском «застое», о беззубых восьмидесятых... Мне же помнится иное: если оставляли в покое *твою* семью, друзей и соседей, это не означало, что за углом, на перекрестке, в другом городе победившего социализма кого-то не посадили, не сгноили. Полезно помнить, что с первого своего дня в 1917-м и до последней минуты советская власть была *карающей* *инакомыслие*. Идеократией, проще говоря, – со всеми вытекающими. В 1950-60-е, с которых начинается эта книга, ленинизм наблюдался, так сказать, в действии – с удовольствием пожирающим своих детей (чужих детей – «врагов народа») – к тому времени уже успешно съели). Конец 1987-го: посаженные ранее диссиденты выпущены-таки из тюрем, возвращены из ссылок больными, но живыми, – ну, а кто не дожил, тот не дожил. В Союзе надо было уметь выживать. *Эта* хроника завершена. Свежепосаженных новых диссидентов когда-нибудь назовут в другой хронике. Нельзя объять необъятное... Как жестоки эти слова в российский контексте.

Итак, сосредоточимся на диссидентской истории пятидесятиков-шестидесятников. Вера в «правильный ленинизм» постепенно, с арестами (но и с ними – не для всех! – не для братьев, скажем, Роя и Жореса Медведевых), эта вера в чистую идею и человеческое лицо коммунизма будет развеяна, свою роль в развенчании сыграют и диссиденты от катакомбной Церкви, которым традиционно внимания уделяется минимальное. На мой же взгляд рецензента, они-то и дают самый «наглядный» пример этого сложного феномена: «диссидент».

Напомню, по этимологии слова, «диссидент» – это «религиозный оппозиционер». Но понятие «вера» со времен Просвещения

пережило внушительное воздействие секуляризации, и в XX веке «вера» чаще всего означала приверженность идеям гуманизма, надежду на чистоту помысла, веру в разум, в достижимость справедливости на земле. Однако с какого края ни подходи к вере, ключевыми словами для диссидента советского периода стали понятия вполне религиозные: «справедливость» и «совесть», с явным признанием *идеала*. О совести как высшей и безусловной субстанции говорят практически все участники этой книги. Вячеслав Бахмин: «Была задача остаться самими собой», «...любая репрессия по отношению к человеку из этого круга (Круга Григоренко. – М. А.) еще больше нацеливает тебя на участие в общем деле защиты». Владимир Войнович: «Я же свою задачу сформулировал очень просто – жить по совести...» Наталья Горбаневская: «...мы были послушны собственной совести»... Эта парадоксальная концентрация на личном, на внутреннем, на субъективном – чистоте, искренности, честности и пр. – должна бы выглядеть парадоксально в архиобщественном советском пространстве. Но признаю как свидетель: так и было. Советский Молох успешно перемолол все формы социальных, общественных свобод и активности человека, неожиданно реверсивно акцентировав внимание своих граждан на субъективных, личностных формах бытия как на единственно подлинных и даже самоценных: семья и друзья, цинично-равнодушное приятие идеологического прессинга – и здесь же: практика «мелких дел», «не могу молчать», «я не вошь дрожащая», – мощный социально-политический протест. В массе своей социалистические шестеренки вызывали асоциальность, но в отдельных случаях – в случаях гипертрофированной совестливости, а вовсе не особой политической энергии, – запредельную гражданскую активность. И Горбаневская шла с грудным ребенком на Красную площадь не потому, что безумная и безответственная мать, как определяли ее гбэшники и советские врачи-психиатры, а потому что этот выход-протест был частью ее *внутренней* вселенной, практически – ее семейной жизнью: любишь – рожай, чувствуешь – пиши, болит – кричи, душат – сопротивляйся.

В диссидентском движении советского периода мы имеем дело не с отчаянием обреченных, не с безумием фанатиков, не с организованным политическим движением, а с логикой правильного, тоскующего по идеальному, человека: «потому что все честные, искренние люди уже выпадали из системы» (Татьяна Горичева), «диссидентство – это было святое дело. И абсолютно совестное» (Юлий Ким), «стремление заработать себе право на самоуважение, быть честным человеком», «очень стыдно отсиживаться» (Сергей Ковалев)... Практически во всех монологах, представленных в этой книге, повторяется одна и

та же мысль — о главенстве совести в общественной и личной жизни человека. Как замечает ак. Андрей Сахаров: «Что умеет делать интеллигенция? Она не умеет делать ничего, кроме того, что она умеет строить идеал. <...> делай, что должно, и будь что будет».

И я думаю, это главное, что могли поведать те люди о себе, о своей борьбе, о своей эпохе — и о том, как они ломали жесткую конструкцию идеократии. Это признание важно не как воспоминание о бурно проведенной молодости, а как пример человеческого *частного* существования, — что важно для *современной* России, охваченной идеей-фикс обрести общественный общенациональный идеал. И как урок для власть предержащих, которые сегодня открыто пытаются повернуть историю вспять и опять возложить страну и народ в прокрустово ложе социализма. Государственники-лжепатриоты, ленинисты-сталинисты-неомарксисты сегодняшней России (да и мира) должны понять: можно арестовать и даже убить инакомыслящего, но нельзя забить *инакомыслие*, потому что свобода и воля формируются на глубинах, куда не проникает рука власти. «Каждый слышит, как он дышит... Так природа захотела», — заметил Булат Окуджава, в молодости, кстати, столь же, как и Алексеева, увлеченный «комсомольскими богинями». Совесть — субстанция сколь непонятная, столь и постоянная. И в противостоянии любой авторитарной системе начало борьбе дает именно личный внутренний религиозный диалог человека с совестью. Поэтому, скажем, Александр Даниэль, сын Юлия, невольно возражает в своем монологе подзаголовку книги «Диссидентское движение» — нет, не движение, говорит он: движение подразумевает цели и ориентиры, лидеров, даже — организации (скажем, правозащитное движение), — в этом же случае точнее говорить о «диссидентской активности» как явлении гораздо более сложном, нежели любая оформленная социально-политически оппозиция. Такая активность зарождается на принципиально иной глубине, на глубине *духовного* осуществления человека. Это оппозиция, прежде всего, личному несовершенству, из которого рождается желание усовершенствовать общество; в борьбе с такой интенцией падет любая социально-политическая диктатура, любой авторитарный правитель. Рано или поздно. Такая вот простая сложная правда о диссидентах.

Отдельная благодарность составителю сборника за то, что он снабдил книгу разделами «Кто» и «Что за чем» — списком упоминаемых в книге имен общественных деятелей и диссидентов того времени и хроникой основных событий. Думаю, публицист Александр Архангельский, известный академической корректностью своих текстов, не просто отдавал дань культуре книгоиздания, но надеялся на то, что книгу эту прочтут молодые, — и им понадобится помощь,

чтобы разобраться, кто был кем в прошедшую, ставшую такой далекой от них, оболганную в двухтысячные годы эпоху.

Александр Гинзбург: Русский роман / Сост. В. Орлов. – М.: Русский путь. 2017. – 792 с., илл.

Не знаю, какая книга какую дополняет, не уверена, что надо прочитать сначала. Но «Свободные люди» и «Русский роман» – это, условно, своеобразный двухтомник. Так совместила эти книги сама жизнь.

Об авторе-составителе Владимире Орлове мы уже говорили на страницах НЖ (см. № 293, 2018, – публикация В. Амурского об Александре Гинзбурге в эмиграции). Но прочитанные вместе, две книги воссоздают полную картину тех лет, законченный портрет эпохи и ее героев.

Александр Архангельский вспоминает анекдот застойных времен о Брежневе, «как мелком политическом деятеле времен Сахарова и Солженицына». И это правда. Солженицын – в отсидках, ссылках, изгнаничестве – пережил всех любителей Советов (последним, кажется, обманулся, но ему простится...); Сахаров стал символом свободомыслия. Списки его гонителей не смогут воспроизвести в памяти даже свидетели того времени, этот легион канул в лету. А имя «Алик Гинзбург», как скромно представлялся он сам, не претендуя на значимость и величие, стало легендарным – синонимом целой эпохи «самиздата». Александр Даниэль в предисловии к этой книге «...Человек, которого знали все» пишет о «Синтаксисе» Гинзбурга как о *событии*: он и «стал таким событием, своего рода декларацией независимой ‘второй культуры’»; реальной альтернативой государственной зацензурированной издательской пропагандистской машине. «Здесь всего важнее, всего дороже был жест освобождения», – заметит Наталья Рубинштейн; «...главным образом, свобода слова здесь отстаивалась», – согласится с ней Александр Жолковский.

Пора остановиться на сложной структуре этой почти восьмисот-страничной летописи, составленной В. Орловым. Автор-составитель (в нашем случае, это именно так и есть: *автор* – ибо в композиции книги заложено его субъективное прочтение феномена «Гинзбург») соединяет рассказы друзей, очевидцев, фрагменты мемуаров, семейный архив, материалы советской прессы той эпохи, официальные документы и пр. пр., – все свидетельства и возможных свидетелей времени. И тем самым создает правдивую *альтернативную историю* Советского Союза второй половины XX века, деля ее на периоды: «Синтаксис», «Письма из Вятлага», «Время накопления», «Лагпункт

№ 17-а», «Владимирский централ», «Таруса. Фонд. Начало», «Один год российской свободы», «Следственный изолятор», «Суд» и т. д. Ностальгирующим сегодня по советской эпохе, опять же, советую прочитать если не книгу, то оглавление – целиком, залпом. Оно поучительно само по себе.

Итак, история СССР в контексте биографии Александра Гинзбурга. Как пишет Даниэль, его «вполне можно считать основоположником самиздатской периодики в целом. Его журнал («Синтаксис». – М. А.) разрушил государственную монополию на печатное слово окончательно и безвозвратно». Это – во-первых. Во-вторых, дело Андрея Синявского и Юлия Даниэля, «Белая книга». «Белая книга», свод материалов по вышеупомянутому судебному процессу, как «итог протестной кампании 1965-66 годов», но и как *новый формат* самой протестной литературы. Гинзбург поставил на «Белой книге» посвящение Фриде Вигдоровой – в действительности, это она первой стала вести записи с заседаний суда над Иосифом Бродским. В этом «Посвящении» – весь академически точный, фундаментальный Гинзбург, владеющий контекстом «эпистолярной революции», по чьему-то выражению тех времен, – и аккуратно, скрупулезно ее описывающий. (Характер!)

В предисловии довольно верно подмечена и еще одна, определяющая эпоху особенность: манкуртовское состояние сознания, «забвение» преступлений режима. Замечу: речь идет не о сегодняшней России с ее мифом о «Сталине – великом менеджере» (это каким извращенным сознанием надо обладать, чтобы узурпатора, использовавшего рабский труд своего народа, назвать «менеджером!»), речь идет о хрущевской «оттепели» и далее – о брежневском «застое». (Так и вырывается: «застолье» – вечное «опьянение» совести советского человека. «За наше безнадежное дело!» – с горькой иронией поднимали свой собственный тост № 1 диссиденты-шестидесятники.) Забвение «было основным феноменом мироощущения 1930-х годов» – верно подмечает А. Даниэль. В том-то и дело: социалистический строй мимикрирует, но его природа остается прежней – преступной, коммунистической.

Гинзбург был настоящим, профессиональным издателем, который всегда и прежде всего – отличный организатор, умеющий чувствам или идеям придать правильную *форму*. Практика диссидентства вызвала к жизни свои форматы: самиздат и Общественный фонд помощи политическим заключенным и их семьям. В котором Гинзбург вновь оказался на своем месте. Как и в Хельсинской группе в 1976-м. Интеллигентно-тихий, он, на удивление, предпочитал действие и дело – своеобразную материализацию слова и совести,

которыми, очевидно, дорожил более всего. Слово для него было выражением совести, то есть *значимым словом*, потому оно и реализовывалось как *слово-дело*.

Таким образом, мы возвращаемся к тому, с чего начали. К индивидуальной интимной истории человека, к его диалогу со своей совестью, которая в советском XX веке выводила его на площадь, поддерживала в тюрьме и ссылках, формировала инакомыслие, вкладывала слово-дело в его гортань и его поступок. Это было непрекращающееся духовное противостояние, облекавшееся в формы конкретной политической борьбы или оппозиционного движения, или просто активности несогласных. Во всяком случае, такое прочтение этой книги, как и монологов «Свободных людей», убеждает меня думать о том, что это «безнадежное дело» имеет будущее.

Юрий Щекочихин. Рабы ГБ. XX век. Религия предательства. Издание 2-е, дополненное. – М.: ИП Матушкина И.И. при поддержке РОДП «Яблоко». 2018. – 400 с.

Но об этом будущем «безнадежного дела» правильнее думать после прочтения книги Юрия Щекочихина. Она писалась «по горячим следам», в 90-е (первое издание – в 1999 году). И это важно. Потому что в вольнице «лихих девяностых» была, по крайней мере, одна, верно вычерченная прямая: люди поверили, что они могут быть свободными, что у них есть честь и достоинство. И, следуя книге Щекочихина, этими надеждами было охвачено *всё* постсоветское пространство, – по обе стороны баррикад: и оппозиционное антисоветское, и советско-подчиненное. Книга – именно о них, о советских правоверных людях, об их службе режиму, о «рабах ГБ», о том, как была задавлена *их* совесть, – но и том, как совесть стала возрождаться из небытия.

Подзаголовков книги – «религия предательства» – мне кажется неточным. Все антигерои Щекочихина – атеисты, привыкшие существовать в плоскостном измерении социализма. Но в каком-то смысле, они и жертвы своего режима: они подчинились прессингу, или их воспитывали с младенчества на принципах «цель оправдывает средства», «лес рубят – щепки летят»; они все испытали большой страх и многие – некоторое первоначальное угрызение совести, идя на службу в гбэ. Это книга не о религии предательства, а действительно о «рабах» – советской диктатуры, социалистической дурманозависимости, гбэ, да и просто – собственной слабости. И о том, что раб может восстать против себя и возродиться в человека. В 90-е «рабы» почувствовали, что могут быть свободными, – и им стало... стыдно за

прошлое. Простой человеческий стыд как индикатор того, что цементом личности и общества является все-таки совесть. Доносчики и сексоты раскаялись (о тех, кто не раскаялся, Щекочихин не пишет, это – мертвый материал, писательское слово здесь бессильно). «Мы выросли в Зоне со всеми ее законами. ‘Зона в тених и лицах’... Таким могло быть еще одно название этой книги», – заметил тогда Щекочихин.

Душа доносителя... Что там внутри? – «...нет в этом ГУЛАГе ни бараклов, ни вышек. Но те же коменданты, но те же конвоиры. Оставили тело на свободе – взяли душу. Широки, необозримы просторы этого ГУЛАГа. И во времени, и в пространстве. Скольких людей поглотил!» «Это сеть, которой оплетена вся страна», – исповедовалась Юрию.... агент КГБ. В книге приводится образец подписки о доносительстве: «...не подписка реального секретного агента, сексота. Стукача. Это – хуже: *образец* подписки». Правильный, отработанный десятилетиями советской власти *формат* доноса. Но человеческие истории в этом формате – разные: аспирант, которому надо было защититься; студент, которому грозило исключение; рабочий – который хотел стать студентом; музыкант, что мечтал играть на запрещенном саксофоне; школьник, которому сказали, что Павлик Морозов – герой; колхозница, у которой куча детей; мигрант-сторож, у которого нет другого заработка... нужно ли продолжать? Жившие при советской власти и так всё это знают. И вот – еще письмо от стукача: «Их были миллионы – доносчиков, специально сплоченных партией для тайной слежки за населением страны... Ходят слухи, будто каждый десятый – стукач разного калибра». Щекочихин размышляет о мотивах стукачества... Они разные – как разнятся и судьбы этих людей. Хотя... можно выделить главный: страх. Простой «базаровский» страх превратиться в лопух после смерти – и ничего нет там, за земным горизонтом... Но и «страх особый», – пишет автор, – в государственном масштабе, страх, возведенный в ранг державной политики». Что еще... Донос – как *долг*; стукач – как *герой отечества*. В тридцатых годов «заагентурить» (термин!) гражданина счастливой Страны Советов была так же просто, «как научить писать». Даже «не за страх, а за совесть»... Вот такая аберрация народной поговорки и коллективной совести.

Но уж если поговорка описывает ситуацию – какой смысл в книге, ведь всем всё и так известно? А смысл-то был – и *какой*! Я ведь не случайно начала с того, что вольница 90-х несла в себе колоссальный заряд освобождения. И вот о чем в 1999-м говорил Юра Щекочихин: доносчики и стукачи писали ему, *готовые покаяться*! Вот он – момент истины: *момент покаяния*! Общий свободолюбивый

напор народа был столь мощным, что требовал покаяния! Что на языке государства, для властей, должно было бы определять вот таким образом: *официальное осуждение советской власти как преступления против человечества*.

Но такого определения от властей никто не услышал. «Нюрнберг, которого не было» — так назывался один из ранних фильмов замечательного российского режиссера-документалиста Ирины Васильевой. После разоблачения культа Сталина целой официальной комиссией были собраны документы для такого суда. Новый Нюрнберг мог и должен был состояться. Не в 1950-е, так хотя бы в 1990-е... Но сменившая одну ком-элиту другая сов-элита не только не провела сий очистительный процесс, но спустя двадцать пять лет после падения советской власти решила вернуть страну и народ на «социалистические рельсы». Не могу не привести слова Юрия из 1999-го: «Сейчас много говорят о том, что для процветания России недостает... общенациональной идеи, способной соединить различные, пусть прямо противоположные силы... ты и сам иногда начинаешь соглашаться с этим... Но потом замираешь от предчувствия того, что может случиться, если такая идея появится... скорее всего идея эта начнет внедряться сверху, а если сверху, то значит не обойтись без силы... снова возникнет необходимость в хранителях этой идеи, а хранителям, чтобы держать под контролем страну, понадобятся...» Я прерву цитирование. Что уж там, и так всё ясно. И что «понадобится», и что пророков в своем отечестве нет. И Юра уже убит в отдаляющиеся от нас такие «спокойные» буржуазно-советские двухтысячные... Мне остается лишь сказать слова благодарности всем тем, кто вспомнил об этой книге, кто переиздал ее, такую нужную опять, спустя двадцать пять лет. Закончу словами, которыми Юра начал свою книгу: «В XX веке предательство стало неосуждаемым. О нем перестали размышлять и считать его пороком, которого надо стыдиться». Но как же быть с совестью-то... Куда же ее деть?..

* * *

Мало кто свяжет следующие две книги в одно читательское пространство. У них разная аудитория: с одной стороны, профессиональная среда историков культуры, исследователей эмиграции, культурологов, литературоведов и искусствоведов, с другой... с другой очертить круг читателей крайне трудно, потому что она требует тоже по своему профессионального, хорошо подготовленного широкого читателя. И тем не менее, эти две книги должны стоять рядом, на одной полке. Дополняя друг друга. Как подлинные свидетели забытой всеми эпохи.

Мария Рубинс. Русский Монпарнас. Парижская проза 1920–1930 годов в контексте транснационального модернизма. – М.: НЛО. 2017. – 328 с., илл.

Известно, что после Великой войны Париж превратился в центр иммиграции, в том числе и – творческой: писателей, художников, музыкантов. В этот период здесь зарождаются эстетические течения, которые и определяют XX век Европы и Америки. С начала 20-х годов Париж становится и основным средоточием русской эмиграции первой волны. Русская община Парижа насчитывала около 45 тысяч человек, превосходя даже американскую, как пишет в своей книге русско-французский исследователь Мария Рубинс. И «в межвоенные десятилетия ей (Эмиграции. – М. А.) удалось создать русскую парижскую литературу, которая по значимости своей могла бы сравниться с творчеством американских парижан – Г. Стайн, Э. Хэмингуэя, Ф.С. Фицджеральда или Г. Миллера». В 1920–30 гг. периодических изданий первой волны уже насчитывалось около семидесяти, были созданы свои издательства – книжные и музыкальные, библиотеки, (Тургеневская библиотека имела до 100 тысяч томов к 1937 году), учебные заведения, театры. По ряду причин, русские институты культуры не получили широкого признания во французской ойкумене (сказалась их слабая структурированность, малотиражность изданий, сориентированность на национальный язык). В том числе, как отмечает автор, – и из-за полной изолированности от культурной инфраструктуры на родине, что поддерживало все другие этнические диаспоры. Поэтому для русских парижан и сам город стал «обособленным культурным микрокосмом», и опыт их представляется уникальным как по замыслу, так и по воплощению в истории человечества.

Если ближе подойти к русской французской эмиграции межвоенного периода, то следует выделить два активных поколения диаспоры: старшее и младоэмигрантов, попавших во Францию детьми. Детство их пришлось на войну, революцию, изгнание и маргинальное существование апатридов, коими были их родители, в чужой стране и культуре. На этом фоне формировалась и их система ценностей, эстетика, их поведенческие коды. Как замечает автор книги, местом общения для младоэмигрантов стал Монпарнас – дававший творческую среду и, одновременно, свободу. «Молодые писатели разного этнического происхождения говорили... на языке транснационального модернизма, выходя далеко за рамки своих национальных традиций.» Истории и практикам интегрирования русского творческого Монпарнаса и посвящена эта книга.

У молодых писателей диаспоры в те годы сформировалась двой-

ная маргинализация: не только как у апатридов внутри страны пристанища, но и «относительно основного вектора культурной политики диаспоры»; они стремились занять более естественное для них «промежуточное положение», «переформулировать свою идентичность и освоить космополитическое культурное пространство», — замечает М. Рубинс. Складываются амбивалентные отношения с авторами старшего поколения диаспоры: восхищение и зависимость — и отторжение. Исследователь ставит акцент на *бикультурную идентичность* монпарнасского круга русских авторов.

Русские молодые литераторы создавали свою Европу и свой Париж. Русский Монпарнас стал своеобразным «гибридным культурным локусом» — скрещением русского и европейского модернизма и, одновременно, выходом за пределы и того, и другого. Рубинс называет этот локус «продуктивно-дистопической средой», подчеркивая лингвистический аспект дискурса, в котором формировалась динамическая серия эволюционирующих культурных конструкций. В области языка, вне зависимости от оригинального национального, писатели «пользовались особой разновидностью транслингвизма, смешивая языки, подчеркивая их пластичность, позволяя иноязычной реальности просвечивать сквозь привычную словесную ткань». Русский Монпарнас как пример лингвистической амбивалентности становится убедительным аргументом к тому, чтобы перестать *рассматривать язык как основной маркер национальной идентичности*.

Эта мысль автора книги, высказанная в конкретном контексте исследовательского материала по русскому Монпарнасу, особенно важна в более широком ее применении: в интерпретации и анализе литературы всей современной многонациональной русскоязычной творческой иммиграции XX–XXI веков. Яркий феномен «литература диаспоры» до сих пор вынужден отстаивать права на самоидентичность. Как правило, литературу диаспоры если и замечают, то определяют как некую «литературную провинцию» по отношению к метрополии — современной пишущей России. Дополнительным аргументом сегодня для сторонников этой точки зрения служат, как ни парадоксально, сформировавшееся в XXI веке единое межкультурное пространство Россия–диаспора. Связи современного иммигранта (я не говорю о мигрантах — т. е. людях, которые курсируют между двумя странами) с метрополией действительно упрочились, стали свободными (пока...) — и это порождает иллюзию полного слияния разных потоков русской литературы. Но надо отдавать себе отчет в том, что такая точка зрения совершенно игнорирует саму природу творчества. Формирование дискурса — не обязательно творческого и, конкретно, литературного, — явление сложное, и интернет-простран-

ство не только не снимает, но еще и усложняет процесс его лепки. Относительно же дискурса творческого человека, создающего *художественный текст*, локус здесь и вообще не обходится без *genius loci*. Впрочем, это уже другая тема.

Возвращаясь к проблеме языка литературного произведения: на мой взгляд, здесь вполне приложимы наблюдения общей транснациональной теории. Я абсолютно солидарна с М. Рубинс, утверждающей, «относительность и произвольность» национальных нарративов литературного канона, их *проницаемость* нужно принять де факто и оперировать в изучении понятиями транснациональной теории – такими как «гибридность, фрагментарная идентичность, плюрализм культурных и лингвистических кодов, экстериториальность, билингвизм» – всё в проекции на литературу. Парадоксально, но язык текста как таковой не может служить исключительным фактором определения точной принадлежности произведения к той или иной национальной литературе. И в этом «космополитичном, полифоничном, многоязычном, но всё же едином культурном пространстве русские писатели (Диапоры. – М. А.) были прообразом экстериториального, транснационального сообщества». Русские монпарнасцы создавали произведения, отмеченные многими признаками транснационального письма; младоэмигранты «сделали невозможным критическое прочтение своих нарративов в строго мононациональном», как и моноэстетическом, ключе.

Такой подход к литературе диаспоры, как верно замечает Рубинс, «заставляет пересмотреть традиционные представления о литературном наследии Русского Зарубежья как о явлении, замкнутом исключительно в пределах модифицированного национального канона». Конечно, это подвергает серьезной критике традиционные исследования литературы Русского Зарубежья (в том числе – и критические труды корифеев из среды самой эмиграции) – однако не опровергает их, а лишь делает одним из многочисленных способов прочтения эмиграционного текста. Но провести такую ревизию необходимо, потому что лишь в контексте транснационального канона возможно адекватно понять и оценить литературу Русского Зарубежья прошедшего и настоящего веков.

Основной принцип, положенный в основу книги Марии Рубинс, – параллельный анализ творчества как русского, так и французского и иностранного Монпарнаса для «выявления общих тематических, эстетических, философских и идеологических парадигм, которые выходят за мононациональные и *мноязыковые* (Выделено мной. – М. А.) границы», анализ монпарнасцев как участников панъевропейского литературного модернизма.

Масштабность выбранной темы определяет и сложную архитектуру самой книги. Она поделена на четыре части, каждая из которых имеет несколько глав, позволяющих автору максимально рационально распределить материал по различным аспектам тем, по персонажам, периодам и эстетикам, – что делает столь сложное исследование доступным для самого широкого круга интеллектуального читателя.

Первая часть книги «Эгонарратив: экзистенциальный код литературы 1920–1930-х годов» проследивает эволюцию текста от Золя и Гонкура до Селина, экзистенциальные и эстетические изменения, которые привели к кризису жанра классического романа и появлению форм исповедального, «документального» письма. Которое и рассматривалось русскими младоэмигрантами как их основной нарратив. Тексты русских монпарнасцев нужно анализировать в контексте западной литературы межвоенного периода. Как замечает Рубинс, ключевой фигурой в создании транснационального модернистского лексикона стал Т.С. Элиот с его поэмой «Бесплодная земля» (1922) – с его «страхом в горсти праха», с городом-фантомом, с «грудой поверженных образов». «Искусства нет и не нужно» – так называет Рубинс одну из глав своей книги. Уже говоря о «культе Башкирцевой» во французской культуре того периода, автор замечает, что смерть и забвение (то, чего Мария Башкирцева боялась более всего) парижская диаспора превратила в «литературно-экзистенциальное кредо», в т. н. «негативную идентичность». Что отражено, скажем, в романе Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи» (1920, по мнению Рубинс – самого важного современного западного интертекста для русского Монпарнаса и не случайно вызвавшего сразу два независимых перевода на русский язык – Э. Триоле и С. Ромова.). Рубинс анализирует многочисленные критические отзывы на роман и находит интертекстуальные отсылки к Селину в творчестве младоэмигрантов. При этом исследователь замечает, что «культ маргинальности, столь характерный для транснационального канона, молодыми русскими эмигрантами был переосмыслен как механизм сопротивления основному механизму русской культуры, с его представлением о писателе как учителе, пророке, духовном и нравственном авторитете». Маргинальность осмысливалась как стратегия самоопределения молодого поколения, со своей поэтикой: минимализм в использовании тропов, фрагментарность и даже бессвязность при – парадоксально – автобиографичности, – с общим противопоставлением бунинской «сюжетной теме». Две разные позиции, две разные традиции подробно анализируются Марией Рубинс – с тем, чтобы задаться вопросом, определившим тему второй главы ее исследования:

«Человеческий документ или autofiction?» Но и в поиске ответа на этот вопрос автор книги погружает нас в общий контекст двух культур. Феномен autofiction интересовал более всего именно французских интеллектуалов, создавших в результате целый корпус критических работ, изменивших традиционные подходы к автобиографии и нон-фикшен, проблематизировавших «отношения между письмом и опытом». «Смесь автобиографии и фикциональности» – несомненная черта русского Монпарнаса.

Вторая часть книги «‘Парижский текст’ и его вариации в прозе русского зарубежья» представляет панораму «городского текста» в интерпретации русских монпарнасцев и предлагает убедительный материал для того, чтобы рассматривать их творчество в транснациональном контексте. Предлагая читателю экскурс в историю проблемы, Рубинс делает весьма примечательный вывод: в межвоенный период «парижский текст» – это «сложный конструкт из разнообразных дискурсов», в строительстве которого наиболее активное участие приняли *иностранные* авторы, среди них – и младоэмигранты, как то Газданов, Поплавский, Оцуп, Яновский... В контексте же диаспоры это означало едва ли не процесс «денационализации».

В третьей части книги «Литература ар-деко» это искусствоведческое понятие автор интерпретирует как широкое, социально-культурное явление. Рубинс подробно описывает этот нарратив и его поэтику, прослеживает его транслокальную природу, динамику развития, в том числе и в легализации феминистской темы. Отдельной подтемой главы становится исследование процесса кинематографизации литературы – не столько в смысле экранизации произведений, но в проекции на изменение структуры самого художественного текста.

Самой яркой иллюстрацией эстетики ар-деко в прозе диаспоры Рубинс считает роман Гайто Газданова «Призрак Александра Вольфа» (1947); анализу произведения она посвящает целую главу, раскрывая основные коды ар-деко в интертекстуальном полотне этого романа.

Наконец, часть «Альтернативный канон. Парижское прочтение русской классики» посвящена развитию национальной традиции в творчестве младоэмигрантов, переосмыслению ими русского классического канона в контексте приобретенного западного опыта. Вспоминая об абсолютной изолированности «материковой», советской литературы в XX веке и эстетической ограниченности этого социалистического эксперимента, особенно интересно посмотреть на опыт литературы Русского Зарубежья в этот период. Ибо именно ее практики есть воплощение естественного хода развития русской классической литературы, прерванного в отеческих пределах; накоп-

ленный же ею багаж так или иначе лег фундаментом для современной русской литературы последней трети прошлого столетия, когда в Советском Союзе стали появляться первые тексты авторов диаспоры. Что вызвало своеобразную шоковую терапию в области общей эстетики и литературных форм и стилей для позднесоветского и постсоветского пространства. «Альтернативный канон» засеял, в том числе, еще и литературное поле России XXI века.

Потому так важны подобные исследования – не случившиеся вовремя, но тем более дорогие для понимания русской культуры от 1917-го и до наших дней. В книге указывается на значение для монпарнасцев творчества Лермонтова, Розанова, диалога с Толстым... Жаль, что остался вне исследовательского интереса столь же важный диалог с Достоевским. – С другой стороны, поле классической русской культуры столь густо засеяно, что признаю: внутренне неоконченная эта глава должна быть дописана целым институтом исследователей. Мария Рубинс блестяще выполнила свою конкретную задачу, обозначив тематические контрапункты для последующих работ.

Пока же мы отчаянно пытаемся наверстать в исследованиях целый упущенный русский литературный XX век. Задача эта в силу объективных причин становится почти невыполнимой. Время потеряно, документы исчезли, свидетели – в мире ином. Мы промотали этот бесценный век, свое наследство. Потому так дорога мне эта новая книга Марии Рубинс – итог ее многолетней работы (часть текстов была опубликована прежде на страницах НЖ). Книга эта – не только об особом творческом сообществе «Русский Монпарнас», сложившемся в Париже в межвоенный период. Это взгляд современного исследователя на общекультурные и, в частности, литературные процессы прошлого века, их новое осмысление с учетом интеллектуальных достижений и научных открытий последнего времени. Только такой подход к столь малоизученному явлению как культура Зарубежной России может оказаться плодотворным: изучение национальных и транснациональных моделей в едином культурном поле.

Андрей Иванов. Обитатели потешного кладбища. – М.: Эксмо. 2018. – 704 с.

За творчеством Андрея Иванова я слежу с первой напечатанной его повести – с блистательного, наполненного юношеской иронией «Датского дядюшки». Затем последовала «Зола» – вещь страшная, кровоточащая, тягучая, как сознание, как сон, как дурман... Меня всегда поражало в этом прозаике его удивительное, музыкально-точное восприятие фразы, но еще и какая-то естественная грустная философичность его текста – всегда сложного, запутанного, при этом хоро-

шо продуманного по форме. В какой-то момент Андрей Иванов (эмигрант «поневоле», в 90-е оказавшийся апатридом, не выходя из собственного таллиннского дома) неизбежно должен был обратиться к теме эмиграции. Так в ряду его романов появились «Обитатели потешного кладбища».

Новый роман взыскателен к читателю. Его сложная архитектоника, эстетическая утонченность, густая историческая фактура требуют подготовленного читателя, знающего историю русской эмиграции – в деталях и лицах, особенно ее парижскую диаспору, историю литературного Монпарнаса 30-х и французского Сопротивления; эстетику дадаизма – со всеми его основными участниками, а также – знакомого с Францией периода студенческих волнений 68-го, с современной западной мыслью и не самыми популярными ее текстами. Роман придется расшифровывать – это сложная философичная мозаика выдуманных и реальных судеб, исторических фактов и непридуманных обстоятельств в жизни литературных персонажей. Ведь, в конечном итоге, Иванов прав: литературный текст – это особый мир, живущий по своим внутренним законам, со своими тайнами и героями, со своим прошлым и настоящим; мир, который отторгнет тебя, если ты не готов к нему; мир, который равнодушен к тебе как любой иной посторонний дискурс, – пока ты не докажешь свою состоятельность и готовность расшифровать его.

Как любой непростой текст, этот роман также приветствует множество интерпретаций. К ним располагает и сложная, многоступенчатая конструкция романа. Его архитектоника строго вертикальна. Хотя на первый взгляд может показаться, что Иванов выстраивает композицию линейно, опираясь, пусть на перемежающиеся, но все-таки последовательно развивающиеся истории своих героев с непрерывной вязью переплетенных тропов. Три главных рассказчика – три слившихся воедино, перебивающих, наслаивающихся – и уточняющих, даже разоблачающих друг друга, истории жизни из русской диаспоры во Франции 20-70-х годов: Альфред Моргенштерн, Александр Крушевский и Виктор Липатов.

Впрочем, уже неточность: жизнь русской диаспоры подается автором как часть общей жизни Парижа, в приятии ее или отталкивании, – но как естественная составляющая единого транснационального дискурса. Без этого «русского участия» и сам европейский многоголосый Париж не полон и не может быть описан и понят.

Париж – это «внутренний локус контроля», интернальность романа, еще один герой его, – да пожалуй, главный рассказчик. «Париж, в который был влюблен мой отец, в котором была жива мама... дым, опилки, битое стекло... Аполлинер, Арто, Теодор, Бретон, Вера... и

многие, многие другие... газ, крики, кровь... тот Париж, с которым я сросся... связки рвутся, кости хрустят...» – «Надо думать, родным был не город, а само сновидение, в которое я окунулся, как кисточка в банку с водой, и краска расплзается, краска и есть этот город, которым я брежу, по которому иду в этом прозрачном, как чистая вода, сне. Солнце разбирает меня, я в нем таю, краска сползает с меня, и мне верится, что я тут живу, знаю эту булыжную мостовую, знаю эти плитняковые стены, эта лепнина мне знакома, и конусные шапки башенок вдали, луковицы собора, статуя Петра... и я знаю себя, самое главное, знаю настолько глубоко и подробно, как немногие себе могут позволить. <...> И я понимаю: я – есть, на этой скамейке, в этом маленьком парке, где сквозь голые ветви проглядывает похожая на туру башня и все вокруг заливает вездесущее солнце, я – это я, от себя не уйти.» Впрочем, топоним «Париж» – это совершенно отдельная тема, и я ее касаться не буду. Не скрою, что на его улицах, в его домах меня больше увлекали люди, магический кроссворд их имен и судеб.

Остановимся на главных, на нарраторах. Начнем с молодого газетчика Виктора Липатова, бежавшего из СССР и угодившего в самую гущу парижских студенческих волнений 1968-го. Уже его история, наиболее прозрачная и понятная современному читателю, порождает несколько аллюзий, связывающих его с другими героями, определяющих неслучайность встреч и дружб. Виктор диссидентствовал в Союзе, посидел в психушке, от него отреклись родители, он бежит из страны, нелегально пересекая границу, его приветствуют Штаты, но в Америке ему пресно... Как напоминает всё это другую историю – ну, скажем, Саши Соколова, – и вот уже эта реальная биография словно дописывает биографию героя, рассказанную так вскользь... А вот и еще связка, которую так просто пропустить: Виктор бежит не через южную границу, как *тот* что *до него*, а другим путем, выше, финской, как один зек подсказал... И читательская память должна бы подсказать: не так, как Соколов пытался в свои 19-ть, а как Солоневич бежал... Герой скреплен с историей Зарубежной России судьбинными связками, но как-то поневоле; его жизнь априори существует в контексте чужих реальных и вымышленных сюжетов – еще до того, как он их узнает, как задумается над ними; провидение ведет его, оно само определяет, как и что будет выстраиваться.

В науке есть такое понятие: *реликтовое излучение* – равномерное, постоянное заполняющее Вселенную тепловое излучение, свет первичной плазмы... начало начал... Это определение как нельзя более точно объясняет роман Андрея Иванова. Реликтовое и базовое, дарованное нам как неизбежность, согревающее и необходимое, любимое даже, но лишаящее воли и выбора... Реликтовое излучение

старой русской эмиграции. Так Виктор попадает в газету «Русский парижанин» – удивляться ли: как, в ту самую, в старую русскую?!.. Вот и перечень имен – романых, но как похожи! – Игумнов, Роза Аркадьевна (Зинаида Алексеевна?), Шершнеф (Сергей Шаршун?), Гвоздевич... (Зданевич? Стоит ли удивляться, что умирающая жена Гвоздевича – черная принцесса? – Нет, не стоит, зная о нигерийской принцессе-жене Ильязда...). Да и легкая тень Марианны-Мари-Маришки, родившейся в Анжере, на Собачьем кладбище, зрителем которого был ее дед, невольно связывает героя с далекими эмигрантскими сороковыми... И старый Альфред со своими «скелетами» прошлого – и вполне реальным одним, что не в шкафу, а в средневековой церкви...

Всё уводит в прошлое, в послевоенный реликтовый Париж, ко второму рассказчику. Саша Крушевский. Младоземigrant, потерянное поколение. Это он станет в романе хроникером послевоенной русской эмиграции, истории Великого переселения народов, движимых Второй мировой. Это он станет свидетелем частных трагедий русских репатриантов, которых по Ялтинскому соглашению союзники насильно выслали в СССР, – и тех, которых добровольно вела в ГУЛаг «любовь к отеческим гробам» – от французского *потешного кладбища*... Гроб ведь и должен быть связан с кладбищем... И в этой игре слов и понятий – реальность, которую складывает Андрей Иванов в своей мозаике метафор.

Трагедия апатридов, беженцев от русского двадцатого века. «Чтобы воевать и убивать, нужно стать кем-то другим, чтобы видеть смерть, тоже нужно чуточку искривиться, прищуриться в душе. Война кончилась, второй год уж как, а они всё такие же, с прищуром, с кривизной. Теперь понимаю: никогда это не кончится.» Экстермальность переживших войну. Революцию. Изгойство. Прищурившаяся душа.

Души, что так и не сумели *жить, ожидая* возвращения в минувшее. Прошлое как будущее. И опять – аллюзия к реальному эпизоду из тех лет: освобожденный из немецкого концлагеря за участие в Сопротивлении, отец моего знакомого повесил над кроватью сына рядом с иконкой Сергия Радонежского... портрет Сталина, «освободителя». В 1917-м, ребенком, он едва уцелел, бежав от Ленина. Вернувшись к «гробам», угодил в ГУЛаг. Через двадцать лет сын его вырвался назад, в *свое* отечество. К своему кладбищу. Вот и в романе возникает история старика Боголепова, зрителя «потешного кладбища» для животных. «У Боголеповых чуть ли не каждый вечер обсуждают Сталинский Указ, жадно читают в ‘Русских новостях’ речь посла и обращение митрополита Евлогия, который первым во

Франции получил советский паспорт» – это вполне реальная ситуация поздних 40-х: Указ о «прощении» белоэмигрантов, даровании им советского гражданства и о разрешении вернуться на родину. (История другого могильника для животных – не потешная: после войны пришедшие к власти в Югославии коммунисты на Скотском кладбище расстреляли всех оставшихся в стране белых офицеров (выстроивших в свое время само государство Югославия!), не ушедших вослед немецким войскам, не бежавших в союзнические свободные «зоны»... Сколько еще судеб и жизней оставила русская эмиграция на этих рассеянных по миру кладбищах скотских...)

Определение «потешный», которое использует автор, выводит нас к теме игры, потешного войска, потешных баталий, ярмарочного балагана. Таким «балаганом» – вопреки трагедии – оборачивается вакханалия репатрианства. И «потешная» судьба Саши Крушевского – идеалиста, пытающегося отыскать отца, исчезнувшего в пространстве эмиграции и войны. Чем не судьба всего «потерянного поколения» Варшавского? Поплавского? Газданова? Младоземигрантов – без отечества. «...я себя чувствовал куклой, куклой в шарманке мироздания...» – «Меня вытряхнули, как вещевой мешок, раскидали, растоптали всё, чем я был. Набили ужасом, болью, страхом, чужими ранами, болячками, стонами, криком. Я невзлюбил людей. В болях и нужде они отвратительны. Я от них убежал и спрятался. <...> Война закончилась, но не для меня. У меня все только начинается.» Трагедия Саши – не только в боине войны. Нет, она началась раньше, он родился в ней. Это трагедия «промотавшихся отцов», горькой сыновьей любви и отчаяния, – тема, сквозная для прозаика Андрея Иванова. Но здесь она приобретает черты исторические, масштабные, отходя от истории личного предательства (отец Саши оказывается агентом ГПУ, а вовсе не участником Белого движения за границей) к предательству отцовства как гаранта защиты, фундамента самой жизни, в конце концов. Не история блудного сына – это другая библейская легенда, – об Аврааме, принесшем в жертву по Слову Божию своего любимого сына Исаака, – «во всеожижение» «в земле Мория», «на одной из гор». О праотце, готовом убить дитё во имя высшей Идеи, Веры, Надежды. Не видя, что Бог лишь смеется над ним, Авраамом, искушает, предлагая «обстоятельства», взирая сверху вниз на то, как во Имя Его с готовностью устилается это потешное кладбище трупам сыновей – жертвами своих отцов.

Реальные провокаторы ГПУ, советские послы и агенты, убийца французского президента и глава русской фашистской партии смешаются на страницах романа с вымышленными персонажами; мозаика, в которой каждый пазл будет заполнен, и мертвой хваткой

сцепятся подробности в общей картине. «В стране было сто тридцать семь советских лагерей! Помимо них, были миссии, квартиры, агенты, а также советские патриоты, повоевавшие в Сопротивлении. Мы вообще не представляем, к чему всё шло.» А мне вспоминается отчаянное послевоенное письмо Варшавского с мольбой об американской визе: не сплю, боюсь, что вот сейчас, ночью, постучат в дверь, открою – а за ней – они, агенты чека, пришли за мной...

Нет, в нашем романе Бог не отводит руки Авраама, как в библейской легенде, – кинжал занесен и опущен, агнец обречен на заклание. Так погибает и Николай – сын Боголепова, исполняя волю отца и репатриируясь вместо него в сталинский СССР. Такой простоватый отец Боголепов, старик-смотритель звериного кладбища, оказывается верным последователем сегодня забытого всеми Каллистрата Жакова, зырянского проповедника учения лимитизма – «философии предела». Нет, сам Боголепов лишь тянется к отеческим гробам, это домашних своих он подведет к тому самому *пределу* – и они заглянут за него. «Он отворил для них ворота в ад, назвал пламя адово 'высшей целью', 'Россией', 'борьбой' и наблюдал за тем, как души стремятся туда, на погибель.»

От предательства отца, хлестнувшего сына кинжалом по горлу, погибает и сам Крушевский. Восставая на Отца, он идет в Его храм – и стреляется. «...его смерть была столь просторна, что, казалось, могла вместить всех прихожан, всех случайных прохожих, эхо вырвалось и мчалось по улицам, как сошедший с рельсов поезд». Так герои романа поднимаются на вторую ступень в своем восхождении.

А что же отцы?... Здесь пора обратиться к последнему рассказчику – и пожалуй, наиболее интригующему. К Альфреду Моргенштерну. Фамилия героя для знающего читателя уже несет с собой мощный контекст исторической России и Европы; аллюзии самые разнообразные – от известного еврейского рода талмудистов (Менахем Моргенштерн был первым среди цадииков по знанию Текста в среде польских хасидов), богатейших купцов и предпринимателей (среди них мы находим и реального Альфреда Моргенштерна), и даже графолога Илью Федоровича Монгенштерна (Моргинштерна), чья книга «Психо-Графология, или наука об определении внутреннего мира человека по его почерку» разоблачила многих политических деятелей начала XX века и была среди первых изъятых большевиками. Но главным персонажем в роду окажется все-таки женщина – Ханна Арендт, дочь Альфреда, ученица Мартина Хайдеггера и Карла Ясперса, исследователь антропологии немецкого тоталитаризма и, в целом, *природы зла*. Это она заговорила о «Банальности зла», о склонности человека к «эйхманизму», утверждающемуся на почве

тоталитарного государства, — когда зло связано не с порочностью человека, но с его неспособностью самостоятельно мыслить и быть ответственным за свой выбор. Не об этом ли, в том числе, и роман Иванова? «Подумать только, даже зверства, которые разорвали гуманизм, как оберточную бумагу, разбили драгоценные представления о человеке, которого заботливо лепили, как античную вазу, кропотливо создавали, как фрески эпохи Возрождения, и в считанные годы лишили всякой святости, втоптали в дерьмо, в лагеря и газовые печи; даже самое страшное, уродливое, и оно тоже пришло в мир с особым замыслом, из тех же чертогов, откуда изливалось на меня и само это чувство!»

...Как удивительно эстетично начиналась жизнь Альфреда Моргенштерна! Как прекрасно было время его юности! Париж начала прошлого века, семья эмигрантов из Империи, мальчик — непременно в бархатной курточке, играющий роль «incredible man». Невероятный мальчик живет в витрине магазинчика, растиражирован на открытках. Жизнь-перформенс, наивно-трогательно-вызывающая — как наивен в своих искушениях Париж золотого века.

Как разрушительно, однако, оказалось это время на практике! Какой дьявольской иронией обернулась игра, погружение в эстетику зазеркалья... Идеальная жизнь за стеклом... идеальная жизнь в искусстве... Стоит лишь бросить камень — и витрина-граница разобьется, и банальное зло окажется на улице и в душах. А камень будет, будет брошен: ломать старое... сбросить с корабля современности... наш новый мир построить... И вот подросток Альфред Жари (наш Альфред?) сочиняет пьесу «Король Убю» для домашнего кукольного театра... Вот и дада рожден. Да-да. «Вторжение» началось. Жан-Люк Нанси провозглашает l'intrus, и Зданевич смещает фразы, слова, буквы, — и речь как вторжение смысла в набор звуков... Дада — это «принципиальное сомнение», ревизия жизни, общества, власти, морали, традиций и авторитетов. Ревизия реликтовой старушки-Европы. Критическая практика, а не просто эстетика. Кокто, Джакометти, Тцара, Бретон, Шанель... Все они пробегут по страницам романа Иванова легкой тенью — и оставят на тротуарах Парижа едва заметный пунцовый след. И умоется Город кровью. Отныне и навсегда.

Альфред обращается к другу Сержу Шершневу-Шаршуну: «...там не было ничего, Серж, ты слышишь!.. там ничего не было!.. я грешил на музыку, уверял себя: музыка меня подвела, потому что она разбирает звуки, музыка — как язык — на самом деле обкрадывает нас, звуки ей не принадлежат, точно так же как весь мир — не собственность языка, за языком и музыкой стоит нечто большее: разлад главенствует над всем, в основе мироздания — бунт, удар кирки, разжа-

тие пружины, раскол коры звука... искусство – это трещина, сквозь которую ты набираешь сок небытия, а потом носишь в себе, пьянея... всё это мое, я в этом пребывал, произошел из хаоса, только всю жизнь отговаривал себя: забыть, забудь!.. прятал от себя, чтобы не бояться сияния, которое пронзает эту бесконечную черноту, я вступил в нее, как в чернильную кляксу, ошибочно приняв туннель за полосу мрака», «мы всю жизнь прожили во лжи. Нас окружали фантомы и галлюцинации».

И Альфред – вечный русский парижанин, соединивший в себе и средневековую Францию церкви Saints Michel et Gudule, и иностранные Монмартр и Монпарнас (как верно сказано о нем у Марии Рубинс в ее «Русском Монпарнасе»: Париж XX века создавали иммигранты, на смешении языков, эстетик, традиций, – добавлю: и своих трагедий), и французское Соппротивление, начатое русскими эмигрантами, и надежное убежище от агентов ГПУ для советских «врагов народа»-репатриантов-поневоле, и отцовское пристанище для детей своих – громящих его Город в 1968-м... Дада станет началом и концом Парижа. «Я стоял и беспомощно смотрел на толпу бунтарей, которые собирались разнести мир в щепки, такой дорогой мне мир... я хотел закричать, и закричал, но не ртом, а сердцем – крик полетел внутрь, как если б я кричал в колодец.»

Новый мир Альфреда обернется кровавым оскалом... И вызовет усмешку горькую сына перед потешным кладбищем, где и ему придется лечь... А из «идеального» останется лишь антикварная коллекция Альфреда. Лавка древностей. В каком-то смысле – тоже потешное кладбище. Старых вещей, любовей, надежд, идей. «...я – случайная игрушка века, из меня делали то клоуна, то поэта, то манекена. Я пытался быть полезным, но и тут не вполне получилось.»

...Кого-то не хватает? Ах, да, – распятого Бога. Вершины горы, на которую взойдет Авраам со своим любимым сыном Исааком, чтобы убить его. И вот потрясенный Альфред Моргенштерн увидит, как стреляется Сын в старой церкви, среди молящихся. Как играют взрывы восставших детей на милых улицах Парижа. Как смеются сыны от слезоточивого газа, выпущенного по команде отцов. Потешное войско, убивающее друг друга «взаправду». Как старый мир в обнимку с новым побивают друг друга. Как и сегодня пылает Триумфальная арка – то ли от желтых жилетов, то ли от огня...

Мечтатель-дадаист-эстет, Альфред, идеальный мальчик-старик, он попытается сбежать с этой вершины, на которую карабкался весь XX век. Он сядет в поезд – этот исчезающий символ эмигрантской судьбы, который помчит его к границе... Чего?.. Милый, старый мальчик, Господь посмеялся над тобой. С самого начала ты и был лишь

обитателем потешного кладбища. Вне его, Альфред Моргенштерн, тебя не существует. Это просто игра такая. Божественная игра. Увлекательнейшая. Не более. И вне этой игры, вне реликтового потешного кладбища, дада не жилец. Так умирает последний герой этой французской русской трагедии. «Смерть – это граница; по ту сторону бытия, кажется, всё устроено, как у нас (а может, мы тут приспособливаемся, скверно подражая): тоже есть таможня, которая отбирает у тебя нечто ценное, твое тело, и связанные с ним сенсоральные воспоминания, и прочую контрабанду, которую мы во время жизни не замечаем, возим с собой, как улитка свой домик, всякие пустяки, которым мы не придаем значения, без которых жизнь невозможна, – наверняка где-нибудь есть список запрещенных вещей.»

А что же остается? Конечно – Париж. Вечный, прекрасный, недостижимый, искусительный. Прекрасный Paris со своим яблоком раздора. Вкуси, читатель.

БЛОК ИГОРЯ МИХАЛЕВИЧА-КАПЛАНА

Ирина Панченко (1939–2009). Эссе о Юрии Олеши и его современниках: статьи, публикации, письма. Под редакцией Ксении Гамарник. – Ottawa: Accent Graphics Communication. 2018. 575 с.

Филолог, искусствовед и журналист Ирина Григорьевна Панченко была одним из первых литературоведов, начавших изучать творчество Юрия Олеши (1899–1960). Затем она написала и защитила диссертацию на тему «Стиль Юрия Олеши и его связь с судьбами романтической традиции в советской литературе». На волне хрущевской «оттепели» возродился интерес к произведениям писателя. И вот дочь, увы, ушедшей от нас писательницы, литературный критик Ксения Гамарник, собрала статьи Ирины Панченко в объемную книгу в 575 страниц, куда вошло более двадцати пяти эссе.

Ирина Панченко писала в разнообразных жанрах, следуя своим научным интересам, и вместе с тем не забывала о злободневных запросах современной литературы. Хорошо запомнились ее литературные портреты писателей Юрия Олеши, Георгия Демидова, Аркадия Белинкова, Марии Веги и других литераторов, включенные в книгу. Были чрезвычайно ценны публикации ранней поэмы Ю. Олеши «Беатриче», а также «Свидетельства киевского периода жизни Михаила Булгакова», записанные во время встреч автора с киевлянами, знавшими родителей писателя и его самого студентом. Неожидаанными были архивные находки Ирины: агитпьеса Олеши «Слово и дело» начала 1920-х гг., текст внутренней отрицательной

рецензии на превосходный перевод сказки Олеши «Три Толстяка» на украинский язык («Залізне серце»), предопределившей забвение этого перевода в ворохах архивных бумаг на 80 лет – и по сей день.

Умение глубоко анализировать, сравнивать, проводить параллели проявила Панченко в ряде обобщающих статей. Хотя литературоведение являлось для Ирины Панченко основной и любимой формой творчества, не забывала она и о журналистике, опыт которой приобрела до того, как стала исследовательницей литературы; среди ее текстов – и рассказ о создании и судьбе первого в СССР памятника Осипу Мандельштаму во Владивостоке, включенный в книгу.

Когда-то в разговоре с Ириной Панченко я ее спросил: «Почему для темы своей дипломной работы, а потом и кандидатской диссертации, вы выбрали творчество Юрия Олеши?» И она мне рассказала историю, как это случилось.

Олеша был одним из тех писателей-изгоев, которых двадцать лет, до «оттепели», не издавали. Но это была не единственная причина ее выбора. Однажды, когда она училась в пятом классе, в квартире своей подруги увидела книжку с чудесными цветными иллюстрациями, хотя и зачитанную, истрепанную вконец, с загнутыми страницами. Листая, начала читать – эта проза пронзила своей поэтичностью: «Легкий ветерок развеивался, как воздушное бальное платье»; «Трава была такой зеленой, что во рту даже появлялось ощущение сладости»; «Юбки походили на розовые кусты»; «Мосты казались кошками, выгибающимися перед прыжком железные спины»; «Фонари походили на шары, наполненные ослепительным кипящим молоком...» Книга была так прозрачно и так несказанно красиво написана! Так непохоже ни на какую другую детскую книгу! Ей захотелось узнать имя автора. Но, увы, в той книге не было обложки и первых страниц. Меж тем почитать это «безымянное» творение, в которое она влюбилась, домой ей дали. Она чуть ли не на память его выучила.

А через два года в ТЮЗе, где она уже тогда была активисткой, начали репетировать спектакль «Три Толстяка», в котором она мгновенно узнала и сюжет, и персонажей так заворожившей книжки. Имя автора, наконец, открылось. Вот почему, когда пришло время написания дипломной работы, а затем диссертации, она не могла не выбрать Олешу, разбудившего в ней эстетическое восприятие литературного слова.

...Работая над диссертацией в Москве в библиотеке, она увидела экземпляр книги «Три Толстяка» – вроде того, который впервые попал к ней в руки. Он имел подзаголовок: «Роман для детей». Был впервые издан в Москве, в 1929-м. Двадцать пять рисунков в этих изданиях принадлежали известному мастеру книжного оформления

и театральному художнику Мстиславу Добужинскому, который был членом объединения «Мир искусства».

Так у Ирины появился проект по исследованию творчества Юрия Олеши. Сложности вполне могли бы быть, но ее официальный научный руководитель, член-корреспондент Академии наук УССР, взяла на себя обязанности цензора («Ведь мы не будем этого писать, правда?»), да и сама Ирина тогда многие лживые идеологические штампы готова была принимать за истину, еще не понимая, что полного глубокого обновления общественного мышления и самого общества в годы «оттепели» не произошло. Заменяв правду полуправдой, власти продолжали обманывать. Фактическим же руководителем диссертации стал известный московский литературовед и писатель Аркадий Белинков. Об этом она написала в предисловии к публикации его писем: «А. В. Белинков – учитель, наставник» в 2007 году в сентябрьском номере «Нового Журнала». Их переписка была как раз сосредоточена вокруг тех или иных аспектов ее диссертации. Ирину Панченко в ту пору восхищал Олеша-художник. Она хотела писать об этом. И Белинков терпеливо старался научить ее преодолевать «розовый идеализм», за эстетикой видеть социальные смыслы. Некоторые его уроки стали ей понятны только много лет спустя.

Кроме Аркадия Белинкова, ее подругой стала Мария Вега... Когда она переехала в США, то написала в 2001 году в мартовском «Новом Журнале» о замечательной поэтессе и художнице, эмигрантке первой волны, Марии Веге, вернувшейся на склоне лет из Франции в Россию. Эссе «Разлуки грусть (Встречи с Марией Вегой)» включено в эту книгу.

Ирина Панченко предпринимала шаги к изданию своей работы об Олеше. После успешной защиты диссертации она написала проспект книги и отважно разослала его в 20 издательств, от Москвы до Одессы. И вскоре получила 20 отказов – от Одессы до Москвы. Основной, вполне отвечающий реальности тех лет, мотив: «Наш издательский план уже утвержден на ближайшие пять лет». Оставалось испробовать последнюю возможность. К тому времени она была преподавателем вуза, печаталась в профессиональных журналах, была членом научно-методического Совета по пропаганде литературы при обществе «Знание». Это республиканское учреждение как раз и возглавлял один из отцовских коллег Ирины. И она понесла ему заявку на небольшую книжку об Олеше. Отцовский коллега был благосклонен и только спросил: «А в энциклопедии этот... А-а-леша хотя бы есть?» Она заверила, что есть. Так спустя некоторое время и появилась книжечка «В поисках совершенства (О творчестве Ю. К. Олеши)». Между прочим, сам Юрий Олеша как-то язвительно

заметил: «В последнее время образовались ножницы, некое несоответствие между сроком прохождения рукописи в издательстве и сроком человеческой жизни».

Приехав в Америку, Ирина имела возможность продолжать заниматься любимой профессией. Она была постоянным корреспондентом многих периодических изданий, печатающихся в Филадельфии, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, штатах Нью-Джерси, Миннесота. Время от времени читала лекции в «Клубе русской книги». Была членом Американской ассоциации преподавателей славистики и восточноевропейских языков (AATSEEL), выступала с докладами на ежегодных научных конференциях. Статья «Бунин и Олеша. Литературные параллели» также включена в книгу эссе. Критериями статей являлась научная новизна, самостоятельность, неожиданный поворот мыслей... «Здесь такая свобода творчества – норма, – говорила Ирина, – а я до сих пор отношусь к ней как к чуду».

Ирина Панченко надеялась на продолжение работы над своей постоянной темой – творчеством Юрия Олеши. Новое зрение, обретенное здесь, в США, позволило ей расширить взгляд на творчество любимого писателя, переосмыслить прежние подходы, трактовки, идеи. Наступила пора интеллектуальной жатвы.

Изданная книга Ирины Панченко – лишь часть всего напечатанного ею и сделанного на ниве педагогики и просвещения. Думаю, что усилиями Ксении Гамарник вскоре увидит свет и новая книга Ирины Панченко.

* * *

Лев Бердников. Дерзкая империя (нравы, одежда и быт Петровской эпохи). – Москва: Издательство АС. 2018, 384 с.

Автор книги «Дерзкая империя» Лев Бердников составил великолепную художественно-документальную мозаику на тему нравов, одежды и быта Петровской эпохи Российской империи. И, прежде всего, ярких представителей правящего класса: аристократии, придворных, государственных деятелей, вельмож, полководцев, законодателей, дипломатов.

Но сначала об авторе. Лев Бердников – автор более десятка книг, в основном по российской истории; опубликовал около трехсот материалов в России, США, Канаде, Израиле, Германии, Дании, Латвии, Украине. Мне хочется, кроме этих формальных, но необходимых строк, рассказать о своем личном отношении к автору книги. Имея большой редакторский опыт в Зарубежье, могу смело заявить, что Лев Бердников – человек редкой породы, сочетающий в себе качества

серьезного ученого, исследователя истории культуры, прекрасно пишущего литератора и литературоведа. Это сочетание талантов дало ему возможность проявить себя и как филолог, архивист, культуролог. И я сам иногда пользуюсь его экспертизой, обращаюсь к нему за советом. Он, при всей широте эрудиции, человек чрезвычайно скромный, приветливый и доброжелательный; учтивость и человеческое обаяние сочетаются в нем с врожденной интеллигентностью и интеллектом.

Но вернемся к его последней книге. Хочу заметить, что подход Льва Бердникова к «сотворению» героев резко отличается от подобного рода литературы. Тема русской истории стала популярной и отчасти спекулятивной в Зарубежье, а отсюда – поток дилетантизма, демонстрация поверхностного знания предмета да и малоталантливости опусов. Один из «секретов» творчества Льва Бердникова – это его умение создать психологический портрет своего героя, независимо от того, идет ли речь о новгородском князе Василии Голицыне, о друге и наставнике Петра I – Франце Лефорте, о самом Петре I, о несостоявшейся царице Анне Монс, сподвижнике Петра Великого – Борисе Шереметеве, стольнике Петре Толстом, о сиятельном казнокраде Матвее Гагарине, фаворите царя Александре Меншикове, первом российском полицмейстере Антоне Дивьере и многих других. Автор исследования создал и целый ряд женских портретов – не только царствующих особ, но и влиятельных дам при дворе: Екатерины I, Анны Крамер, Анны Иоанновны, императрицы Елизаветы, Натальи Лопухиной и других. Автор находит такие краски и детали, что образы этих людей не просто оживают перед нами, – мы начинаем сопереживать им, входить в их сложный мир, соприкасаться с их судьбами. Другой «секрет» этих героев – их совершенно фантастические биографии. Здесь присутствуют все жизненные коллизии: взлёты и падения, ссылки и казни, дружбы и предательства, наветы и признания; мы узнаем из рассказанных историй о мире дипломатии, военного дела, торговли, путешествий, ремесла, науки...

Герои Льва Бердникова принадлежат к различным слоям общества – от вельмож до случайных иностранцев, но они вошли в историю именно потому, что были на виду, проявили свои таланты и вращались в высших государственных и придворных кругах царской России. Рассказано здесь и о тех деятелях, кто сыграл видную роль в российской культуре, науке, просвещении, чем прославили отечество и обессмертили свои имена. Автор выстраивает целую галерею портретов выдающихся российских деятелей времен Петра I. Поражает при этом завидная широта их профессиональной деятельности. И каждый из них оставил свой неповторимый след в истории. Цель

автора – раскрытие образов его героев, их мотиваций и поступков. Лев Бердников создает оригинальную систему литературных законов, внутри которой они, эти герои, существуют и действуют. Он приводит в движение человека и систему власти, в которой тот находится. Анализируя всевозможные поступки персонажей, автор расшифровывает свою собственную программу мироощущения – что он хотел бы сказать и раскрыть, – таким образом выстраивая исторический материал относительно самого себя, высказывая и свое личное отношение к предмету исследования.

В предисловии к книге совершенно справедливо отмечено: «XVIII век – самый загадочный и увлекательный период в истории России. Он раскрывает перед нами любопытнейшие и часто неожиданные страницы той славной эпохи, когда стираются грани между спектаклем и самой жизнью, когда всё превращается в большой костюмированный бал, с его интригами и дворцовыми тайнами. Прослеживаются судьбы целой плеяды героев былых времен, с именами громкими и совершенно забытыми ныне».

Книга писателя Льва Бердникова – документально-художественное повествование. Он сумел дать широкую и правдивую панораму исторического материала, что позволило читателю по-новому взглянуть на русскую историю и общественные отношения того времени. Автор-эрудит проводит экскурс в увлекательный мир знаменитых и интересных людей при правлении царя Петра Великого. Лев Бердников проделал огромную исследовательскую работу по изучению изданных исторических материалов, архивов и документов.

* * *

Елена Литинская. Семь дней в Харбине и другие истории. – Чикаго: Bagriy & Company. 2018, 350 с.

Елена Литинская – поэт, прозаик, литературный критик, общественный деятель. Я знаю ее давно – ведь мы приехали в эмиграцию почти в одно и то же время; внимательно слежу за ее публикациями, особенно в прозе.

После Василия Аксенова и Сергея Довлатова в русскую зарубежную литературу пришло новое поколение блестящих беллетристов, к которому я отношу и Елену Литинскую. Произведения Литинской – вещи выстраданные и пережитые, написанные о людях с нестандартными характерами и судьбами иммигрантов. В том и проявляется талант писательницы, при ее четкой авторской позиции и с узнаваемыми интонациями: глубоким проникновением в человеческую психологию. В своей прозе Елена Литинская достигает большой

достоверности и выразительности, необычных поворотов сюжета и реалистичных характеров колоритных героев рассказов и повестей. Главные сюжеты повествования – иммигрантские истории.

Повесть «Бабушкино письмо» связана жизненной нитью с автором. Здесь Елена Литинская делится воспоминаниями о своей семье, о детстве: знаменитых дедушке и бабушке – ведущих польского театра легендарной Иды Каминской. А как умело автор передает ностальгические воспоминания о театре на идиш, об остатках этой культуры, о страхе перед властями и соседями-доносчиками, о бедности и суете в послевоенной Москве... Девочка (прототип – сама Литинская) пыталась всему научиться и всё запомнить: тесную квартиру, поездки на каникулы в Польшу летом, маленькие сценки, которые разыгрывали специально для нее дедушка и бабушка... Я получил истинное удовольствие, читая эти страницы повести. И не только потому, что вспоминал свое похожее детство, а еще и потому, что находил потерянный во времени мир национальной культуры. Автор пишет об этом периоде осторожно, бережно, деликатно. И еще одна линия сюжета просматривается здесь: любовь всех действующих лиц к России и русскому языку – своеобразному мосту между Америкой, где много лет жили и гастролировали дедушка и бабушка, и Россией, где жила их внучка.

В повести «Мужчины, машины и судьба» нашу героиню жизнь сведет с Дмитрием Истратовым, ставшим позднее ее мужем. Текст согрет глубокими чувствами к этому удивительному человеку. Потомок знаменитых бояр Истратовых, он нашел себя в роли талантливого звукорежиссера на радиостанции «Свободная Европа» в Нью-Йорке... С самого начала ясно, что эта пара создана друг для друга, полна любви и благородства по отношению друг к другу. Но... Вот это вечное «но». На протяжении всего повествования мы видим, как включаются в работу жизненные «помехи и шумы», то случайное, что уничтожает наши самые искренние порывы, «моменты истины».

В новой книге «Семь дней в Харбине» расположились истории из разных предыдущих циклов прозаика. Здесь, как в калейдоскопе, вы найдете эмигрантскую тему («Нелегалка, или Американская мечта»), рассказ из моего любимого цикла «Записки библиотекаря» («Выход»), картинки из современной американской жизни (рассказ «Из огня да в полымя»), повествования на исторические темы, семейные записки и другие рассказы.

* * *

Русское Зарубежье: Антология современной философской мысли / Автор-составитель Михаил Сергеев. – Boston: M-Graphics. 2018.

В сентябре и ноябре 1922 года два «философских парохода» – «Обербургомистр Хакен» и «Пруссия» – увезли из советского Петрограда в германский Штеттин около 160 человек. В вынужденную эмиграцию были отправлены «выдающиеся деятели отечественной философии, культуры и науки», в их числе Николай Бердяев, Семен Франк, Иван Ильин, Лев Карсавин, Николай Лосский и многие другие. Предпринятое по инициативе Ленина насильственное выдворение из страны ее интеллектуальной элиты спасло этим людям жизнь, но надолго прервало традицию свободного философствования в России. Депортированные мыслители продолжали свое творчество за пределами отчизны, составив впоследствии славу Русского Зарубежья.

В Советском Союзе об этой спецоперации ничего не писали, и только после развала СССР, в начале девяностых, подробные сведения о высылке российской интеллектуальной элиты стали просачиваться в СМИ и доходить до населения. За прошедшие с тех пор четверть века информация об этих событиях, получивших название «философский пароход», стала предметом многочисленных публичных обсуждений и специальных исследований.

В 2003 году Российское философское общество провело ответное мероприятие, которое призвано было показать, что российские интеллектуалы возвращаются в Россию. Отправляясь на XXI Всемирный философский конгресс в Стамбуле (Турция, 2003 г.), российские философы... арендовали в Новороссийском морском пароходстве самый большой на Черном море российский теплоход «Мария Ермолова», на котором 152 участника этой акции (из 38 городов России, а также Украины, Белоруссии и Киргизии) прибыли на конгресс, где корабль стал для них гостиницей на воде, а затем вернулись в Новороссийск, символизируя возвращение «философского парохода», высланного из России в 1922 году.

Среди участников данной антологии – представители русскоязычных общин из восьми стран мира, расположенных на трех континентах: Соединенных Штатов, Германии, Италии, Швеции, Швейцарии, Украины, Китая и Израиля. Большинство мыслителей, включенных в антологию, представляют также две, последние по времени, волны русской эмиграции – третью и четвертую. Что касается жизненных судеб, гуманитарной специализации и исследовательских тем, то тут разброс еще более внушительный. Профессора университетов соседствуют на страницах антологии с профессио-

нальными безработными, литературный критик – с православным священником, телеведущий и литератор – с издателем и музыкантом. Поднимаемые в статьях вопросы охватывают весь спектр современной философской проблематики – от эпистемологии, онтологии и философской антропологии до философии культуры, религии, а также социальной и политической философии.

В отличие от стандартов, принятых в словарях и энциклопедиях, авторы в антологии расположены не по алфавиту, а по «старшинству». Открывает книгу статья одного из старейшин Русского Зарубежья, «легенды русской историософии» Александра Янова, далее следуют материалы Игоря Ефимова и Игоря Смирнова, Анатолия Ахутина и о. Владимира Зелинского, Бориса Гройса и Карена Свасьяна, Михаила Эпштейна и Александра Гениса, а также многих других замечательных философов. Заключает антологию мини-трактат самого молодого участника сборника, русско-немецкого философа Владислава Златогорова. Антология включает разделы с вполне знаковыми заголовками – «Предисловие: Философский парокход-2», «Скрытые гроздьи гнева», «В буре страсти»; «Частное письмо»; «О конце истории философии», «От анализа к синтезу. Призвание философии в XXI веке» и др.

Михаил Сергеев, Игорь Михалевич-Каплан

Молодяков В. Э. Тринадцать поэтов: Портреты и публикации. – М.: Водолей, 2018.

Гений потому и гений, что думает за всех и наперед. Ближе к концу 1980-х Михаил Гаспаров и Лев Озеров заговорили о необходимости изучать и публиковать так называемых «малых поэтов», «второго ряда». Удивительно: в те поры у россиян не было еще сколь-нибудь приличного издания Ахматовой или Гумилева. И неожиданно случилось, что некоторые литературоведы восприняли этот призыв чрезвычайно. К их числу принадлежит и Василий Молодяков, уже в 1990-е годы зарекомендовавший себя как скрупулезный исследователь поэзии Серебряного века, а позже и Русского Зарубежья. Сегодня он – профессор университета Такусёку (Токио), российско-японский политолог и историк, получивший ученые степени в России и Японии.

Новая книга Молодякова представляет портретные очерки, посвященные жизни и творчеству одиннадцати русских поэтов и одного американского: Дмитрий Петрович Шестаков (1869–1937), Александр Ефимович Котомкин (1885–1964), Михаил Александрович Струве (1890–1948), Владимир Николаевич Маккавейский

(1891–1920), Эрих Федорович Голлербах (1895–1942), Борис Иванович Коплан (1898–1941), Семен Максимилианович Дионесов (1901–1984), Григорий Яковлевич Ширман (1898–1956), Вадим Сергеевич Шефнер (1914/15–2002), Георгий Ираклиевич Мосешвили (1955–2008), Джордж Сильвестр Вирек (1884–1962). Читателя ждет встреча еще с одним автором, по имени Юрий Андреевич Живаго (?–1929), – да-да, тем самым героем романа Б. Л. Пастернака. Недостающее до объявленного (*тринадцатъ*) количество добирается благодаря публикации маргиналий Вадима Габриэлевича Шершеневича (1893–1942) на книге стихов В. Я. Брюсова «Меа».

Читая обстоятельные, написанные в неспешной повествовательной манере очерки, далеко не сразу поймешь, сколько труда и времени занял у автора сбор материала. Василий Молодяков – библиофил-коллекционер, и многие сведения черпает из собственного архива, однако и туда они должны же как-нибудь попасть. Порой от начальной вспышки интереса до статьи – дистанция в годы и десятилетия. Молодяков иногда приоткрывает для нас свою поисково-исследовательскую кухню. Вот, например, его размышления о записи, сделанной Михаилом Струве на экземпляре книги «Стая» (1916): «Кому предназначалась эта запись? Дарственной надписи на книге нет, но на авантитуле написано (как будто другой рукой) ‘Для отзыва’, а на обложке видны проставленный чернилами номер ‘4569’ (видимо, ‘входящий’) и еле читаемый штамп ‘22 мар[та] 1916’. Следовательно, сборник был послан в какую-то редакцию. Судя по карандашным отчеркиваниям на полях, его прочитали. Рецензент? Может, Айхенвальд? Увы, из его отзыва мне были доступны только <...> слова, процитированные в биографической справке о Струве. Надо найти полный текст рецензии, чтобы сопоставить с ним пометы. Тогда у меня будет еще и... если не автограф, то ‘следы чтения’, как выражаются французские букинисты, Айхенвальда».

Такова тайная жизнь букиниста-исследователя. Однако помимо законного читательского интереса к процессу поисков и находок, в книге намечается некая интрига, не сразу бросающаяся в глаза...

Допустим, герои Молодякова не обязательно поэты Серебряного века, как, например, упомянутый Михаил Струве, ученик Гумилева и Блока, после эмиграции живший и умерший в Париже. Между прочим, Молодяков отмечает, что как поэт Струве состоялся именно в эмиграции, не раньше. Или Александр Котомкин, белоэмигрант, пражанин и парижанин, исполнявший свои песни на гуслях перед Верой Константиновной Романовой. Очерки, посвященные Мосешвили и Шефнеру, рассказывают о наших современниках, ушедших так недавно и, увы, незаметно для нас. У Шефнера были десятки тысяч читате-

лей, у Мосешвили (кстати говоря, комментатора знаменитой антологии поэзии первой и второй волн Русского Зарубежья «Мы жили тогда на планете другой») в десятки тысяч раз меньше, но разве это повод не знать или забыть? Идея Василия Молодякова – оставить в жизни поэтов, заслуживающих памяти, вне зависимости от времени жизни.

Но как быть с поэтом Юрием Живаго, изъятый из романного контекста и представленный как самостоятельный автор? Ведь он и вовсе литературный герой, о котором никому до Молодякова не пришло в голову писать как о самостоятельном авторе: «До сих пор ‘Стихотворения Юрия Живаго’ рассматривались как цикл стихов Пастернака 1946–1953 гг., закономерный этап его поэтической эволюции <...> Явная непохожесть тем, образов и мотивов многих стихотворений цикла на предыдущие и последующие сборники Бориса Леонидовича, кажется, не смущала критиков». Молодякова она смутила, и он выяснил: стихотворения доктора Живаго принадлежат к той просодии, к которой близок поэт К. Р. – Великий князь Константин Константинович Романов, и от которой бесконечно далек сам Пастернак. Знаменитое «Свеча горела на столе» – прямая цитата из К. Р.

Что бы это значило? У пытливого читателя возникает масса предположений. Например, такое: а не имел ли в виду Пастернак, что его книгу прочитают в Русском Зарубежье, опознают подтекст, и это станет одной из связующих «две России» нитей?.. И о чем свидетельствует факт, что дух К. Р. и питавшего его самого Афанасия Фета незримо реет над страницами?..

Но и очерк о поэте Живаго – не самое удивительное место в книге. Почему ряд сюжетов о забытых или вовсе не известных русских поэтах заканчивает рассказ об американце Виреке, этаким Оскаре Уайльде эпохи торжествующего капитализма? У исследователя есть опыт, глаз, вкус, и механический довесок был бы нелепым прибавлением к стройной системе. Конечно, внутренняя мотивировка у Молодякова имеется...

Однако здесь рецензент должен остановиться, ибо дальнейшее излишне, как пересказ детектива. В конце концов, разгадка замысла составителя – едва ли не самое большое удовольствие, которое всегда ожидает любого, кто почтил прочтением сборник. В таких книгах всегда есть что-то обнадеживающее и для тех, кто покуда не успел перейти в мир иной, оставив после себя горстку заримфованных слов и исписанных листочков. В истории словесности начинаешь наблюдать нечто закономерно-утешительное: действительно, не горят рукописи, не исчезают их создатели, всё-таки они остаются... Человечески и литературно.

Вера Калмыкова

Евгений Чигрин. Невидимый проводник. Стихотворения. – М.: Издательство «У Никитских ворот», 2018. – 204 с.

Евгений Чигрин – поэт, сочинитель исключительно наполненных, плотно спаянных поэтических текстов, которые у многих и многих читающих сегодня вызывают живой эмоциональный отклик. И особенно стихи Евгения близки тем, кто действительно разбирается в поэзии и способен оценить вплетенные в поэтическую ткань неожиданные повороты смысла, меткие, порой до зримости, живо-рожденные метафоры...

И вот у Е. Чигрина родилась новая книга. До этого были сборники «Подводный шар» (2015), «Погонщик» (2012) и «Неспящая бухта» (2014). Поэт Алексей Остудин (Казань) написал в свое время по поводу подборки стихов Чигрина: «Крепкие мужские тексты, такие стихи раньше гладиаторы перед боем писали!» И он по-своему прав, если учесть, что в стихах у Евгения бывает та самая поэтическая плотность, напор, которые даются лишь тем, кто обладает подлинным, ярким, сильным темпераментом. В этой книге есть воистину волшебные стихи, начинающиеся так: «Тончайший шорох листьев...». Тут тонкость, даже изящество поэтического чувствования входят в «содружество» с упомянутой мускулистостью и создается то, что «заколдовывает» и привлекает. А вот третье стихотворение книги – «Деревянная дудка»... Оно пленяет тем, что в легком, звенящем, летящем, пританцовывающем размере, том самом, что использовала некогда М. Цветаева в поэме «Чародей», Чигрин уже не столько созерцает и размышляет, а рисует – строка за строкой – образ «астрального лирика» с дудочкой, «как в цирке». Этот легкий старичок приходит к поэту. Он – и взмах поэтической фантазии, и образ из полусна, видение «овеществленного» подсознания. Этот «астральный лирик» и есть малое и милое порождение «нетвердого сна», в котором поэт «выдумывает жизнь». Эта «выдумка жизни» – сокровенный удел поэта, однако парадокс состоит в том, что результат получается не выдуманный, а выпуклый, видимый персонаж... Может быть возможно потому, что у «астрального» старичка, созданного поэтом, – «В Боге голова», а потом уже «уста иллюзий»...

Чигрин подсознательно стремится поместить читателя на время чтения в несущие потоки гармонии звезд и ветра, той самой гармонии, за которой живет Незримый, который нам «опустит осень», а та уж тихо дохнет музыкой и сведет часы двумя стрелками «на цифре восемь», то есть на бесконечности времени...

В другом стихотворении – «Глаза поднимаешь – осень на дворе» – создание «театра теней» продолжается. Нас встречает на фоне все той

же осени «в кепчонке желтой постаревший ангел», он конечно одинок, «как муха в янтаре»... По пути раскрытия образной структуры стихотворения создается и виртуозное четверостишие – «Дырявый лист в желтеющем огне / Плывет по суше, как по морю рыба»... А далее, вслед за строкою, за поэтом, мы «поднимаем глаза» и тогда театр теней уже расцветает химерами туч, в которых сотворяются и гномы, и домики. Но главное – в самом конце, мы смотрим – «На мальчика в летающем пальто, / На девочку, что облаком повисла» – и вдруг скрытым смыслом являет нам Марка Шагала и полеты иллюзорных персонажей над домиками его Витебска... Нет, мы не настаиваем на таком именно прочтении, но с Чигриным часто именно так – то у него зашифрован меж строк фландрский собор, то звучат разные мелодии старинных композиторов, то читатель следует за поэтом из сна в другой рифмованный сон без желания скорей просыпаться...

Стихотворение «Верченье вьюги, вспышки фонарей» продолжает цельную и поступательную, как всегда у Чигрина, поэтическую импровизацию, в которой уже не желтеет осень, а настала зима, поэта потянуло к югу, как певчую птицу, и он выдумывает себе деву, для того чтобы войти в иной, южный «полюс» гения и места. Да и как поэту деву не «выдумать»!.. Евгений пишет:

Я выдумаю в снегодекабре
 Похожую на яркий праздник деву,
 Чтоб жизнь другую вылепить во мгле,
 Поддавшись сочинительству и блефу.
 И с нею выйду за какой-то круг:
 Мы попадем в ресничный праздник света,
 Вплетая Север в золотистый Юг,
 Включая жизнь в нефритовое лето.

И это великолепное поэтически «ресничное лето», и последующие строки тоже несут на себе явственную печать поэтической *свободы* и поэтичного, лирического изящества, как это нередко бывает в подборках стихов и в книгах Е. Чигрина.

В заключительном стихотворении книги – «Маяк на мысе» – мерцает строка: «Свет корабля, как память о земле». Интересен и автоэпиграф, в котором говорится о «Смешении архаики и сленга», то есть о текстовой черте, свойственной Чигрину, чей словарь, что не раз отмечали критики, очень широк и разнообразен в своем богатстве, о чем бы он ни писал, – об облаках, о море, которое «курит трубки», об игрушечных волках Мандельштама или о Павшинской пойме...

Видный патрист Адальбер Гюстав Амман как-то заметил:

«Автор любого сочинения отчужден от нас самим своим творчеством. Перед нами – не сам человек, а только его книга, только то, что он написал». Чигрин, судя по отзывам на его поэзию, для читателей больше, чем «книга».

В своем новом сборнике Евг. Чигрин, как и ранее, разнообразен в используемых поэтических размерах. Его строка может быть длинной («Вонзает осень мрак простуды – дождей нахлынувших клинок»), а в другом стихотворении поэт уже предстает минималистом, сохраняя при этом неповторимый чигринский стиль:

Ангел, которого
Вижу не в первый...
Занавес морока:
Осени верный
Вечер. Опалиха.
Темени секта.
В тыкве фонарика –
Обморок света.

Так заканчивается одно из «кратких» стихотворений сборника; в самом конце «атмосферного» стихотворения из минимизированной строки выступает образ «тыквы фонарика», который мертвенно струит «обморок света». Так подтверждается мысль критика и писателя Нины Гайде о том, что «Чигрин, несомненно, в поэзии импрессионист»: красочно мерцающие полусвет-полутень есть неперенные черты импрессионизма. Однако вслушавшись больше, чем взглядевшись, в страницы книги, всё же убеждаешься, что здесь постоянно присутствует и постмодернизм, любящий варьировать уже давно вошедшие в литературу узнаваемые «вечные» поэтические и жизненные мотивы. Чигрин их неустанно дополняет «экзистенциальной рефлексией и неустанным культурным бдением» своего лирического героя. Эту черту у поэта заметил и отметил Юрий Кублановский, который также верно сказал, что поэт этот «литературоцентричен». Сам поэт согласен с определением своих стихов как *неоакмеистических*. Но для критиков в будущем возможны и другие варианты... Чигрин создает изобретательные и вдохновенные *игровые фантазмагории*, несущие лирико-раздумчивый мотив, но еще строка – и всё стремительно меняется, и мир поэта становится диаметрально иным...

По поводу структуры книги автор пояснил: «Здесь 107 стихотворений, разбитых на восемь циклов». Думается, что даже названия циклов у Чигрина – это тоже поэзия. Вслушаемся – с первой части по последнюю, – чем звучны названия этих циклов: первый раздел –

«Старый кочевник», это напоминает название его давней книги «Погонщик»; второй раздел – «Демоны водостока», и сразу на память приходят химеры с собора Нотр-Дам. И впрямь, цикл прямо и непосредственно «настоян» на Париже, «прохваченном временем старым». Потом идет импрессионистичный «Барочный морфий», в котором нас встречает Адриатика с ее небом «в сквозистой слюде», нарисованной ангелами, встают образы Балкан... Следом – «Лампа над морем». Образы сменяются дальневосточными воспоминаниями поэта, тут мелькают острова, маяки, совсем близко – Япония, яхты, корабли... Раздел «Музыка с листа» полон поэтически организованных отнесений к ощущениям автора – от пейзажей Поля Сеньяка, от цветов Поля Сезанна, что «вышли на балконы». И вот, наконец, музыка – это барочные органнне композиции Дитриха Букстехуде... «Летающий мальчик» – об иронично понятом «эротизме» перуанца Хорхе Варгаса Льоса, о котором «ходят легенды»... И снова музыка, на сей раз это венецианец Алессадро Марчелло. А в строках – «Это осень и не патриархом / Я вливаюсь в осенний расклад...» – мы, конечно, прочитываем упомянутое «отражение» мировой культуры – на сей раз, от «Осени патриарха», романа великого аргентинца Габриэля Гарсиа Маркеса. В стихотворении «Слова» нас особенно пленяет такое находчивое двустушие – «Целует смерть любой летящий лист, / И дуют ветры в северные дудки». Раздел шестой – «Мойры глиняных флейт» – сразу впечатляет по-блоковски горчащим стихотворением «Старый демон», в котором есть такие строки: «Плоть всё чаще болеет бесправием... / Ночь несут. Зажигают огни. / Фонари не ослепли над гравием, / Но – мрачнеют последние дни». Тут вспыхнула искра Серебряного века, характерная для ранних книг Е. Чигрина.

В «Желтеющем фокстроте» – ни много ни мало – разговор с Богом, для которого поэт – «Субстанция твоих забот, всего лишь», он «только вещество», но это всё слова поэта. Бог в ответ мудро и вселенски молчит. «Посмейся Бог / И больше ничего. / И не поспоришь» – так заканчивается стихотворение. Во все времена к богам зывали поэты, и лишь избранным отвечал Он.

В этот раздел входит стихотворение «Предновогоднее», пленяющее особо пронзительной по виртуозной поэтичности строкой – «И плюшевое заячье *ушастье*». Это чигринское название «Предновогоднее» как-то невольно относит к названию стихотворения М. Цветаевой «Новогоднее», о котором И. Бродский написал целое эссе. Это очень ёмкий, богатый раздел, полный достойного, поэтически полноценного.

Хочется читать *построчно*, и стихи уверенно ведут по вьющейся канве. Седьмой цикл – «Сплошной сюжет» – встречает нас стихо-

творною Ночью – Никтой и как будто с высей горы увиденным поэтом средневековым бестиарием. Нам видится – через замыленное стекло – почти босховский динамичный, роящийся пейзаж. Следующие стихотворения поддерживают подобное впечатление, обогащаясь еще и гоголевскими образами: тут философ Хома Брут, Панночка, старый сотник. Но это был бы не Чигрин, коли не вплел бы и некоторые атрибуты современности, приметы компьютерного нового века. «Ставят лайки «ВКонтакте» то старому сотнику, то / Неприкаянной птице...» Потом мы мимоходом заезжаем в Индию, оттуда – к Петрову-Водкину в Хлыновск, на «Купание красного коня». Цепи ассоциаций и «парафразы» поэта множатся и дробятся, проникаясь той самой естественной деформацией образов, которую заметил еще Ю. Кублановский.

Последнее, уже упомянутое нами стихотворение в книге – «Маяк на мысе» – «О маяке, сигналившем во мгле»; и сам поэт понимает, что, завершая, становится «Словариком, сверкающим во тьму».

Чигрин о новой своей книге сказал следующее: «Поясню название книги: слово ‘проводник’ встречается в Библии, то есть проводник каких-то тайн, знаний, смыслов и т. д. Именно поэтому обложка цвета новозаветных песков. ‘Невидимый проводник’ – потому что любой человек может открыть книгу, и автор как бы ведет его по неизвестному читателю миру своих вдохновений, метафор, образов, многоточий... Ну и, наконец, это словосочетание хорошо и просто читается. И последнее: это название вписывается в другие названия моих книг: Погонщик, Неспящая бухта, Подводный шар, Невидимый проводник».

Так что в заключение можно сделать вывод: поэзия Евгения Чигрина рассчитана на тех, кто еще не потерял провиденциальную способность удивленно поднимать голову к небу, или отрывать душу от земли и улетать в царство гармонии, литературы, фантазии – эти три «компонента» празднично живут и дышат в книге.

Станислав Айдинян

* * *

Гимназия в лицах. Первая русско-сербская гимназия в Белграде (1920–1944). В 2-х тт. / Авторы-сост. А. Б. Арсеньев и М. Л. Ордовский-Танаевский. – Белград: Изд-во Архива Сербской Православной Церкви / Белградский университет / Институт славяноведения РАН. 2018. 638+690 с., илл. – 200 экз.

Книга открывается известным стихотворением Владимира Гальского, выпускника Первой русско-сербской гимназии от 1926 года: «Не проклинайте нас, отцы и деды, / Мы ваша плоть и кровь, но мы не вы...»

Аннотация к книге верно оценивает ее значение: «Своеобразная Памятка о белградской гимназии, в которой в течение четверти века обучалась и воспитывалась русская молодежь в Сербии. Авторы-составители собрали, восстановили и в оригинальной форме представили сотни судеб русских людей вне России, как самих гимназистов, так и их педагогов. В книге показано, как сложилась жизнь молодых русских, эмигрантов поневоле, в суровых обстоятельствах Второй мировой войны, как и чем они жили духовно, кем стали с годами и как сохранили себя русскими, рассеявшись по всем континентам планеты... Книга – уникальный Памятник второму поколению русской Белой эмиграции в Югославии-Сербии. Она представляет интерес не только для широкого круга читателей и историков русской эмиграции, но и дает богатый материал всем, кто занят родословными исследованиями в пределах XIX–XX веков».

Первый том содержит главы об истории гимназии, биографии ее основателя В. Д. Плетнёва и персонала гимназии, а также избранные биографии восемнадцати гимназистов и гимназисток первых девяти выпусков, пока гимназия была смешанной.

В предисловии сказано, что в создании книги «приняли участие едва ли не сто человек, поэтому мы (составители. – *Р. П.*) не рискуем назвать себя авторами». Хотя я и не учился в белградской гимназии, но всё же смог кое-чем помочь этому важному делу. Однако мне хотелось бы остановить внимание на самих составителях.

Арсеньев Алексей Борисович – публицист, библиограф, биограф, известный исследователь русской эмиграции первой волны. Он родился в 1946 году в г. Кикинда (Сербия), в 1920-м его будущие родители детьми были вывезены с Юга России. Окончил сербскую гимназию и Новисадский университет. По основной специальности Арсеньев – инженер-энергетик, однако много лет он посвятил исследованию истории и культуры русской эмиграции на просторах бывшей Югославии. Автор ряда статей и четырех книг: «У излучины Дуная» (1999), «Русская эмиграция в Сремских Карловцах» (2007), «Крај других обала и степа» (2009), «Самовари у равници» (2009).

Ордовский-Танаевский Михаил Львович родился в 1941 г. в Ленинграде. По первой профессии – радиоинженер, по второй – кинорежиссер (выпускник ВГИКа), создатель пяти художественных фильмов и более десяти документальных, в том числе и по истории русской эмиграции. Член Русского генеалогического общества Санкт-Петербурга, автор десятка статей в различных изданиях по генеалогии и книг по истории своего рода.

Надо признать, что Арсеньеву и Ордовскому-Танаевскому удалось

создать книгу, которая превосходит все мне известные истории школьных заведений на чужбине. Монография «Гимназия в лицах» – крупное событие в изучении истории русской эмиграции межвоенного периода.

Главная ценность двухтомника – биографии учеников и персонала, собранные с немалым трудом после 70 лет спустя после закрытия гимназии. Почти весь 2-й том посвящен историям жизни учащихся, включая и тех, кто по разным причинам не успел окончить это учебное заведение. В конце тома помещена глава «Объединение бывших учеников Первой русско-сербской гимназии в Белграде» (создано в Нью-Йорке в 1963 г.), и что важно – «Именной указатель» преподавателей и гимназистов и «Источники и литература».

Хочу процитировать одного из рецензентов издания – доктора исторических наук А. Ю. Тимофеева (Белград): «Двухтомная монография ‘Гимназия в лицах’ – выдающийся труд в рамках изучения русской эмиграции в Югославии и Сербии. В отличие от исследований российских и зарубежных специалистов, в настоящей работе затрагивается новая, оригинальная тема и найдена своеобразная форма изложения материала: коллективный биографический очерк <...> поражает своим объемом, разнообразием, порой неправдоподобностью судеб и жизненных ситуаций, в которых оказывались бывшие ученики. <...> Авторы-составители работали в сербских и русских архивах. Основной корпус книги, однако, составляют кропотливо собранные и сведенные воедино сведения, добытые из семейных архивов потомков бывших гимназистов».

* * *

М. И. Близнак. Войной навек проведена черта... Вторая мировая война и русские артисты: под оккупацией, в Рейхе, в лагерях ДиПи. – Москва: Издательство «Старая Басманная». 2017, 1119 с., илл. – 300 экз.

В московском журнале «Посев», № 12 за декабрь 2018, была напечатана статья Алексея Вовка «Итоги года в изучении Русского Зарубежья», в которой сказано: «В этом году в России было издано несколько книг, которые, безусловно, привлекут внимание всех интересующихся Русским Зарубежьем <...> Например, колоссальный труд М. И. Близнака ‘Войной навек проведена черта...’ о немецкой пропагандистской организации ‘Винета’; о русских театральных артистах, в годы Второй мировой войны оказавшихся в оккупации и плену, а после нее – в лагерях ДиПи. Книга основывается на сведениях, собиравшихся автором в течение многих лет».

Хотя годом издания указан 2017-й, книга вышла в свет в первой

половине 2018 года, ее презентация прошла в московском Доме Русского Зарубежья им. А. И. Солженицына. В благодарность за то, что автор использовал некоторые мои материалы, он прислал мне в подарок книгу с посвящением.

Книга делится на три части: «Оккупация и плен – преддверие ‘Винеты’»; «В тенётах ‘Винеты’»; «Из лагерей остарбайтеров – в лагеря ДиПи. На подмостках лагерных театров». Чтобы у читателя не было впечатления, что речь идет только о советских артистах-остах, скажу, что не забыты и артисты из русских белых эмигрантов, проживавших до 1939 г. вне границ СССР.

Написать рецензию на такой объемистый труд – дело сложное; я просто поделюсь некоторыми своими мыслями, появившимися при чтении.

В предисловии автор пишет, что книга посвящена представителям второй волны, добавляя «хотя, применительно к Северной Америке, уместнее и правильнее называть ее ‘третьей’». Деление эмиграции на «волны» только усложняет дело. В 1940-х и 1950-х годах всё было просто и ясно. Была «старая эмиграция», покинувшая Россию в 1920–1923 годах, и их потомки, названные союзниками «бесподданными», и были «новые эмигранты», покинувшие СССР в 1941–1944 годах, и их дети. В 1970-х годах появились за границей «новейшие», в Нью-Йорке стал выходить журнал «Третья волна», и вскоре всех «новейших» стали называть «третьей волной». А как быть с «первой» и «второй» волнами? И тут началась неразбериха.

Среди артистов, перечисленных в книге, упомянут, например, Борис Брюно-Делафорж, который в моих исследованиях указан как «Брюно де ля Форж Б. С.» Как правильнее писать фамилию артиста, мы точно не знаем (в научных трудах в таких случаях полагается уточнять все ранее использованные интерпретации, что в данной книге не сделано). Брюно до 1939 г. проживал в Югославии, так же как и Анатолий Жуковский, и объединять их с артистами из СССР под общим названием «вторая волна», как мне кажется, нельзя. Всё это мелочи, предусмотренные, кстати, самим автором, который, говоря о своей книге в предисловии, пишет: «...в ней обязательно будут пропуски, неточности и – к сожалению – ошибки. В случае их обнаружения просим присылать уточнения и замечания автору».

М. И. Близнюк свое предисловие кончает списком тех, с кем ему пришлось переписываться в годы подготовки книги. Это примерно 150 человек, как в России, так и в Зарубежье. За этот период 34 его корреспондента ушли в мир иной. Да, если бы не М. И. Близнюк, немало исторических данных унесли бы они в могилу и лишили бы русскую историю многих ценных и интересных подробностей.

Третью часть книги автор начинает с Менхегофа. Здесь широко использована моя книга «Молодежь Русского Зарубежья. Воспоминания 1941–1951» (2010). За Менхегофом Близнюк пишет о Шляйсхайме, названном автором «столицей русской Германии». В моих глазах Шляйсхайм не был «столицей» русской эмиграции того времени, но не будем спорить. На третьем месте – лагерь Парш (Австрия), за ним – «белый русский» лагерь Келлерберг. Это лагерь, созданный служащими Русского Охранного корпуса в Сербии, которые сдались англичанам, но не были выданы большевикам, – как преступно были выданы казаки.

О лагерях в Британской и Французской зонах Германии ничего не сказано. Но не будем в этом упрекать М. И. Близнюка. Про эти лагеря действительно трудно что-нибудь найти. Отдадим же должное автору и скажем ему спасибо за сделанную им огромную и нужную работу.

Р. Полчанинов

СООБЩЕНИЯ. ЗАМЕТКИ

Александр А. Локшин

Анатолий Якобсон и мой бедный отец

Попробую снова вспомнить о своем замечательном учителе истории и литературы Анатолии Якобсоне... В 1966 году, когда он пришел преподавать в наш восьмой «В» класс московской второй школы, все мои одноклассники (и я в том числе) были от него в восторге. Впрочем, наверняка мы многого не понимали из того, что он хотел нам рассказать. До сих пор помню случай, когда Якобсон пытался нам объяснить, зачем нужна литература.

Он нарисовал мелом на классной доске кружок, поставил внутри него точку и сказал примерно следующее:

– Литература нужна, чтобы объяснить человеку его место в мире.

Признаюсь, что я тогда ничего не понял, но слова эти отложились в моей памяти. Сейчас мне кажется, что к этим правильным и глубоким словам ему надо было добавить еще какое-то пояснение для нас, тогдашних четырнадцатилетних подростков. Ну, что-то вроде того, что «читатель книг проживает много чужих жизней и учится делать выбор в трудных обстоятельствах». Помню еще, как он взвалил на меня обязанность на одном из своих уроков читать что-то вслух для всего класса. Для меня это учительское поощрение было ужасным наказанием, так как я был органически неспособен одновременно читать вслух незнакомый текст и понимать прочитанное.

Еще я читал ему в коридоре свои детские стихи, которые ему поначалу нравились, а потом, после эпизода, который я опишу ниже, разонравились. В результате я надолго перестал писать, несмотря на то, что меня всячески поддерживал мой собственный отец.

Итак, я упомянул своего отца, композитора Локшина. От некоторых своих знакомых ребят я слышал, что он своим обликом производит сильное впечатление, что они мне в каком-то смысле завидуют. Лишь много позже, повидав самых разнообразных людей, я начал кое-что понимать. В двух словах это можно описать, наверно, так: от него шло непрерывное излучение...

В конце восьмого класса я заболел энцефалитом, еле выкарабкался. И вот в самом начале лета, когда я уже выписался из больни-

цы, заново научившись ходить, Якобсон и двое моих одноклассников пришли меня навестить.

Тут надо сделать небольшое отступление. В свои 14 лет я еще не знал, что двое бывших узников ГУЛага – преподавательница английского языка Вера Прохорова и математик Александр Есенин-Вольпин – обвинили моего отца в своем аресте. Сейчас, после многолетнего расследования, я могу утверждать: это была провокация ГБ с целью прикрытия ценного агента.

Якобсон, на мою беду, был хорошо знаком с Прохоровой и Вольпиным, а кроме того был на редкость доверчивым человеком. Понимал ли он, в чей дом собрался прийти? Бывшая жена Якобсона, Майя Улановская, уверяет в своих воспоминаниях, что он узнал это лишь по дороге, от ребят («мало ли Локшиных»). Я же уверен, что мужественный Якобсон прекрасно знал, куда идет, – и, конечно, ему было интересно посмотреть на «гения зла».

Почему я в этом уверен? Прежде всего потому, что в те годы в классном журнале указывались фамилии, имена, отчества и профессии родителей всех учеников. Кроме того, у нас с Якобсоном уже успело возникнуть довольно интенсивное общение: я ему приносил листочки со своими стихами, он их забирал домой, а потом возвращал мне со своими пометками. Один такой бесценный листок у меня сохранился.

И вот, помню, как отец и Якобсон сидят друг напротив друга за кухонным столом и разговаривают о Пастернаке и Заболоцком. Полной неожиданностью для меня стало то, что разговор Якобсон закончил не вполне дружелюбно.

– Ну, вы – эстет, – сказал Якобсон, поднимаясь из-за стола.

А потом, уже в дверях, передал отцу привет от Веры Ивановны Прохоровой и Александра Сергеевича Есенина-Вольпина.

Помню ошеломленные лица моих родителей.

Спустя много лет в мемуарах всё той же М. Улановской я прочел впечатление Якобсона об этом визите: «Муж сказал, что Локшин безобразен: шея морщинистая, черепашья, так и хочется ее раздавить». Воспоминания Улановской, конечно, тяжелый случай. Сам Якобсон был бесконечно простодушен и, что немаловажно, считал себя умнее КГБ. Я уже писал в своем «Гении зла», что попытался осенью 67-го года переубедить Анатолия Александровича и с его подачи чуть было не отправился на встречу с Прохоровой и Вольпиным. Признаться, меня тогда спасла моя собственная юношеская трусость. Взрослые люди, повидавшие ГУЛаг и полные ненависти к отцу, конечно, сломали бы меня, мальчишку. (Как писал Вольпин в своем стихе: «Эти мальчики кончат петлей, а меня не осудит никто».)

В 1973 году Яacobсон под угрозой ареста эмигрировал в Израиль. Но до своего отъезда, будучи человеком чрезвычайно общительным и открытым, он успел рассказать об обвинениях в адрес моего отца во многих домах.

В 1978 году Яacobсон повесился. Для меня его гибель долгое время была настоящим горем – он был, в сущности, единственным человеком, который не только поверил бы мне, повзрослевшему и сумевшему разобраться в этих наветах, но и счел бы своим долгом переубедить окружающих.

Всюду «тиражируемая» версия гибели Яacobсона – «сошел с ума от вынужденной разлуки с Россией» – признаюсь, мне кажется неправдоподобной, исходящей, видимо, от Улановской. Когда в начале двухтысячных я сказал об этом Семену Самуиловичу Виленскому (человеку, прошедшему Колымские лагеря) и объяснил свой взгляд на вещи, он буквально побелел на моих глазах. С тех пор прошло еще почти двадцать лет. За эти годы обвинения в адрес моего отца, как я считаю, рассыпались. В трех своих книжках – «Гений зла» (2005), «Музыкант в Зазеркалье» (2013) и «Мне помогло Провидение?» (2018, 2-е издание) я подробно разбираю эту историю.

Вот, однако, некоторое дополнение к ней, которое я впервые привожу целиком, в связном виде. По крупицам я собирал сведения, доказывающие невиновность отца. К 2009 году этих фактов было уже более, чем достаточно, и я через сайт «Заметки по еврейской истории» Евгения Берковича обратился к Елене Боннэр: «Глубокоуважаемая Елена Георгиевна! До меня дошел слух [через Е. Ц. Чуковскую], что когда-то Вы прочли 1-е издание моего «Гения зла» (М., 2001) – книжки, в которой я защищаю своего отца, композитора А. Л. Локшина, от обвинений в доносительстве. Книжка эта была достаточно наивной. С тех пор я опубликовал (в частности, на портале Евгения Берковича) серию заметок, которых достаточно для безоговорочного очищения памяти моего отца от подозрений. <...> Тем не менее, невзирая на мои крики и стоны, обращенные к начальству Сахаровского центра, очевидная клевета в адрес моего отца, содержащаяся в книге Н. и М. Улановских, по-прежнему размещена на сайте Сахаровского центра <...> Это поразительно еще и потому, что люди, близкие к основной обвинительнице моего отца, В. И. Прохоровой, уже фактически извинились передо мной.» (5 января 2009) Через тот же портал Е. Г. Боннэр прислала мне свой ответ: « С некоторых пор я не имею никакого отношения к музею. <...> так как я не нашла адреса Александра Локшина, [прошу] довести до него, что я просила одного из членов общественной комиссии просить директора музея убрать с сайта материал, о котором Александр Локшин пишет. А если шире – я всегда

очень настороженно отношусь ко всяким якобы разоблачающим кого-то материалам. И в большинстве случаев не верю им. Е. Г.» (7 января 2009)

Вскоре после этого я заручился согласием Е. Г. Боннэр на публикацию ее ответа. Свою переписку с Еленой Георгиевной я отправил в Сахаровский центр. Вместо того, чтобы выполнить просьбу Е. Г. Боннэр, книгу Улановских просто-напросто переместили на другой адрес той же библиотеки. Обратившись в Сахаровский центр с глубоким недоумением по этому поводу, я получил неформальный (устный) ответ: «...Разбираться по существу никто не будет».

Со времени обмена письмами с Еленой Боннэр появилось еще множество недвусмысленных доказательств невиновности моего отца¹. На этом, однако, история не заканчивается. Примерно такой же текст (с несущественными отличиями) я отправил 25 августа 2018 года в Сахаровский центр и спустя четыре дня получил любезный ответ:

«Добрый день!

Спасибо, что написали нам. Книга Улановских опубликована нами как воспоминания, а не как единственный источник правдивых сведений. Люди пишут разное и иногда это может не совпадать с тем, что было в действительности, мы думаем, что все это понимают.

Конечно, мы готовы опубликовать и Вашу точку зрения. Не могли бы Вы прислать нам прямую ссылку на ответ Елены Георгиевны.

С уважением,

координатор Сахаровского центра Мария Кулланда» (29 авг. 2018)

Люди действительно пишут разное – но правда постигается в сравнении. В издании 1981 года мемуаров Петра Григоренко «В подполье можно встретить только крыс...» есть следующие строки (речь идет о совещании на квартире П. Г. в 1969 году, где обсуждался вопрос о создании легального оппозиционного комитета): «Когда же появилась Майя Улановская, возмущение мое дошло до предела. Майя в правозащите в то время не участвовала, но, видимо, в страхе за отца своего ребенка (Анатолия Якобсона) время от времени вмешивалась, как противник решительных действий. Мне было понятно, что и в данном случае она привлечена как ‘ударная сила’ противника комитета. Взгляд мой, по-видимому, настолько ясно отразил мои чувства, что Толя Якобсон нашел необходимым подойти ко мне и заявить: ‘Петр Григорьевич, я Маю не приглашал и даже не говорил ей о совещании’» – и далее: «Но гвоздем вечера оказалась действительно Майя. Ее выступление... собственно это не было выступлением. Это была истерика... истерика человека, находящегося в полубессознательном состоянии. <...> После такого выступления говорить

было уже невозможно. Да и совещаться тоже. Поэтому я закрыл совет и предложил разойтись. Ко мне подошел Толя Якобсон. Он видел то же, что и я. <...> И он, подойдя, сказал: 'Ну, Петр Григорьевич, после сегодняшнего совещания кому-нибудь из нас или даже обоим садиться в тюрьму. КГБ явно не хочет комитета'.» Эти важнейшие строки в российском издании 1997 года опущены.

Как можно было решиться удалить из книги эти драгоценные свидетельства? Тем более, что предсказание Якобсона сбылось в наихудшем варианте. Но продолжу цитировать издание 1981 года книги Григоренко: «Сейчас в свободном мире и я, и Майя Улановская, и Виктор Красин, и год тому с небольшим был и мой дорогой друг Толя Якобсон. К несчастью безжалостная смерть унесла его от нас. Но нам, живым, надо кое-что выяснить. Майя Улановская пишет воспоминания. Часть уже написала. И издала. Недавно она просила у меня разрешения использовать мои письма (Писавшиеся из Черняховской спецпсихбольницы с очевидным расчетом на прочтение «органами». – *А. Л.*). *Я не разрешил и не разрешу* (Выделено мной. – *А. Л.*), пока не буду уверен в том, что они будут использованы только в интересах истины. И прежде всего я считаю, что Майя обязана рассказать правду об этом злополучном совещании. Кто ее пригласил на это совещание, какие и кто вел с ней разговоры перед совещанием, что ее так возбудило, привело в то состояние, в каком она выступала?».

И этот фрагмент в издании 1997 года опущен. Но была ли на то воля его автора?

В 2007 году М. Улановская прислала мне письмо, где, в частности, сказано: «За меня многие тогда вступились: С. Ковалев, М. Синявская, Л. Копелев с женой Раисой Берг, но втихоря, чтобы не обижать (а после смерти не компрометировать) старика. Совсем недавно – П. Литвинов на сайте памяти А. Якобсона (который сам был свидетелем эпизода в доме Григоренко и тоже высказался об этом). И эпизод этот из следующего издания книги Григоренко – также втихоря – убрали. Так и Бог с ним». (23.12.2007).

Письма П. Г. Григоренко она, вопреки воле самого Петра Григорьевича, опубликовала: «Чтобы окончательно Вас убедить оставить эту тему, не поленилась отсканировать и привести ниже одно из писем П. Г. Григоренко мне из Черняховской психушки, напечатанных в 'Новом Журнале', Нью-Йорк, 1990, кн.180, с. 254-286. Подборку его писем нашей семье я специально передала в журнал с целью защититься от его нападок в книге воспоминаний 'В подполье можно встретить только крыс'». (23.12.2007)

Публикация писем П. Г. Григоренко в «Новом Журнале», осуществленная М. Улановской *после его смерти и спустя много лет*

после самоубийства Якобсона, предваряется такими ее словами: «Весной 1969 г. мой муж Анатолий Якобсон привел меня к Петру Григорьевичу в его квартиру (Подчеркнуто мной. – А. Л.) у Крымского моста, где после ареста в Прибалтике бывшего председателя колхоза Ивана Яхимовича собралось несколько человек, чтобы обсудить положение. Помню, там были П. Якир, В. Красин, Ю. Телесин, Б. Цукерман...»² Подчеркнутые слова в цитате – это именно то, что Улановская не посмела (по понятной причине) написать самому Григоренко при его жизни. Ведь в прижизненном издании мемуаров П. Г. Григоренко приведены совершенно недвусмысленные слова Якобсона (см. выше): «Петр Григорьевич, я Маю не приглашал и даже не говорил ей о совещании». Иными словами, речь идет об очевидном лжесвидетельстве со стороны Улановской. Я не думаю, что книгам пойманных за руку место в библиотеке Сахаровского центра. Тем более, что уже имеется и соответствующая просьба Елены Боннэр.

Москва, 21 янв. 2019

1. https://etazhi-lit.ru/publishing/literary-kitchen/258-odinnadcat-voprosov-synu-kompozitora-lokshina.html?_utl_t=fb

2. См. Улановская М. «Прискорбный эпизод» / Заметки по еврейской истории. 2008, № 6. <http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer6/Ulanovskaja1.php>

ОБ АВТОРАХ

АЙДИНЯН Станислав Артурович (1958, Москва). Прозаик, поэт, историк литературы. Окончил фил. ф-т Ереванского ГУ. Зам. председателя ЮРСП, член РСП. В 1984–93 гг. – литературный редактор и секретарь А. И. Цветаевой. Член Ученого совета Музея М. и А. Цветаевых. Публиковался в «Новом мире», «Дружбе народов», «Гранях» и др. Автор книг: «‘Малый жанр’ Агаси Айвазяна», «Атлантический перстень»; сб. стихов «Скалы», «С душой побыть наедине», «Химерион», «Механика небесных жерновов»; эссе «В ореоле памяти: Константин Бальмонт», «Хронологический обзор жизни и творчества А.И. Цветаевой», «Четырехлистник» и др. Награжден пятью литературными премиями, памятными медалями А. Чехова и М. Лермонтова (СП России).

АЛЕШКОВСКИЙ Юз (Алешковский Иосиф Ефимович. 1929, Красноярск). Прозаик, поэт, бард, сценарист. Один из создателей неформального объединения «БаГаЖЪ». После публикации текстов «лагерных» песен в альманахе «Метрополь» был вынужден эмигрировать в 1979 году. Автор 13 книг прозы и собраний сочинений в 3-х и 5-ти томах; среди книг – «Предпоследняя жизнь. Записки везунчика» (2009), «Маленький тюремный роман» (2011). Лауреат Пушкинской премии Гамбургского фонда Альфреда Тёпфера «за творчество, создаваемое писателем с 50-х годов, сделавшее его одной из ведущих личностей русской литературы XX века»; лауреат «Русской премии». Живет в США.

АНАСТАСЬЕВА Ирина Леонидовна (1959, г. Краснодар). Литературовед. Окончила филологический факультет МГУ, диссертация «Книга Д. С. Мережковского ‘Иисус Неизвестный’ в контексте религиозно-философских исканий в России начала XX века». Доцент МГУ. Опубликовала свыше пятидесяти статей в контексте курсов по истории Русского Зарубежья, русской литературы XIX века.

БРЕЙДО Евгений. Прозаик. В прошлом – научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН и преподаватель МГУ; диссертация по теории стиха. В США занимается вычислительной лингвистикой и автоматическим анализом текста. Проза и эссеистика печатались в журналах «Дружба народов», «Литература», «7 искусств», и др.

ВУЛЬФИНА Лариса (г. Чехов). Историк, журналист, коллекционер. Окончила исторический факультет КГУ (Киев). Автор серии статей в журналах и научных изданиях о художниках первой и второй волн русской эмиграции, книги «Москва как место проживания. Д. П. Сухов. Архитектор. Реставратор. Художник» (2014, соавтор Т. А. Дудина), монографии о художнике Н. Ремизове «Неизвестный Ре-Ми» (2017). Корреспондент в США аль-

манаха «Панорама искусств» (Москва) и журнала «Антиквар» (Киев). Живет в Филадельфии.

ГОРЯНИН Александр Борисович (1941, Ташкент). Журналист, писатель, историк, переводчик. Окончил Ташкентский университет, географ. факультет. Автор книг «Разрушение Храма Христа Спасителя» (Лондон), «Мифы о России и дух нации». Соавтор учебника «Обществоведение» (Москва). Автор более сотни статей в газетах, журналах и сети, а также серии исторических расследований о Гражданской войне на радио «Свобода» (1997–2000). Печатался в «Новом мире», «Гранях», «Посеве», «Звезде», «Русской мысли», «Отечественных записках» и др. Премия журнала «Звезда» за лучшую публикацию 2001 года (повесть «Груз»).

ЗАХАРОВ Сергей Валерьевич, (1976, Беларусь). Прозаик. Окончил Гомельский ГУ по специальности «английский язык». Работал преподавателем английского языка, переводчиком, служил в пограничных войсках Республики Беларусь, был фермером, торговцем, грузчиком, радиотелеграфистом. Живет в Каталонии (Испания), занимается экскурсоводческой деятельностью. Лауреат Премии им. Марка Алданова.

КАЛМЫКОВА Вера (1967, Москва). Искусствовед, канд. фил. наук, член СП Москвы, шеф-редактор журнала «Философические письма. Русско-европейский диалог» (ВШЭ). В 2008–2018 гг. – гл. редактор изд-ва «Русский импульс». Автор ряда монографий по истории мирового и русского изобразительного искусства; поэтических книг «Первый сборник» (Милан) и «Растревоженный воздух» (Москва); лауреат конкурса «Книга года» за книгу «Очень маленькая родина» (2010). Автор публикаций в периодике и научных сборниках, в их числе – о поэтике Осипа Мандельштама, и более 70 статей в «Мандельштамовской энциклопедии».

КОЗЛОВ Владимир (1980). Поэт, литературовед, журналист. Канд. фил. наук, автор монографии «Здание лирики. Архитектоника мира, лирического произведения», книги «Русская элегия неканонического периода: очерки типологии и истории», составитель и автор научного сборника «Пристальное прочтение Бродского» (Ростов-на-Дону). Гл. редактор журнала «Эксперт ЮГ». Лауреат премии журнала «Вопросы литературы» (2010). Публикации эссе и статей в журналах «Знамя», «Новый мир», «Литературная учеба»; «Арион», «Вопросы литературы». Автор трех книг стихов: «Оскомина», «Городу и лесу», «Самостояние». Живет в Ростове-на-Дону.

КОСМАН Нина. Поэт, прозаик, драматург, художник. Автор поэтических сборников. Публиковалась в журналах «Homo Legens», «Крещатик», «Волга»,

«Новый берег», «Новый Журнал», в англоязычной периодике США и Канады. Перевела две книги поэзии Цветаевой (англ.) и стихи Кавафиса (русс.). Составила антологию стихов «*Gods and Mortals*» / «Боги и смертные» (New York), автор сб. рассказов «*Behind the Border*». Премия Британского ПЕН-клуба и Юнеско за прозу на английском языке. Живет в США.

КУЛЕН Елена (1964, Архангельск). Историк культуры, переводчик. Окончила историко-филологический факультет в Северном университете (Архангельск), Институт Восточной Европы при Университете (Freie Universität) в Берлине. Работает в качестве свободного историка-слависта в рамках научного исследования о русских ДиПи в послевоенной Баварии.

ЛЕСКОВА Алла (1956, Таджикистан). Прозаик, журналист. Окончила филологический факультет в Тарту (Эстония). Автор двух книг: «Фимочка и Дюрер» (2013) и «Кошка дождя» (2015). Печаталась в журналах «Новый мир», «Новый берег» (Дания) и «Родина», «Горец» и «*Millionaire.ru*». Более двадцати лет работает практикующим психологом.

ЛОКШИН Александр (1951, Москва), по образованию – математик. Автор книг «Гений зла» (2005), «Музыкант в Зазеркалье» (2013), «Мне помогло Провидение?» (2018), «Нежелательное свидетельство» (2019).

МАЛЬБАХОВ Каральби (1952). Переводчик, историк культуры. Родился в сталинском ГУЛаге. Выпускник Кабардино-Балкарского ГУ, работает там же. Переводит работы зарубежных авторов по истории и культуре народов Северного Кавказа (анг., фр.). Автор перевода книги Ивана де Шаякка «Зрелище пути: прогулка вокруг света с Великим князем Борисом».

МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН Игорь (1943, г. Мары, Туркмения). Поэт, прозаик, издатель, редактор. Окончил Львовский полиграфический институт. Издавался в России, США, Англии, Канаде, Германии, Израиле и др. Основатель и издатель литературно-художественного ежегодника «Побережье» (The Coast, 1992–2004, Филадельфия). Книги: «Посадить дерево», «Окна в лето», «Утро в зеркале», «Отраженные дни. Избранное», «Триада», «Приближение». Участник многих антологий. В США с 1979 года. Живет в Нью-Йорке.

МУСАЯН Ара (1946, Франция). Переводчик, прозаик. Вместе с родителями в 1947 году переехал в Советскую Армению, с 1948 по 1952 гг. семья жила в Абхазии. Вернувшись в Армению, в 1953–1964 гг. учился в ереванской русской школе. В 1964 г. вернулся во Францию, учился на философском факультете Сорбонны. Публиковался в журнале «Орти» в 1979–1984 гг. Пишет по-французски и по-русски. Живет в Париже.

ПОЛЧАНИНОВ Ростислав Владимирович (1919, Новочеркасск). Журналист, историк, общественный деятель. С 1921 жил в Югославии, с 1942 – в Германии, с 1951 – в США. Был одним из организаторов русского скаутского движения в эмиграции. Автор книг «По русским улицам Парижа», «Заметки коллекционера», «О Югославии и русских в Югославии» и др.

САЛИМОН Владимир (1952, Москва). Закончил педагогический институт. Автор двух десятков книг стихотворений, среди последних – «Любовь к пересеченной местности», «Право на молчание», «Среди оврагов и холмов» (2018). Главный редактор журнала «Золотой век» (1991–2001). Лауреат многих литературных премий, в том числе Европейской поэтической премии Римской Академии (1995), Новой Пушкинской премии (2012), премии «Венец» (2017). Член русского ПЕНа.

САНДУЛОВ Юрий (1953, г. Артемово). Историк, коллекционер. Окончил философский факультет ЛГУ, там же аспирантуру и докторантуру. Работал гл. редактором изд-ва «Лань», преподавал. Печатается в периодических изданиях Русского Зарубежья. Составитель книг по истории русской эмиграции, среди них – «Русские места захоронений в США» (2016). Президент общества «Северный Крест», занимается историей Русского Зарубежья.

УРАЛЬСКИЙ Марк (1948, Новокузнецк). Окончил МИТХТ. Автор книг о литературно-художественном андеграунде «Камни из глубины вод», «Немухинские монологи: портрет художника в интерьере андеграунда», «Избранные, но незванные: Историография независимого художественного движения», «Небесный залог». Под псевдонимом «Николай Марин» выпустил сборники стихов «Янус», «Антология русского верлибра». Автор статей по истории Русского Зарубежья, книги «Неизвестный Троцкий. Илья Троцкий, Иван Бунин и эмиграция первой волны» (2017). Публикуется в «NOVUMVerlag» (Австрия), «Крещатик» (Германия) и др. С 1992 г. живет в Германии.

ШИРШОВА Клементина. Поэт, критик, редактор литературного портала «Textura». Публиковала стихи и критику в «Новом мире», «Знамени», «Номо Legens», «Новой Юности», «Юности», «Ex-libris», в различных альманахах и электронных изданиях.

ЭТЕЛЬЗОН Михаил (1959, Винница). Поэт. По образованию – инженер и патентовед. Учился в Ленинграде. Победитель международного конкурса в Брюсселе «Эмигрантская лира. 2009». Публиковался в альманахах и периодике: «Нева», «Арион», «Новый Журнал», «Интерпоэзия», «Слово/Word», «День и Ночь», и др. Автор книг: «Под Созвездием Рака», «Соло» и «МеждуМетие». Живет в Нью-Йорке.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patron: Mr. S. Hollerbach; Russian Nobility Association in America;

Benefactors: The Tcherepnine Society, Mr. P. Tcherepnine;

Sponsors: Capital Builders Group, Mr. & Mrs. G. Lukin;

Fellows: Mr. & Mrs. B. Pushkarev;

Friends: Mr. & Mrs. M. Averbuch; Mr. Ara Mousayan; Mrs. Obolensky-Flam; Ms. C. Raeff.

It requires the support of loyal friends for year 2019:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 902
New York, NY 10012

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Париж, Франция: Виталий Амурский: vitaly.amoursky@gmail.com

Израиль: Альберт Фейгельсон: nikalbert@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2

Магазин «Фаланстер»: Москва, Малый Гнезниковский пер., д.12/27,

Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France

на сайте журнала через PayPal (кнопка: Подписка)

Вы можете оформить электронную подписку на журнал.

Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)

www.newreviewinc.com

www.newreviewworld.com

www.rusdocfilmfest.org